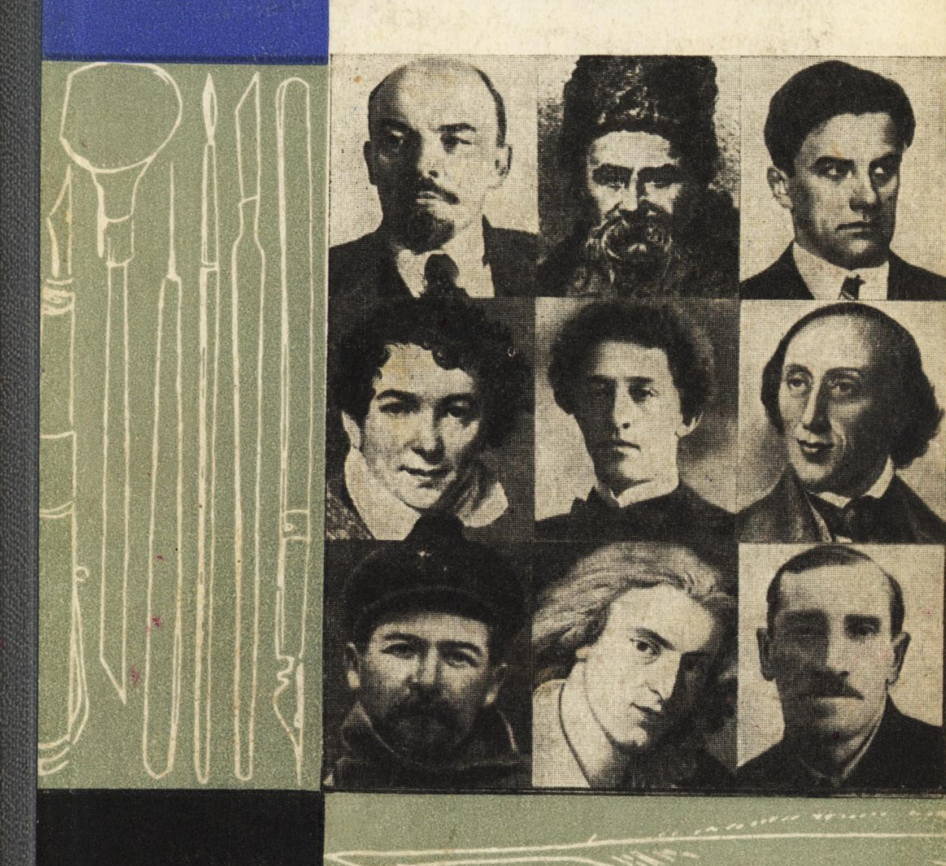
БЛИЗКИЕ И ДАЛЕКИЕ



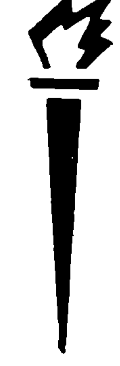
Константин Паустовский

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь замечательных людей

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 13
(439)

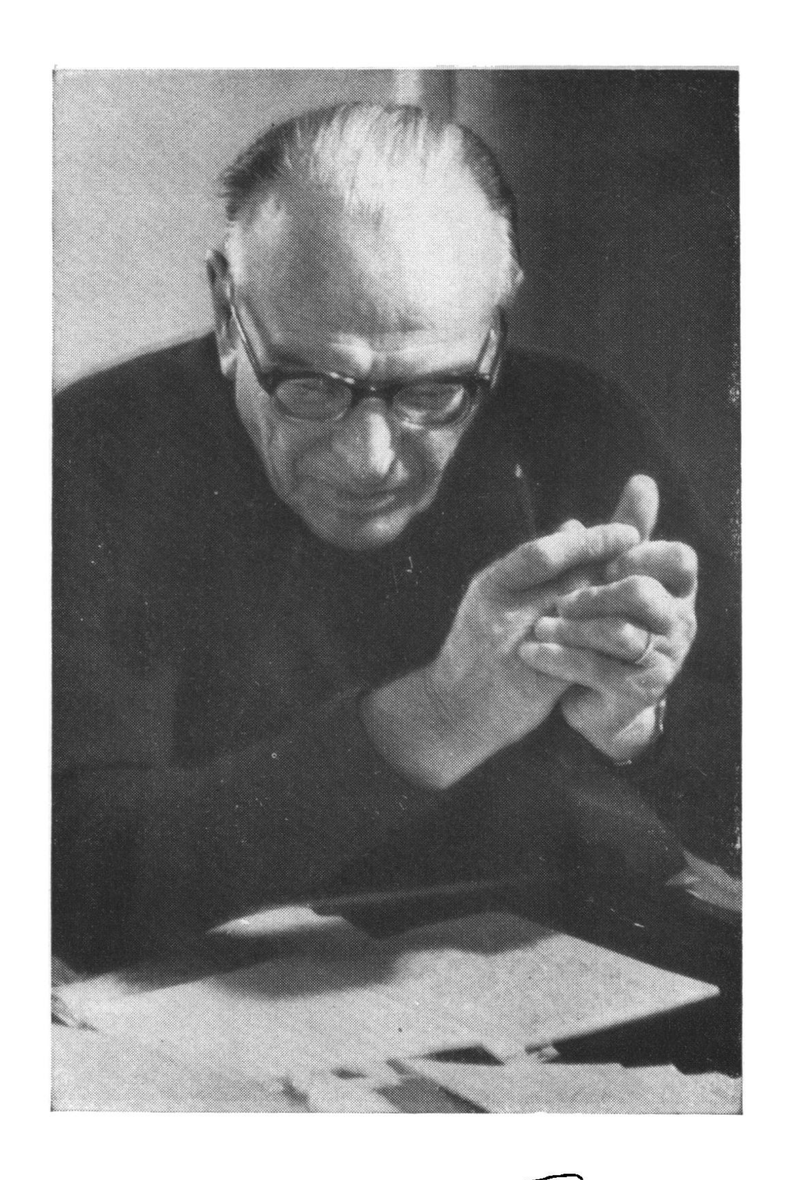
МОСКВА
1967

Константин Паустовский

БЛИЗКИЕ И ДАЛЕКИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Составитель Л. Левицкий.



К. Паустовский

I

ЗАЛ С ФОНТАНОМ

Правительство переехало из Петрограда в Москву. Вскоре после этого редакция «Власти народа» послала меня в Лефортовские казармы. Там среди демобилизованных солдат должен был выступать Ленин.

Был слякотный вечер. Огромный казарменный зал тонул в дыму махорки. В заросшие пылью окна щелкал дождь. Пахло кислятиной, мокрыми шинелями и карболкой. Солдаты с винтовками, в грязных обмотках и разбухших бутсах сидели прямо на мокром полу.

Большей частью это были солдаты-фронтовики, застрявшие в Москве после Брестского мира. Им все было не по душе. Они никому и ничему не верили. То они шумели и требовали, чтобы их немедленно отправили на родину, то наотрез отказывались уезжать из Москвы и кричали, что их обманывают и под видом отправки на родину хотят снова погнать против немцев. Какие-то пронырливые люди и дезертиры мутили солдат. Известно, что простой русский человек, если его задергать и запутать, внезапно разъяряется и начинает бунтовать. В конечном счете от этих солдатских бунтов чаще всего страдают каптеры и кашевары.

В то время по Москве шел упорный слух, что солдаты в Лефортове могут со дня на день взбунтоваться.

Я с трудом втиснулся в казарму и остановился позади. Солдаты недоброжелательно и в упор рассматривали штатского чужака.

Я попросил дать мне пройти поближе к фанерной трибуне. Но никто даже не шевельнулся. Настаивать было опасно.

То тут, то там солдаты, как бы играя, пощелкивали затворами винтовок.

Один из солдат протяжно зевнул.

— Тягомотина! — сказал он и поскреб под папахой затылок. — Опять мудровать-уговаривать будут. Сыты мы этими ихними уговорами по самую глотку.

— А что тебе требуется? Махра есть, кое-какой приварок дают — и ладно!

— Поживи в Москве, погуляй с девицами, — добавил со смешком тощий бородатый солдат. — Схватишь «сифон», будет у тебя пожизненная память о первопрестольной. Заместо гиоргиевской медали.

— Чего они тянут! — закричали сзади и загремели прикладами по полу. — Давай разговаривай! Раз собрали окопное общество, так вали не задерживай!

— Сейчас заговорит.

— Кто?

— Вроде Ленин.

— Ле-енин! Буде врать-то! Не видал он твоей ряшки.

— Ему не с кем словом перекинуться, как только с тобой, полковая затычка.

— Ей-бо, он!

— Знаем, что он скажет.

— Разведут всенощное бдение.

— Животы от лозунгов уже подвело. Хватит!

— Слышь, братва, на отправку не поддавайся!

— Сами себя отправим. Шабаш!

Вдруг солдаты зашумели, задвигались и начали вставать. Махорочный дым закачался волнами. И я услышал, ничего не различая в полумраке и слоистом дыму, слегка картавый, необыкновенно спокойный и высокий голос:

— Дайте пройти, товарищи.

Задние начали напирать на передних, чтобы лучше видеть. Им пригрозили винтовками. Поднялась ругань, грозившая перейти в перестрелку.

— Товарищи! — сказал Ленин.

Шум срезало, будто ножом. Был слышен только свистящий хрип в бронхах насторожившихся людей.

Ленин заговорил. Я плохо слышал. Я был крепко зажат толпой. Чей-то приклад впился мне в бок. Солдат, стоявший позади, положил мне тяжелую руку на плечо и по временам стискивал его, судорожно сжимая пальцы.

Прилипшие к губам цигарки догорали. Дым от них по-

дымался синими струйками прямо к потолку. Никто не затягивался — о цигарках забыли.

Дождь шумел за стенами, но сквозь его шум я начал понемногу различать спокойные и простые слова. Ленин ни к чему не призывал. Он просто объяснял обозленным, но простодушным людям то, о чем они глухо тосковали и, может быть, уже не раз слышали. Но, должно быть, слышали не те слова, какие им были нужны.

Он неторопливо говорил о значении Брестского мира, предательстве левых эсеров, о союзе рабочих с крестьянами и о хлебе, что надо не митинговать и шуметь по Москве, дожидаясь неизвестно чего, а поскорее обрабатывать свою землю и верить правительству и партии.

Долетали только отдельные слова. Но я догадывался, о чем говорит Ленин, по дыханию толпы, по тому, как сдвигались на затылок папахи, по полуоткрытым ртам солдат и неожиданным, совсем не мужским, а больше похожим на бабьи, протяжным вздохам.

Тяжелая рука лежала теперь на моем плече спокойно, как бы отдыхая. В ее тяжести я чувствовал подобие дружеской ласки. Вот такой рукой этот солдат будет трепать стриженые головы своих ребят, когда вернется в деревню. И вздыхать — вот, мол, дождались земли. Теперь только паши, да скороди, да расти этих чертенят для соответственной жизни.

Мне захотелось посмотреть на солдата. Я оглянулся. Это оказался заросший светлой щетиной ополченец с широким и очень бледным, без единой кровинки, лицом. Он растерянно улыбнулся мне и сказал:

— Председатель!

— Что председатель? — спросил я, не понимая.

— Сам председатель Народных Комиссаров. Обещается насчет мира и земли. Слыхал?

— Слыхал.

— Вот то-то! Руки по земле млеют. И от семейства я начисто отбился.

— Тише вы, разгуделись! — прикрикнул на нас сосед — маленький тщедушный солдат в фуражке, сползавшей ему на глаза.

— Ладно, помалкивай! — огрызнулся шепотом ополченец и начал торопливо расстегивать потерявшую цвет гимнастерку.

— Постой, постой, я тебе желаю представить... — бормотал он и рылся у себя на груди, пока наконец не вытащил за тесемку темный от пота холщовый мешочек и не вынул из него поломанную фотографию.

Он подул на нее и протянул мне. Высоко под потолком моргала электрическая лампочка, забранная проволочной сеткой. Я ничего не видел.

Тогда ополченец сложил ладони лодочкой и зажег спичку. Она догорела у него до самых пальцев, но он ее не задул.

Я посмотрел на фотографию только затем, чтобы не обидеть ополченца. Я был уверен, что это обычная крестьянская семейная фотография, каких я много видел в избах около божниц.

Впереди всегда сидела мать — сухая, изрытая морщинами старуха с узловатыми пальцами. Какой бы она ни была в жизни — доброй и безропотной или крикливой и вздорной, — она всегда снималась с каменным лицом и поджатыми губами. На одно мгновение, пока щелкал затвор аппарата, она становилась непреклонной матерью, олицетворением суровой продолжательницы рода. А вокруг сидели и стояли одеревенелые дети и внуки с выпуклыми глазами.

Нужно было долго всматриваться в эти карточки, чтобы в этих напряженных людях увидеть и узнать своих хороших знакомых: чахоточного и молчаливого зятя этой старухи — деревенского сапожника, его жену — грудастую сварливую бабу в кофточке с баской и в башмаках с ушками на лоснящихся голых икрах, чубатого парня с той страшной пустотой в глазах, какая бывает у хулиганов, и другого парня — черного, насмешливого, в котором узнаешь знаменитого на весь уезд кузнеца. И внуков — боязливых детей с глазами маленьких мучеников. То были дети, не знавшие ни ласки, ни привета. Может быть, один только зять-сапожник втихомолку жалел их и дарил для игры старые сапожные колодки.

Карточка, какую показал мне ополченец, была совсем не похожа на эти семейные паноптикумы. На ней был снят экипаж, запряженный парой черных рысаков. На козлах сидел мой ополченец в бархатной безрукавке. На карточке он был молод и красив. В неестественно вытянутых руках он держал широкие вожжи, а в экипаже бочком сидела молодая крестьянская женщина необыкновенной прелести.

— Зажги еще спичку! — сказал я ополченцу.

Он торопливо зажег вторую спичку, и я заметил, что он смотрит на карточку так же, как и я, — пристально и даже с удивлением.

...В экипаже сидела молодая крестьянская женщина в длинном ситцевом платье с оборками и в белом платочке, завязанном низко над бровями, как у монахини.

Она улыбалась, чуть приоткрыв рот. В улыбке этой бы-

ло столько нежности, что у меня вздрогнуло сердце. Глаза у женщины были большие, очевидно, серые, с глубокой поволокой.

— Два года работал у помещика Вельяминова кучером, — торопливо зашептал ополченец. — Тайком меня сняли в бариновом экипаже. С невестой моей. Перед свадьбой.

Он помолчал.

— Ну, что ж ты молчишь? — вдруг вызывающе и грубо спросил он меня. — Аль тыщи таких красавиц видал?

— Нет, — ответил я. — Таких не видал. Никогда.

— Рябинка, — сказал солдат, успокаиваясь. — Умерла перед самой войной. От родов. Зато дочка у меня — вся в нее. Ты ко мне приезжай, товарищ милый, в Орловскую губернию...

Толпа внезапно рванулась вперед и разъединила нас. В воздух полетели папахи и фуражки. Неистовое «ура» взорвалось около трибуны, прокатилось по всему залу и перекинулось на улицу. И я увидел, как Ленин быстро шел, окруженный солдатами. Он прижал к одному уху ладонь, чтобы не оглохнуть от этого «ура», смеялся и что-то говорил маленькому тщедушному солдату в фуражке, все время сползавшей ему на глаза.

Я поискал в бурлящей толпе своего ополченца, не нашел и выбрался на улицу. «Ура» еще гремело за углом. Очевидно, кричали вслед уезжавшему Ленину.

Я пошел в город по длинным темным улицам. Дождь прошел. Среди туч показался мокрый от дождя месяц.

Я думал о Ленине и огромном народном движении, во главе которого стал этот удивительно простой человек, только что прошедший сквозь бушующую восторженную толпу солдат. Думал об ополченце, о молодой крестьянской женщине, в которую я сейчас, на расстоянии многих лет, был уже чуть влюблен, как был влюблен в Россию, и что-то неуловимо общее и захватывающее дух светлым волнением было для меня в этой тройной встрече. Я не мог дать себе отчета в причине этого волнения. Может быть, это было ощущение небывалого времени и предчувствие хорошего будущего — не знаю. И снова радостная мысль, что Россия — страна необыкновенная и ни на что не похожая — пришла ко мне, как приходила уже несколько раз.

—

На фасаде гостиницы «Метрополь» под самой крышей была выложена из изразцов картина «Принцесса Греза» по ри-

сунку художника Врубеля. Изразцы были сильно побиты и исцарапаны пулями.

В «Метрополе» заседал Центральный Исполнительный Комитет — ЦИК, парламент того времени.

Заседал он в бывшем зале ресторана, где посередине серел высохший цементный фонтан. Налево от фонтана и в центре (если смотреть с трибуны) сидели большевики и левые эсеры, а направо — немногочисленные, но шумные меньшевики, эсеры и интернационалисты.

Я часто бывал на заседаниях ЦИКа. Я любил приходить задолго до начала заседания, садился в нише невдалеке от трибуны и читал. Мне нравился сумрак зала, его гулкая пустота, две-три лампочки в хрустальных чашечках, одиноко горевшие в разных углах, даже тот гостиничный запах пыльных ковров, что никогда не выветривался из «Метрополя».

Но больше всего мне нравилось ждать того часа, когда этот пока еще пустой зал станет свидетелем жестоких словесных схваток и блестящих речей, сделается ареной бурных исторических событий.

Из знакомых журналистов в ЦИК приходили Розовский и Щелкунов. Розовский безошибочно предсказывал, какой накал будет у предстоящего заседания. «Сегодня держитесь! — предупреждал он. — Ждите взрыва». Или скучно говорил: «В буфете есть чай. Пойдемте выпьем. Сейчас будут прокручивать законодательную вермишель».

Щелкунов же почему-то боялся председателя ЦИКа Свердлова, в особенности его пристальных и невозмутимых глаз. Если Свердлов случайно взглядывал на журналистов, Щелкунов тотчас отводил глаза или прятался за спину соседа.

В каждом слове и жесте Свердлова — невысокого и бледного человека, носившего потертую кожаную куртку, — особенно в его мощном басе, совершенно не вязавшемся с болезненной внешностью, чувствовалась непреклонная воля. Голосу Свердлова подчинялись даже самые дерзкие и бесстрашные противники — такие, как меньшевики Мартов и Дан.

Мартов сидел ближе всех к журналистам, и мы хорошо его изучили. Высокий, тощий и яростный, с жилистой шеей, замотанной рваным шарфом, он часто вскакивал, перебивал оратора и выкрикивал хриплым сорванным голосом негодующие слова. Он был зачинщиком всех бурь и не успокаивался, пока его не лишали слова или не исключали на несколько заседаний.

Но изредка он был настроен мирно. Тогда он подсаживал-

ся к нам, брал у кого-нибудь книгу и читал запоем, как бы забыв о времени и месте и совершенно не отзываясь на события, происходившие в зале с фонтаном.

Однажды он попросил у Розовского книгу «История ислама» и погрузился в чтение. Читая, Мартов ушел по голову в кресло и далеко вытянул тощие ноги.

Шло обсуждение декрета о посылке в деревню рабочих продовольственных отрядов. Ждали бури. Но поведение Мартова и Дана не предвещало никаких неожиданностей, и все понемногу успокоились. Зашелестели газеты, заскрипели карандаши. Свердлов снял руку со звонка и, улыбаясь, слушал своего соседа. Это, пожалуй, больше всего успокоило депутатов — Свердлов улыбался редко.

Список ораторов подходил к концу. Тогда Мартов очнулся и вялым голосом попросил слова. Зал насторожился. По рядам прошел предостерегающий гул.

Мартов медленно, сутулясь и покачиваясь, поднялся на трибуну, обвел пустыми глазами зал и начал тихо и неохотно говорить, что проект декрета о посылке продовольственных рабочих отрядов нуждается, мол, в более точной юридической и стилистической редакции. Например, пункт такой-то декрета следовало бы выразить более просто, отбросив многие лишние слова, вроде «в целях», и заменив их словом «для», а в пункте таком-то есть повторение того, что уже сказано в предыдущем пункте.

Мартов долго рылся в своих записях, не находил того, что ему было нужно, и с досадой пожимал плечами. Зал убедился что никакого взрыва не будет. Снова зашелестели газеты. Розовский, предрекавший бурю, недоумевал. «Он просто выдохся, как нашатырный спирт, — прошептал он мне. — Пойдем лучше в буфет».

Вдруг весь зал вздрогнул. Я не сразу понял, что случилось. С трибуны гремел, сотрясая стены, голос Мартова В нем клокотала ярость. Изорванные и вышвырнутые им листки со скучными записями опускались, кружась, как снег, на первые ряды кресел.

Мартов потрясал перед собой сжатыми кулаками и кричал задыхаясь:

— Предательство! Вы придумали этот декрет, чтобы убрать из Москвы и Петрограда всех недовольных рабочих — лучший цвет пролетариата! И тем самым задушить здоровый протест рабочего класса!

После минутного молчания все вскочили с мест. Буря криков понеслась по залу. Его прорезали отдельные выкрики:

«Долой с трибуны!», «Предатель!», «Браво, Мартов!», «Как он смеет!», «Правда глаза колет!»

Свердлов неистово звонил, призывая Мартова к порядку. Но Мартов продолжал кричать еще яростнее, чем раньше.

Он усыпил зал своим наигранным равнодушием и теперь отыгрывался.

Свердлов лишил Мартова слова, но тот продолжал говорить. Свердлов исключил его на три заседания, но Мартов только отмахнулся и продолжал бросать обвинения, одно другого злее.

Свердлов вызвал охрану. Только тогда Мартов сошел с трибуны и под свист, топот, аплодисменты и крики нарочито медленно вышел из зала.

Почти на всех заседаниях ЦИКа стены «Метрополя» сотрясались от словесных битв. Часто меньшевики и эсеры вызывали эти бури нарочно, придравшись к пустяковому поводу, к неудачному слову оратора или к его манере говорить. Иногда вместо возмущенных криков они разражались сардоническим хохотом или при первых словах оратора все, как по команде, вставали и выходили из зала, громко перекликаясь и переговариваясь.

В таком поведении были и беспомощность и мальчишеская бравада. Протест приобретал характер ссоры.

Жизнь страны была потрясена в тысячелетних основах, времена были грозные, полные неясных предвидений, ожиданий, жестоких страстей и противоречий. Тем более непонятной была эта игра в борьбу, эта бесплодная и шумная возня.

Очевидно, этим людям их партийные догмы были дороже, чем судьба народа, чем счастье простых людей. Нечто химически-умозрительное было в этих догмах, рожденных в табачных заседаниях вдали от России, вдали от народной жизни. Новую жизнь хотели втиснуть в кабинетные эмигрантские схемы. В этом сказывалось пренебрежение к живой душе человеческой и плохое знание своей страны.

Один раз на заседании ЦИКа стояла глубочайшая тишина. Это было в дни убийства германского посла графа Мирбаха.

Германское правительство предъявило ультиматум, требуя, чтобы в Москву были пропущены якобы для охраны посольства германские воинские части и чтобы весь район Денежного переулка, где помещалось посольство, управлялся бы германскими властями.

Более наглого и циничного ультиматума не было, должно быть, в истории.

Тотчас же после предъявления ультиматума было созвано чрезвычайное заседание ЦИКа.

Я хорошо помню этот душный летний день, клонившийся к закату. Весь город был в бледных отблесках солнца от оконных стекол и в предвечерней желтоватой мгле.

Я вошел в зал с фонтаном, и меня поразила тишина, хотя зал был переполнен. Не было даже слабого гула, возникающего от шепота многих людей.

На стене зала мерно отсчитывал время маятник стенных часов. Но, очевидно, всем, как и мне, казалось, что время остановилось и от него остался только слабый замирающий звук.

Вошел Свердлов, позвонил и глухим голосом сказал, что слово для чрезвычайного сообщения предоставляется председателю Совета Народных Комиссаров Владимиру Ильичу Ленину.

Зал дрогнул. Все знали, что Ленин был болен и ему нельзя говорить.

Ленин быстро прошел на трибуну. Он был бледен и худ. На горле у него белела марлевая повязка. Он крепко взялся руками за края трибуны и долгим взглядом обвел зал. Было слышно его прерывистое дыхание.

Тихо и медленно, прижимая изредка руку к больному горлу, Ленин сказал, что Совет Народных Комиссаров категорически отклонил наглый ультиматум Германии и постановил тотчас же привести в боевую готовность все вооруженные силы Российской Федерации.

В полном безмолвии поднялись и опустились руки, голосовавшие одобрение правительству.

Мы вышли на Театральную площадь, потрясенные тем, что мы слышали. Над Москвой уже лежали сумерки, и мимо «Метрополя», мерно покачивая щетину штыков, прошел красноармейский отряд.

МАЯЧНЫЙ СМОТРИТЕЛЬ

Мы любим охранительный свет маяков, но редко вглядываемся в него.

На огни маяков пристально смотрят только вахтенные и штурвальные, проверяя тайну его световой вспышки. Потому что все маяки на одном и том же море горят и мигают поразному, чтобы по этим признакам можно было определить, какой это маяк, и узнать, где находится корабль.

Так годами горел Батумский маяк, и мало кто интересовался жизнью его смотрителя Ставраки. Тем более что из города маячный огонь был плохо виден. Свет он бросал в сторону моря.

Ставраки был знатоком маячного дела. Он первый принес в редакцию «Маяка» статью. (В ней говорилось о каких-то новых маячных лампах.)

Ставраки посидел полчаса и ушел, оставив у всех нас — Бабеля, Ульянского и меня — впечатление неприятного и циничного человека.

Твердая седая щетина торчала на его желтых щеках, а воспаленные глаза говорили о многих бутылках водки «Рухадзе с коровой», выпитых за последние дни.

Одет он был небрежно и весь измят, будто сутками валялся на постели, не раздеваясь.

Он часто кашлял тяжелым, махорочным кашлем. Тогда по его изрытым щекам сползали слезы.

Он невзлюбил Бабеля, его острых глаз и однажды зло сказал мне:

— Чего он смотрит на меня, этот очкастый! Ненавижу смотрельщиков. Ловец человеческих душ! А что у меня на душе — ни один дьявол не знает. И он не узнает. Бьюсь об заклад. Может, я старый вор? Или убийца? Или торгую девочками? По таксе. Или самый умилительный дедушка? Пусть поломает голову.

В другой раз он сказал:

— Чтобы быть смотрителем маяка, нужно забыть начисто прошлое. Тогда вы никогда не упустите зажечь фонарь.

— А бывали случаи, что маяки не зажигались? — спросил я.

— Только если смотритель умирал, — ответил Ставраки и усмехнулся. — Или сходил с ума. И если при этом он был совершенно один на маяке. И его некому было сменить. Ни жене, ни дочери.

— А у вас есть семья? — спросил я и тотчас почувствовал, что допустил непонятную еще мне самому бестактность.

Он ответил мне грубо и раздраженно:

— Если вы, молодой человек, хотите поддерживать общение с людьми, то не вмешивайтесь в чужие дела. Возьмите лист бумаги и запишите на нем все темы, которых не следует касаться из праздного любопытства.

— Грубость, — сказал я, — не делает вам чести.

Ставраки вынул из кармана бушлата плоский флакон от одеколона, хлебнул из него несколько глотков, потом, прищурившись, посмотрел на меня и сказал наставительно:

— Выспренно разговариваете. Разница наших возрастов обязывает вас к уважительному поведению. А что касается чести, то откуда вы знаете, что она у меня есть? Может быть, ее не было, нет и не будет. И у меня и у вас. И вообще, что такое честь? Осчастливьте нас, напишите для моряков побережья Гагры — Батум статью на эту тему в вашей листовке. Тогда мы, может быть, и поймем.

В это время вошел Ульянский.

— Приветствую вас, кригсгефангенен, — бросил в его сторону Ставраки. — Вот, например, — он повернулся ко мне, — этого юношу и я и вы считаем честным только потому, что ни черта о нем не знаем. Честность — это незнание.

— Дешевые интеллигентские разговорчики, — спокойно сказал Ульянский. — Философия запивох!

Ставраки медленно взял со стула пустую бутылку от водки, повертел ее, внимательно рассмотрел этикетку и вдруг стремительно замахнулся бутылкой на Ульянского. Я схватил его за рукав кителя. Он вырвался, повернулся к распахнутому настежь окну и изо всей силы швырнул бутылку в трубу на соседней крыше. Бутылка раскололась. По крыше полились, перезванивая, осколки.

— Я целю верно, — сказал Ставраки. — Даже слишком.

Он быстро повернулся и вышел.

— Психопат! — сказал я.

— Нет, — ответил мне Ульянский. — Не психопат, а негодяй.

Я запротестовал, но Ульянский не захотел со мной спорить.

Когда я схватил старика за рукав кителя, послышался треск — должно быть, ветхий китель не выдержал и порвался. Сейчас мне было стыдно, что я порвал китель у этого несчастного человека. Я готов был догнать его и извиниться.

Через несколько дней я возвращался на катере в Батум из поездки в Чакву. Был уже вечер. Море, как всегда в сумерки, уходило в безбрежную мглу, и казалось, что катер испуганно стучит мотором на краю тихой бездны. Маяк низко висел над глухой водяной пустыней, как последнее прибежище человека.

Слабый огонь светился в одном из окон маяка. Над ним победоносно и хищно сверкал маячный огонь, как бы бросая вызов ночной стихии.

Я вспомнил о Ставраки. О чем он думает один на маяке: перебирает ли в памяти свою молодость, свое прошлое, как засохшие полевые цветы, или в который раз читает какую-нибудь книгу, отыскивая в ней утешение для своей неудачливой жизни?

Я снова пожалел старика, но на следующее же утро жалости этой был положен конец — неожиданный и страшный.

Оказалось, что смотритель Батумского маяка Ставраки был именно тем лейтенантом Черноморского флота Ставраки, который в марте 1906 года расстрелял на острове Березани лейтенанта Шмидта.

В ту ночь, когда я проплывал на катере мимо маяка, Ставраки был на рассвете арестован и предан суду.

Подчиняясь какому-то внутреннему требованию и чувству отвращения, я собрал у себя в редакции рукописи статей Ставраки и сжег их. Если бы было можно, я сжег бы свою руку, пожимавшую руку Ставраки. Во всяком случае, я выбросил из редакции в коридор старую садовую скамейку на чугунных ножках, на которой сидел бывший лейтенант Ставраки, и притащил взамен несколько табуреток.

Не знаю, кто из писателей, кто из великих знатоков человеческих душ мог бы написать о черной душе Ставраки, мог бы проследить извилистый путь подлости в мозгу и сердце этого человека. Может быть, Бальзак? Или Достоевский?

«Нет, — думал я, не засыпая по ночам и задыхаясь оттого, что вот тут, в этой комнате, сидел недавно этот человек. Тьма казалась мне до сих пор пропитанной его кислым дыханием алкоголика и курильщика. — Нет, не Достоевский! Конечно, он мог бы написать о нем, но никогда бы не захо-

тел. Никогда! Потому что человеческая доброта могла бы навсегда погаснуть в измученном сердце от прикосновения к жизни Ставраки».

Эта жизнь была сплошной черной изменой. И выросла эта измена из сплошных пустяков: из желания носить лишнюю звездочку на погонах, покрасоваться перед женщинами, из рабьего страха перед всяческой властью — от дворника до императора, из страсти жить богато, беспечно, ни над чем не задумываясь, обсасывая жизнь жадно, как ножку рябчика, и заменяя любовь насилием над хорошенькими горничными. Если это было, конечно, безопасно.

Ставраки окончил вместе со Шмидтом Морской кадетский корпус. Все школьные годы они просидели на одной парте. И все эти годы Ставраки мучился завистью к Шмидту.

Он завидовал его благородству, смелости и его способности к самопожертвованию. Он завидовал ему как будущему герою, трибуну, вождю.

Он знал, что Шмидт способен на это и что эти его качества, если захочет жизнь, дадут Шмидту всемирную славу.

В то время уже Максим Горький сказал свои слова о людях, подобных слепым червям, и Ставраки ненавидел этого «волжского босяка» за то, что он как будто заглянул ему, блестящему гардемарину, в самую совесть и презрительно отвернулся от него.

Когда Ставраки и Шмидт прощались после окончания корпуса, Шмидт сказал Ставраки:

— У тебя, Миша, нет в душе никакого стержня.

— Нет есть! — сердито ответил Ставраки. — Что у тебя за манера — залезать в чужую душу!

— Если и есть стержень, — добавил Шмидт и внимательно посмотрел на Ставраки, — то не железный, а резиновый. Смотри не сковырнись в какую-нибудь гадость. Пока не поздно.

— Мое дело! — ответил вызывающе Ставраки. — Во всяком случае, я не женюсь на проститутке, чтобы спасти ее и лить вместе с ней слезы над ее печальным прошлым, как собираешься сделать ты!

— Довольно! — гневно сказал Шмидт. — У каждого своя дорога. Я могу только молить бога, чтобы наши дороги больше никогда не встречались.

Так они расстались, чтобы встретиться на острове Березани в день расстрела.

Откуда-то, из окаянных степных далей, сочился угрюмый,

холодный рассвет. Шмидта и матросов высадили с катера и повели к столбам, врытым в землю.

Командовал расстрелом лейтенант Ставраки.

Когда Шмидт проходил мимо него, Ставраки стал на колени и сказал:

— Прости меня, Петя, если можешь!..

— Встань, Миша! — не останавливаясь, ответил Шмидт. — Не паясничай! Лучше скажи своим людям, чтобы они целили вернее.

Что было у Ставраки на душе? Очевидно, ничего, кроме желания поскорее отделаться от Шмидта, от этого живого укора. Но с этой минуты Шмидт уже мешал Ставраки жить и чувствовать себя устойчиво и ладно.

Ставраки встал, торопливо отряхнул пыль с брюк и закончил расстрел быстро и как-то напропалую, стараясь не взглянуть на Шмидта, прячась за спинами матросов.

И подлая мысль мучила его до тех пор, пока Шмидт не упал лицом вниз на землю: знает ли он, что Ставраки был единственным офицером Черноморского флота, добровольно согласившимся расстрелять Шмидта? Все офицеры, даже самые отъявленные монархисты, решительно отказались от этого.

Вскоре Ставраки заметил, что его сослуживцы всячески старались не подавать ему руки.

С тех пор он старался служить и жить незаметно, начал избегать людей, дожил до революции, бежал из Севастополя и при меньшевиках начал работать смотрителем Батумского маяка. И так и остался им до прихода Советской власти.

Но я вижу, что мне придется в некоторой части повторить печальную историю лейтенанта Шмидта. Я писал однажды о ней и поэтому прошу читателей, если будут какие-нибудь совпадения, простить меня. Проза, как сама жизнь, велика и разнообразна. Иногда бывает нужно вырвать из старой прозы целые куски и вставить их в новую прозу, чтобы придать ей полную жизненность и силу.

В деле Ставраки было одно странное обстоятельство: никто не мог понять, почему он жил до самого ареста под своей настоящей фамилией, почему он не переменил ее тотчас после революции. Когда следователь спросил его об этом, Ставраки ответил:

— Под любой фамилией меня все равно бы нашли. И чем раньше, тем лучше. И так слишком долго искали!

Даже следователь был озадачен этим ответом и спросил:

— Значит, вы жалеете о случившемся?

— Это не ваше дело! — ответил Ставраки.

Показания он давал скупо, но точно.

Последнее его слово было коротким и ошеломило всех, кто присутствовал на суде.

— В общем, — сказал он глухо и вздохнул с облегчением, — слава богу, кончилась эта волынка. Собаке собачья смерть!

Даже судьи вздрогнули и пристально посмотрели на Ставраки. Он стоял, опустив глаза, и сосредоточенно выдергивал нитку из рваного рукава своего бушлата. И больше не сказал ни слова.

Мы все были потрясены этим делом. Мы понимали, что Ставраки задал всем сложнейшую психологическую загадку, но никто из нас ее не разрешит. Можно было сказать — «раскаяние», как сказал Синявский, или «чудовищное актерство», как сказал Ульянский, или «полное и очень давнее душевное опустошение», — так думал я, — то опустошение, что жгло его изо дня в день, из часа в час и превратило жизнь в каторгу.

Так мы ни до чего и не договорились. Бабель уехал со всей семьей в Тифлис. Маяк продолжал сверкать над морем.

Гораздо позже я узнал, что у Ставраки была молодая жена. После суда и расстрела Ставраки она исчезла. И на маяке Ставраки жил не один, а с женой и в окружении приятелей — спекулянтов. Приятели сбежали с маяка, как только в Батуме установилась Советская власть. В то время Ставраки уже называл себя анархистом-коммунистом.

Меня всегда удивляет одно обстоятельство: мы ходим по жизни и совершенно не знаем и даже не можем себе представить, сколько величайших трагедий, прекрасных человеческих поступков, сколько горя, героизма, подлости и отчаяния происходило и происходит на любом клочке земли, где мы живем. Мы просто не подозреваем об этом.

А между тем знакомство с каждым таким клочком земли может ввести нас в мир людей и событий, достойных занять свое место в истории человечества или в анналах великой, немеркнущей литературы.

К примеру, никто не подозревает, что Батумский маяк связан с одной из больших трагедий, с гибелью лейтенанта Шмидта.

Только иногда, в бесконечные осенние ночи, когда море гнало к берегам стада разъяренных и неутомимых в своей

ярости волн, мрак вокруг маяка казался гораздо гуще, чем всюду. Нечто тяжелое, безвыходное было в этом мраке.

От него хотелось уйти в тепло комнат, где спят, приоткрыв губы, маленькие дети и мир тихо живет, очерченный световым кругом лампы.

Никто бы не поверил, если бы ему сказали, что вот этот вздохнувший от сладкого сна мальчик с пушистыми волосами или эта девочка, заплакавшая почему-то во сне, через несколько лет могут стать предателями, негодяями, убийцами, могут расстреливать невиновных, пытать их, насиловать свободную человеческую мысль, призывать народы к взаимной ненависти и затевать войны во имя своего преступного властолюбия или звериной жадности.

Никто бы не поверил в это и был бы не прав. Это было горше всего для бедного, перенесшего тысячи тягостей, но честного сердца. И потому мне казалось единственно важным объединение всех людей доброй воли. И, кроме того, создание литературы чистой совести и правды.

Ради этого надо было жить, работать, страдать и не сдаваться.

Шмидт испытал много предательства, или, говоря по-старинному, ударов судьбы.

Ставраки попрекнул Шмидта в пылу ссоры тем, что он из соображений ложной гуманности женится на проститутке.

Молодость Шмидта отчасти совпала со знаменитым «хождением в народ», с призывом спасать «падших» женщин и переносить вместе с народом все тягости его существования.

Молодой Шмидт часто бывал в народнической среде Шелгунова и его товарищей. Как человек пылкий, он был сторонником решительных дел, а не решительных разговоров. Поэтому он действительно женился на проститутке, желая ее спасти.

Но с первых же шагов их совместная жизнь пошла вкось — жена Шмидта была даже неграмотной. Шмидт долго, но с очень слабым успехом обучал ее чтению. Но приохотить ее к книгам он так и не смог.

От нее у Шмидта родился сын, совершенно не похожий на отца. Вскоре Шмидт разошелся с женой, оставив ей все. После его расстрела она спекулировала оставшимися у нее вещами Шмидта и печатала в реакционных газетах объявления: «Продается китель лейтенанта Шмидта», «Продается виолончель лейтенанта Шмидта».

Это было одно из предательств, сопровождавших жизнь Шмидта.

Но самым черным, редчайшим по своей низости было, конечно, предательство Ставраки.

И наконец, в жизни Шмидта произошла история, похожая на вымысел и вместе с тем очень горькая. Когда-то давно я писал об этой истории со слов сестры лейтенанта Шмидта и по старым материалам. Сейчас эта история выглядит несколько иначе.

Вот она, рассказанная сжато.

...Летний день в Киеве. Жара. Увядшие пятипалые листья каштанов. Молодой флотский офицер Шмидт останавливается в Киеве от поезда до поезда. Он едет с Дуная в Севастополь.

Я, как киевлянин, хорошо знаю, что значит летняя киевская скука. Испытал эту скуку и Шмидт. Это та скука, когда из всех домов доносится запах «домашних обедов» и кажется, что все интересное, что может случиться в жизни, отодвинулось за десять тысяч километров. Только шарманка фальшиво высвистывает по раскаленным дворам противную немецкую песенку: «Августен, Августен, ах, майн либер Августен!»

Куда деваться? Оказывается, в Киеве есть бега. Шмидт едет на ипподром. Ему повезло: ипподром находится на Печерке, в теплой, высокой и меланхолически пустынной части города.

На ипподроме Шмидт замечает молодую женщину неслыханной, по его впечатлению, красоты. Он романтик. Он часто видел в жизни лишь то, что хотел увидеть.

Он полюбил эту женщину с единого взгляда (как мог бы полюбить всех красивых женщин всего земного шара). Он почему-то уверен, что она испанка. Почему? Из-за глубокого блеска глаз и грудного, сдержанного смеха. Женщина смеется, и горло у нее вздрагивает, как у певчей птицы.

Испания... Он видел ее берега в кремнистых далях, отрезанные от неба, как мечом, полосой густейшей морской синевы.

Здесь я могу писать очень много, но я обещал короткий рассказ и держу себя за руку.

Шмидт теряет испанку в толпе. Он переживает это как катастрофу, хотя в глубине души понимает, что нет такой любимой женщины, которую нельзя было бы найти.

Вечером он садится в поезд на Севастополь. Вот тут мой возраст дает мне некоторые преимущества перед большинством читателей. Потому что я много ездил в те времена и хорошо помню, как тогда выглядели вагоны и поезда.

Представьте себе, что вагоны освещались стеариновыми свечами в железных фонарях. Язычки свечей всегда так сильно и разнообразно плясали, что каждый вагон напоминал театр теней. Тени роились, появлялись, исчезали, черты человеческих лиц становились изменчивыми, как отражения в воде. Урод вполне мог рассчитывать сойти за красавца, а красавица — за ведьму.

В поезде напротив Шмидта села женщина. Он вздрогнул, вытянулся, слегка махнул у себя перед лицом рукой, как бы отбрасывая суматошливые тени, и вдруг чьи-то маленькие руки сжали его сердце, — да, это была она, испанка с ипподрома. Должно быть, сам бог, в которого он позволял себе не верить, привел ее в этот темный вагон второго класса.

Они разговорились. Женщина ехала в Дарницу, дачную местность под Киевом, с вековыми соснами и песками.

Поезд до Дарницы идет тридцать минут. За это время Шмидт бросил всю свою жизнь к ногам этой женщины и с радостью признался самому себе во внезапной любви.

Они обменялись адресами, и женщина сошла, преображенная этим вихрем любви. Потому что нет, должно быть, ни одной женщины, которая не расцвела бы, как редчайший весенний рассвет, зная, что она стала причиной внезапной любви.

Потом Севастополь. Бурный год. Накаленный революцией флот. Судорожная переписка с киевлянкой. Шмидт в своих письмах крылат и порывист, женщина кокетлива и прозаична. Шмидт этого не замечает.

Имя Шмидта — трибуна и вождя — уже гремит по всему миру. Его мужество и преданность народу рождают любовь в миллионах сердец.

Это слава! Это величие!

Но вот восстание, кровь на поверхности севастопольских бухт, две телеграммы Шмидта, звучащие, как грозный крик и мольба.

Одна телеграмма императору Николаю Второму: «Черноморский флот отказывается подчиниться вашим министрам и требует созыва Учредительного собрания. Командующий флотом лейтенант Шмидт». Вторая телеграмма ей, киевлянке: «Приезжай немедленно. Рискуем не увидеться никогда».

Восстание разгромлено. Шмидт арестован, привезен в тихий Очаков и предан с несколькими матросами военному суду.

К Шмидту в Очаков приезжает его сестра Анна Петровна Избаш. Он просит сестру поехать в Киев, разыскать киев-

лянку и привезти ее в Очаков: ему легче будет умереть, увидев ее хотя ненадолго перед казнью.

Сестра в отчаянии: идут последние часы Шмидта, а ей приходится уезжать и терять время во имя любви брата к неизвестной женщине.

Сестра едет в Киев и узнает от ничего не подозревавшего бывшего мужа киевлянки, что ее нет в городе. Анна Петровна рассказывает мужу все. И таково было обаяние Шмидта и власть его имени, что муж отправляется вместе с Анной Петровной в глушь Полтавщины, находит жену и уговаривает ее поехать к Шмидту.

Шмидту разрешают свидание с этой женщиной. Она входит к нему в камеру, и он на мгновение отшатывается. Потому, что в камеру вошла та женщина, какую он видел в полутемном вагоне в бегающем и тусклом пламени свечи, но совсем не та женщина, которой он писал свои вдохновенные письма. Но все равно он был бесконечно благодарен ей за то, что она приехала скрасить его последние часы.

Спустя много лет, зимой 1935 года, я встретился в Севастополе с сестрой Шмидта Анной Петровной Избаш.

Из номера «Северной гостиницы», где она остановилась, виднелась Артиллерийская бухта, — как раз то место, где Шмидта, бросившегося вплавь вместе с маленьким сыном с горящего и тонущего «Очакова», подобрал миноносец и доставил на корабль «Ростислав». Там Шмидт был арестован.

Седой туман нависал сейчас над Севастополем. Туман этот усиливал ощущение пустынности севастопольских улиц. Они оживали только к вечеру, когда списывались на берег команды кораблей. А в полдень Севастополь был так же тих и пуст, как и ночью.

Передо мной сидела, утонув в мягком кресле, маленькая, тонкая, нервная старушка с необыкновенно доброй улыбкой и крепкими молодыми бровями.

Она говорила о Шмидте, называла его Петрушей, и в ее представлении он был, очевидно, в лучшем случае гардемарином, если не безусым кадетом.

— Всю жизнь увлекался и не считался с собой, — вот, по ее мнению, была главная черта брата. — Жил ради других, любил матросов, как малых детей, довольно часто жестоко обманывался, но не позволял себе впадать в отчаяние или хандру. Был он очень пылкий, впечатлительный. Весь жил на нерве. На одном нерве. В молодости я тоже чуть-чуть была похожа на брата. Любил книги, стихи, особенно Байрона — его он читал в оригинале, — музыку, детей и морское дело.

Особенно почему-то маяки. От него осталась целая коллекция гравюр и фотографий замечательных маяков мира. Втайне даже мечтал быть маячным смотрителем, но обязательно на маяке, далеком от городов. «Черт с ним, — говорил он, — хотя бы даже на Тараханкуте! Днем бы уходил охотиться в степь с ружьем или раскапывал бы, не торопясь, могильник около маяка. Говорили, что он скифский и в нем зарыто много утвари и стрел. Копал бы, сгорал от солнца, легкие у меня просмолились бы от тамошних смолистых трав, а вечером, обмывшись пресной водой, сидел бы в маячной каюте около фонаря и читал бы книги. Но медленно, с карандашом в руках и всяческими думами по поводу каждой книги. Считал бы закаты, рассветы, огни пароходов и заносил бы их имена в вахтенный журнал.

И спал бы по ночам чутко, прислушивался бы, не начинает ли позванивать в сигнальный колокол ветер. А в шторм глох бы от рева волн, от клокотания этих бешеных морских сил, от пены, что летит к небу, как протуберанцы на Солнце, от крика чаек, — ты заметила, что во время шторма они насквозь пронизывают этими криками, как иглами, мутный воздух. Вот была бы красота, Аня!» В общем был он самым мирным и незлобивым человеком, и никто из родных и представить себе не мог, что он может стать во главе восстания.

Когда Анна Петровна уезжала к себе в Ленинград, я провожал ее на уютном, маленьком вокзале — том вокзале, где на перроне в двух метрах от горячих вагонов скорого поезда стояли шелестящие тополя в три обхвата. Запах сухих, оставшихся от осени листьев наполнял воздух и даже заглушал привычный дорожный запах каменноугольного дыма и мазута.

Сейчас я вспомнил, сколько людей встречал и провожал около этих тополей, ставших с некоторых пор немыми свидетелями моей жизни.

С этими тополями был неуловимо и непонятно связан в моем сознании щемящий романс Гречанинова: «Она не забудет, придет, приголубит, обнимет, навеки полюбит и тяжкий свой брачный наденет венец».

Почему я вспоминал этот романс на севастопольском вокзале, не знаю. В его словах скрывалась какая-то томительная надежда на счастливую, хотя бы и самую мимолетную любовь и на избавление от одиночества. Я часто чувствовал одиночество — смутно и тяжело.

Удивительно, что во время последней войны вокзальные тополя в Севастополе, говорят, уцелели.

МАРШАЛ БЛЮХЕР

До сих пор мы еще плохо знаем, как создаются народные легенды. Они возникают в глубинах страны — на степных шляхах, в лесах, у догорающих ночью костров. Их рассказывают бывшие бойцы, сельские школьники, пастухи. Их поют дрожащими голосами лирники, ашуги и ахуны.

Легенды рождаются, как ветер. Они шумят над страной и передаются из уст в уста. Они разносят славу побед и гордость народа своими сынами и дочерьми. Народ награждает лучших людей прекрасными легендами, точно так же, как правительство награждает их званием героев.

Легенда — это всенародное признание, проявление любви и благодарности. Мы знаем легенды и песни о Ленине и Дзержинском, Пушкине и Горьком, Ворошилове и Блюхере, Кирове и Фрунзе.

Имя Блюхера окружено славой освободителя. Ни один из завоевателей — полководцев прошлого не мог сказать, как Блюхер:

— Волочаевская эпопея показала всему миру, как умеют драться люди, желающие быть свободными.

Слава Блюхера — это отблеск славы величайшей в мире революции. Блюхер рожден и воспитан ею. Он — ее сын, ее солдат и один из ее полководцев. Он обладает личными качествами, свойственными гражданину социалистической страны и полководцу рабочей армии. Он спокоен, скромен, смел и находчив, упорен и тверд.

* * *

Василий Константинович Блюхер — волжанин. Он родился в 1889 году. Всего полтора года он учился в сельской школе, потом его отвезли в Петербург и отдали «мальчиком» в магазин.

Жизнь этих «мальчиков при магазине» была невыносимой. Их били за каждую пустяковую провинность или просто так, без нужды, чтобы «выбить дурь». У приказчиков существовала традиция непрерывно глумиться над ними. Их заставляли ра-

ботать почти круглые сутки — мести и мыть полы, перетаскивать тяжелые товары, разносить по городу покупки, прислуживать хозяину и его подручным. Их воспитывали по-купечески: «не обманешь — не продашь», «не пойман — не вор». Обстановка мелких краж и злобы окружала этих худых, без кровинки в лице, маленьких рабов.

У Блюхера не было детства. В петербургской лавке, на побегушках, он сразу же, без всяких подготовок узнал и возненавидел тогдашнюю жизнь, отталкивающее лицо старого строя.

Из магазина Блюхер еще подростком ушел на завод. Он работал на франко-русском заводе Берга. Все свободное время он читал запоем, без разбора.

У Блюхера, как и у Горького, единственной школой, единственным его университетом в молодости были книги и люди.

Сила книг, сила знаний, добытых из этих книг, была в те времена различна для людей разных классов. Блюхер сам вырывал знания из книг, он их искал всюду. Его пытливость была неистощима. Поэтому знания и обогащали его во стократ сильнее, чем сыновей других классов, сыновей буржуазии, учившихся в гимназиях и университетах в силу обязанности или традиции.

Обширные знания дают закалку революционному темпераменту. Эту закалку Блюхер начал приобретать с мальчишеских лет.

В 1909 году, когда Блюхер поступил рабочим на Мытищинский вагоностроительный завод под Москвой, он уже был юношей-революционером с ясной головой и твердой волей.

Были годы реакции. Их звали тогда безвременьем. Смысл этого слова почти непонятен молодому советскому поколению. Это слово умерло с первых же дней революции.

Безвременье — это серые, долгие годы приглушенной, почти потухшей легальной общественной мысли, годы ожидания, годы жестоких расправ царского правительства со всем живым и беспокойным, что еще оставалось в стране.

Но безвременье существовало преимущественно для интеллигенции. На закопченных заводах, в дощатых домах рабочих окраин шла напряженная жизнь. Революционная мысль и революционный гнев росли, крепли, захватывали все более широкие пласты рабочих масс и городской бедноты, ремесленников и крестьян. Большевистская партия упорно работала в подполье.

В 1910 году молодой мытищинский рабочий Блюхер впервые выступил как революционер. С каменной тумбы на заводском дворе он произнес перед рабочими горячую речь. Он при-

зывал к забастовке. За что он был приговорен к 2 годам 8 месяцам тюрьмы.

Тюрьма была для Блюхера продолжением революционной школы. Для истинных революционеров даже годы сидения в одиночестве никогда не пропадали даром — тюрьма делала их непримиримыми, уничтожала без остатка мысль о возможности мирного пересоздания общества.

С первых же дней европейской войны Блюхер был взят в армию. Он был простым солдатом, рядовым, но прежде всего — революционером.

Не было лучшего места для роста революционного сознания и для революционной работы, чем затоптанные поля сражений, сгоревшие местечки, залитые глинистой водой окопы. Громадные армии, миллионы рабочих и крестьян, одетых в шинели и папахи, были согнаны на эти поля убивать и умирать во имя прибылей, рынков, торговых сделок.

Нищие, измаявшиеся от непонимания своей беды крестьяне, растерянные, не знавшие, где враги, где друзья, месили кровавую грязь, отступая без снарядов, без патронов, озлобленные, ежеминутно готовые к восстанию. Слово «измена» катилось по фронтам и еще больше мутило головы солдатам.

Позади, за спиной ждала нищета, бесправие, голодный тиф. Впереди — ураганный огонь, немцы, бессмысленная смерть. Чудовищный, еще небывалый в мировой истории обман народных масс совершался у всех на глазах.

Всюду — в окопах и на ночевках в амбарах-стодолах, в походе и в боях Блюхер разоблачал этот обман, бросал во взбудораженные умы солдат простые, ясные слова о причинах войны, об ее отвратительных целях, об единственном средстве избавить человечество от ужасов войны и эксплуатации — о пролетарской революции.

В 1916 году Блюхер был тяжело ранен и уволен из царской армии. Он вернулся в родные места, на Волгу, работал токарем на Сормовском судостроительном заводе, оттуда перешел на механический завод Остермана в Казани.

В Казани в 1916 году Блюхер вступил в партию.

Он много и упорно учился, хотел даже сдать экзамен при гимназии на аттестат зрелости. Каждый вечер после работы на заводе он ходил в Собачий переулок к студенту-репетитору Нагорному.

Нагорный был энергичный юноша, бравшийся за одну зиму пройти с учениками полный курс гимназии. Он задавал Блюхеру чудовищные уроки. Один из питомцев Нагорного, учившийся у него вместе с Блюхером, вспоминая об этом времени, со-

знается, что от обилия заданного все ученики Нагорного совершенно шалели, и один только Блюхер упорно и точно выполнял все требования неистового репетитора.

На заводе Остермана было много молодых рабочих. Все заводы работали тогда «на оборону», и старых рабочих не хватало. Большинство остермановских рабочих были неопытны, не потерлись еще в пролетарской среде, не знали самых простых технических навыков. Среди молодых рабочих было много «горчичников». Так на Средней Волге зовут городских бедняков, ремесленников — «люмпенов».

«Горчичники» долго не могли привыкнуть к тому, что Блюхер такой же рабочий, как и они. Их поражали его сдержанность, вежливость, привычка чисто одеваться, его правильный русский язык: «горчичников» Блюхер учил не только токарному делу, но и политической грамоте.

На заводе Блюхер провел итальянскую забастовку в защиту уволенного товарища. В те годы увольнение с завода грозило отправкой на фронт.

Февральская революция застала Блюхера в городе Петровске бывшей Самарской губернии. Блюхер работал на тамошнем маслобойном заводе. При первом же известии о революции он бросил Петровск и уехал в Самару.

Приближался Октябрь. В Самаре во главе местных большевиков работал Куйбышев. Блюхер работал вместе с ним — он руководил всем, что имело отношение к военному делу, к солдатам, к организации вооруженных рабочих отрядов.

Популярность Блюхера среди солдат запасных частей, стоявших в Самаре, была огромна. Воинские части, формально подчиненные Временному правительству, на деле были целиком в руках скромного и смелого большевика, токаря Блюхера.

В Октябрьские дни Блюхер был членом Самарского революционного комитета и начальником губернской охраны.

С октября 1917 года начался стремительный рост Блюхера — столь же стремительный, как и развитие самой революции.

Все предыдущие годы с их упорной, но небольшой по размаху революционной работой, годы войны и медленного, трудного самовоспитания, создания из самого себя при помощи партии культурного и проницательного революционера, сразу же отодвинулись в прошлое. Они кажутся только необходимой подготовкой и коротким предисловием к новой жизненной эпохе, отмеченной великими делами, победами и славой.

* * *

Талант Блюхера как полководца проявился на Урале в 1918 году во время героического похода в тылу у белых.

В мае 1918 года восстали чешские батальоны. Чехи шли эшелонами во Владивосток. Поезда с чехами растянулись от Пензы до Иркутска. Восстание чехов началось одновременно по всему этому длинному пути.

Вооруженные до зубов чехо-белогвардейцы захватывали города, арестовывали и расстреливали советских работников, создавали в занятых областях «маргариновые» белые правительства.

Плохо вооруженные, разрозненные партизанские отряды отчаянно дрались с чехами, но вынуждены были отступать — не было патронов, не было пулеметных лент. Вместо пулеметов, чтобы хотя на время ввести в заблуждение врага, пускали в ход самодельные деревянные трещотки.

На Урале партизанские отряды отошли с тяжелыми боями под натиском чехов и белых к Белорецкому заводу.

На западе, востоке и севере были чехи, на юге — банды атамана Дутова. Красные отряды оказались в кольце белых. До своих, до ближайших регулярных частей Красной Армии, было свыше 1000 километров пути через области, занятые белыми.

На юге, в Оренбурге, стоял Блюхер, выбивший из города казачьи полки Дутова. Блюхер пошел на помощь уральским рабочим отрядам и соединился с ними в Белорецке. Был образован Южно-Уральский отряд численностью в 10 тысяч человек. Отряд этот отличался от остальных партизанских отрядов тем, что в его составе было крепкое, испытанное в революционной борьбе ядро рабочих-большевиков, составивших Белорецкий социалистический полк. В этот полк входили рабочие Белорецкого, Тирлянского, Кагинского и Узянского заводов.

Старинный Белорецкий завод был запружен оборванной, запыленной, измученной боями армией и тысячами беженцев.

Нужно было во что бы то ни стало прорваться к своим. Путь на юг, к Ташкенту, был долог и шел по открытым степям. Можно было пробиться на север, к Екатеринбургу, занятому Красной Армией, и на восток.

На пути к Екатеринбургу лежал Верхнеуральск. Туда белые стянули крупные силы. Чтобы пройти на север, нужно было выбить белых из Верхнеуральска.

Десять дней красные части прорывались с боем через густые, девственные леса. Лето стояло знойное, засушливое.

Лесные бои — самые трудные и медленные. Каждое дерево

превращается в форт, каждая заросль дикой малины — в засаду. Но все же бойцы, хотя и ограниченные «патронным пайком», медленно, шаг за шагом, сбивали белые казачьи части и офицерские роты и подошли к Верхнеуральску.

Белые окопались под городом на горе Извоз — лысой, пыльной, заросшей низкой колючей травой. Гора была густо заплетена проволокой и изрыта волчьими ямами. Длина проволочных заграждений составляла двадцать километров — неслыханная длина в истории гражданской войны. А в отряде не было даже ножниц, чтобы резать проволоку.

Начался кровопролитный штурм Извоза. Красные части карабкались под ураганным огнем на крутую и гладкую гору, где не было никаких, даже самых пустяковых, прикрытий. Пулеметные пули поднимали густую пыль.

Бойцы ломали проволоку руками, бросались на нее с размаху всей тяжестью своих тел и рвали ее, оставляя на колючках куски кожи и одежды. Многие бойцы проползали под проволокой по земле.

Патроны быстро иссякли. Единственный выход был в том, чтобы скорее прорваться через проволоку и броситься на белых в штыки.

К вечеру проволока была прорвана и начался безмолвный рукопашный бой. Белые дрогнули. К ночи Извоз был взят, путь на север был свободен, но этой же ночью в отряде узнали, что Екатеринбург пал, захвачен белыми.

Двигаться дальше на север было бесполезно. Нужно было выбрать другой путь.

Созвали совещание командиров. На нем Блюхер изложил свой план соединения с Красной Армией.

Надо было вернуться в Белорецк и двигаться оттуда через горы на запад по глухим дорогам, дойти до берега Белой, свернуть вдоль реки на север, пересечь железную дорогу и соединиться с частями Красной Армии около Кунгура. На этом пути было меньше белых. Высокие горные цепи защищали от ударов с флангов, и, кроме того, были сведения, что в этом районе действовали небольшие партизанские отряды.

План Блюхера был принят всеми командирами. На этом же совещании Блюхер был избран командующим Южно-Уральским отрядом.

Отряд начал с боями отходить от Верхнеуральска к Белорецку. Каждый день налетали казаки.

В одной из стычек казаки окружили пулеметчика Бачурина. Он выпустил последнюю ленту, лег на пулемет и взорвал себя вместе с пулеметом ручной гранатой.

Через много лет после этого Блюхер писал: «Мне вспоминается бесконечное число случаев беспримерного героизма». Смерть Бачурина была одним из этих бесконечных случаев.

В старой, дореволюционной армии, в армиях других стран бывали проявления храбрости. Но нигде и никогда еще не было такого случая, чтобы вся армия состояла из людей, для которых героизм стал второй натурой, как это было и есть в Красной Армии.

Героизм определяется не только личной храбростью, но, главным образом, величием и силой идей, за которые люди дерутся. В этом причина героизма Красной Армии и залог ее непобедимости.

После недолгой передышки в Белорецке начался беспримерный поход Южно-Уральского отряда на запад, через территорию, занятую белыми.

5 августа 1918 года отряд выступил из Белорецка. Он растянулся по глухим горным проселкам на двадцать километров. Шла босая пехота, шла измученная кавалерия, гремели старые, износившиеся орудия, тянулись сотни подвод с ранеными бойцами, боевыми припасами и провиантом. Вместе с отрядом уходили из Белорецка сотни рабочих.

Путь был мучителен. У телег горели немазаные колеса, на тяжелых, почти непроходимых подъемах лошади выбивались из сил, есть было нечего.

Босая и голодная армия медленно, непрерывно и упорно двигалась на запад, легко отбрасывая налетавшие на нее казачьи отряды. В этом движении было столько настойчивости и спокойствия, что белые вначале растерялись.

Имя Блюхера вызывало трепет. Кто он, откуда появился этот неустрашимый и талантливый полководец, чьи оборванные полки спаяны, как легендарные римские легионы? Кто он, полководец армии, которую невозможно остановить, как нельзя остановить медленно текущую глубокую, полноводную реку? Не может быть, чтобы это был простой рабочий, токарь, бывший рядовой царской армии. Белые газеты печатали сенсационные известия о том, что Блюхер — немецкий генерал, нанятый за большие деньги Совнаркомом. Белое командование назначило за голову Блюхера награду в двадцать тысяч рублей. Блюхер, читая объявления об этом, сдержанно улыбался — он был совершенно спокоен за свою голову.

У себя в штабе он изучил карты и разгадывал их с необычайной легкостью. Карта оживала в его руках и выдавала все свои тайны, ловушки, скрытые опасности.

В боях он был рядом с бойцами. Под ним убивали лошадей,

но пули не трогали его. Его видели всюду в отряде — этого стройного жизнерадостного человека с серыми, очень внимательными, чуть прищуренными глазами и спокойным, мужественным голосом. Всюду была видна его потертая до белых лысин кожаная куртка и старая солдатская фуражка.

Он мало смеялся. Смех у него заменяла улыбка. Только один раз во время похода бойцы видели, как командующий смеялся громко, от души.

Это было на берегу реки Сарыган. Измученные кавалеристы остановились на привал под черными густыми ивами, разделись и начали купаться. Неожиданно из леса вырвались казаки.

— Кошомники! — успел крикнуть кто-то из бойцов. Нет более обидного прозвища для казаков, чем это малоприятное слово. Казаки спешились и открыли по кавалеристам огонь. Пули с треском распарывали воду. Одеваться было некогда. Голые кавалеристы вскочили на коней и с громкими криками ринулись на казаков в атаку. Казаки бежали. Блюхер смеялся. Должно быть, впервые в военной истории кавалерия голой ходила в атаку.

Стояла медная и звонкая уральская осень. Дороги и леса были засыпаны палыми листьями. Их терпкий, холодный запах освежал усталых бойцов. На привалах бойцы собирали костянику, — они называли ее «кровавыми слезками». Осень была, на счастье, сухая, ясная, почти не было дождей.

В Богоявленском к отряду Блюхера присоединился партизанский отряд Калмыкова. Богоявленские рабочие решили уходить от белых вместе с красными частями. По всему поселку зазвонили в старинные чугунные била — созывали сход. Надо было решить — брать ли с собой семьи или оставить их в Богоявленском? Рабочие решили семей не брать, чтобы не задерживать громоздкими обозами движение отряда и дать ему возможность поскорее соединиться с главными силами Красной Армии.

За Богоявленском горы стали ниже, появились первые липовые леса — отряд выходил в предгорья Урала.

От села Макарова отряд повернул на север, на Кунгур, оставляя Уфу к западу. В Уфе началась паника. Белые газеты писали, что Блюхер убит, но никто в это не верил.

Отряд остановился у глубокой и быстрой реки Сим. Начали строить мост. Гвоздей не было, пришлось связывать бревна веревками.

Белые воспользовались остановкой Блюхера, чтобы нанести ему сильный удар. Блюхер принял бой.

Сражение развернулось широким фронтом, — длина его составляла тридцать километров. Чтобы отвлечь внимание белых от строившегося на Симе моста, Блюхер начал ложную переправу через реку Белую около Бердиной Поляны.

Бой шел в деревнях Зилим, Ирныкши и Бердина Поляна. Деревни горели. Под Блюхером был убит его любимый конь. Белые наседали с неслыханным ожесточением. Дрались главным образом на околицах деревень. Поэтому бои за переправу через Сим получили у бойцов название «околичных». Несколько раз белые начинали теснить красные части, но положение спасали стремительные встречные атаки.

Главные силы вступили на мост. Белых сдерживали только арьергарды. К ночи переправа всего Уральского отряда через Сим была закончена.

Мост сожгли, и отряд стремительно двинулся дальше на север и перерезал около станции Иглино (к востоку от Уфы) Самаро-Златоустовскую железную дорогу, отшвырнув к Уфе заградительные отряды белых.

Чешские батальоны отступили к Уфе, даже не приняв боя. Подтянутые и чистые чешские полки не выдерживали схваток с голодной армией — неистовой и бесстрашной.

Отступление чехов усилило панику в Уфе. Она достигла наивысшего напряжения, когда красные части обстреляли поезд, в котором ехали в Уфу члены пресловутого уфимского учредительного собрания. Среди обстрелянных были Чернов и Брешко-Брешковская.

Части Блюхера разрушили железную дорогу на двадцать километров и двинулись дальше на север. Впереди было последнее препятствие — река Уфа.

Белое командование бросило в погоню за Блюхером отборные части. Неуловимый Блюхер уходил из западни, из окружения, быстро двигался к рубежам, за которыми преследование его становилось уже невозможным. Необходимо было задержать его на реке Уфе. Белые рассчитывали, что Блюхеру не удастся перейти реку, — места вокруг были безлесные, не из чего было построить мост, а река была полноводная и быстрая, с топкими, болотистыми берегами.

Когда Уральский отряд выходил из Иглина, Блюхер стоял на крыльце деревенского дома и смотрел на свои войска.

Удивительная армия проходила перед ним — исхудалая, почерневшая от непрерывных походов и сражений. Бойцы несли самодельные грубые знамена, покрытые пылью, изорванные в клочья в боях. Армия была одета в лапти, в зипуны, в пид-

жаки, в заскорузлые солдатские шинели. Разнокалиберные потертые винтовки качались за плечами, шашки у кавалеристов были не в ножнах, а в деревянных колодках.

Шли русские, башкиры, латыши, уральские казаки, украинцы, китайцы, шли молча, вперемежку с обозами. Возницы, проезжая мимо Блюхера, снимали шапки, раненые подымали вверх костыли, приветствуя своего командующего.

Блюхер молчал. Голодная армия, покрытая славой, армия первых дней революции шла на новые испытания. Ее не надо было ободрять, она не нуждалась в благодарности — каждый боец дрался за свое кровное дело.

На реке Уфе не было леса. Мост пришлось строить под ураганным огнем, в обстановке напряженного боя. Мост длиной в сто саженей складывали из гнилых бревен от разобранных изб. Бревна доставляли крестьяне-башкиры. Они подвозили их к берегу реки по болотам под орудийным огнем.

Бревна закидали хворостом, и началась осторожная переправа. Кавалерийские части Блюхера ударили во фланг белым и приняли на себя весь огонь, пока отряд не переправился через Уфу.

За рекой армия Блюхера вышла из лесов и гор в глухие, безлюдные равнины, заросшие редким березовым лесом. Шли по проселочным дорогам. Главные силы Красной Армии были уже недалеко.

В один из серых и сырых осенних дней разведка Блюхера встретилась с передовыми частями Красной Армии. Случилось это около деревни Аскино к югу от Кунгура. А через несколько часов регулярные части Бирской бригады, выстроившись, пропускали мимо себя неожиданно появившуюся из уральских земель армию Блюхера.

Весть о появлении этой армии, прошедшей с боем 1500 километров по белым тылам, быстро разнеслась по всей стране, по фронтам. Застучали аппараты прямых проводов. Шли донесения Блюхера, шли радостные ответы из Кремля.

30 октября 1918 года Блюхер был награжден за героический поход по Уральским горам орденом Красного Знамени. Блюхер был первым человеком в стране, получившим этот орден.

А через семнадцать лет — в 1935 году — молодые рабочие Белорецкого завода прошли пешком весь этот героический путь, чтобы изучить и на всю жизнь запомнить места, где проходили вместе с Блюхером, отбиваясь от белых, их отцы и деды. Молодых рабочих провели по этому пути трое старых партизан, участников легендарного похода.

* * *

В 1919 году Блюхер с 51-й стрелковой дивизией прошел всю Сибирь, очищая ее от Колчака. 51-я дивизия была сформирована им из закаленных бойцов — уральских рабочих и сибирских партизан.

В 1920 году дивизия была переброшена под Каховку и Перекоп против Врангеля.

К своим воспоминаниям о Перекопском бое Блюхер взял эпиграф из Багрицкого:

И, разогнав густые волны дыма,
Забрызганные кровью и в пыли,
По берегам широкошумным Крыма
Мы красные знамена пронесли.

Так встретились полководец и поэт. Эта как будто незначительная черта характеризует все наше время.

Командующий пролетарской армией знает и любит поэзию, — она ему сродни. Характерна также та ненависть, с которой Блюхер упоминает о солдафонстве иностранных генералов и офицеров. Дух старых армий ненавистен ему, врожденному пролетарскому полководцу. В бою Блюхер смел и решителен, в личной жизни он мягок и культурен в самом высоком значении этого слова.

51-я дивизия получила приказ овладеть Перекопом. Нет ни одного человека в Советском Союзе, который бы не знал хотя бы в общих чертах картины этого громадного беспримерного боя. Перед ним меркнет слава Аустерлица, Бородина, Ватерлоо.

Части 51-й дивизии шли на штурм перекопских бетонных укреплений и Турецкого вала, закрывавших наглухо Крым. Крупные военные специалисты Европы считали, что Перекоп неприступен.

Но Перекоп был взят. В своих воспоминаниях, сдержанных и полных скупой выразительности, Блюхер говорит: «Мы наблюдали грандиозную панораму еще невиданного по масштабу боя. Мы натолкнулись на стену из жерл орудий и дул пулеметов».

Волны огня с суши и с моря били в ряды бойцов 51-й дивизии. Дивизия бросалась на штурм, огонь сбивал ее с Турецкого вала, бойцы слепли от света прожекторов, но бросались в штыки снова и снова, и к вечеру белые офицерские полки были выбиты из бетонных укреплений и в беспорядке отошли на Юшунские позиции.

11 ноября 51-я дивизия прорвала и Юшунские позиции бе-

лых. «Сегодня, — телеграфировал в этот день Блюхер, — в 9 часов утра дивизия вступила твердой ногой в чистое поле Крыма».

15 ноября дивизия вошла в Севастополь. Прекрасный город, город Черноморского флота и революционных традиций, прекрасная южная земля были возвращены революции.

51-й дивизии было присвоено с тех пор название Перекопской. За бой под Каховкой и Перекопом Блюхер получил еще два ордена Красного Знамени.

* * *

В 1921 году Блюхер был назначен председателем Военного совета и главнокомандующим всеми вооруженными силами Дальневосточной республики.

Приморье было занято японцами. Как и все интервенты, японцы прибегли к излюбленному шаблонному приему, — они создали во Владивостоке белое правительство Меркулова, сами же изображали из себя только недолгих друзей, призванных этим правительством для защиты от большевиков. Интервенты были всегда наглы, в этом же случае они были еще и глупы. Совершенно непонятно, кого они хотели убедить в своих «мирных намерениях». Никто в мире в это не мог поверить.

Свое настоящее лицо японцы показали во время переговоров с представителями Дальневосточной республики в Дайрене в 1921 году. В этих переговорах участвовал Блюхер.

Японцы выставили ряд наглых и разбойничьих требований. Они требовали, чтобы на территории Дальневосточной республики не был введен «коммунистический режим», требовали сохранения частной собственности, уничтожения всех укреплений и береговых батарей, передачи им якобы на 80 лет Северного Сахалина. Наконец, они требовали, чтобы Дальневосточная республика не имела на Тихом океане ни одного военного корабля.

Представители Дальневосточной республики ответили резким отказом и уехали из Дайрена.

Тогда японцы бросили против частей народно-революционной армии Дальневосточной республики банды атамана Калмыкова и генерала Молчанова. Чтобы охарактеризовать этих людей, достаточно привести отзыв о Калмыкове американского генерала Гревса, начальника американских экспедиционных войск на Дальнем Востоке. Ему-то уж не было смысла разоблачать Калмыкова. «Калмыков, — сказал Гревс, — был самым отъявленным негодяем, которого я когда-либо видел».

Калмыкова сменил Молчанов. Лозунг у Молчанова был простой: «Вперед к Кремлю».

В декабре 1921 года войска Молчанова перешли нейтральную зону, установленную между Владивостоком и Хабаровском, и захватили Хабаровск. Части народно-революционной армии отступили.

«Необходимо было, — говорит Блюхер, — крепко ударить белых интервентов в зубы».

Вскоре после занятия Хабаровска белыми Блюхер был назначен главнокомандующим народно-революционной армией. Он уничтожил в ней дух партизанщины и превратил ее в регулярную армию, хотя и плохо еще одетую и вооруженную, но все же гораздо более крепкую и дисциплинированную, чем раньше.

С первых же дней своей военной работы Блюхер стремился к превращению вооруженных рабочих дружин и партизанских отрядов в регулярные красноармейские части. Он боролся за дисциплину, за четкость, за культурность армии, за новейшее вооружение, за использование всего ценного, что заключается в военной практике других стран, иными словами, он всегда боролся за то, чтобы армия первого в мире социалистического государства была непобедимой.

Вступив в командование армией Дальневосточной республики, Блюхер немедленно начал разрабатывать план сокрушительного удара по войскам генерала Молчанова.

В поезде по пути на Дальний Восток он написал письмо генералу Молчанову, являющееся блестящим образцом агитации. Письмо это широко распространили по белой армии и только после этого переслали самому Молчанову.

«Я — солдат революции, — писал Блюхер, — и хочу говорить с вами, прежде чем начать последний разговор на языке пушек.

Какое солнце вы предпочитаете видеть на Дальнем Востоке? То ли, которое красуется на японском флаге, или восходящее солнце новой русской государственности, начинающее согревать нашу родную землю после дней очищающей революционной грозы».

На станции Волочаевка белые создали второй, дальневосточный Перекоп. Высокая сопка Карань около станции была оплетена проволокой в шесть рядов. Все было изрыто окопами, блиндажами, волчьими ямами. У белых были орудия, бронепоезда, танки. «В Волочаевке создан Верден», — с восторгом писали белые газеты.

Народно-революционная армия была раздета, плохо обута. В армии был всего один старенький танк.

Стояли жестокие, невыносимые морозы в 40—45 градусов. Несмотря на это, Блюхер решил взять Волочаевку. Старые военные специалисты считали, что брать Волочаевку зимой — безумие, что армия погибнет от морозов, не сможет даже вести огня, что операцию надо отложить до весны. Но Блюхер назначил штурм Волочаевки на 10 февраля — ждать было нельзя. Каждый день промедления укреплял белых и усиливал наглость интервентов.

10 февраля поздним утром на низкой, болотистой равнине, засыпанной снегом, в редком березняке, свистевшем от ледяного ветра, в жестокий мороз, в зимней тяжелой мгле бойцы народной армии начали штурм сопки Карани — подступа к Волочаевке.

Пальцы прилипали к затворам, мороз душил, ослеплял, пули звенели в застывшем воздухе, как в битом стекле.

Проваливаясь в снегу, бойцы рвали колючую проволоку руками и несколько раз ходили на белых в штыковые атаки. Бронепоезда били по частям народной армии сосредоточенным огнем. Белые заливали равнину огнем свинца. Раненых было немного, потому что раненые падали в снег и замерзали от чудовищной стужи. Многие замерзли во время перевязок.

К вечеру бой стих, не дав решительных результатов. Обмороженные части народной армии остановились.

11 февраля боя не было. Наши части лежали в снегу около проволочных заграждений противника.

«На морозе, от которого стыла кровь, — пишет один из участников волочаевских боев, — залегла армия Восточного фронта».

Блюхер по колено в снегу обходил части. Веселый и простой, он шутил с народоармейцами, очень внимательно слушал и тепло отвечал. В беседе его открытое, загорелое лицо быстро меняло свое выражение. Когда он был чем-нибудь недоволен, его черные брови тесно сдвигались. Блюхер недавно прибыл на фронт, но народоармейцы уже хорошо знали и любили его.

Места вокруг Волочаевки были безлюдные, пустынные. Поблизости не было ни деревень, ни поселков. На равнине стояло только три небольших дома.

Весь день 11 февраля бойцы по очереди отогревались в этих домах. У многих бойцов были отморожены уши и руки. Дома были жарко натоплены. В одну маленькую комнату набивались десятки бойцов. Люди лежали штабелями друг на друге.

Белые недоумевали. Молчание народной армии они приняли за какую-то военную хитрость и начали нервничать.

12 февраля в седом рассветном дыму народная армия бро-

силась на второй штурм Волочаевки. Бой за короткое время достиг жестокого напряжения. К десяти утра вся равнина дрожала от орудийного грома и криков атакующих частей. Белые дрогнули.

Заросшие инеем, засыпанные снегом, окутанные паром от дыхания, бойцы народной армии пошли в штыки. Тусклое солнце осветило цепи людей, похожих на глыбы снега и льда. Но эти люди не лежали пластом на земле, они бежали вперед по снегу, покрытому розовыми пятнами крови, и, казалось, ничто в мире не могло их остановить.

Белые не выдержали. Они начали отходить, отстреливаясь от бойцов народной армии, как от призраков, потом отход превратился в бегство. Днем Волочаевка была взята, а 14 февраля был взят и Хабаровск.

Героизм красных частей под Волочаевкой был беспримерен. Даже сдержанный Блюхер, объезжая места боя, сказал, что он затрудняется выделить доблесть какой-нибудь отдельной части: геройски боролись и самоотверженно глядели в лицо смерти все.

Даже белые были поражены отвагой наших частей. Полковник Аргунов, командовавший белыми частями в районе Волочаевки, убегая к Иману, сказал, что он всем бы красным героям Волочаевки дал по георгиевскому кресту.

Белым не помогло ничто — ни прекрасное вооружение, ни опытное командование, ни то, что белая армия хорошо питалась, была тепло одета. Не помогли и призывы генерала Молчанова к своим старшим начальникам «вдунуть в сердца подчиненных страстный дух победы и наэлектризовать каждого».

Через несколько дней народная армия встретилась в Спасске с японцами. Японцы начали отходить к Владивостоку — их карта была бита. Вскоре и Владивосток стал советским, стал «нашенским», как сказал Ленин.

За разгром белых и интервентов на Дальнем Востоке Блюхер был награжден четвертым орденом Красного Знамени. Слава его как полководца перешла за рубежи Советского Союза. Иностранные военные специалисты писали о нем как о блестящем стратеге — писали скрепя сердце, с тайным страхом в душе.

Ведь даже врангелевские газеты говорили о Блюхере, что он «силен, хитер, но наши войска с божьей помощью его разобьют». Врангелю не могли помочь ни бог, ни черт, ни даже высокая военная техника, переданная ему оккупантами, ибо в классовой войне победа определяется силой классовой ненависти и чувством правого дела.

* * *

С 1924-го по 1927 год Блюхер работал в Китае. Он был главным военным советником национального правительства Китая, советником Сунь Ят-сена. После того Блюхер вернулся в Советский Союз и продолжал упорную работу над укреплением Красной Армии.

Осенью 1929 года, когда китайские белобандиты захватили Китайско-Восточную железную дорогу и перешли границы Советского Союза, Блюхер был назначен командующим Особой Дальневосточной армией.

Всем памятна эта короткая война, получившая название конфликта. Одним быстрым и метким ударом Блюхер уничтожил ядро белобандитских войск. Еще у всех в памяти несметное число пленных и военного снаряжения, захваченного Блюхером.

Все методы и характер этой войны определяются следующим приказом Блюхера:

«Я призываю к величайшей бдительности. Еще раз заявляю, что наше правительство и в данном конфликте придерживается неизменной политики мира.

На провокацию необходимо отвечать нашей выдержкой и спокойствием, допуская впредь, как и раньше, применение оружия исключительно только в целях собственной самообороны от налетчиков».

В этой войне Дальневосточная Красная армия и Блюхер, руководивший ею, снова показали всему миру не только свою боевую, но и революционную и моральную мощь.

В первые дни войны было замечено, что китайцы проявляют панический страх перед пленом. Некоторые пленные даже пытались покончить самоубийством. Об этом стало известно Блюхеру. Надо было найти причину необоснованного страха. Блюхер изучил для этого всю агитационную белую литературу — он понимал, что страх этот навязан со стороны и не является непосредственным.

Оказалось, что белые листовки были наполнены рассказами о жестокости русских. Листовки напоминали китайским солдатам о так называемом боксерском восстании, когда по приказу русских генералов в Амуре были утоплены тысячи китайских крестьян. Белые использовали этот случай для агитации против Дальневосточной Красной армии — ведь эта армия по национальности была в большинстве своем русской.

Разбить эту агитацию ничего не стоило. Она была уничто-

жена самим ходом вещей — гуманным и товарищеским отношением к пленным китайским солдатам.

Дальневосточная армия была первой армией в мире, подвозившей на поля сражения не только патроны и снаряды, но и муку и продовольствие. Муку раздавали бесплатно китайской бедноте. Нищие китайские деревни благословляли приход таких необыкновенных «врагов». Но это не было военным приемом, средством заслужить любовь населения — это было простое выражение солидарности с бедняками крестьянами всех стран, всех народов.

* * *

В нашей Красной Армии рождаются прекрасные традиции. Одна из таких традиций — тесная связь армии с родителями бойцов. Эта традиция особенно крепка в Дальневосточной армии. Блюхер является ее вдохновителем. Он неотступно проводит ее в жизнь. Он переписывается с семьями бойцов, ежедневно укрепляет крепкие нити, связывающие армию с ее народом. Он приглашает родителей бойцов посетить армию и встречает их как дорогих и почетных гостей.

Служба в Дальневосточной армии требует особой бдительности. Сплошь и рядом белые и японские банды переходят границу и встречают жестокий отпор. В этих стычках бывают убитые и раненые бойцы, и каждый раз Блюхер пишет родителям этих бойцов письма, чтобы утешить их в горе. Блюхер хорошо знает цену простой народной мудрости, цену слов: «Какова березка — таковы и листочки». Он знает, что за спиной его бойцов стоят не менее мужественные, отважные отцы, братья, сестры. И почти всегда на место погибшего семья дает другого бойца, чтобы так же стойко и бдительно охранять границы Союза от врагов, и новому бойцу передается по традиции винтовка погибшего.

Недаром старый колхозник Михеев, побывав в Дальневосточной армии, писал Блюхеру:

«Я — седовласый старик, много видел на своем веку, но, честное слово, я еще не видел такого прекрасного края, как Дальний Восток, и вы его, товарищ Блюхер, вместе с нашими сыновьями зорко охраняете. Особая Краснознаменная армия, ее бойцы и ее командиры украшают Дальний Восток!»

Четыре сына Михеева служат в ОКДВА. Из этих четырех братьев создан экипаж одного из танков.

«В своем письме, — ответил Блюхер Михееву, — вы с чувством неподдельного восторга отозвались о бойцах и командирах ОКДВА, заявляя, какой хороший народ в Красной Армии.

А ведь народ этот — ваши сыновья, дорогой Дмитрий Федорович».

Наша молодежь мечтает о том, чтобы служить под начальством маршала Блюхера. Блюхер получает сотни писем от юношей с просьбой принять их в Дальневосточную армию.

Из множества этих писем я остановлюсь на одном.

Содержание его таково:

«Может быть, вы помните Казань, где вы работали токарем на заводе Остермана; может быть, вы помните, как к вам приходили два соседских маленьких мальчика. Вы вырезали им деревянные пистолеты и сделали деревянные пули, обернутые серебряной бумагой. Так вот, один из этих мальчиков уже вырос и мечтает только о том, чтобы свою красноармейскую службу отслужить в героической армии, которой вы командуете».

* * *

Имя Блюхера в последние годы неразрывно связано с Дальним Востоком, под его руководством наша дальневосточная граница превратилась в «границу из бетона».

Блюхер охраняет границу— зорко, спокойно, охраняет сильной рукой. Нужна большая выдержка, чтобы не отвечать на бесчисленные провокации, которыми так богата эта граница, и вместе с тем давать неспокойным соседям хорошие уроки, когда это бывает нужно.

Страна спокойна за этот далекий и сказочно богатый край. Он расцветает на глазах. По словам Блюхера, карта Дальнего Востока меняется непрерывно. Эти слова — деловое замечание, а не художественный образ. Они характерны для полководца, привыкшего читать карты, как мы читаем книги.

Когда Блюхер говорит, что дальневосточная тайга расступается перед волей большевиков, в этой фразе точно и коротко выражен грандиозный процесс изумительного культурного и хозяйственного роста края.

Страна спокойна за Дальний Восток — его охраняет Маршал Советского Союза Блюхер — человек высокой революционной закалки, человек громадного личного мужества и стойкости, прямоты и военного таланта, человек нового времени и новой, социалистической культуры.

II

ОРЕСТ КИПРЕНСКИЙ

Поздней осенью 1836 года в устье Невы против Галерного острова бросил якорь грязный итальянский корабль. Он пришел из Ливорно.

Падал первый снег. Он сваливался пластами с грубых парусов, но тонким серебром ложился на реи. В сумерки корабль, занесенный снегом и освещенный огнем фонарей, казался даже собственным матросам нарядным и легким.

Корабль привез редкий груз — последние картины русских художников, живших в то время в Риме. Полотна Брюллова и Бруни, портреты Кипренского и гравюры Иордана были бережно завернуты и сложены в пустой каюте.

Прихода корабля долго ждали петербургские любители живописи. Первым на пристань приехал писатель Нестор Кукольник. Он стряхнул сырой снег с плаща и цилиндра и прошел в каюту капитана.

Свеча дрожала на черном столе. Она освещала в пыльной стеклянной вазе несколько апельсинов.

Капитан ел апельсины. Пахучий сок стекал по его загорелым пальцам. Кукольник, усмехнувшись, сказал, что, наконец, он чувствует и здесь, в Петербурге, воздух Италии.

Капитан пробормотал что-то невнятное и, дожевывая апельсин, выдвинул ящик стола. Там среди истрепанных географических и игральных карт лежало письмо. Капитан протянул его Кукольнику. Кукольник вскрыл конверт и начал читать.

«В конце сентября,—читал Кукольник, — Орест Кипренский занемог жестокой горячкой, от которой усердием доктора

начал было оправляться и стал выходить, как простудился снова, и горячка возвратилась. Художник не вставал более. Он скончался здесь, в Риме, третьего прошедшего октября».

Кукольник встал.

— Вы привезли тяжкую весть, — сказал он несколько напыщенно капитану. — В Риме умер один из величайших художников нашего века, мой соотечественник Орест Кипренский.

Капитан не ответил. Он перебирал апельсины. Вверху, на палубе, перекликались матросы. Итальянский язык казался особенно звонким в густом снегу, засыпавшем пустынные проспекты и дворцы Петербурга.

Капитан выбрал самый большой апельсин и подбросил его на ладони.

— Вот — возьмите, — сказал он и улыбнулся. Блеск зубов преобразил его угрюмое лицо. — В Италии никогда не перестанут созревать апельсины и художники.

Кукольник попрощался и вышел. Он спрятал апельсин в карман плаща и всю дорогу чувствовал его тяжесть и запах.

Кукольник медленно шел, прикрывая рукою рот от ветра, и думал, что не только в Италии, но и в Петербурге никогда не перестанут рождаться художники. Умер милый волшебник Орест, но живы Брюллов, Иванов и Уткин.

Петербургские дома, выкрашенные в зеленоватый, лимонный и серый цвета, казались фарфоровыми. Свет фонарей дрожал на античных фронтонах домов.

— Великий Рим среди болот и северных лесов! — сказал Кукольник, думая о Петербурге. — Великий Рим в снегах и мраке ночи. Судьба его будет прекрасна.

Эта мысль принесла утешение.

Ни одна газета и ни один журнал не откликнулись на смерть Кипренского. Кукольник недоумевал. Трудно было понять причины молчания, окружившего смерть этого мастера.

Почти через месяц после смерти Кипренского Кукольник напечатал в «Художественной газете» несколько печальных строк.

«Смерть Ореста Кипренского, — писал он, — столь неожиданно лишившая Россию одного из блистательнейших художников, промелькнула в повременных изданиях как тень, наведенная мимолетной тучей, гонимой сильным ветром. Правда, не-

многие подробности о последних днях Кипренского достигли до северной столицы, — но отчего не раздались даже обычные газетные элегии над гробом знаменитым? Отчего не отдана последняя дань уважения художнику? Отчего? Решить не можем, но причины обнаружатся».

Причина была проста. Кипренский был не нужен тогдашней николаевской России, как были ей не нужны Федотов и Пушкин, Рылеев и Лермонтов, Гоголь и Иванов.

Кипренский прожил короткую жизнь. Она началась блестяще, но окончилась глупо и печально. Россия сжала его за шею и медленно гнула к земле, пока не поставила на колени перед знатью, перед царем и Бенкендорфом. И Кипренский-художник сбился с пути и умер гораздо раньше, чем спился и умер Кипренский-человек.

Итальянский апельсин долго лежал у Кукольника на письменном столе. Он придавал особую мягкость воздуху, наполненному запахом старых книг и слабой копотью свечей.

Кукольник берег его и все время старался вспомнить слышанный давно, лет пять назад, рассказ Кипренского об апельсине. Потом он все же вспомнил его и записал, но, как всегда, потерял запись среди множества заметок о живописи и неоконченных стихов.

Помнится, Кипренский рассказывал о своем детстве. Упоминал он о нем неохотно. Оно прошло на мызе под Ораниенбаумом. «Ораниенбаум» по-немецки означает «оранжевое, или апельсиновое дерево».

Старики, помнившие век Елисаветы, говорили, что название это было дано не зря. При основателе Ораниенбаума Меньшикове в теплицах тамошнего дворца вызревали апельсины. Даже на гербе Ораниенбаума было изображено серебряное поле с апельсиновым деревом, усыпанным созревшими плодами.

Старики, помнившие век Елисаветы, были матросы из морской богадельни в Ораниенбауме — первые наставники и учителя мальчика Кипренского. Их звали «сурками». Все время они проводили в неторопливых беседах и сне.

Чаще всего они рассказывали о морских бурях, налетавших на линейные корабли, грохоте волн и треске снастей. После их рассказов казалось, что вся земля наполнена холодными ураганами, тяжелым дымом туч, ветрами, дождями и грозами. Старые матросы хвастались бурями, как будто сами их вызывали.

Мрачность их рассказов соответствовала окружавшей природе, — белесое небо простиралось над болотистым берегом Финского залива, и томительно проходили тусклые осени и зимы.

Нетерпеливый мальчик — а Кипренский всю жизнь был нетерпелив и горяч — дожидался лета, когда солнце превратит, наконец, в бледное золото воды залива и зашевелится светлыми стрелами в листве дворцовых садов.

Летом матросы выползали на солнце. Их беззубые рты улыбались шуму деревьев и робкому свисту птиц. Менялись и матросские рассказы. В них среди вечных непогод наступало короткое затишье. Матросы вспоминали Италию, путали названия южных морей. Их память с натугой проникала через вереницу тяжелых матросских лет, через свинцовые туманы, через мутную воду старческой слепоты и вдруг озарялась светом полуденных стран, тонущих в оливковых рощах и перезвоне колоколов.

Крепкая вера моряков в то, что за пеленой дождей и бурь их ждут тихие гавани, сказывалась в этих летних рассказах матросов с особенной силой.

Мальчик Кипренский — побочный сын бригадира Дьяконова, отданный отцом на воспитание своему крепостному Адаму Швальбе, — был с ранних лет предоставлен себе. Он мог часами слушать рассказы матросов или бегать из дому в ораниенбаумские сады и прятаться там от сторожей и садовников.

Эти сады славились каналами. В них веснами отражались заросли цветущей сирени. Мраморные статуи смотрели в зеленоватую воду холодных прудов, где плавали форели.

Ораниенбаум пугал мальчика своим безлюдьем.

Театр и дворец, построенные Растрелли, давно пустовали. На Катальной горке ни разу за многие годы не было слышно грохота увеселительных колясок. Сады, казалось, навсегда застыли в пышном запустении. Дворцовые зеркала не отражали никого, а холодные залы годами не слышали шума шагов и военной музыки времен императора Павла.

Мальчик был волен населять эти залы выдуманными героями и прекрасными женщинами. Он делал это со страстью и с полной верой в их существование.

Так с детства Кипренский привык мечтать. Спустя много лет эта героическая мечтательность сообщала особое очарование его работам. Это было в те годы, когда Кипренский пре-

вратился из крепостного мальчика в художника и об его «магической кисти» заговорила вся Европа.

В Ораниенбауме Кипренскому изредка удавалось пробираться к самому дворцу мимо полосатой будки гренадера. Мальчик осторожно подымался на террасу и, прижав лоб к холодному стеклу дверей, долго, до ломоты в висках, рассматривал старинные портреты, висевшие в залах.

Короли и императоры неторопливо скакали на этих портретах в желтом пороховом дыму. Багровые вспышки мортир освещали крутые и надменные лица. Блестели кирасы. Знамена развевались в синих грозовых тучах, обрезанных тяжелой золоченой рамой.

Дома Кипренский рисовал по памяти эти портреты, а добродушный Адам Швальбе тайком от него показывал их своему барину Дьяконову. Рисунки были хорошие, и Дьяконов решил отдать совсем еще маленького мальчика в Академию художеств.

Несмотря на то, что Кипренский был сыном Дьяконова, по казенным бумагам отцом его считался Швальбе. Тотчас после рождения мальчика Дьяконов приказал Швальбе усыновить его и дать ему при крещении фамилию Копорский — по месту рождения мальчика в городке Копорье, вблизи Ораниенбаума. Под этой фамилией Кипренский и жил вплоть до поступления в Академию.

В Академии ему переменили фамилию на Кипренский. В то время «незаконным» детям можно было выдумывать и менять фамилии сколько угодно. Это считалось в порядке вещей.

В Академии художеств прошло детство и вся юность Кипренского.

Рассказы «сурков» о бурях, дворцовые сады и темные портреты остались в памяти Кипренского на всю жизнь.

Может быть, старым матросам он был обязан тем, что любовь к бурям, грозе и непогоде была выражена у него с особенной резкостью.

То было время французской революции, когда ветер романтики шумел над Европой.

Бледные поэты — в зарницах, в бурях и громах — пели вдохновенные песни о прелести дружбы, благородных порывах, свободе и мужестве. Наполеоновские солдаты разносили по самым глухим городкам славу побед, революционные декреты,

шелест изорванных знамен. Тревога очищала умы от сытости и жеманства восемнадцатого века.

Во время учения в Академии Кипренский был покорен романтикой. Он искал ее всюду. После утомительного сидения в классах за срисовыванием гипсовых Зевсов и Афродит Кипренский уходил на набережную Невы, бродил по ней и читал нараспев стихи неведомого поэта:

Ночь опустила тьму на старые сады.
Холодный ветр свистит и бьется на полянах.
И сердце нежное, все в пламени и ранах,
Трепещет с полночи до утренней звезды.
Увы, любимцы муз, свершился жребий мой!
Поет военный рог той полночью стоокой,
Бушуют облака. И точно! Дланью рока
Замахнут тяжкий меч над юною главой.

Эти стихи вызывали у Кипренского слезы. В них было все, что он любил еще с детства, — старые сады, холодный ветер, ночные тучи и нежное сердце. Потом эта любовь к бурной природе и неспокойному человеческому сердцу окрепла под влиянием времени.

«Мне часто мерещится, — писал Кипренский впоследствии, — черная качающаяся аллея дерев. Земля, кажется, окаменела, и до сих пор сохраняет она вид ужаса».

Недаром на всех портретах, написанных Кипренским в юношескую пору, позади взволнованных людей, позади поэтов, воинов и печальных женщин всегда стоит непроницаемое грозовое небо. Невольно кажется, что далекий гром и дыхание ливней покрывают нервной бледностью их лица.

Толпа этих странных и привлекательных людей как будто только что сошла на берега Невы с корабля, пришедшего из земли, созданной Байроном, из страны, где мудрые беседы и пылкие страсти сообщают необычайную прелесть существованию.

Учителя Кипренского по Академии Угрюмов и Дойен относились к живописи со страстью и строгостью. Они требовали от учеников умения рисовать с закрытыми глазами.

Дойен заставлял воспитанников Академии так накладывать краски на полотно, чтобы даже под лупой почти не было заметно следов кисти. Поверхность картины должна была быть гладкой, как полированная кость. Только после этого Дойен разрешал молодым художникам работать широкими и свободными мазками.

Все время уходило на рисование. Кипренский научился владеть карандашом с такой точностью, как хирург работает скальпелем. На чтение не оставалось времени.

Над умами художников властвовал тогда Левицкий — хитрый и добродушный украинец, создавший гениальные портреты кавалеров и дам екатерининской эпохи.

Все пытались подражать золотистому теплому тону его картин. Этот тон молодые художники ловили и изучали всюду — в пыльных классах Академии, когда закатное солнце бросало косые лучи на паркет, в отблесках куполов и игре бронзовых шандалов, в зрачках красавиц, позлащенных пламенем свечей.

На последних картинах Левицкого золотистый тон исчез. Он сменился фиолетовым и малиновым — холодным и старческим тоном.

Это дало повод Дойену произнести перед учениками речь о различном ощущении красок в юности, зрелом возрасте и старости.

— Юности свойственна пестрота красок, зрелости — тонкая мера в употреблении теплых и глубоких тонов, а старости — синеватые и холодные краски, столь похожие на цвет старческих жил на руках, — говорил Дойен и восхищался собственной проницательностью. — Не только каждый возраст человека имеет свои любимые краски, но также и каждая страна и каждое столетие на всем протяжении рода человеческого. Изучайте лица людей и краски своего века, если хотите стать его живописцами!

Кипренский следовал совету Дойена. Он изучал лица людей и краски своего века с присущей ему горячностью.

Подобно Пушкину, только что выпущенному из лицея, Кипренский вел в то время жизнь петербургского повесы.

Но и в беспокойстве легкой жизни, среди балов, бессонных ночей и бесчисленных увлечений красавицами у Кипренского бывали минуты сосредоточенности и внимания.

Они приходили внезапно. Они застигали художника то среди улицы, то на извозчике во время возвращения с товарищеской пирушки, то в разгаре беседы с друзьями.

Как бы от сильного внутреннего толчка окружающий мир преображался. Куда ни взглянешь, всюду лежали чистые краски, то плотные, то совершенно прозрачные, созданные светом северного солнца, снегом, огнем фонарей.

Привычная земля казалась в такие минуты творением гениальных художников или архитекторов. Цвет неба и облака были как будто написаны венецианцами, а горизонты, синие от

прохладного воздуха, провел своим безошибочным карандашом Растрелли.

Однажды на зимнем рассвете Кипренский возвращался из гостей. Он шел по мосту через Неву, опустив голову, и ни о чем не думал — ему хотелось спать. Запоздалая тройка пронеслась мимо. Колкая морозная пыль посыпалась в лицо.

Кипренский очнулся, поднял голову и остановился. То, что он увидел вокруг, было больше похоже на торжественный сон, чем на петербургское утро.

Ночь не хотела уходить из столицы. Она лежала пластами тяжелого сизого воздуха у подножия зданий и в глубине садов.

Взошло солнце. Багровый свет уже загорался в окнах дворцов и падал вниз, в темноту, вырывая из нее то полосатую будку часового, то бронзовый памятник полководцу, седой от снежной пыли, то капитель колонны, украшенную замерзшими листьями аканта.

Небо Италии простиралось в зените, чистое и прекрасное, с грядой легких розовеющих облаков. Летел густой, медленный снег. При ясности неба это казалось непонятным. Чудилось, что снег зарождается в чистом воздухе между землей и небесным сводом.

Кипренский долго смотрел на торжественное падение снега среди немоты и безлюдья петербургских площадей. Снег осторожно ложился на чугунные перила мостов, на меховой ворот шинели и спины спящих извозчиков.

Столица покрывалась белым блеском. Далекие куранты пробили семь. Вокруг был разлит запах лесов, подступавших к Петербургу с севера и востока.

«Как я счастлив, что родился в России», — подумал Кипренский.

У себя в комнате Кипренский сбросил мокрую шинель и сел к топившейся печке.

— Где,— сказал он с тоской,— где я возьму красок, чтобы изобразить это зимнее безмолвие, и этот блеск, и дворцы, утратившие объем и тяжесть, и, наконец, волнение своего сердца? Какой божественной кистью я смогу передать немой восторг этого утра?

А назавтра после этих мыслей молодой художник — снова щеголь и повеса — забывал обо всем, откладывал кисти и спешил на вахтпарад. Там полки замирали, стоя на одной ноге и вытянув носки под водянистым и бешеным взглядом императора Павла. Там ждала его знакомая девушка — любительница военных учений.

Сверкание сабель, поднятых к небу, грохот барабанов и

мерный топот полков, вращавшихся вокруг курносого императора, — все это вызывало ее восхищение.

— Я могла бы отдать сердце только военному, — сказала она однажды Кипренскому.

На следующем вахтпараде Кипренский прорвался сквозь строй солдат, бросился к Павлу и крикнул:

— Ваше величество! Я художник, но я хочу променять кисть на саблю. Молю принять меня в армию.

Павел, сморщившись, посмотрел на молодого франта и придержал коня.

— Убрать его, — сказал он сквозь зубы. — Военный парад есть таинство. Никому не вольно нарушать его безрассудными криками.

Кипренский получил жестокий выговор от начальства. Выговор был прочитан в присутствии всех учеников Академии.

Товарищи обидно пожимали плечами. Трудно было понять, как юноша, обладающий таким талантом, столь легкомысленно хотел променять его на расположение женщины.

Кипренский мучился тяжелым стыдом, но вскоре забыл о случае на вахтпараде. Он был легкомыслен не только в молодости, но и потом, в зрелые годы. Детская неустойчивость и погоня за внешним блеском в конце концов его погубили.

Еще в Академии Кипренский написал пейзаж «Пруд» — один из прекраснейших пейзажей русской живописи. Он полон тишины и прелести.

Пруд неподвижен. Вода в нем гладкая и дымная, — такою она бывает ранним утром или после заката.

Стены высоких деревьев, темные чащи неподвижно стоят по берегам пруда. В небе висят серые, насыщенные росой облака. Мраморная статуя женщины на берегу печально смотрит в светлую воду.

По своей простоте и мягкости эта картина Кипренского равна пушкинским элегиям. Поэзия сумерек выражена в ней с тончайшим мастерством.

Друзья Кипренского говорили, что он, как ночная птица, начинал жить только в сумерки.

Невольно кажется, что к Кипренскому относятся две позабытые пушкинские строчки, начало неоконченных стихов:

Скажи мне, ночь, зачем твой тихий мрак
Мне радостней...

Последняя строка оборвана, но содержание ее ясно. Мрак ночи радостнее разоблачающего дневного света. Романтиков всегда привлекали сумерки, когда не только природа, но и лица людей чудятся таинственными и вдохновенными.

Почти в то же время Кипренский написал портрет своего отца.

Много лет спустя он выставил этот портрет в Неаполе. Неаполитанские художники пришли в величайшее волнение. Кипренский был вызван к президенту Неаполитанской академии художеств Николини.

Старый и желчный итальянец встретил Кипренского подозрительно и сказал, что лучшие знатоки живописи тщательно исследовали портрет и нашли, что он не мог быть написан художником девятнадцатого века. Портрет был признан работой Рубенса, которую Кипренский выдает за свою. Правда, голоса знатоков разделялись. Иные считали портрет работой Ван-Дейка, другие — Рембрандта.

Кипренский расхохотался в лицо президенту. Николини закричал, что неаполитанские академики не позволят себя обманывать столь наглым образом какому-то иностранцу.

Кипренский без труда доказал, что портрет принадлежит его кисти, и долго потом издевался над неаполитанцами.

В 1803 году Кипренский блестяще окончил Академию. Начались лучшие годы его жизни.

Недаром Кипренский следовал совету Дойена и изучал лица людей своего века. Он создал галерею портретов, где каждое лицо было характерно и передавало законченный внутренний облик человека. Он вскрывал в своих работах тонкие черты характера.

Изучение портретов Кипренского вызывает такое же волнение, как если бы вы долго беседовали со всеми полководцами, писателями, поэтами и женщинами начала девятнадцатого века.

Кипренский писал свежо, широко и законченно.

На его портретах существуют не только лица, но как бы вся жизнь написанных им людей — их страдания, порывы, мужество и любовь. Все это оставило след на их облике и было перенесено на холст.

Один из современников Кипренского говорил, что, оставаясь наедине с его портретами, он слышит голоса людей.

В этом была доля правды. Живость впечатления так велика, что, глядя на портрет Пушкина, слышишь как будто

давно знакомый голос поэта, обращенный к нам, его далеким потомкам.

Галерея портретов Кипренского разнообразна. Это великолепные автопортреты, портреты детей и его современников — поэтов, писателей, государственных мужей, полководцев, любителей живописи, купцов, актеров, крестьян, моряков, декабристов, художников, масонов, скульпторов, коллекционеров, просвещенных женщин и архитекторов.

Достаточно перечислить несколько имен, чтобы понять, что Кипренский был подлинным живописцем своего времени: Пушкин, Крылов, Батюшков, слепой поэт Козлов, Ростопчин, графиня Кочубей, знаток искусств Оленин, Голенищев-Кутузов, масоны Комаровский и Голицын, адмирал Кушелев, Брюллов, актер Мочалов, переводчик «Илиады» Гнедич, легендарный кавалерист Денис Давыдов — «боец чернокудрявый с белым локоном на лбу», партизан Фигнер, строитель одесского порта де Воллан, декабрист Муравьев, поэты Вяземский и Жуковский, архитектор Гваренги.

Этот список юношеских работ Кипренского далеко не полон. Кипренский оставил еще несколько автопортретов.

Он писал себя то подмастерьем живописи, то мечтательным мальчиком, читающим стихи, то изящным и оживленным светским юношей, объединившим в себе образы Моцарта и Евгения Онегина.

На всех этих портретах он одинаков — нервный, легкомысленный, тонкий, с косыми взлетающими бровями. Товарищи звали его «нежным франтом», а один из них оставил о Кипренском скупую, но выразительную запись:

«Был он среднего роста, довольно строен и пригож, но еще более любил делать себя красивым».

Незадолго до войны 1812 года Кипренский был послан в Москву в помощники скульптору Мартосу. Мартос работал в то время над памятником Минину и Пожарскому.

В Москве Кипренский продолжал писать с прежней горячностью и мастерством.

Он мечтал о поездке в Италию, о Риме — второй родине художников, но границы были закрыты.

Армия Наполеона шла по Европе в громе сражений и побед. Музеи сотрясались от гула канонады. Ядра скакали по бульварам музыкальной Вены. Художники ушли с полей, уступив место лафетам, пыльной гвардии и санитарным повозкам.

Кипренский смирился и усердно помогал Мартосу — умно-

му скульптору, уже прославленному памятником герцогу Ришелье в Одессе.

В это время талант Кипренского достиг полного выражения. Легкомыслие как бы покинуло Кипренского. Художник чувствовал глубоко и сильно и со смелостью и тактом передавал то, что чувствовал.

Работа ему давалась легко. Он был подлинным «баловнем счастья».

Из Москвы Кипренский переехал в Тверь, где в то время жила дочь Павла Первого, принцесса Екатерина Павловна. Она пригласила Кипренского к себе и окружила заботами.

Дворец Екатерины Павловны был превращен в литературный клуб. Все выдающиеся люди Москвы бывали здесь запросто.

Окна дворца каждый вечер пылали сотнями свечей. В гостиных курили, спорили, читали стихи и острословили московские поэты и писатели, меценаты и художники.

Приближалась война. Дыхание боевых дней, передвижение армии, тревога, охватившая страну, — все это способствовало напряженной и взволнованной мысли.

Иногда в полночь быстро входил новый неожиданный гость. От его плаща шел запах ветра и полей. Он нетерпеливо скакал из Москвы в Тверь на перекладных, чтобы сообщить последние вести о баталиях и выслушать чтение высокопарных стихов и шум страстных споров.

Тусклый фонарь у тверского шлагбаума и ленивый сторож-инвалид перевидали в то время много приезжих, памятных всей России.

Кипренский жил вместе со всеми приподнятой и бессонной жизнью.

Но однажды вечером никто не приехал. На городскую площадь вошел на рысях полк угрюмых улан и расположился биваком. Горели костры, освещая черные капли дождя. Громко жевали лошади. Запах дыма, навоза, лошадиного пота и хлеба был неотделим от хриплой брани и дребезжащего голоса трубы. Москва была занята Наполеоном.

В Твери стало тихо. Больше никто не приезжал. Кипренскому было некого рисовать. Тогда он начал писать портреты крестьян и пейзажи на окраинах Твери и берегах Волги.

Карандаш сменил кисть. Кипренский только подцвечивал свои рисунки с удивительной тонкостью.

Слава молодого Кипренского росла стремительно.

Он вернулся из Твери в Петербург почти признанным ге-

нием. Слух о нем проник в Западную Европу. Вся столица говорила о «волшебном карандаше» художника. Легкость, с какою он создавал свои портреты, казалась чудом.

Кипренский был приглашен ко двору писать портреты великих князей. Все именитые люди столицы добивались чести быть увековеченными Кипренским.

Законное признание художника знатоками живописи преобразилось в петербургском высшем свете в пустую и трескучую моду. Кипренский стал моден, как в то время были модны коралловые ожерелья среди женщин и звонкие брелоки — «шаривари» — среди мужчин.

Кипренский начал писать еще лучше. Мастерство его портретов, особенно портрета Хвостовых, достигает как бы предела человеческих возможностей. Петербург подхватывает брошенное кем-то крылатое слово, что краски Кипренского действуют на людей, как рейнвейн. Они рождают резкие переходы от улыбки к необъяснимой печали, от восторга к задумчивости.

Кипренский, обладавший величайшим даром импровизации, но лишенный многих насущных знаний, упорства и мужества, погружался в блеск славы.

Он не жалел себя. Вдохновение — непонятное состояние, предел мечтаний художников и поэтов — длилось дни, недели, месяцы.

Вдохновение заставляло его смеяться от радости при каждом удачном ударе кисти, страдать от бессонницы, бродить по Петербургу в зелени и блеске белых ночей, всматриваться в спящие многоцветные воды, чтобы потом перенести эти краски на полотно.

Вера в могущество и светлый дар своих рук, глаз, своего ощущения мира держала художника в непрерывной внутренней дрожи.

Из мастерской, пахнущей лаком, он едет в императорские дворцы, где воздух кажется ему благородным от множества картин, мебели и бронзы, сделанных руками славных мастеров. Выйдя из дворца, он встречает друзей, приветствующих его молодо и радостно. Он встречает женщин, открыто улыбающихся ему, его славе, его счастливой юности,— женщин прекрасных и ждущих столь же прекрасной любви.

Кружится голова. Дни мелькают в жестоком напряжении. Где-то в глубине мозга уже родилась, как мышь, усталость и начинает грызть пока еще осторожно и робко, вызывая приступы головной боли. Усталость и головную боль Кипренский заглушал вином.

Кипренский не знал, да и не мог знать, что слава для таких людей, как он, — страшнее смерти.

Он любовался славой, гордился ею. Он искренне верил лести и трескучим тирадам журналистов. Он думал, что мир уже лежит у ног, покоренный его мастерством.

Он не знал, что талант, не отлитый в строгие формы культуры, после мгновенного света оставляет пороховой чад. Он забыл, что живопись существует не для славы. Он пренебрег словами Пушкина о том, что «служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво».

За это он расплатился впоследствии тяжело и жестоко.

Кто знает, чем бы кончились эти напряженные дни, если бы не наступила передышка. Кипренскому было разрешено уехать в Рим «для усовершенствования в живописном мастерстве».

Может быть, Кипренский надорвался бы и умер молодым, как умирали многие талантливые люди в тогдашней России. Может быть, он, живя вблизи Жуковского и Пушкина, живя в кругу людей, знавших его душевную неуравновешенность, никогда бы не сделал искусство средством для жизненного успеха. Кто знает?

Сам он втайне сознавал, что совершает ошибку, но, непривыкший разбираться в своих душевных состояниях, не мог решить, как найти от нее избавление.

Он неясно тосковал о друге, который удержал бы его от погони за удачей и внешним блеском, вылечил бы от безволия и внушил мудрость большого человека и скромность подлинного гения. Тоска о друге-хранителе преследовала Кипренского до самой смерти, но жажда легкой жизни и удачи преодолела все.

От Петербурга до Любека Кипренский плыл на корабле. Море бушевало. Кипренский восхищался. Ему казалось, что корабль несет его в туманные страны романтики, взлелеянные в мечтах еще с детства.

Любек поразил его пустынностью. Недавно из города ушли последние наполеоновские полки. Германия встретила художника шелестом придорожных тополей и шумом быстро текущего Рейна. Наконец коляска Кипренского достигла Швейцарии. Он увидел Альпы.

«Я видел, — восклицает он в письме к Оленину, — горы, осужденные на вечные льды».

Кипренский остановился в Женеве, где написал несколько портретов и был избран членом художественного общества. Это избрание он встретил как должное.

Из Женевы он выехал в Италию. Радость не покидала его. Цветение чуждой природы создало вокруг него новый живописный мир.

Густые леса на берегах Лаго-Маджиоре встречали его легким гулом. Свет солнца трепетал на их листве, как на поверхности моря. «Винограды горели, как яхонты. Селения улыбались своему изображению в лазоревой воде». Голоса пастухов звучали непонятно и весело в теплом неподвижном воздухе.

В Милане Кипренский целые дни проводил около «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Сторожа, хранители картины, рассказывали ему, как Наполеон несколько часов сидел перед творением Леонардо в глубокой задумчивости. Созерцание «Тайной вечери» внушило Кипренскому новую веру в свои силы.

«При виде творений гения, — писал он, — рождается смелость, которая в одно мгновение заменяет несколько лет опытности».

В миланском театре Кипренский впервые услышал «Волшебную флейту» Моцарта.

Чистые звуки моцартовской музыки, похожие на голоса серебряных труб, привели его в восхищение. В музыке Моцарта Кипренский хотел найти оправдание для себя, — ведь создал же Моцарт, капризный и ветреный, как женщина, проводивший ночи в пирушках и похождениях, эту высокую музыку.

Но Кипренский не знал, что Моцарт никогда не подчинял музыку низкому житейскому успеху.

Дилижанс въехал в Рим поздним вечером. Он задержался в Альбани, где ленивые жандармы окуривали серой вещи путешественников. В окрестностях Рима свирепствовала холера.

Когда стих грохот колес по каменной мостовой, Кипренский услышал свежий шум воды в городских фонтанах. Вода журчала и пела, наполняя ночь усыпительным плеском.

Сердце у Кипренского тяжело билось. Его провели в темную сводчатую комнату гостиницы и зажгли свечи.

Он тотчас же погасил их и распахнул окно. Ночь,

великая, как далекое прошлое, стояла над Римом. Казалось, атланты держали ночное небо на широких плечах и от усталости все ниже склонялись к земле, приближая к ней звезды.

Неразгаданный город лежал у ног художника. Кипренский долго всматривался, пытаясь различить величественные руины, и вздрогнул, — в темноте высился огромный тяжелый купол собора, более черный, чем ночь. Это был храм святого Петра.

Кипренскому стало страшно. Он вспомнил последние петербургские годы. Внезапная усталось спутала его мысли.

«Не исчерпал ли я себя петербургским неистовством? — подумал Кипренский, отходя от окна. — Хватит ли сил продолжать начатое столь же успешно? Достигну ли я вершин Рафаэля? А достигнуть надобно».

«Нет!» — мерно сказал кто-то из темноты за окном.

Кипренский быстро обернулся, — это тяжелый церковный колокол отсчитывал часы.

«Нет!» — повторил колокол и стих, но темнота́ еще долго гудела от его медного голоса.

Было два часа ночи. Силы оставили Кипренского. Он уснул не раздеваясь.

А утром в лицо полилось густое римское небо. Голубой воздух наполнял комнату. Пели фонтаны. Звонили колокола. Внизу на тесной площади бранились итальянки, продавщицы овощей, и отчаянно вопили погонщики ослов.

Кипренский быстро умылся, сбежал, насвистывая, с лестницы и смешался с пестрой толпой, расступившейся пред красной каретой кардинала.

Ветер пролетал над Римом и нес сухие и пышные облака, такие же, как на картинах старых мастеров.

Кипренский, отравленный славой, растерялся в загадочном Риме.

С каждым днем он все больше убеждался, что вершины Рафаэля ему не по силам. Он испытал чувство, описанное Гоголем: «Могучие создания кисти возносились сумрачно перед ним на потемневших стенах, все еще непостижимые и недоступные для подражания».

В чем была тайна Рафаэля? В чем было очарование старых мастеров? Как открыть эту тайну и перенести на свои холсты легкость чужой кисти?

Кипренский не знал. Он хотел покорить Рим, как недавно

покорил Петербург. Он торопился и потому пошел по самому легкому пути.

Картины Рафаэля были выписаны тонко и гладко. Кипренский решил выписывать свои работы так же тщательно, как Рафаэль и Корреджио. Выходило сухо, мертво. Художник изменил себе. Глаза его как будто не видели живых красок.

Вместо великолепных портретов он начал писать скучные композиции Христа, окруженного детьми, и слащавые головки цыганок с розами в волосах.

Он хотел покорить Рим, но не знал Рима.

Однажды Кипренский услышал, как на улице весело распевали песню о Брюллове. Впервые зависть вошла в сердце. Рим — вечный Рим! — пел песню о молодом русском художнике, но не о нем, не о блистательном Оресте.

Кипренский был чужд Риму. Галерея Уффици во Флоренции заказала ему его собственный портрет. Но Кипренскому этого было мало. О портрете знали многие, но не весь Рим.

Кипренскому хотелось быть блестящим не только в живописи, но и в повседневной жизни. Он мечтал о том, как всюду — в остериях и дворцах, в Ватикане и академиях, среди прелестных римлянок и завистливых художников — громкая слава летит за ним, кружит головы, дает богатство, беспечность, любовь, преклонение.

В Риме для Кипренского пришло время последнего выбора между суровой жизнью подлинного художника и позолоченным существованием модного живописца. Кипренский выбрал последнее.

В то время военная гроза уже отшумела. Наполеон был сослан на пустынный остров в океане. Громы революции затихли в сонном воздухе Европы.

Романтика умирала, не находя опоры в окружающей жизни. Место прежних героев и бледных от нежности женщин заняли Чичиков и Хлестаков. Романтика умирала, и вместе с ней медленно умирал художник Кипренский.

Русские художники, жившие в Риме, скоро наскучили Кипренскому.

Все дни напролет они свистели, как дрозды, за мольбертами в своих тесных комнатах, а по вечерам заполняли остерии на Испанской площади, затевая за дешевым вином бесплодные споры.

Они отращивали бороды, чтобы быть похожими на мастеров Возрождения, небрежно закидывали через плечо плащи,

мечтали о славе Кановы, болели римской лихорадкой «терцаной» и время от времени умирали от чахотки. Рим был губителен для северян.

Только двое русских привлекали Кипренского — Брюллов и чахоточный застенчивый Тамаринский.

Дружба с Брюлловым не ладилась. Он обидно молчал, рассматривая последние итальянские работы Кипренского. Мнительный Кипренский объяснял это завистью.

Тамаринский тоже молчал, но в глазах его не было осуждения. Даже в Риме он кутал в шарф худую шею и жаловался на сырость ночей, — по вечерам ветер приносит из Кампаньи запах болот.

Тамаринский был сыном дьякона. Его отец надорвался, читая евангелие на литургии в присутствии императора Павла. Этим обстоятельством друзья Тамаринского объясняли хилое здоровье художника, родившегося через год после этого случая.

Тамаринский был знаком со знаменитым датским скульптором Торвальдсеном, соперником итальянского скульптора Кановы, жившим в то время в Риме.

Торвальдсен только что закончил бюст лорда Байрона. Весь Рим говорил о недавнем посещении города английским поэтом.

Кипренский еще с петербургских дней хранил в своем сердце память о Байроне. Он горько досадовал на судьбу, приведшую его в Рим после отъезда Байрона. Он завидовал даже слугам в остериях, видевшим прекрасного британца.

Кипренский уговорил Тамаринского пойти вместе к Торвальдсену посмотреть бюст Байрона и поговорить о поэте.

В то время Кипренский писал картины на аллегорические сюжеты — «Анакреонтову гробницу» и «Цыганку с миртовой веткой в руке». Писал он вяло, стараясь приятностью красок и зализанностью мазка вызвать восхищение итальянской публики.

Картины хвалили, особенно «Анакреонтову гробницу». Итальянский поэт Готти даже воспел ее в тяжеловесных стихах. Но все это было не то, — в похвалах не хватало искреннего волнения, как и в картинах уже не было живой игры красок и свободной кисти.

Посещение Торвальдсена доставило Кипренскому величайшую горечь и радость.

Беловолосый датчанин — обычно ленивый и беспечный — был в тот вечер сердит и взволнован.

Когда Кипренский вместе с Тамаринским поднимались в мастерскую Торвальдсена по железной грохочущей лестнице, из дверей мастерской выскочил толстый человек. Обмахивая

шляпой потное лицо, он промчался мимо Кипренского и едва не сбил его с ног. Кипренский узнал в нем скульптора итальянца, известного своими ловко сделанными, безжизненными статуями.

Внезапно дверь мастерской распахнулась. В ней появился Торвальдсен.

— Я зубами высеку из мрамора лучше, чем ты резцом! — крикнул он вслед убегавшему скульптору и захлопнул дверь.

Кипренский поколебался и осторожно постучал. Слуга открыл дверь. Торвальдсен быстро ходил по мастерской. На диване с цилиндром в руке сидел красавец Камуччини — известный Риму исторический живописец — и смеялся, глядя на Торвальдсена.

— Я удивляюсь, как развитой человек может смеяться! — сказал Торвальдсен и обернулся. Гнев быстро сошел с его лица. Через минуту он уже наливал в стаканы вино и отгонял мохнатых собак, царапавших лапами бархатные жилеты гостей.

Оживленно беседовали о скульптуре. Кипренский сказал, что мраморы Ватикана представляются ему мертвыми и не вызывают волнения, свойственного великим творениям искусства.

— Мой русский друг, — сказал Торвальдсен, посмеиваясь и разглядывая на свет вино, — мой знаменитый друг, позвольте мне сегодняшней ночью показать вам эти мраморы, и вы измените ваше легкомысленное суждение.

— Как, ночью? — воскликнул Кипренский.

— Не будем раньше времени разглашать нашу тайну, — хитро сказал Торвальдсен.

Камуччини снисходительно улыбнулся.

— Нельзя оскорблять мрамор! — воскликнул Торвальдсен. — Ничто лучше мрамора не может выразить чистоту человеческого тела. Он слишком тонок для моих грубых рук. Я преклоняюсь перед благородным резцом Кановы. С детства я привык высекать статуи из дерева. Я помогал отцу. Мой отец — исландец, резчик по дереву в Копенгагене, — делал деревянные фигуры для носов кораблей. Он был плохой художник. Его деревянные львы были похожи на толстых собак, а нереиды — на торговок рыбой.

Торвальдсен засмеялся.

— Отец очень горевал, что ему не удается работа. Вечером, за несколько часов перед моим рождением, мать сидела за прялкой. Она ждала родов, была рассеянна и забыла завязать нитку на прялке. Это у нас, датчан, считается счастливой приметой. «Петер, — сказала мать отцу уже после того, как я родился, — не горюй. Я забыла завязать нитку на прялке.

Значит, сын принесет нам счастье». — «Я не знаю, что это такое», — сказал отец. «Я тоже хорошенько не знаю, — ответила мать, — но я думаю, что счастлив тот, кто доставляет счастье многим людям».

Торвальдсен налил Кипренскому вина.

— Пейте! Все матери ошибаются, когда говорят о своих детях. И моя мать ошибалась, когда так думала обо мне. Я рассказал вам это затем, мой знаменитый русский друг, чтобы привести наивные слова моей матери о счастье. Я завидую вам. Вы должны быть беззаботно счастливым человеком. Я знаю ваши петербургские работы. Поэтому пейте и не спрашивайте меня о бюсте Байрона. Я его не покажу.

— Почему?

— Об этом мы поговорим по дороге в Ватикан.

Торвальдсен встал.

— Ночь уже достаточно темна, — сказал он, — чтобы смотреть античные статуи.

Кипренский недоумевал. Они вышли. Римская ночь была полна тьмы, огней, затихающего грохота колес и запаха жасмина.

— Почему вы не хотите показать нам бюст Байрона? — спросил Камуччини. — Неужели мы не достойны этого?

Торвальдсен остановился около лавчонки с фруктами и закурил трубку от толстой свечи, прилепленной к прилавку. Связки сухой кукурузы висели вперемежку с гроздьями апельсинов.

— Друзья, — сказал Торвальдсен, — не обижайтесь. Я не покажу вам Байрона потому, что эта работа несовершенна и не передает души поэта. Когда Байрон вошел в мою мастерскую, я обрадовался так сильно, как исландские дети радуются после зимы летнему солнцу. Я пел, работая над бюстом, хотя Байрон позировал ужасно. Его лицо было все время в движении. Ни на одно мгновение оно не могло застыть. Тысячи выражений срывались с этого прекрасного лица точно так же, как с его губ срывались тысячи то веселых, то острых, то печальных слов. Я делал ему замечания, но это не помогало. Когда я кончил бюст, Байрон мельком взглянул на него и сказал: «Вы сделали не меня, а благополучного человека. На вашем бюсте я не похож». — «Что же дурного, если человек счастлив?» — спросил я. «Торвальдсен, — сказал он, и лицо его побледнело от гнева, — счастье и благополучие так же различны, как мрамор и глина. Только глупцы или люди с низкой душой могут искать благополучия в наш век. Неужели на моем лице нет ни одной черты, говорящей о горечи, мужестве и страданиях

мысли?» Я поклонился ему и ответил: «Вы правы. Мой резец мне изменил. Я радовался, глядя на вашу голову, а радость туманит глаза». — «Мы еще встретимся», — сказал Байрон, пожал мою руку и вышел. На днях один богатый русский предложил мне за бюст тысячу цехинов.

— И что? — живо спросил Кипренский.

— Ничего. Я сказал ему: «Если бы вы, сударь, предложили мне деньги за то, чтобы разбить бюст, я взял бы их охотно. Свои ошибки я не продаю».

Торвальдсен засмеялся. Кипренский молчал. Все, что говорил Торвальдсен, причиняло ему боль. Датчанин бередил рану.

«Даю ли я сейчас счастье многим людям, как это было ранее? — думал Кипренский. — Неужели только глупцы пытаются устроить благополучие своей жизни?»

Размышления эти были прерваны приходом в Ватикан. Торвальдсен передал привратнику пропуск от кардинала.

При свете тусклой свечи они прошли по темным и гулким залам, где столетиями жили в тишине статуи, фрески, картины и барельефы. Лысый старик монах шел следом за Торвальдсеном.

Торвальдсен остановился посреди обширного зала. В нишах тускло белели мраморы.

— Отец! — негромко позвал Торвальдсен монаха. Старик подошел. Торвальдсен взял из его рук факел, не замеченный ранее Кипренским, и поднес к нему свечу.

Багровое пламя рванулось к потолку, и под стенами внезапно засверкали статуи, озаренные колеблющимся светом.

— Теперь смотрите! — негромко сказал Торвальдсен.

Художники стояли неподвижно. Кипренский всматривался в неясную игру огня на теплом камне. Он старался закрепить в памяти движения теней, сообщавшие необычайную живость лицам героев и мраморных богинь. Знакомая по петербургским дням давно позабытая душевная дрожь овладела им. Слезы комком подступили к горлу.

— Ну, что же, камень живет? — тихо спросил Торвальдсен.

— Живет, — глухо ответил Кипренский.

— Живет, — повторили Камуччини и Тамаринский.

— Друзья, — веско сказал Торвальдсен, — только так рождаются образы от античной скульптуры и создаются в тайниках нашей души законы мастерства.

Художники стояли неподвижно. Они молчали. Огонь шумел, освещая бесконечные залы.

Всю эту ночь Кипренский не спал. Как всегда, звонили колокола, и от тяжелых слез болело сердце.

«Где, на каких путях я потерял законы мастерства? Смогу ли я быть снова свободным?» — спрашивал себя Кипренский, но тотчас же эта мысль тонула в дремоте и в пении старых позабытых строк:

И сердце нежное, все в пламени и ранах,
Трепещет с полночи до утренней звезды...

Утомленный художник уснул. Рассвет разгорался над Римом.

Потрясение, пережитое в залах Ватикана, не прошло бесследно. Снова с прежним волнением Кипренский начал работать над портретом князя Голицына — одним из самых поэтических полотен русской живописи.

С прежним проникновением изображен у Кипренского этот мистик и аристократ, личный друг императора Александра.

Эта работа Кипренского написана в глубоких, бархатистых коричневатых и синих тонах. Позади сидящего бледного князя виден Рим, купол собора святого Петра, темные деревья и небо, покрытое пышными грозовыми облаками, — такими, как на картинах старых мастеров.

Второй портрет — княгини Щербатовой — Кипренский написал в мягких и блестящих красках, таких же мягких, как шелковая шаль, накинутая на плечи княгини. Все лучшее, что осталось в Кипренском от житейских встреч с женщинами, он воплотил в образ Щербатовой, — задумчивость, нежность, девическую чистоту.

Это, пожалуй, были последние работы Кипренского, если не считать прекрасного портрета Голенищевой-Кутузовой и нескольких рисунков. В последний раз Кипренский вызывал своей кистью из глубин воображения любимых героев и женщин,— их уже не было в подлинной жизни. Это была вспышка перед концом.

После этого Кипренский писал слащавые и фальшивые вещи — жеманных помещиц, скучных богатых людей, представителей равнодушной знати. Он пытался заменить прежние острые характеристики изображением бытовых подробностей. Он наивно думал, что одежда, перстни, кресла и трубки смогут рассказать больше о человеке, нежели рассказывала раньше его гениальная кисть.

Свободные движения людей на портретах сменила деревян-

ная и тупая поза. Краски сделались грязными, мутными и угнетали глаз. Заказы сыпались сотнями. В ящике письменного стола кучами валялись ассигнации и звенело золото.

В это время случилось событие загадочное, оставившее черную тень на всей дальнейшей жизни Кипренского.

Для картины «Анакреонтова гробница» Кипренский разыскал красивую натурщицу. У нее была дочь — маленькая девочка Мариучча. Кипренский рисовал и мать и дочь.

Однажды утром натурщицу нашли мертвой. Она умерла от ожогов. На ней лежал холст, облитый скипидаром и подожженный.

Через несколько дней в городской больнице «Санта-Спирито» умер от неизвестной болезни слуга Кипренского — молодой и дерзкий итальянец.

Глухие слухи поползли по Риму. Кипренский утверждал, что натурщица убита слугой. Медлительная римская полиция начала расследование уже после смерти слуги и, конечно, ничего не установила.

Римские обыватели, а за ними и кое-кто из художников открыто говорили, что убил натурщицу не слуга, а Кипренский.

Рим отвернулся от художника. Когда он выходил на улицу, мальчишки швыряли в него камнями из-за оград и свистели, а соседи — ремесленники и торговцы — грозили убить.

Кипренский не выдержал травли и бежал из Рима в Париж.

Перед отъездом он отвел маленькую сироту Мариуччу в сиротскую школу для девочек, в «консерваторио», и поручил ее настоятелю-кардиналу. Он оставил деньги на воспитание девочки и просил немногих художников, еще не отшатнувшихся от него, заботиться о Мариучче и сообщать ему об ее судьбе.

В Париже русские художники, бывшие друзья Кипренского, не приняли его. Слух об убийстве дошел и сюда. Двери враждебно захлопывались перед ним. Выставка картин, устроенная им в Париже, была встречена равнодушно. Газеты о ней промолчали.

Кипренский был выброшен из общества. Он затаил обиду. В Италию возврата не было. Париж не хотел его замечать. Осталось одно только место на земле, куда он мог уехать, чтобы забыться от страшных дней и снова взяться за кисть. Это была Россия, покинутая родина, видевшая его расцвет и славу.

В 1823 году, усталый и озлобленный, Кипренский вернулся в Петербург.

Сырое небо Петербурга залечивало раны медленно. Старые друзья не знали, о чем говорить. Никто из них не расспрашивал Кипренского об Италии. Их нарочито веселые и однообразные возгласы при встрече: «Ба, Орест, да ты все таков же!» — смертельно надоели художнику.

Кипренский понял, что дружба хиреет от долгой разлуки. Прошлое вспоминалось со вздохом, а иной раз с равнодушием и скукой.

Только сады, холодная Нева и небо оставались все те же,— их дружба была неразделимой и вечной. Она не требовала ответных чувств.

Кипренский работал, получая достойные заказы, бывал при дворе, где рисовал с бюста Торвальдсена портрет только что умершего императора Александра Первого, изредка его навещали покровители и друзья.

Но все это было не то. Потускнели глаза, в них появилось беспокойное выражение, ослаб голос. По утрам художник часами лежал в постели, ни о чем не думая и ни к чему не прислушиваясь.

Иногда, накладывая на полотно серую или молочно-розовую краску и как бы не замечая ее мертвого тона, Кипренский вдруг бросал с бешенством кисть на пол, срывал с вешалки плащ и выбегал на улицу. Он шел, не замечая людей, на окраины города, где гнили в тумане тусклые домишки, и возвращался только к ночи.

Бывало это всякий раз в то время, когда что-нибудь в окружающей Кипренского петербургской жизни напоминало ему Италию. Глухая сердечная боль по светлому воздуху, по древним колоннам, горячим от солнца, по запаху жасмина становилась все чаще и чаще. С непонятным упорством Кипренский показывал друзьям картины, написанные в Италии, и требовал похвал. Все сделанное в Италии казалось ему прекрасным. Друзья хмурились и пожимали плечами.

Кипренский писал ни хорошо, ни плохо, — что-то погасло внутри. Однажды к нему прислали от Бенкендорфа. Граф просил Кипренского написать портреты его детей.

Кипренский махнул рукой и согласился. Теперь ему было все равно — писать ли Пушкина, Бенкендорфа, Кюхельбекера или Аракчеева. Слабость свою Кипренский пытался прикрыть напускным легкомыслием и старался не вспоминать слов, сказанных им много лет назад, когда ему посоветовали писать портрет Аракчеева:

— Писать его надо не красками, а грязью и кровью, а таких вещей на моей палитре не водится.

Только два события запомнились Кипренскому из этих последних петербургских лет: наводнение 1824 года и работа над портретом Пушкина.

В день наводнения Кипренский ни разу не вспомнил об Италии. Утром он проснулся от пушечных ударов, сотрясавших стены. Ветер свистел в темных коридорах пустого дома. Кипренский распахнул дверь мастерской и засмеялся — его, еще горячего от сна, сразу же обдуло запахом морской воды. За окнами непрерывно мчалось к востоку черное угрюмое небо.

— Буря! — крикнул Кипренский и подбежал к окну.

Буря бушевала над Петербургом, как возвращенная молодость. Редкий дождь хлестал в окна. Нева вспухала на глазах и переливалась через гранит. Люди пробегали вдоль домов, придерживая шляпы. Ветер хлопал черными шинелями. Неясный свет, зловещий и холодный, то убывал, то разгорался, когда ветер вздувал над городом полог облаков.

Кипренский спустился на улицу. Пушки били все тревожнее и чаще. Мокрые уланы неслись вскачь по затопленным мостовым, шумно взбивая пену. Смоленые лодки качались на привязи около чугунных оград. Нева шла громадой железной воды и грозно рокотала около мостовых устоев. В домах горели свечи.

Непонятный восторг вселился в душу Кипренского — он дрожал от холода и возбуждения. Художник торопливо вернулся домой, зажег огонь в круглой чугунной печке и схватил краски. Чем было лучше всего передать цвет этого ненастного дня? Кипренский выбрал сепию. Рисунок он нанес нервным брызгающим гусиным пером. Так появилось его «Наводнение».

Когда Кипренский писал портрет Пушкина, поэт был озабочен, хотя и пытался шутить.

Кипренский решил всю прелесть пушкинской поэзии вложить не в лицо поэта, бывшее в то время утомленным и даже чуть желтоватым, а в его глаза и пальцы. Глазам художник сообщил почти недоступную человеку чистоту, блеск и спокойствие, а пальцам поэта придал нервическую тонкость и силу.

— Ты мне льстишь, Орест, — промолвил грустно Пушкин, глядя на оконченный портрет.

Однажды Пушкин прочел Кипренскому стихи об Италии, как бы чувствуя тоску художника по недавно покинутой «стране высоких вдохновений»:

Где пел Торквато величавый,
Где и теперь во мгле ночной

Адриатической волной
Повторены его октавы;
Где Рафаэль живописал,
Где в наши дни резец Кановы
Послушный мрамор оживлял
И Байрон, мученик суровый,
Страдал, любил и проклинал.

Кипренский слушал, опустив голову и задержав кисть на полотне. Он в то время набрасывал губы поэта, а чтение стихов нарушало их замкнутую линию, столь похожую на линию юношеских губ.

— Александр Сергеевич, — сказал Кипренский, не подымая головы, — я хотел бы унести твой голос с собой в могилу.

— Полно, Орест, — ответил Пушкин и вдруг закричал тонким голосом, каким кричали на улицах торговки чухонки: — Клюква, клюква, ай ягода-клюква!

Кипренский рассмеялся и легко ударил кистью по холсту.

В 1827 году Кипренский уехал в Рим. Ему все казалось, что в Риме вернется былая слава. Но жизнь уже приближалась к концу, и талант был тяжело подорван.

В Риме Кипренский скучал. Он все ждал событий, перемен. Мариучча выросла, стала стройной и милой девушкой. Кипренский полюбил ее, но долго скрывал это и от себя, и от Мариуччи, и от немногих друзей.

От тоски и необъяснимой тревоги художник начал пить. Он не знал, что ему оставалось делать в жизни. Работа быстро утомляла его, а без нее не было денег. И Кипренский работал, как сотни итальянских художников-ремесленников, снимавших копии с Рафаэля, Корреджио и Микеланджело для богатых иностранцев. Он часто писал по заказу портреты безразличных ему людей и зевал от скуки.

Рим был прежним, несмотря на медленное умирание художника. «Все тот же теплый ветер верхи дерев колышет, все тот же запах роз, и это все — есть смерть».

Так же пылали величественные закаты, так же, как и раньше, художники ходили смотреть на них с холма Пинчио. Грозный свет и сумрак римских вечеров любил Гоголь. Вместе с художниками он смотрел на закаты и приходил в раздражение, когда его окликали.

— Не мешайте мне, — восклицал он, — хотя бы на одно мгновение стать прекрасным человеком в этом неласковом мире.

Все так же пахли плесенью и вином каменные полы в остериях, где Кипренский встречался по вечерам со своим новым другом, гравером Иорданом. Иордан любил Кипренского и называл его «предоброй душой».

Десять лет, проведенных в Риме, Иордан потратил на гравировку рафаэлевского «Преображения». В кирпичном полу своей комнаты около гравировального станка он протер ногами глубокую яму. Об этой яме любил рассказывать художникам Гоголь. Художники почитали Гоголя, но стеснялись, — писатель был необщителен и молчалив.

Иванов в то время уже писал свое «Явление Христа народу».

Кипренский же сидел в остериях. Он носил с собой хлеб и кормил им бродячих собак. Собаки ходили за ним стаями, но в остерии их не пускали. Тогда они садились у дверей и терпеливо ждали, помахивая хвостами.

По стаям собак, сидевших то у одной, то у другой остерии, заказчики разыскивали художника. Они заставали его за столом, уставленным бутылками. Он всегда требовал у слуги свечу, ставил ее перед собой и, прежде чем выпить вино, долго рассматривал его на свет.

— Жаль, друг мой милый, — сказал он однажды Иордану, — что нельзя писать картины вином. Сколько бы света и трепета мы вкладывали тогда в свои творения.

— Ваши краски, Орест Адамович, — ответил вежливый Иордан, — не уступают игре вина.

Кипренский досадливо поморщился и отвернулся.

— Что было, то быльем поросло, — сказал он глухо.

Кипренский не знал, что оставалось ему делать в жизни. Существовать было одиноко и неуютно. Тогда измученный Кипренский совершил последнюю ошибку — женился на Мариучче. Она его не любила, но была привязана к нему, как к человеку, спасшему ее от нищеты и голода. Чтобы жениться на Мариучче, Кипренский принял католичество.

Вместе с Мариуччей Кипренский уехал в Неаполь.

Ненадолго жизнь стала светлее. Каждый час больной и печальный художник чувствовал рядом с собой присутствие прекрасной юной итальянки. Она ему читала книги по истории Италии, трактаты о живописи и стихи.

Кипренский следил за каждым ее движением, пытаясь уберечь Мариуччу от самых ничтожных житейских неприятностей и оградить от скуки.

Уходило много денег. Кипренский ради заработка был готов на все. Он начал писать модные в то время сладкие пейзажи с дымящимся Везувием, продавал в Петербург копии с картин знаменитых итальянцев, унижался перед графом Шереметьевым, снабжавшим его деньгами, и писал ему жалкие шутовские письма в стихах:

Уже времечко катилось к лету,
А у меня денег нету.

Он просил у Бенкендорфа взаймы двадцать тысяч рублей на пять лет. Он намекал на то, что ему, Кипренскому, следовало бы пожаловать какой-нибудь орден за прошлые живописные заслуги. Но Петербург молчал.

Падение художника шло с неизбежностью. Кто знает, понимал ли Кипренский всю глубину своего душевного несчастья, вызванного слабостью воли, погоней за житейским успехом, отсутствием твердых вкусов и взглядов?

Если он и не понимал этого, то все же чувствовал, как крепнет в нем человек ничтожный и пошлый и теряется в туманах прошлого образ гениального и веселого юноши, сына романтического века.

В Неаполе Кипренский написал, собрав последние силы, полный высокой поэзии портрет Голенищевой-Кутузовой. Этот портрет возник среди дешевых и вымученных его работ, как последнее сверкание прошлого.

Из Неаполя Кипренский уехал с Мариуччей во Флоренцию и Болонью, а оттуда вернулся в Рим.

Погасшими глазами он смотрел на эти пустынные величественные города, вяло бродил по улицам, заросшим цветущей травой, и не предавался воспоминаниям. Очарование прошлого было ему уже недоступно. Хотелось покоя, вина, беспечных снов, действующих как лекарство, помогающих забыть тревогу последних лет.

В Риме Кипренский поселился в старом дворце Клавдия, где когда-то жил французский художник Лоррен.

Кипренский сильно пил. Каждую ночь он возвращался пьяный и приводил с собой подозрительных завсегдатаев остерий.

«Молодая жена его, — пишет Иордан, — не желая видеть великого художника в столь неприглядном виде, часто не впускала его, и он ночевал под портиком своего дома».

В одну из таких ночей в октябре 1836 года Кипренский простудился, несколько дней перемогался, а потом слег.

Мариучча вызвала старого доктора Риккарди, лечившего всех русских художников.

Лысый и вертлявый старик, похожий на запыленное чучело птицы, вошел вприпрыжку в низкую комнату, где лежал Кипренский. От каменных пустых стен тянуло холодом. Риккарди огляделся и высоко поднял брови — в комнате знаменитого художника висела только одна картина — неоконченный портрет Мариуччи, сидящей у окна.

Кипренский бредил.

Эхо чьих-то торопливых шагов доносилось из далеких пустующих комнат. Густая темнота лежала в углах и в длинных каменных коридорах. Жить в таком доме было сиротливо и холодно.

Риккарди выслушал больного. Ночной осенний ветер шумел над Римом. Старый дворец был полон странного гула, низкого пения каминных труб, хлопанья ставен, скрипа дверных петель.

Риккарди долго смотрел на бледное лицо Кипренского, откинув с его лба блестящие от испарины темные волосы.

— Синьора, — сказал он Мариучче, — у вашего мужа грудная горячка. Шум ветра не дает мне возможности выслушать его со всей тщательностью. Он очень плох. Надо пустить кровь.

Мариучча молчала. Ей было страшно оставаться одной с этим бредящим, внезапно ставшим совсем чужим человеком.

В бреду Кипренский говорил по-русски. Мариучча почти ничего не понимала. Она заплакала. Кипренский очнулся, пристально посмотрел на Риккарди и схватил его за руку.

— Александр Сергеевич, — сказал он очень тихо, и слезы поползли по его небритым щекам. — Спасибо... как же ты шел так далеко, милый... Ночь какая ненастная, а ты меня не хотел оставить...

Риккарди наклонился к больному.

— Это кто? — спросил тревожно Кипренский. — Цирюльник?

— Я доктор, — сказал медленно Риккарди. — Очнитесь. Я доктор. Говорите.

— У меня тяжелая кровь, — спокойно сказал Кипренский. — Краски застыли в жилах. Выпустите кровь, она не греет. Она холодит сердце.

— Прекрасно! — сказал Риккарди.

— Что вы понимаете, — прошептал Кипренский. — Люди

великие, благородные, блиставшие умом и талантом, благословляли мое имя. Жуковский поцеловал меня в голову, Пушкин писал мне элегии, и знаменитые воины считали мою руку столь же верной, как их стальные клинки.

Он поднял худую руку и долго рассматривал ее на свет. Риккарди быстро сжал Кипренского за локоть, подставил оловянную чашку и проткнул острым скальпелем кожу. Брызнула темная кровь.

— Miserere mi, Domine,— сказал Кипренский и глубоко вздохнул. — Никто не знает... Лишь один я их помню, милые слова, любовь моего сердца...

Он помолчал и сказал тихо:

И сердце нежное, все в пламени и ранах,
Трепещет с полночи до утренней звезды.

Слезы снова потекли по его щекам.

— Друзей! — вдруг дико закричал Кипренский и сел на постели. Оловянная чашка опрокинулась, и кровь растеклась из нее по простыне и подушке. — Друзей!

Он упал на постель, на кровавые пятна, и лицо его начало медленно и торжественно бледнеть. Тихо дрожали свечи. Риккарди приложил щеку к губам Кипренского.

Старый дворец гудел от ветра, как громадный струнный оркестр, играющий под сурдинку реквием.

Эхо чьих-то торопливых шагов неслось по пустующим залам. Быстро вошел Торвальдсен. Он увидел лицо Кипренского, очищенное от страданий, от следов пороков и болезней, — лицо более прекрасное, чем мрамор античных скульптур.

Торвальдсен снял шляпу, стал на колени у тела Кипренского и прижался лбом к его свисавшей с постели руке.

Осенний ветер шумел над Римом.

ИСААК ЛЕВИТАН

У художника Саврасова тряслись худые руки. Он не мог выпить стакан чая, не расплескав его по грязной суровой скатерти. От седой неряшливой бороды художника пахло хлебом и водкой.

Мартовский туман лежал над Москвой сизым самоварным чадом. Смеркалось. В жестяных водосточных трубах оттаивал слежавшийся лед. Он с громом срывался на тротуары и раскалывался, оставляя груды синеватого горного хрусталя. Хрусталь трещал под грязными сапогами и тотчас превращался в навозную жижу.

Великопостный звон тоскливо гудел над дровяными складами и тупиками старой Москвы — Москвы восьмидесятых годов прошлого века.

Саврасов пил водку из рюмки, серой от старости. Ученик Саврасова Левитан — тощий мальчик в заплатанном клетчатом пиджаке и серых коротких брюках — сидел за столом и слушал Саврасова.

— Нету у России своего выразителя, — говорил Саврасов. — Стыдимся мы еще родины, как я с малолетства стыдился своей бабки-побирушки... Тихая была старушенция, все моргала красными глазками, а когда померла, оставила мне икону Сергия Радонежского. Сказала мне напоследок: «Вот, внучек, учись так-то писать, чтобы плакала вся душа от небесной и земной красоты». А на иконе были изображены травы и цветы — самые наши простые цветы, что растут по заброшенным дорогам, и озеро, заросшее осинником. Вот какая оказалась хитрая бабка! Я в то время писал акварели на продажу, носил их на Трубу мелким барышникам. Что писал — совестно припомнить. Пышные дворцы с башнями и пруды с розовыми лебедями. Чепуха и срам. С юности и до старинных лет приходилось мне писать совсем не то, к чему лежала душа.

Мальчик застенчиво молчал. Саврасов зажег керосиновую лампу. В комнате соседа скорняка защелкала и запела канарейка.

Саврасов нерешительно отодвинул пустую рюмку.

— Сколько я написал видов Петергофа и Ораниенбаума — не сосчитать, не перечислить. Мы, нищие, благоговели перед великолепием. Мечты создателей этих дворцов и садов приводили нас в трепет. Куда нам после этого было заметить и полюбить мокрые наши поля, косые избы, перелески да низенькое небо. Куда нам!

Саврасов махнул рукой и налил рюмку водки. Он долго вертел ее сухими пальцами. Водка вздрагивала от грохота кованых дрог, проезжавших по улице. Саврасов вороватo выпил.

— Работает же во Франции, — сказал он, поперхнувшись, — замечательный мастер Коро. Смог же он найти прелесть в туманах и серых небесах, в пустынных водах. И какую прелесть! А мы... Слепые мы, что ли, глаз у нас не радуется свету. Филины мы, филины ночные, — сказал он со злобой и встал. — Куриная слепота, чепуха и срам!

Левитан понял, что пора уходить. Хотелось есть, но полупьяный Саврасов в пылу разговора забыл напоить ученика чаем.

Левитан вышел. Перемешивая снег с водой, шли около подвод и бранились ломовые извозчики. На бульварах хлопья снега цеплялись за голые сучья деревьев. Из трактиров, как из прачечных, било в лицо паром.

Левитан нашел в кармане тридцать копеек — подарок товарищей по Училищу живописи и ваяния, изредка собиравших ему на бедность, — и вошел в трактир. Машина звенела колокольцами и играла «На старой Калужской дороге». Мятый половой, пробегая мимо стойки, оскалился и громко сказал хозяину:

— Еврейчику порцию колбасы с ситным.

Левитан — нищий и голодный мальчик, внук раввина из местечка Кибарты Ковенской губернии, — сидел, сгорбившись, за столом в московском трактире и вспоминал картины Коро. Замызганные люди шумели вокруг, пыли слезные песни, дымили едкой махоркой и со свистом тянули желтый кипяток с обсосанных блюдец. Мокрый снег налипал на черные стекла, и нехотя перезванивали колокола.

Левитан сидел долго, — спешить ему было некуда. Ночевал он в холодных классах училища на Мясницкой, прятался там от сторожа, прозванного «Нечистая сила». Единственный родной человек — сестра, жившая по чужим людям, изредка кормила его и штопала старый пиджак. Зачем отец приехал из местечка в Москву, почему в Москве и он и мать так скоро умерли, оставив Левитана с сестрой на улице, — мальчик не

понимал. Жить в Москве было трудно, одиноко, особенно ему, еврею.

— Еврейчику еще порцию ситного, — сказал хозяину половой с болтающимися, как у петрушки, ногами, — видать, ихний бог его плохо кормит.

Левитан низко наклонил голову. Ему хотелось плакать и спать. От теплоты сильно болели ноги. А ночь все лепила и лепила на окна пласты водянистого мартовского снега.

В 1879 году полиция выселила Левитана из Москвы в дачную местность Салтыковку. Вышел царский указ, запрещавший евреям жить в «исконной русской столице». Левитану было в то время восемнадцать лет.

Лето в Салтыковке Левитан вспоминал потом как самое трудное в жизни. Стояла тяжелая жара. Почти каждый день небо обкладывали грозы, ворчал гром, шумел от ветра сухой бурьян под окнами, но не выпадало ни капли дождя.

Особенно томительны были сумерки. На балконе соседней дачи зажигали свет. Ночные бабочки тучами бились о ламповые стекла. На крокетной площадке стучали шары. Гимназисты и девушки дурачились и ссорились, доигрывая партию, а потом, поздним вечером, женский голос пел в саду печальный романс:

Мой голос для тебя и ласковый и томный...

То было время, когда стихи Полонского, Майкова и Апухтина были известны лучше, чем простые пушкинские напевы, и Левитан даже не знал, что слова этого романса принадлежали Пушкину.

Он слушал по вечерам из-за забора пение незнакомки, он запомнил еще один романс о том, как «рыдала любовь».

Ему хотелось увидеть женщину, певшую так звонко и печально, увидеть девушек, игравших в крокет, и гимназистов, загонявших с победными воплями деревянные шары к самому полотну железной дороги. Ему хотелось пить на балконе чай из чистых стаканов, трогать ложечкой ломтик лимона, долго ждать, пока стечет с той же ложечки прозрачная нить абрикосового варенья. Ему хотелось хохотать и дурачиться, играть в горелки, петь до полночи, носиться на гигантских шагах и слушать взволнованный шепот гимназистов о писателе Гаршине, написавшем рассказ «Четыре дня», запрещенный цензурой. Ему хотелось смотреть в глаза поющей женщины, — глаза поющих всегда полузакрыты и полны печальной прелести.

Но Левитан был беден, почти нищ. Клетчатый пиджак протерся вконец. Юноша вырос из него. Руки, измазанные масляной краской, торчали из рукавов, как птичьи лапы. Все лето Левитан ходил босиком. Куда было в таком наряде появляться перед веселыми дачниками!

И Левитан скрывался. Он брал лодку, заплывал на ней в тростники на дачном пруду и писал этюды, — в лодке ему никто не мешал.

Писать этюды в лесу или в полях было опаснее. Здесь можно было натолкнуться на яркий зонтик щеголихи, читающей в тени берез книжку Альбова, или на гувернантку, кудахчущую над выводком детей. А никто не умел презирать бедность так обидно, как гувернантки.

Левитан прятался от дачников, тосковал по ночной певунье и писал этюды. Он совсем забыл о том, что у себя, в Училище живописи и ваяния, Саврасов прочил ему славу Коро, а товарищи — братья Коровины и Николай Чехов — всякий раз затевали над его картинами споры о прелести настоящего русского пейзажа. Будущая слава Коро тонула без остатка в обиде на жизнь, на драные локти и протертые подметки.

Левитан в то лето много писал на воздухе. Так велел Саврасов. Как-то весной Саврасов пришел в мастерскую на Мясницкой пьяный, в сердцах выбил пыльное окно и поранил руку.

— Что пишете! — кричал он плачущим голосом, вытирая грязным носовым платком кровь. — Табачный дым? Навоз? Серую кашу?

За разбитым окном неслись облака, солнце жаркими пятнами лежало на куполах, и летал обильный пух от одуванчиков, — в ту пору все московские дворы зарастали одуванчиками.

— Солнце гоните на холст! — кричал Саврасов, а в дверь уже неодобрительно поглядывал старый сторож — «Нечистая сила». — Весеннюю теплынь прозевали! Снег таял, бежал по оврагам холодной водой, — почему не видел я этого на ваших этюдах? Липы распускались, дожди были такие, будто не вода, а серебро лилось с неба, — где все это на ваших холстах? Срам и чепуха!

Со времени этого жестокого разноса Левитан начал работать на воздухе. Вначале ему было трудно привыкнуть к новому ощущению красок. То, что в прокуренных комнатах представлялось ярким и чистым, на воздухе непонятным образом жухло, покрывалось мутным налетом.

Левитан стремился писать так, чтобы на картинах его был ощутим воздух, обнимающий своей прозрачностью каждую

травинку, каждый лист и стог сена. Все вокруг казалось погруженным в нечто спокойное, синеющее и блестящее. Левитан называл это нечто воздухом. Но это был не тот воздух, каким он представляется нам. Мы дышим им, мы чувствуем его запах, холод или теплоту. Левитан же ощущал его как безграничную среду прозрачного вещества, которое придавало такую пленительную мягкость его полотнам.

Лето кончилось. Все реже был слышен голос незнакомки. Как-то в сумерки Левитан встретил у калитки своего дома молодую женщину. Ее узкие руки белели из-под черных кружев. Кружевами были оторочены рукава платья. Мягкая туча закрыла небо. Шел редкий дождь. Горько пахли цветы в палисадниках. На железнодорожных стрелах зажгли фонари.

Незнакомка стояла у калитки и пыталась раскрыть маленький зонтик, но он не раскрывался. Наконец он раскрылся, и дождь зашуршал по его шелковому верху. Незнакомка медленно пошла к станции. Левитан не видел ее лица, — оно было закрыто зонтиком. Она тоже не видела лица Левитана, она заметила только его босые грязные ноги и подняла зонтик, чтобы не зацепить Левитана. В неверном свете он увидел бледное лицо. Оно показалось ему знакомым и красивым.

Левитан вернулся в свою каморку и лег. Чадила свеча, гудел дождь, на станции рыдали пьяные. Тоска по материнской, сестринской, женской любви вошла с тех пор в сердце и не покидала Левитана до последних дней его жизни.

Этой же осенью Левитан написал «Осенний день в Сокольниках». Это была первая его картина, где серая и золотая осень, печальная, как тогдашняя русская жизнь, как жизнь самого Левитана, дышала с холста осторожной теплотой и щемила у зрителей сердце.

По дорожке Сокольнического парка, по ворохам опавшей листвы шла молодая женщина в черном — та незнакомка, чей голос Левитан никак не мог забыть. «Мой голос для тебя и ласковый и томный...» Она была одна среди осенней рощи, и это одиночество окружало ее ощущением грусти и задумчивости.

«Осенний день в Сокольниках» — единственный пейзаж Левитана, где присутствует человек, и то его написал Николай Чехов. После этого люди ни разу не появлялись на его полотнах. Их заменили леса и пажити, туманные разливы и нищие избы России, безгласные и одинокие, как был в то время безгласен и одинок человек.

Годы учения в Училище живописи и ваяния окончились. Левитан написал последнюю, дипломную работу — облачный день, поле, копны сжатого хлеба.

Саврасов мельком взглянул на картину и написал мелом на изнанке: «Большая серебряная медаль».

Преподаватели училища побаивались Саврасова. Вечно пьяный, задиристый, он вел себя с учениками, как с равными, а напившись, ниспровергал все, кричал о бесталанности большинства признанных художников и требовал на холстах воздуха, простора.

Неприязнь к Саврасову преподаватели переносили на его любимого ученика — Левитана. Кроме того, талантливый еврейский мальчик раздражал иных преподавателей. Еврей, по их мнению, не должен был касаться русского пейзажа, — это было делом коренных русских художников. Картина была признана недостойной медали. Левитан не получил звания художника, ему дали диплом учителя чистописания.

С этим жалким дипломом вышел в жизнь один из тончайших художников своего времени, будущий друг Чехова, первый и еще робкий певец русской природы.

На сарае в деревушке Максимовке, где летом жил Левитан, братья Чеховы повесили вывеску: «Ссудная касса купца Исаака Левитана».

Мечты о беззаботной жизни, наконец, сбылись. Левитан сдружился с художником Николаем Чеховым, подружился с чеховской семьей и прожил три лета рядом с нею. В то время Чеховы проводили каждое лето в селе Бабкине около Нового Иерусалима.

Семья Чеховых была талантливой, шумной и насмешливой. Дурачествам не было конца. Каждый пустяк, даже ловля карасей или прогулка в лес по грибы, разрастался в веселое событие. С утра за чайным столом уже начинались невероятные рассказы, выдумки, хохот. Он не затихал до позднего вечера. Каждая забавная человеческая черта или смешное слово подхватывались всеми и служили толчком для шуток и мистификаций.

Больше всех доставалось Левитану. Его постоянно обвиняли во всяческих смехотворных преступлениях и, наконец, устроили над ним суд. Антон Чехов, загримированный прокурором, произнес обвинительную речь. Слушатели падали со стульев от хохота. Николай Чехов изображал дурака-свидетеля. Он давал сбивчивые показания, путал, пугался и был похож на чехов-

ского мужичка из рассказа «Злоумышленник», — того, что отвинтил от рельсов гайку, чтобы сделать грузило на шелеспера. Александр Чехов — защитник — пропел высокопарную актерскую речь.

Особенно попадало Левитану за его красивое арабское лицо. В своих письмах Чехов часто упоминал о красоте Левитана. «Я приеду к вам, красивый, как Левитан», — писал он. «Он был томный, как Левитан».

Но имя Левитана стало выразителем не только мужской красоты, но и особой прелести русского пейзажа. Чехов придумал слово «левитанистый» и употреблял его очень метко.

«Природа здесь гораздо левитанистее, чем у вас», — писал он в одном из писем. Даже картины Левитана различались, — одни были более левитанистыми, чем другие.

Вначале это казалось шуткой, но со временем стало ясно, что в этом веселом слове заключен точный смысл — оно выражало собою то особое обаяние пейзажа средней России, которое из всех тогдашних художников умел передавать на полотне один Левитан.

Иногда на лугу около бабкинского дома происходили странные вещи. На закате на луг выезжал на старом осле Левитан, одетый бедуином. Он слезал с осла, садился на корточки и начинал молиться на восток. Он подымал руки кверху, жалобно пел и кланялся в сторону Мекки. То был мусульманский намаз.

В кустах сидел Антон Чехов со старой берданкой, заряженной бумагой и тряпками. Он хищно целился в Левитана и спускал курок. Тучи дыма разлетались над лугом. В реке отчаянно квакали лягушки. Левитан с пронзительным воплем падал на землю, изображая убитого. Его клали на носилки, надевали на руки старые валенки и начинали обносить вокруг парка. Хор Чеховых пел на унылые похоронные распевы всякий вздор, приходивший в голову. Левитан трясся от смеха, потом не выдерживал, вскакивал и удирал в дом.

На рассвете Левитан уходил с Антоном Павловичем удить рыбу на Истру. Для рыбной ловли выбирали обрывистые берега, заросшие кустарником, тихие омуты, где цвели кувшинки и в теплой воде стаями ходили красноперки. Левитан шепотом читал стихи Тютчева. Чехов делал страшные глаза и ругался тоже шепотом, — у него клевало, а стихи пугали осторожную рыбу.

То, о чем Левитан мечтал еще в Салтыковке, случилось, — игры в горелки, сумерки, когда над зарослями деревенского сада висит тонкий месяц, яростные споры за вечерним чаем, улыбки и смущение молодых женщин, их ласковые слова, ми-

лые ссоры, дрожание звезд над рощами, крики птиц, скрип телег в ночных полях, близость талантливых друзей, близость заслуженной славы, ощущение легкости в теле и сердце.

Несмотря на жизнь, полную летней прелести, Левитан много работал. Стены его сарая — бывшего курятника — были сверху донизу завешаны этюдами. В них на первый взгляд не было ничего нового — те же знакомые всем извилистые дороги, что теряются за косогорами, перелески, дали, светлый месяц над околицами деревень, тропки, протоптанные лаптями среди полей, облака и ленивые реки.

Знакомый мир возникал на холстах, но было в нем что-то свое, не передаваемое скупыми человеческими словами. Картины Левитана вызывали такую же боль, как воспоминания о страшно далеком, но всегда заманчивом детстве.

Левитан был художником печального пейзажа. Пейзаж печален всегда, когда печален человек. Веками русская литература и живопись говорили о скучном небе, тощих полях, кособоких избах. «Россия, нищая Россия, мне избы черные твои, твои мне песни ветровые, как слезы первые любви».

Из рода в род человек смотрел на природу мутными от голода глазами. Она казалась ему такой же горькой, как его судьба, как краюха черного мокрого хлеба. Голодному даже блистающее небо тропиков покажется неприветливым.

Так вырабатывался устойчивый яд уныния. Он глушил все, лишал краски их света, игры, нарядности. Мягкая разнообразная природа России сотни лет была оклеветана, считалась слезливой и хмурой. Художники и писатели лгали на нее, не сознавая этого.

Левитан был выходцем из гетто, лишенного прав и будущего, выходцем из Западного края — страны местечек, чахоточных ремесленников, черных синагог, тесноты и скудости.

Бесправие преследовало Левитана всю жизнь. В 1892 году его вторично выселили из Москвы, несмотря на то, что он уже был художником со всероссийской славой. Ему пришлось скрываться во Владимирской губернии, пока друзья не добились отмены высылки.

Левитан был безрадостен, как безрадостна была история его народа, его предков. Он дурачился в Бабкине, увлекался девушками и красками, но где-то в глубине мозга жила мысль, что он парий, отверженный, сын расы, испытавшей унизительные гонения.

Иногда эта мысль целиком завладевала Левитаном. Тогда

приходили приступы болезненной хандры. Она усиливалась от недовольства своими работами, от сознания, что рука не в силах передать в красках то, что давно уже создало его свободное воображение.

Когда приходила хандра, Левитан бежал от людей. Они казались ему врагами. Он становился груб, дерзок, нетерпим. Он со злобой соскабливал краски со своих картин, прятался, уходил с собакой Вестой на охоту, но не охотился, а без цели бродил по лесам. В такие дни одна только природа заменяла ему родного человека, — она утешала, проводила ветром по лбу, как материнской рукой. Ночью поля были безмолвны, — Левитан отдыхал такими ночами от человеческой глупости и любопытства.

Два раза во время припадка хандры Левитан стрелялся, но остался жив. Оба раза спасал его Чехов.

Хандра проходила. Левитан возвращался к людям, снова писал, любил, верил, запутывался в сложности человеческих отношений, пока его не настигал новый удар хандры.

Чехов считал, что левитановская тоска была началом психической болезни. Но это была, пожалуй, неизлечимая болезнь каждого требовательного к себе и к жизни большого человека.

Все написанное казалось беспомощным. За красками, наложенными на полотно, Левитан видел другие — более чистые и густые. Из этих красок, а не из фабричной киновари, кобальта и кадмия он хотел создать пейзаж России — прозрачный, как сентябрьский воздух, праздничный, как роща во время листопада.

Но душевная угрюмость держала его за руки во время работы. Левитан долго не мог, не умел писать светло и прозрачно. Тусклый свет лежал на холстах, краски хмурились. Он никак не мог заставить их улыбаться.

В 1886 году Левитан впервые уехал из Москвы на юг, в Крым.

В Москве он всю зиму писал декорации для оперного театра, и эта работа не прошла для него бесследно. Он начал смелее обращаться с красками. Мазок стал свободнее. Появились первые признаки еще одной черты, присущей подлинному мастеру, — признаки дерзости в обращении с материалами. Свойство это необходимо всем, кто работает над воплощением своих мыслей и образов. Писателю необходима смелость в обращении со словами и запасом своих наблюдений,

скульптору — с глиной и мрамором, художнику — с красками и линиями.

Самое ценное, что Левитан узнал на юге, — это чистые краски. Время, проведенное в Крыму, представлялось ему непрерывным утром, когда воздух, отстоявшийся за ночь, как вода в гигантских водоемах горных долин, так чист, что издалека видна роса, стекающая с листьев, и за десятки миль белеет пена волн, идущих к каменистым берегам.

Большие просторы воздуха лежали над южной землей, сообщая краскам резкость и выпуклость.

На юге Левитан ощутил с полной ясностью, что только солнце властвует над красками. Величайшая живописная сила заключена в солнечном свете, и вся серость русской природы хороша лишь потому, что является тем же солнечным светом, но приглушенным, прошедшим через слои влажного воздуха и тонкую пелену облаков.

Солнце и черный свет несовместимы. Черный цвет — это не краска, это труп краски. Левитан сознавал это и после поездки в Крым решил изгнать со своих холстов темные тона. Правда, это не всегда ему удавалось.

Так началась длившаяся много лет борьба за свет.

В это время во Франции Ван-Гог работал над передачей на полотне солнечного огня, превращавшего в багровое золото виноградники Арля. Примерно в то же время Монэ изучал солнечный свет на стенах Реймского собора. Его поражало, что световая дымка придавала громаде собора невесомость. Казалось, что собор выстроен не из камня, а из разнообразно и бледно окрашенных воздушных масс. Надо было подойти к нему вплотную и провести рукой по камню, чтобы вернуться к действительности.

Левитан работал еще робко. Французы же работали смело, упорно. Им помогало чувство личной свободы, культурные традиции, умная товарищеская среда. Левитан был лишен этого. Он не знал чувства личной свободы. Он только мог мечтать о ней, но мечтать бессильно, с раздражением на тупость и тоску тогдашнего российского быта. Не было и умной товарищеской среды.

Со времени поездки на юг к обычной хандре Левитана присоединилось еще постоянное воспоминание о сухих и четких красках, о солнце, превращавшем в праздник каждый незначительный день человеческой жизни.

В Москве солнца не было. Левитан жил в меблированных комнатах «Англия» на Тверской. Город за ночь так густо заволакивало холодным туманом, что за короткий зимний день

он не успевал поредеть. В номере горела керосиновая лампа. Желтый свет смешивался с темнотой промозглого дня и покрывал грязными пятнами лица людей и начатые холсты.

Снова, но уже ненадолго, вернулась нужда. Хозяйке за комнату приходилось платить не деньгами, а этюдами.

Тяжелый стыд охватывал Левитана, когда хозяйка надевала пенсне и рассматривала «картинки», чтобы выбрать самую ходкую. Поразительнее всего было то, что ворчание хозяйки совпадало со статьями газетных критиков.

— Мосье Левитан, — говорила хозяйка, — почему вы не нарисуете на этом лугу породистую корову, а здесь под липой не посадите парочку влюбленных? Это было бы приятно для глаза.

Критики писали примерно то же. Они требовали, чтобы Левитан оживил пейзаж стадами гусей, лошадьми, фигурами пастухов и женщин.

Критики требовали гусей, Левитан же думал о великолепном солнце, которое рано или поздно должно было затопить Россию на его полотнах и придать каждой березе весомость и блеск драгоценного металла.

После Крыма в жизнь Левитана надолго и крепко вошла Волга.

Первая поездка на Волгу была неудачна. Моросили дожди, волжская вода помутнела. Ветер гнал по ней короткие скучные волны. От надоедливого дождя слезились окна избы в деревне на берегу Волги, где поселился Левитан, туманились дали, все вокруг съела серая краска.

Левитан страдал от холода, от скользкой глины волжских берегов, от невозможности писать на воздухе.

Началась бессонница. Старуха хозяйка храпела за перегородкой, и Левитан завидовал ей и писал об этой зависти Чехову. Дождь барабанил по крыше, и каждые полчаса Левитан зажигал спичку и смотрел на часы.

Рассвет затерялся в непроглядных ночных пустошах, где хозяйничал неприветливый ветер. Левитана охватывал страх. Ему казалось, что ночь будет длиться неделями, что он сослан в эту грязную деревушку и обречен всю жизнь слушать, как хлещут по бревенчатой стене мокрые ветки берез.

Иногда он выходил ночью на порог, и ветки больно били его по лицу и рукам. Левитан злился, закуривал папиросу, но тотчас же бросал ее, — кислый табачный дым сводил челюсти.

На Волге был слышен упорный рабский стук пароходных колес, — буксир, моргая желтыми фонарями, тащил вверх, в Рыбинск, вонючие баржи.

Великая река казалась Левитану преддверием хмурого ада. Рассвет не приносил облегчения. Тучи, бестолково теснясь, неслись с северо-запада, волоча по земле водянистые подолы дождей. Ветер свистел в кривых окнах, и от него краснели руки. Тараканы разбегались из ящика с красками.

У Левитана не было психической выносливости. Он приходил в отчаяние от несоответствия между тем, что он ожидал, и тем, что он видел в действительности. Он хотел солнца, — солнце не показывалось; Левитан слеп от бешенства и первое время даже не замечал прекрасных оттенков серого и сизого цвета, свойственных ненастью.

Но в конце концов художник победил неврастеника. Левитан увидел прелесть дождей и создал свои знаменитые «дождливые работы»: «После дождя» и «Над вечным покоем».

Картину «После дождя» Левитан написал за четыре часа. Тучи и оловянный цвет волжской воды создали мягкое освещение. Оно могло исчезнуть каждую минуту. Левитан торопился.

Картины Левитана требуют медленного рассматривания. Они не ошеломляют глаз. Они скромны и точны, подобно чеховским рассказам, но чем дольше вглядываешься в них, тем все милее становится тишина провинциальных посадов, знакомых рек и проселков.

В картине «После дождя» заключена вся прелесть дождливых сумерек в приволжском городке. Блестят лужи. Облака уходят за Волгу, как низкий дым. Пар из пароходных труб ложится на воду. Баржи у берега почернели от сырости.

В такие летние сумерки хорошо войти в сухие сени, в низкие комнаты с только что вымытыми полами, где уже горят лампы и за открытыми окнами шумит от капель и дико пахнет заброшенный сад. Хорошо слушать игру на старом рояле. Его ослабевшие струны звенят, как гитара. Темный фикус стоит в кадке рядом с роялем. Гимназистка сидит в кресле, поджав ноги, и читает Тургенева. Старый кот бродит по комнатам, и ухо у него нервно вздрагивает, — он слушает, не застучат ли в кухне ножи.

С улицы пахнет рогожами. Завтра — ярмарка, и на Соборную площадь съезжаются телеги. Пароход уходит вниз по реке, догоняет дождевую тучу, закрывавшую полнеба. Гимназистка глядит вслед пароходу, и глаза ее делаются туманными, большими. Пароход идет к низовым городам, где театры, книги, заманчивые встречи.

Вокруг городка день и ночь мокнут растрепанные ржаные поля.

В картине «Над вечным покоем» поэзия ненастного дня выражена с еще большей силой. Картина была написана на берегу озера Удомли в Тверской губернии.

С косогора, где темные березы гнутся под порывистым ветром и стоит среди этих берез сгнившая бревенчатая церковь, открывается даль глухой реки, потемневшие от ненастья луга, громадное облачное небо. Тяжелые тучи, напитанные холодной влагой, висят над землей. Косые холстины дождя закрывают просторы.

Никто из художников до Левитана не передавал с такой печальной силой неизмеримые дали русского ненастья. Оно так спокойно и торжественно, что ощущается как величие.

Вторая поездка на Волгу была удачнее первой. Левитан поехал не один, а с художницей Кувшинниковой. Эта наивная, трогательно любившая Левитана женщина была описана Чеховым в рассказе «Попрыгунья». Левитан жестоко обиделся на Чехова за этот рассказ. Дружба была сорвана, а примирение шло туго и мучительно. До конца жизни Левитан не мог простить Чехову этого рассказа.

Левитан уехал с Кувшинниковой в Рязань, а оттуда спустился на пароходе вниз по Оке до слободы Чулково. В слободе он решил остановиться.

Солнце садилось в полях за глинистым косогором. Мальчишки гоняли красных от заката голубей. На левом берегу горели костры, в болотах угрюмо гудели выпи.

В Чулкове было соединено все, чем славилась Ока, — вся прелесть этой реки, «поемистой, дубравной, в раздолье муромских песков текущей царственно, блистательно и плавно, в виду почтенных берегов».

Ничто лучше этих стихов Языкова не передает очарования ленивой Оки.

На пристани в Чулкове к Левитану подошел низкий старик с вытекшим глазом. Он нетерпеливо потянул Левитана за рукав чесучового пиджака и долго мял шершавыми пальцами материю.

— Тебе чего, дед? — спросил Левитан.

— Суконце, — сказал дед и икнул. — Суконцем охота полюбоваться. Ишь скрипит, как бабий голос. А это кто, прости господи, жена, что ли? — Дед показал на Кувшинникову. Глаза его стали злыми.

— Жена, — ответил Левитан.

— Та-ак, — зловеще сказал дед и отошел. — Леший вас разберет, что к чему, зачем по свету шляетесь.

Встреча не предвещала ничего хорошего. Когда на следующее утро Левитан с Кувшинниковой сели на косогоре и раскрыли ящики с красками, в деревне началось смятение. Бабы зашмыгали из избы в избу. Мужики, хмурые, с соломой в волосах, распояской, медленно собирались на косогор, садились поодаль, молча смотрели на художников. Мальчишки сопели за спиной, толкали друг друга и переругивались.

Беззубая баба подошла сбоку, долго смотрела на Левитана и вдруг ахнула:

— Господи Сусе Христе, что ж это ты делаешь, охальник?

Мужики зашумели, Левитан сидел бледный, но сдержался и решил отшутиться.

— Не гляди, старая, — сказал он бабе, — глаза лопнут.

— У-у-у, бесстыжий, — крикнула баба, высморкалась в подол и пошла к мужикам. Там уже трясся, опираясь на посох, слезливый монашек, неведомо откуда забредший в Чулково и прижившийся при тамошней церкви.

— Лихие люди! — выкрикивал он вполголоса. — Чего делают — непонятно. Планы с божьих лугов снимают. Не миновать пожару, мужички, не миновать бяды.

— Сход! — крикнул старик с вытекшим глазом. — Нету у нас заведения картинки с бабами рисовать! Сход!

Пришлось собрать краски и уйти.

В тот же день Левитан с Кувшинниковой уехали из слободы. Когда они шли к пристани, около церкви гудел бестолковый сход и были слышны визгливые выкрики монашка:

— Лихие люди. Некрещеные. Баба с открытой головой ходит.

Кувшинникова не носила ни шляпы, ни платка.

Левитан спустился по Оке до Нижнего и там пересел на пароход до Рыбинска. Все дни он с Кувшинниковой просиживал на палубе и смотрел на берега — искал места для этюдов.

Но хороших мест не было, Левитан все чаще хмурился и жаловался на усталость. Берега наплывали медленно, однообразно, не радуя глаз ни живописными селами, ни задумчивыми и плавными поворотами.

Наконец в Плесе Левитан увидел с палубы старинную маленькую церковь, рубленную из сосновых кряжей. Она чернела на зеленом небе, и первая звезда горела над ней, переливаясь и блистая.

В этой церкви, в тишине вечера, в певучих голосах баб, продававших на пристани молоко, Левитану почудилось столько покоя, что он тут же решил остаться в Плесе.

С этого времени начался светлый промежуток в его жизни.

Маленький городок был беззвучен и безлюден. Тишину нарушали только колокольный звон и мычание стада, а по ночам — колотушки сторожей. По уличным косогорам и оврагам цвел репейник и росла лебеда. В домах за кисейными занавесками сушился на подоконниках липовый цвет.

Дни стояли солнечные, устойчивые, сухие. Русское лето, чем ближе к осени, тем больше бывает окрашено в спелые цвета. Уже в августе розовеет листва яблоневых садов, сединой блестят поля, и вечерами над Волгой стоят облака, покрытые жарким румянцем.

Хандра прошла. Было стыдно даже вспоминать о ней.

Каждый день приносил трогательные неожиданности — то подслеповатая старуха, приняв Левитана за нищего, положит ему на ящик с красками стертый пятак, то дети, подталкивая друг друга в спину, попросятся, чтобы их нарисовать, потом прыснут от смеха и разбегутся, то придет тайком молодая соседка-староверка и будет певуче жаловаться на свою тяжелую долю. Ее Левитан прозвал Катериной из «Грозы» Островского. Он решил вместе с Кувшинниковой помочь Катерине бежать из Плеса, от постылой семьи. Бегство обсуждалось в роще за городом. Кувшинникова шепталась с Катериной, а Левитан лежал на краю рощи и предупреждал женщин об опасности тихим свистом. Катерине удалось бежать.

До поездки в Плес Левитан любил только русский пейзаж, но народ, населявший эту большую страну, был ему непонятен. Кого он знал? Грубого училищного сторожа «Нечистую силу», трактирных половых, наглых коридорных из меблированных комнат, диких чулковских мужиков. Он часто видел злобу, грязь, тупую покорность, презрение к себе, к еврею.

До жизни в Плесе он не верил в ласковость народа, в его разум, в способность много понимать. После Плеса Левитан ощутил свою близость не только к пейзажу России, но и к ее народу — талантливому, обездоленному и как бы притихшему не то перед новой бедой, не то перед великим освобождением.

В эту вторую поездку на Волгу Левитан написал много полотен. Об этих вещах Чехов сказал ему: «На твоих картинах уже есть улыбка».

Свет и блеск впервые появились у Левитана в его «волж-

ских» работах — в «Золотом Плесе», «Свежем ветре», «Вечернем звоне».

Почти у каждого из нас остались в памяти еще с детства лесные поляны, засыпанные листвой, пышные и печальные уголки родины, что сияют под нежарким солнцем в синеве, в тишине безветренных вод, в криках кочующих птиц.

В зрелом возрасте эти воспоминания возникают с поразительной силой по самому ничтожному поводу, — хотя бы от мимолетного пейзажа, мелькнувшего за окнами вагона, — и вызывают непонятное нам самим чувство волнения и счастья, желание бросить все — города, заботы, привычный круг людей — и уйти в эту глушь, на берега неизвестных озер, на лесные дороги, где каждый звук слышен так ясно и долго, как на горных вершинах, — будь то гудок паровоза или свист птицы, перепархивающей в кустах рябины.

Такое чувство давно виденных милых мест остается от «волжских» и «осенних» картин Левитана.

Жизнь Левитана была бедна событиями. Он мало путешествовал. Он любил только среднюю Россию. Поездки в другие места он считал напрасной тратой времени. Такой показалась ему и поездка за границу.

Он был в Финляндии, Франции, Швейцарии и Италии.

Граниты Финляндии, ее черная речная вода, студенистое небо и мрачное море нагоняли тоску. «Вновь я захандрил без меры и границ, — писал Левитан Чехову из Финляндии. — Здесь нет природы».

В Швейцарии его поразили Альпы, но вид этих гор ничем не отличался для Левитана от видов картонных макетов, размалеванных крикливыми красками.

В Италии ему понравилась только Венеция, где воздух полон серебристых оттенков, рожденных тусклыми лагунами.

В Париже Левитан увидел картины Монэ, но не запомнил их. Только перед смертью он оценил живопись импрессионистов, понял, что он отчасти был их русским предшественником, — и впервые с признанием упомянул их имена.

Последние годы жизни Левитан проводил много времени около Вышнего Волочка на берегах озера Удомли. Там, в семье помещиков Панафидиных, он опять попал в путаницу человеческих отношений, стрелялся, но его спасли...

Чем ближе к старости, тем чаще мысль Левитана останавливалась на осени.

Правда, Левитан написал несколько превосходных ве-

сенних вещей, но это почти всегда была весна, похожая на осень.

В «Большой воде» затопленная разливом роща обнажена, как поздней осенью, и даже не покрылась зеленоватым дымом первой листвы. В «Ранней весне» черная глубокая река мертво стоит среди оврагов, еще покрытых рыхлым снегом, и только в картине «Март» передана настоящая весенняя яркость неба над тающими сугробами, желтый солнечный свет и стеклянный блеск талой воды, каплющей с крыльца дощатого дома.

Самые мягкие и трогательные стихи, книги и картины написаны русскими поэтами, писателями и художниками об осени.

Левитан, так же как Пушкин и Тютчев и многие другие, ждал осени, как самого дорогого и мимолетного времени года.

Осень снимала с лесов, с полей, со всей природы густые цвета, смывала дождями зелень. Рощи делались сквозными. Темные краски лета сменялись робким золотом, пурпуром и серебром. Изменялся не только цвет земли, но и самый воздух. Он был чище, холоднее, и дали были гораздо глубже, чем летом. Так у великих мастеров литературы и живописи юношеская пышность красок и нарядность языка сменяется в зрелом возрасте строгостью и благородством.

Осень на картинах Левитана очень разнообразна. Невозможно перечислить все осенние дни, нанесенные им на полотно. Левитан оставил около ста «осенних» картин, не считая этюдов.

На них были изображены знакомые с детства вещи: стога сена, почернелые от сырости; маленькие реки, кружащие в медленных водоворотах палую листву; одинокие золотые березы, еще не обитые ветром; небо, похожее на тонкий лед; косматые дожди над лесными порубками. Но во всех этих пейзажах, что бы они ни изображали, лучше всего передана печаль прощальных дней, сыплющихся листьев, загнивающих трав, тихого гудения пчел перед холодами и предзимнего солнца, едва заметно прогревающего землю.

Исподволь, из года в год, у Левитана развивалась тяжелая сердечная болезнь, но ни он, ни близкие ему люди не знали о ней, пока она не дала первой бурной вспышки.

Левитан не лечился. Он боялся идти к врачам, боялся услышать смертный приговор. Врачи, конечно, запретили бы Левитану общаться с природой, а это для него было равносильно смерти.

Левитан тосковал еще больше, чем в молодые годы. Все чаще он уходил в леса, — жил он в лето перед смертью около

Звенигорода, — и там его находили плачущим и растерянным. Он знал, что ничто — ни врачи, ни спокойная жизнь, ни исступленно любимая им природа — не могли отдалить приближавшийся конец.

Зимой 1899 года врачи послали Левитана в Ялту.

В то время в Ялте жил Чехов. Старые друзья встретились постаревшими, отчужденными. Левитан ходил, тяжело опираясь на палку, задыхался, всем говорил о близкой смерти. Он боялся ее и не скрывал этого. Сердце болело почти непрерывно.

Чехов тосковал по Москве, по северу. Несмотря на то, что море, по его собственным словам, было «большое», оно суживало мир. Кроме моря и зимней тихой Ялты, казалось, ничего не оставалось в жизни. Где-то очень далеко за Харьковом, за Курском и Орлом лежал снег, огни нищих деревень мигали сослепу в седую метель; она казалась милой и близкой сердцу, гораздо ближе беклиновских кипарисов и сладкого приморского воздуха. От этого воздуха часто болела голова. Милым казалось все: и леса, и речушки — всякие Пехорки и Вертушинки, и стога сена в пустынных вечерних полях, одинокие, освещенные мутной луной, как будто навсегда позабытые человеком.

Больной Левитан попросил у Чехова кусок картона и за полчаса набросал на нем масляными красками вечернее поле со стогами сена. Этот этюд Чехов вставил в камин около письменного стола и часто смотрел на него во время работы.

Зима в Ялте была сухая, солнечная, с моря дули тепловатые ветры. Левитан вспомнил свою первую поездку в Крым, и ему захотелось в горы. Его преследовало воспоминание об этой поездке, когда с вершины Ай-Петри он увидел у своих ног пустынное облачное небо. Над головой висело солнце, — здесь оно казалось гораздо ближе к земле, и желтоватый его свет бросал точные тени. Облачное небо дымилось внизу в пропастях и медленно подползало к ногам Левитана, закрывая сосновые леса.

Небо двигалось снизу, и это пугало Левитана так же, как пугала никогда не слыханная горная тишина. Изредка ее нарушал только шорох осыпи. Шифер сползал с откоса и раскачивал сухую колючую траву.

Левитану хотелось в горы, он просил отвезти его на Ай-Петри, но ему в этом отказали — разреженный горный воздух мог оказаться для него смертельным.

Ялта не помогла. Левитан вернулся в Москву. Он почти не выходил из своего дома в Трехсвятительском переулке.

Двадцать второго июля 1900 года он умер. Были поздние сумерки, когда первая звезда появляется над Москвой на

страшной высоте и листва деревьев погружена в желтую пыль и в отсветы гаснущего солнца.

Лето было очень поздним. В июле еще доцветала сирень. Ее тяжелые заросли заполняли весь палисадник около дома. Запах листвы, сирени и масляных красок стоял в мастерской, где умирал Левитан, запах, преследовавший всю жизнь художника, передавшего на полотне печаль русской природы, — той природы, что так же, как и человек, казалось, ждала иных, радостных дней.

Эти дни пришли очень скоро после смерти Левитана, и его ученики смогли увидеть то, чего не видел учитель, — новую страну, чей пейзаж стал иным потому, что стал иным человек, наше щедрое солнце, величие наших просторов, чистоту неба и блеск незнакомых Левитану праздничных красок.

Левитан не видел этого потому, что пейзаж радостен только тогда, когда свободен и весел человек.

Левитану хотелось смеяться, но он не мог перенести на свои холсты даже слабую улыбку.

Он был слишком честен, чтобы не видеть народных страданий. Он стал певцом громадной нищей страны, певцом ее природы. Он смотрел на эту природу глазами измученного народа, — в этом его художественная сила, и в этом отчасти лежит разгадка его обаяния.

—

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

> **Други мои, искренние мои! Пишите, подайте голос за эту бедную, грязную чернь! За этого поруганного, бессловесного смерда!**
>
> **О, край мой милый! Моя судьбина!**
>
> **Шевченко**

Дед мой — старый николаевский солдат — любил поговорить о Тарасе Шевченко.

— Было это в давние времена, — говорил дед, — когда служил я, хлопчик, в Оренбургском крае...

Эти давние времена казались мне похожими на рисунки в старых, побуревших журналах. Они были тусклыми, выгоревшими, от них тянуло горькой плесенью.

— Было это в давние времена, — повторял дед и тщетно старался выбить трясущимися руками искру из кремня, чтобы закурить трубку, — еще при царе Николае. Стояла наша рота в Гурьеве, на реке Урале. Кругом, куда ни кинь глазом, степь да степь, одна соленая земля, одна пустынная местность. И от великой сухости пропадали в той местности солдаты.

Я смотрел на деда и удивлялся — как это у него за столько лет жизни не сошли с лица ожоги от каспийского солнца. Щеки у деда были черные, шея жилистая, привыкшая к красному солдатскому воротнику, и только в глазах поблескивала голубоватая вода — спутник дряхлости, признак недалекой смерти.

— И прогоняли в то время через Гурьев, — неторопливо говорил дед, — известного впоследствии человека, бывшего крипака Шевченко. Забрил его царь в солдаты за мужицкие песни. Гнали его, хлопчик, на Мангышлак, в самое киргизское пекло, где тухлая вода и нет ни травы, ни лозы, никакого даже ледащего дерева. Рассказывали старослуживые солдаты, что подобрал рядовой Шевченко у нас в Гурьеве сухой прут из вербы, увез на Мангышлак, а там посадил и поливал его три года, пока не выросло из того прута шумливое дерево. В наше время солдата гоняли сквозь строй, били беспощадно мокрыми

прутьями из вербы. Называлось это занятие у командиров «зеленая улица». Один такой прут и подобрал Шевченко. В память забитого тем прутом солдата он его посадил, и выросло на крови солдатской да на его слезах веселое дерево в бедняцкой закаспийской земле. И по нынешний день шумит оно листами на Мангышлаке, рассказывает про солдатскую долю. Да некому его слушать, хлопчик. Шевченко давно лежит в высокой могиле по-над Днепром, а слышно тот разговор только пескам, да сусликам, да пыльному ветру. Дует он там день и ночь с бухарской стороны. День и ночь порошит глаза, сушит горло, тоску прибавляет. А теперь, по прошествии многих времен, может, на том месте, где сажал Шевченко вербу, уже вырос сад и какая-нибудь птица сидит в том саду и свиристит в тени, в холодке, про свои птичьи небольшие дела.

Я мог слушать деда весь день. В коноплянике жужжали зеленые мухи. Горох на горячем плетне рассыхался, трещал, и струилась, шумела за плетнем по камням быстрая река Рось.

Я знал от деда, что она несла свою воду сначала к Белой Церкви, а потом в степи, где «мрияла» голубая жара и задувал с Босфора, шевелил бурьян тепловатый черноморский ветер.

После солдатчины дед чумаковал в степях, возил из Крыма на волах перекопскую желтую соль и сушеную рыбу. С тех пор осталась у него привычка петь дребезжащим голосом заунывные, как скрип чумацких возов, запорожские песни. То были песни о сиротах, о злых мачехах, о сказочных маленьких реках, текущих из вишневых садов, о могилах и ястребах. «Засинели издалече старые курганы». Потом я узнал, что это были любимые песни Шевченко.

Детство мое прошло на Украине. В мазанной мелом хате пахло глиной от чистых полов. По вечерам моя тетка Феодосия Максимовна вытаскивала из каморы, из сундука, растрепанный том «Кобзаря», читала его мне нараспев, замолкала на полуслове, снимала нагар со свечи и вытирала глаза чистой «хусткой». Я смотрел на нее с удивлением. Я не знал тогда, что она плакала о своей женской доле, похожей на долю шевченковской Катерины, о судьбе девушки, обманутой любимым. Иногда она водила меня в леваду, на маленькую могилу, заросшую выше пояса колосистой травой, и рассказывала, что под этой травой лежит такой же маленький хлопчик, как я, только сероглазый, и зовут его Петрусь.

Много лет спустя я узнал, что в леваде был похоронен «незаконный» сын Феодосии Максимовны — «байструк», как говорили по дворам злые хозяйки.

Что может быть пленительнее раннего детства, прожитого

на Украине! Оно осталось в памяти, как светлая роса на синих и желтых ползучих цветах портулака, как дым соломы, застилавший осенние дни, как застенчивые грудные голоса дивчат — моих двоюродных сестер, как постоянный шум вязов над дедовским куренем.

Дед весь день сидел в курене, сторожил пасеку. Но потом оказалось, что он ничего не сторожил, а отсиживался на пасеке от дурного характера моей бабки-турчанки — женщины гневной, прокуренной до костей едким фракийским табаком.

«По прошествии многих времен», летом 1931 года, я, внук этого безответного деда, сошел со старого каспийского парохода на берег в Александровском форте (бывшем Новопетровском укреплении), на полуострове Мангышлак, в месте ссылки Тараса Шевченко.

Я вспомнил рассказы деда и разыскал в пустынном, пришибленном поселке несколько жалких деревьев. Тусклый свет поблескивал на их выгорающих листьях. Пыль лежала над горизонтом — пыль ссыльных пустынь, мертвых солончаковых пространств. По дворам ревели облезлые верблюды. Солнце казалось глазом слепого.

Я пошел в степь. Желтоватые грязные облака стояли на небе. При первом взгляде на них было ясно, что они стоят здесь неделями, месяцами, как бы прилипнув к этому сухому небу.

На земле очень редко, в ста шагах друг от друга, росли кусты горькой солянки. За холмом я наткнулся на казахскую могилу. Около выветренного камня стояла пиала с теплой водой. На пиале сидели, покачиваясь, маленькие птицы.

Я вспомнил взволнованные слова Шевченко в его дневнике о киргизских детях. Они приносят на могилы своих родных чашки с водой, чтобы птицы, залетающие в эти мертвые земли, не погибли от жажды.

Здесь, в этих местах, бродил постаревший поэт в пыльном солдатском мундире. Здесь, по приказу Николая Первого, у него отобрали единственный карандаш, чтобы он не мог ни писать, ни рисовать. Здесь он думал о детях, жалеющих маленьких птиц, тосковал о своей «прекрасной, бедной Украине во всей ее непорочной и меланхолической красоте».

Я возвращался на пароход. Я торопился. Мне казалось, что пароход может уйти раньше времени и оставить меня на этих надрывающих сердце пустырях. Тогда я понял все великое отчаяние Шевченко, томившегося здесь семь лет в ссыльной казарме, отчаяние народного певца, которому заткнули железным кляпом рот.

В старое время на полях Украины часто можно было встретить пугливых мальчиков-пастухов — босоногих, в холщовых рубашках и штанах, с торбами за спиной. В торбы полагалось прятать краюху хлеба и кусок сала. Но в них большей частью ничего не было, кроме черствой корки и щербатого ножа, чтобы вырезать из вербы свистки и свирели. Иногда в торбе попадались сухие жуки, сломанные подковы и кремни — нехитрый запас пастушьих игрушек для непонятных взрослым, удивительных игр, где главным героем было воображение.

Вот таким хлопчиком-пастушонком со старой торбой на веревочной перевязи был в детстве Тарас Шевченко.

Детство его ничем не отличалось от детства сотен таких же боязливых, погруженных в свои детские раздумья пастушат. Детские эти раздумья были горькими, как сама судьба детей, как печально было их будущее — рекрутчина, батоги, бедность, вечный труд и, наконец, лишний рот — постылая старость. Напрасно девушки гадали о будущем по знаменитым «оракулам», напрасно видели счастливые сны. Все знали, что эти сны редко сбываются в такой клятой стране, как николаевская Россия.

Родился Тарас в семье крепостного крестьянина Григория Шевченко в селе Моринцах Звенигородского уезда Киевской губернии. Родился в 1814 году, когда русская армия утверждала могущество империи Александра на полях Европы и сумрачным крипакам-украинцам как будто остались на долю только воспоминания. И они вспоминали при свете каганцов Железняка и Гонту, уманскую резню, колиивщину — украинскую жакерию, когда их отцы поднялись на панов, вооруженные деревянными кольями. Среди этих рассказов о потерянной вольности, среди гнева на панщину и вырос Шевченко.

Семья Шевченко принадлежала помещику Энгельгардту — «напыщенному и ничтожному животному», по отзывам беспристрастных современников. Но у этого ничтожества была железная рука. Шевченко с ненавистью вспоминал о ней до конца жизни.

Когда Тарасу пошел девятый год, умерла его мать. Отец, переехавший в деревню Кирилловку, женился на вдове с детьми. У маленького Тараса началась сиротская жизнь, полная обид, невыплаканных слез.

Об этой жизни было сложено много песен в тогдашней сирой России. О сиротах гнусавили убогие люди на папертях сельских церквей, о сиротах пели слепцы-кобзари по ярмаркам. И пели недаром. Песни о сиротстве детей выдавали потаенные думы о сиротстве народа. Слепые певцы, может быть сами того не

зная, пели грозные и мрачные песни о великой народной печали.

Единственной утешительницей маленького Тараса была старшая сестра Катруся — его терпеливая, нежная нянька. Она уводила его, плачущего, в леваду. Она рассказывала ему сказки о том, что небо стоит над землей на высоких синих столбах. Если идти и день и два, то подойдешь к этим столбам и увидишь небо так близко, что его можно будет потрогать рукой.

Мальчик затихал, слушал, а наутро убегал в степь искать эти синие небесные столбы, сбивался с дороги, засыпал, обессиленный, в бурьяне, и его привозили домой чумаки.

Через два года после смерти матери умер отец. Тарас остался круглым сиротой.

Когда перед смертью Григорий Шевченко делил между детьми свое нищенское наследство (должно быть — черную солому, холсты и казаны), он сказал, что Тарасу не надо оставлять ничего, потому что Тарас — мальчик не такой, как все: выйдет из него или замечательный человек, или большой негодяй, — ни тому, ни другому бедняцкое наследство не понадобится.

Мачеха, чтобы избавиться от пасынка, отдала его в пастухи. Пастухом Тарас был плохим. Пасти овец и свиней ему мешало живое воображение. Мальчик часами лежал на старых могилах, разглядывал небо, рассматривал украденную у дьячка книгу с картинками или играл сам с собой в тихие игры.

Пришлось взять его из пастухов и отдать в ученье к сельским дьячкам. Их было несколько, этих спившихся учителей грамоты. Они заставляли Тараса добывать им водку и читать по ночам псалтырь над покойниками.

Двенадцатилетним мальчиком Тарас уже знал всю невеселую судьбу крепостного: от рождения и до последней гробовой его свечи. Смерть казалась отдыхом. В прибранной пустой хате лежал восковой человек. Его черные заскорузлые руки впервые в жизни были бездельно сложены на груди. Ему не надо было вставать до рассвета, идти на барщину, подымать сохой неподатливую землю, думать все одну и ту же унылую думу, как прокормить жену и детей.

Потрескивала свеча. Воск капал на тонкие страницы псалтыри. Привычно вздыхали женщины, и голос Тараса бормотал неясные утешения о светлых местах, где будет покоиться рядом с умершими панами душа крипака, потому что, как учила церковь, все люди после смерти становятся братьями.

Уже с этих лет Тарас невзлюбил подневольную крестьян-

скую жизнь. Все попытки мачехи и брата приучить его к хлеборобству наталкивались на безмолвное сопротивление. Уже с этих лет Тарас мечтал о живописи. Он украл у учителя-дьячка пять копеек, купил на них бумаги, сшил тетрадь и разрисовал ее цветами и узорами.

В конце концов Тарас не выдержал ежедневных побоев дьячка и ночных бдений над покойниками, сбежал из своей деревни и начал бродить по окрестным селам, разыскивать учителя живописи.

Живописью занимались все те же пьяницы дьячки, писавшие иконы для церквей. Иные брали к себе Тараса в ученье, но заставляли его батрачить или без конца тереть краски; другие прогоняли его в первый же день, считая ни к чему не способным. Только маляр в селе Хлипновке взялся испытать приблудного мальчика. Две недели он заставлял его рисовать, потом сказал, что из Тараса выйдет хороший художник, но взять его в обучение он боится, потому что Тарас — беглый крипак. Маляр потребовал у Тараса письменного разрешения от помещика Энгельгардта.

Тарас простодушно пошел за разрешением к управляющему имениями Энгельгардта. Тот посмотрел его рисунки и отправил Тараса на господскую дворню.

В то время Энгельгардту, жившему в Вильно, понадобились новые слуги. Тараса посадили на телегу вместе с другими дворовыми и отправили в далекую Литву. В донесении Энгельгардту о новых слугах управляющий против имени Тараса написал: «Годен на комнатного живописца».

В 1829 году в Вильно стояла снежная зима. Глубокие снега приглушали звон католических костелов. Это не была страшная зима 1812 года, — о ней виленцы вспоминали с содроганием. Город еще жил памятью о походе Наполеона, о балах Александра, о сражениях и гибели на обледенелых горах около Вильно всей артиллерии Наполеона — маршал Ней приказал ее сжечь.

Здесь, в Вильно, был последний привал погибавшей многоязычной армии. Еще при Шевченко в подвалах виленских монастырей находили скелеты французских солдат.

Польша волновалась. Адам Мицкевич томился в позолоченной тюремной клетке — в литературных салонах ненавистного ему Петербурга. Молодежь зачитывалась его «Конрадом Валленродом». Медленно, но явственно приближалось польское восстание.

Но мальчик Тарас ничего не знал об этом, — гораздо позже он выучил польский язык и впервые прочел Мицкевича. Сейчас он целыми днями сидел в темноватой прихожей на конике — сундуке, где хранились принадлежности лакейского звания, ждал барского оклика, подавал Энгельгардту трубки. Вместо комнатного живописца Энгельгардт сделал его комнатным казачком.

В Вильно страсть к живописи у Тараса еще усилилась. В редкие свободные часы мальчик убегал в город. В Острой Браме, в бернардинских монастырях он видел старинные иконы, написанные безвестными художниками пышно и театрально. В доме Энгельгардта он рассматривал портреты героев войны двенадцатого года и суздальские образа. В Вильно мальчик впервые полюбил архитектуру и сохранил эту любовь на всю жизнь. Потом, на Украине и в Нижнем-Новгороде, он зарисовывал старинные здания, восторгался их пропорциями, строгостью линий и позабытыми строителями этих зданий — большей частью «простыми крестьянами-холопами».

В Вильно Шевченко испытал первую любовь. Она была неудачна, как и все его увлечения. Всю жизнь он прожил бобылем.

Об этой первой любви Шевченко мы знаем мало. Он полюбил девушку польку. Встретил он ее в одном из виленских костелов. Костелы всегда были местом встреч, взглядов, мимолетных и неясных знакомств.

Девушка была «вольная». Тарас был холоп. В этом одном уже заключалась безысходность его первой любви.

В палатах помещика Тарас впервые понял, как он унижен. У него появилась ясная мысль о необходимости освобождения холопов. Мысль эта росла, крепла, закалялась на протяжении жизни и сделала из безвестного мальчика великого «мужицкого поэта» и революционера.

Зимой в Вильно гремели балы. Паркеты дрожали от танцев, сияли под потолками тяжелые люстры, звенели шпоры. Ветер от шелковых шлейфов холодил ноги старикам, глядевшим на танцы из кресел. Крепостные музыканты надрывались на хорах, выдувая из флейт и кларнетов бешеные темпы мазурки.

Однажды Энгельгардт уехал на бал. Бал давали в день именин Николая. Челядь Энгельгардта могла, наконец, отдохнуть, — бал должен был затянуться до утра.

Когда в большом гулком доме все успокоились, Шевченко

зажег свечу, прокрался в барские комнаты и начал срисовывать портрет генерала Платова.

Платов ехал по зимним полям. По обочинам дороги валялись замерзшие французы. Конь Платова гарцевал, как будто позировал мальчику.

Шевченко увлекся. Свеча оплывала. Ночь медленно приближалась к рассвету. Шевченко не слышал стука в дверь, суеты, грозных окриков Энгельгардта. Очнулся он от того, что рука барина схватила его за ухо и сбросила со стула. Взбешенный Энгельгардт кричал, что казачок палит всю ночь свечи и может сжечь дом и весь город. Тогда еще не стерлось воспоминание о пожаре Москвы, сгоревшей якобы от копеечной свечки.

— На конюшню! — кричал Энгельгардт. — Не твое холопское дело производить копии с этих портретов!

Утром Шевченко выпороли на конюшне. Порку он перенес, но несколько дней после нее думал о самоубийстве.

Через год, когда он получил от Энгельгардта новый удар, он думал уже не о самоубийстве, а об убийстве своего барина: «С ножом в господские палаты я шел, не чувствуя земли». А через несколько лет он уже звал народ тащить на плаху первого крепостника и помещика всей России — царя Николая.

Порка не испугала Тараса, — он был тих, но упрям и продолжал втихомолку срисовывать портреты. Тогда Энгельгардт сдался. Он решил сделать из Тараса своего крепостного художника. В то время, как известно, помещики считали признаком просвещенности держать дворовых художников и время от времени засекать их до смерти.

Вблизи Москвы, в деревне Марфино — бывшем поместье князя Голицына, сохранилась около церкви могила крепостного архитектора Белозерова. Белозеров построил в Марфино церковь, но отказался, несмотря на приказ Голицына, поставить внутри церкви столбы. Столбы испортили бы легкую архитектуру. Голицын приказал засечь Белозерова, похоронить у стен построенной им церкви и выбить на могильной плите надпись о причинах его смерти в назидание непокорным холопам.

Энгельгардт вскоре переехал в Варшаву и отдал Шевченко в учение австрийскому хитроватому портретисту Лампи.

У Лампи Шевченко проучился недолго. Кончался 1830 год. Готовилось восстание. Польские полки волновались. Слово «повстание» произносилось во весь голос на городских площадях и в кофейнях. Наместник Константин заперся у себя в Бельведере. У французского консульства, где развевался трех-

цветный флаг, стояли возбужденные, восторженные толпы варшавян.

Энгельгардт решил бежать. Оставаться в Польше было опасно. Всю дворню он отправил в Петербург вслед за телегами, нагруженными барским добром. Стояла зима. Путь от Варшавы до Петербурга Шевченко прошел пешком.

В Петербурге Энгельгардт отдал Шевченко в учение к «комнатному живописцу» Ширяеву. Ширяев держал малярное и стекольное заведение.

Шевченко вместе с другими учениками жил у Ширяева на чердаке, носил ветхий тиковый халат и ходил на работу — красить стены, расписывать потолки и вывески.

Ширяев был подрядчиком. Это был человек необразованный, крутой и грубый. О том, чтобы научиться у него даже самым простым приемам живописи, нечего было и думать. Шевченко, как и все ширяевские ученики, боялся своего хозяина. Ширяев знал только один способ обучения — зуботычину.

По вечерам на чердаке у Ширяева старшие ученики рассказывали Шевченко о красотах Петербурга, о знаменитых петергофских гуляниях и фонтанах. Громадный город — туманный и прямолинейный, холодный и блистательный — первое время пугал Шевченко. Разнообразие живописных богатств, заключенных чуть ли не в каждом доме, казалось ему сказочным после лубочных картинок, которые он воровал на Украине у своих учителей-дьячков. Все это надо было рассмотреть, изучить, срисовать.

Как-то летом Шевченко сбежал с работы и пошел пешком в Петергоф. В кармане его халата было несколько медных грошей и кусок хлеба.

В Петергофе Шевченко увидел нарядные толпы петербуржцев, любовавшихся струями воды, летевшими ввысь, к вершинам столетних деревьев, увидел Ширяева с его толстой женой, испугался и тотчас ушел обратно.

Он был так голоден и слаб, что фонтаны не произвели на него того впечатления, которого он ожидал. Кроме того, было страшно увидеть рядом с мраморными статуями и блещущими фонтанами, рядом с праздничной листвой садов тяжелое лицо самодура и кулака Ширяева.

Так жизнь шаг за шагом давала Тарасу трудные, но верные уроки. Рабство и пышные придворные праздники, тиковый халат и шелестящие наряды женщин, подрядчик, торжественно

шествующий среди творений Растрелли и Воронихина, — все это возвращало мысль к обездоленности народа.

Народ, только народ имел право созерцать красоту и облагораживать себя этим созерцанием, а не Ширяевы и Энгельгардты. Надо было научиться высокому искусству живописи, чтобы отдать его народу, чтобы картины — «изящнейшие произведения человеческого духа» — висели не в дворцовых залах, а в народных галереях.

Никто не мог помочь Шевченко в трудном искусстве, и он начал изучать его сам. По пути с работы на ширяевский чердак он заходил в Летний сад и срисовывал мраморные статуи, поставленные еще во времена Елисаветы.

В Летнем саду Тарас начал писать и свои первые стихи. «О первых моих литературных опытах, — говорил он впоследствии, — скажу только, что они начались в том же Летнем саду, в светлые безлунные ночи. Украинская строгая муза долго чуждалась моего вкуса, извращенного жизнью в школе, в помещичьей передней, на постоялых дворах и в городских квартирах. Но когда дыхание свободы возвратило моим чувствам чистоту первых лет детства, проведенных под убогою батьковскою стрехою, она, спасибо ей, обняла и приласкала меня на чужой стороне».

Днем рисовать было некогда. Помогали белые ночи. Их сумрак был светел. Он не скрывал очертания статуй. Наоборот, в прозрачном блеске ночей статуи казались особенно ясными на темной листве, вычерченными более чистыми линиями, чем днем. Днем они были грубее.

Шевченко сидел около статуй и рисовал. Никто не мешал ему. Летний сад был пуст, безмолвен.

В одну из таких ночей преподаватель Академии художеств Сошенко проходил через Летний сад и увидел мальчика, сидевшего на перевернутом малярном ведре перед статуей Сатурна. Сошенко тихо подошел. Мальчик обернулся и что-то быстро спрятал за пазуху.

— Что ты здесь делаешь? — спросил Сошенко.

— Да ничего, — ответил растерянно мальчик. — Ничего я не делаю такого... Шел с работы и зашел в сад.

Сошенко молчал.

— Я рисую, — прошептал мальчик и покраснел.

— Покажи.

Мальчик показал художнику измятый набросок статуи Сатурна. Набросок был очень хорош.

Сошенко дал мальчику свой адрес и наказал непременно прийти в ближайшее воскресенье и принести свои рисунки.

С этой встречи начался перелом в жизни Шевченко. Сошенко первый открыл в Летнем саду этот «алмаз в кожухе», как он называл впоследствии Шевченко.

В первое же воскресенье Тарас пришел к Сошенко. Художник открыл ему дверь и протянул руку. Тарас схватил ее и хотел поцеловать. Сошенко вырвал руку. Тарас испугался, бросился вон из дверей и убежал.

Сошенко был возмущен «раболепием» мальчика. Он не знал, что Тарас — крепостной. Сгоряча он не понял, что запуганный мальчик хотел поцеловать ему руку не из раболепия, а из благодарности — так же, как поцеловал бы руку приласкавшего его отца.

Сошенко был взволнован не меньше Тараса. На следующий вечер он пошел в Летний сад, чтобы отыскать мальчика, и увидел его перед статуей Аполлона Бельведерского. Сошенко забрал мальчика и повел в трактир. Мальчик был худ, бледен; было видно, что он голодает.

В трактире Тарас рассказал Сошенко свою немудрую жизнь. Сошенко был в отчаянии: талантливый мальчик оказался крепостным. Не было никакой надежды вырвать его у помещика и сделать художником. Тарас смотрел в глаза Сошенко, но художник только махнул рукой.

Они молча вышли из трактира. Великолепный город лежал вокруг, расчерченный гениальными архитекторами. Казалось, неизмеримое горе было заключено в продуманной классической красоте петербургских зданий.

Около трактира встретился известный художник, старик Венецианов. Сошенко рассказал ему о Тарасе. Венецианов долго приглядывался к украинскому юноше, потом тихо сказал Сошенко:

— Добейтесь хотя бы некоторого улучшения его участи, а потом уже будем хлопотать о свободе. Все возможно на этом свете, лишь бы было непреклонное желание.

Сошенко пошел к Ширяеву. Долго он уговаривал угрюмого подрядчика отпускать Шевченко в свободное время к нему, художнику Сошенко, для обучения живописи. Ширяев подозрительно посматривал на художника и упирался. Занятие чистой живописью было, по его мнению, вредным баловством и ничего не могло принести крепостному, кроме несчастья. Но Сошенко был настойчив, и подрядчик сдался.

С тех пор Тарас все свободное время проводил в мастерской у Сошенко. Здесь он встретился с блиставшим в то время в Петербурге Карлом Брюлловым.

Имя Брюллова, недавно вернувшегося из Италии, было

окружено трескучей славой. Петербуржцы знали восторженные отзывы Вальтера Скотта о полотнах Брюллова. Рассказывали, что в Риме, когда Брюллов появлялся в театре, зрители встречали его рукоплесканиями. О Брюллове создавались легенды. Его ставили в один ряд с Микеланджело и Рафаэлем. Его великолепная мастерская приводила в трепет измотанных нуждой художников и нищих учеников Академии. Пушкин восхищался Брюлловым и просил его написать портрет жены — Наташи Гончаровой.

Преклонение перед Брюлловым легко понять. Брюллов внес в русскую живопись живую нарядность и приподнятость красок. Он как бы целиком перенес в Россию вместе со своими полотнами клочок Италии. Все золотилось, смуглело, сверкало лукавством и улыбкой, театральной грацией на его холстах. Брюллову завидовал даже Кипренский.

Брюллову понравились рисунки Шевченко. Сбылось то, о чем Тарас не мог и мечтать. Один из величайших художников Европы не только держал в руках, но и искренне хвалил его «мазню».

Брюллову понравился Тарас — «мальчик с некрепостным лицом». Он заинтересовался его судьбой и обещал Сошенко подумать о ней.

После встречи с Брюлловым Тарас несколько дней ходил, ничего не видя, не слыша. Он беспричинно смеялся, забывал о работе, не замечал ругани Ширяева. Слезы радости часто появлялись у него на глазах.

Сошенко устроил так, что Тарас начал посещать классы Академии художеств. Там он рисовал античные гипсы. Он все сильнее втягивался в живопись, знакомился с вольнолюбивыми художниками, начинал понимать язык линий и следовать традициям живописного мастерства. И тем отвратительнее делалось для него прозябание раба, малярная работа, мусорный ширяевский чердак.

Брюллов рассказал о судьбе талантливого украинского юноши Жуковскому и музыканту Виельгорскому. Сообща было решено добиться освобождения Тараса.

Брюллов поехал к Энгельгардту. Он вернулся от помещика в бешенстве. «Это самая грязная свинья, какую я когда-либо встречал в жизни, — сказал он Сошенко. — Завтра он обещал назначить цену за Шевченко. Сходите к нему и узнайте, сколько он запросит».

Так начался страшный торг с Энгельгардтом за свободу Шевченко.

Сошенко сам не решился пойти к Энгельгардту. Он попро-

сил об этом Венецианова. Сошенко думал, что Энгельгардт постыдится затеять торговлю с простодушным стариком, пользовавшимся всеобщей известностью и уважением. Венецианов охотно согласился идти к помещику,— всю жизнь он помогал людям, «впадавшим в крайность». Он считал это таким же естественным для себя делом, как и рисование картин.

Энгельгардт заставил старика Венецианова больше часа дожидаться в передней, среди челяди и лакеев. Принял он Венецианова грубо, надменно. Он не захотел слушать разговоров о талантливости Шевченко и необходимости свободы для его дальнейшего развития.

— Все это вздор! — сказал он Венецианову. — Все это филантропия! Не в том, батенька, дело.

Тогда Венецианов, краснея за собеседника, спросил, во сколько Энгельгардт оценивает свободу Шевченко.

— Наконец-то я слышу достойные слова! — воскликнул Энгельгардт и начал уклончивый разговор о том, что Шевченко ему надобен, потому что он, Энгельгардт, заказывает ему портреты знакомых и даже платит крепостному художнику за каждый портрет рубль серебром. Торг длился долго. Энгельгардт в конце концов назначил за Шевченко выкуп в две тысячи пятьсот рублей и не захотел уступить ни копейки.

Сумма была огромна. Она делала освобождение Шевченко почти невозможным. Венецианов пришел к Сошенко обескураженный и сердитый.

Снова совещались Брюллов, Сошенко, Венецианов и Жуковский и решили деньги эти достать во что бы то ни стало.

Шевченко страшно волновался. Он задумал убить Энгельгардта. Чтобы успокоить его, Сошенко добился у Ширяева отпуска для Тараса на один месяц. Но Ширяев был не такой человек, чтобы согласиться даром, — Сошенко должен был за это бесплатно написать портрет Ширяева.

Отпуск не помог Шевченко. Он знал, что нигде двух с половиной тысяч достать нельзя, что не стоит думать о свободе, и с каждым днем томился все больше. Он притих, был подавлен, растерян. Мысль об убийстве Энгельгардта он оставил: вместо свободы это принесло бы еще худшую неволю — каторгу, Сибирь.

Тоска заполняла дни. Мысли путались, и как леденящее железо входило в сердце отчаяние. Тарас не выдержал этого напряжения и заболел горячкой.

Его свезли в больницу. Гнилая весна медленно одолевала зимнюю стужу. Бурый дым падал из труб на закисающий снег. Лед на Неве чернел и трещал. С залива дули мокрые ветры.

Шевченко смотрел из окна больницы, — никакое солнце в мире, даже солнце его родной Украины не могло пробить толщу облаков, волочившихся по озябшей земле. Дни, холодные как казарма, стояли над промозглым Петербургом. Шевченко чудилось, что худой николаевский солдат заглядывает на него в окна, не спускает с больного бескровных глаз, моргает белыми ресницами. Но за окнами никого не было, — там шел реденький снег.

Как-то ночью грозно вздохнула и грохнула Нева, — по реке двинулся лед. А утром в больницу пришел Ширяев — тихий, смущенный, совсем непохожий на прежнего матерого хозяина.

Он помял в руке черный картуз, сел и сказал:

— Ну, Тарас, не взыскивай с меня за обиду. Выкупили тебя господа художники. Теперь ты человек вольный.

Шевченко отвернулся, и губы у него задрожали.

Он не поверил хозяину. Ширяев повздыхал, потоптался — и ушел.

Вскоре пришел Сошенко. Шевченко сел на койке и спросил:

— Это правда?

— О чем ты говоришь, Тарас? — спросил Сошенко.

— Это правда, что вы... что я... — сказал Тарас и замолчал. Он боялся выговорить последнее слово — невероятное слово «свободен».

Сошенко догадался.

— Правда, Тарас, — сказал Сошенко.

Шевченко упал лицом на соломенный больничный тюфяк и зарыдал. Сошенко вынул из кармана «вольную» и отдал ее Шевченко. Тот прочел ее несколько раз, поцеловал и спрятал под подушку.

Было это 22 апреля 1838 года.

Болезнь Тараса заставила его друзей торопиться с поисками денег. Жуковский и Брюллов придумали выход. Брюллов написал портрет Жуковского. Портрет этот был разыгран в лотерею. Лотерея дала две с половиной тысячи рублей. Деньги тотчас отвезли Энгельгардту и получили от него «вольную» на «ревизскую душу крестьянина Тараса Григорьевича Шевченко».

Освобождение Шевченко почти совпало со смертью Пушкина. Пушкин умер только за год до этого. Только год назад Тарас робко вошел, вместе с притихшей толпой, в небогатую квартиру поэта. Пушкин лежал в гробу, в прихожей. Витые розовые свечи горели около изголовья. В квартире был беспорядок, сопутствующий смерти.

Великий поэт напомнил Тарасу его родных крипаков, по которым он читал псалтырь, — так же было измучено его лицо,

так же, должно быть впервые в жизни, были спокойно сложены на груди его сухие маленькие руки.

Тарас принес с собою лист бумаги и огрызок карандаша. Он спрятался в угол и начал срисовывать безжизненную голову поэта. Он смущался, вздрагивал, когда кто-нибудь задевал его полой тяжелой шубы.

Тогда уже Пушкин вошел в жизнь Тараса как недосягаемый друг, как величайший учитель поэзии.

Весна, наконец, победила холодную слякоть. По Неве прошел ладожский лед. Голубые дни подымались с востока и медленно уходили на запад, в тихую воду залива. Золотые шпили сверкали над шумным, оживающим городом. Шевченко был свободен.

От радости он даже не мог рисовать. Он бродил по городу, светлый, улыбающийся, часто вынимал из кармана «вольную» и перечитывал ее при свете северной ночи. Потом долго стоял задумавшись, глядел, как над островами зеленеет заря. Она казалась ему зарей его новой, удивительной жизни.

Тарас поселился у Сошенко и начал работать в Академии художеств под руководством Брюллова. С грязного чердака он перешагнул в мастерскую великого художника, где, как в лавке антиквара, были собраны превосходные вещи. Каждая из них была достойна рассказов, споров и размышлений.

В этой мастерской Тарас впервые понял прелесть бесед, переливающихся острой мыслью, шуткой, веским замечанием. Здесь вспоминали о Пушкине как о недавнем госте этой мастерской. Здесь во время работы читали вслух научные трактаты, говорили о Риме, качестве красок, рассказах Гоголя, Рембрандте и античности, музыке Гайдна и декабристах.

Брюллов открыл Шевченко свою богатую библиотеку. Шевченко впитывал содержание книг, как земля впитывает внезапный ливень. Он узнал о Гете, Шиллере, старике Гомере и Вальтере Скотте. Он изучал историю средних веков и Греции, французский язык, прошел курс зоологии, физики и анатомии.

Но особенно охотно Шевченко искал и прочитывал книги по истории Украины. Он не забыл ее в тревогах и радостях последних лет. Он всегда носил в сердце память о родных крипаках, лирниках, курганах, шумящих седою травою.

Брюллов тоже любил Украину. Тарас подолгу рассказывал ему о защитнике сельской бедноты — Кармелюке, песнях и праздниках, о мягком работящем народе, загнанном Екатериной в крепостное ярмо.

Иногда Брюллов брал Шевченко с собой в Эрмитаж или на загородные прогулки. Однажды они ездили на пароходе в Петергоф. Теперь Шевченко не был голоден. Петергоф предстал перед ним совершенно иным, чем в первый раз. Он понял прелесть этих садов, где в глубине аллей шумят балтийские волны, где морской ветер покрывает рябью пруды и из мраморных изваяний льются по ступеням, покрытым илом и бронзой, прозрачные водопады.

Эти прогулки были праздниками для Шевченко. Брюллов читал ученикам лекции о том, как живописать воду, небо, деревья и травы. Шевченко все больше привязывался к своему учителю. Почтительное, почти благоговейное отношение к Брюллову он сохранил надолго. Шевченко был тверд в привязанностях. Он прощал Брюллову все. Когда он узнал много лет спустя о скупости Брюллова, то старался внушить себе, что эта черта является только «случайной гримасой гения».

Годы учения в Академии художеств были самым легким временем в жизни Шевченко.

Он поселился в мансарде с товарищами по Академии: Михайловым и Штернбергом. Дни проходили в посещении академических классов, в работе и чтении. Шевченко любил слушать чтение во время работы и сам любил читать вслух товарищам.

Постепенно завязывались знакомства с передовыми людьми своего времени и с украинцами, жившими в Петербурге, — писателем Гребенкой, знаменитым математиком Остроградским.

Впервые Тарас начал слушать музыку Бетховена, Гайдна, Моцарта. Музыку он любил. Она всегда напоминала ему об Украине. Из тончайших и разнообразных мелодий возникал образ певучей страны. Шевченко тосковал по ней. Припадки этой тоски приобретали характер болезни, и в эти минуты Шевченко писал на клочках бумаги первые свои украинские стихи. Поэзия уже боролась в нем с увлечением живописью. Поэзия уже стала его «странным, неугомонным призванием». Тогда же он написал свои знаменитые «Думы»:

Думы мои, думы мои,
Цветы мои, дети,
Я растил вас, я берег вас,
Где ваш кров на свете?
В край родной идите, дети,
К нам на Украину —
Под плетнями, сиротами,
А я здесь погину.
Сердце друга там найдете,

Оно не лукаво.
Чистую найдете правду,
Может быть, и славу.
Привечай же, мать отчизна,
Моя Украина,
Моих деток неразумных,
Как родного сына.

Жизнь шла легко, несмотря на отсутствие денег. Когда перепадал лишний рубль, приятели бежали в трактир «Рим» на Васильевском острове и заказывали жирные бифштексы. Однажды они украли живого гуся у смотрителя Академии. Гуся сварили в самоваре и съели, а крылья его подарили художнику Петровскому. Петровский писал конкурсную картину «Агарь в пустыне». Ему нужны были крылья какой-нибудь большой птицы, как образец для крыльев ангела, утешающего Агарь. За свою «Агарь» Петровский получил заграничную командировку. Шевченко со смехом рассказывал всем, как гусиные крылья создали счастье художника.

В своих живописных работах Шевченко начал постепенно уходить от академичности и ложноклассической трактовки образов к ясному и простому реализму. Характерно, что один из академических этюдов Шевченко изображает нищего мальчика, который делится милостыней с бродячей собакой. Это была дань своему детству.

Шевченко получил от Академии две серебряные медали за свои работы, но работы эти его уже не радовали. Он увлекся акварельным портретом. В этой области учителем Шевченко был портретист Соколов. Тарасу нравились его просвечивающие краски, изящество рисунка.

Портреты работы Шевченко вскоре стали славиться в Петербурге. Посыпались заказы. Нужда окончилась. Шевченко стал кормильцем целой ватаги молодых художников украинцев. Он начал хорошо одеваться, бывать в театрах. Это вызвало жесткие упреки его наставника Сошенко. Он негодовал на «безалаберную жизнь» Тараса. «Мы — плебеи, — говорил Сошенко, — и вести легкомысленную жизнь нам с тобой не пристало».

Ничего странного в этом не было. Шевченко был в те годы еще настоящим ребенком. Купленный им непромокаемый плащ казался ему чем-то необыкновенным. Он гордился им и с восторгом показывал знакомым. Его, бывшего пастуха, помнившего дырявые, насквозь промокшие свитки, радовало, что вот хитрые люди придумали материю, которая и в дождь остается сухой. Недолгое увлечение Шевченко внешней стороной петербургской

жизни было естественным у юноши, только что вырвавшегося из нищеты.

Оставаясь наедине с собой в пыльной комнате, заваленной начатыми холстами, Шевченко до слез грустил по Украине, и все думы, вся страсть, вся любовь были далеко от Петербурга, были со своим обездоленным народом. Оставаясь один в своей каморке, Тарас писал стихи о родине. Над нею «орел черный сторожем летает, кобзари о ней народу песни распевают». О стихах этих никто не знал, и, может быть, о них долго бы не узнали, если бы не случай. Произошел он в конце 1839 года.

Шевченко писал портрет полтавского помещика Мартоса. Мартос приходил позировать Шевченко. Однажды Мартос заметил на полу комнаты исписанный клочок бумаги. Он поднял его — и прочел украинские стихи, поразившие Мартоса ясностью языка, певучестью, скорбью о судьбе Украины. Это был отрывок «Тарасовой ночи».

— Что это? — спросил Мартос. — Чьи это стихи?

— Мои, — неохотно ответил Шевченко. — Так... Баловство. Когда плохо делается на сердце, я и начинаю портить бумагу. У меня их много, этих стихов.

Шевченко вытащил из-под кровати корзину, доверху набитую изорванными скомканными листами, исписанными крупным неправильным почерком.

— Вот все мое добро, — сказал. — Тут сам черт вывихнет лапу.

Мартос начал разбирать рукописи. Шевченко смотрел на него с недоумением. Рукописи были в таком беспорядке, что Мартос не мог в них разобраться. Он взял их с собой, чтобы дома привести в порядок, и ушел.

Но пошел он не домой, а к украинскому писателю Гребенке. Они вдвоем разобрали рукописи, прочли их и долго молчали. Они были потрясены. Они впервые узнали о существовании большого народного поэта, чьи стихи были так неотделимы от страданий и мыслей народных, что даже не верилось, что они написаны одним человеком, а не созданы всем народом в течение многих лет на шляхах, на полях Украины.

Молчат горы, стонет море,
Могилы в тумане,
Стонут дети казацкие
Во вражеском стане.

На следующий день Мартос снова пришел к Тарасу позировать для портрета. Тарас молчал. Молчал и Мартос. Он ждал, когда Тарас спросит его о стихах. Но Тарас был угрюм, рабо-

тал с ожесточением и не говорил ни слова. Наконец Мартос не выдержал.

— Прочел я ваши стихи, Тарас Григорьевич, — сказал он. Шевченко молчал.

— Великолепные стихи! Их надо тотчас напечатать.

Шевченко испугался.

— Что вы! — заговорил он быстро и недовольно. — Какие это стихи! Засмеют меня за эти стихи, а то, пожалуй, и побьют поэты.

С большим трудом Мартосу удалось добиться от Шевченко разрешения напечатать стихи отдельной книгой. Она была названа «Кобзарь» и вышла в свет в феврале 1840 года. Вскоре вышли отдельными книгами и две великолепные поэмы Шевченко «Катерина» и «Гайдамаки».

Петербург заговорил о новом «мужицком» поэте. На Украине появление «Кобзаря» произвело впечатление потрясающее. Его выучивали наизусть, над ним плакали, его хранили в сундуках. Чудесным казалось, что из северного Петербурга раздался свободный голос бывшего раба-украинца, и голос этот прозвучал по всей стране как плач о бедняках, как призыв к освобождению от рабства.

Тогда Тарас еще не знал, что «своими стихами он сам себе кует кандалы». Узнал он об этом через несколько лет, в Петропавловской крепости. Со времени выхода «Кобзаря» Третье отделение уже тайно следило за поэтом.

Летом 1843 года сбылась, наконец, мечта Тараса. Он вернулся к себе на Украину прославленным поэтом и художником.

Поездка была связана с печатанием большого художественного альбома «Живописная Украина». В альбом должны были входить зарисовки украинских пейзажей, старых городов, быта, картины из истории Украины, написанные и выгравированные самим Шевченко. Текст к гравюрам должны были писать известный историк Бодянский и украинский писатель Кулиш.

Украина встретила Тараса ласково, но вскоре же нанесла удар его юношеским представлениям о родине. Все украинцы были на отдалении одинаково милы Шевченко, как была мила сама Украина. Шевченко думал, что ее единственное несчастье заключалось в порабощении царским самодержавием. Стоило сбросить гнет царской России — и тотчас возродится былая вольность и слава, мирный труд расцветет на черноземных полях, и песни польются от края до края степей.

На Украине Шевченко был желанным гостем и в хатах крипаков и в усадьбах помещиков-украинцев. Но как только Тарас переступил порог первого же помещичьего дома, он по-

нял, что он крепостной, хотя и носит в кармане «вольную». Его принимали охотно, но давали временами почувствовать, что он — бывший холоп и ему не по плечу равняться со шляхтой и дворянством. Шевченко не мог смотреть в глаза казачкам, подававшим трубки, дворне, снимавшей шапки перед ним, знатным столичным человеком.

Он был костью от кости этих холопов, он был поэтом бедняцкой Украины. Ненависть к помещикам, к панам, независимо от того, кто они были — украинцы, поляки или русские, — вошла с тех пор в его сердце и крепла с каждым годом.

Он резко порвал знакомство с помещиками. В ответ на это один из помещиков, Лукашевич, прислал ему письмо. «Таких мужчин и олухов, как ты, — писал Лукашевич Шевченко, — у меня триста душ».

Однажды Шевченко гостил у полтавского помещика, «стихоплета» Родзянко, дружившего одно время даже с Пушкиным. Несмотря на кажущуюся дружбу с Пушкиным, Родзянко написал на него донос в стихах в то время, когда Пушкин был уже в ссылке. Пушкин, предупрежденный друзьями, не мог поверить этому. «Донос на человека сосланного есть последняя степень бешенства и подлости», — писал Пушкин. Он думал, что на это не способен даже Родзянко.

В доме Родзянко Шевченко увидел, как дворецкий ударил по лицу дворового мальчика. Шевченко ночью ушел из дома Родзянко, уехал в Миргород и больше с Родзянко не встречался.

Была одна только помещичья семья, с которой Шевченко мирился, — просвещенная и гуманная семья князя Репнина.

Дочь Репнина, Варвара, экзальтированная, порывистая женщина, полюбила Шевченко. Варвара была воспитана в отвращении к крепостному праву. Ее преклонение перед Шевченко — бывшим крипаком, теперешним разночинцем и талантливым поэтом — было безгранично. Она довела это преклонение до смешного. Каждая выпитая Шевченко рюмка водки, каждая вольная шутка казались ей недостойными гения и заставляли искренне и долго страдать. О своей любви она не сказала Шевченко ни слова. Это была безмолвная, но самоотверженная любовь.

Когда Шевченко был в ссылке, Варвара Репнина настойчиво хлопотала об его освобождении. Она прекратила хлопоты только после грубой угрозы со стороны Третьего отделения подвергнуть преследованию за это всю ее семью.

От идиллических мечтаний о патриархальной Украине Шевченко резко перешел к мыслям об освобождении народа от

власти царя и панов. Он понял, что единственный путь к этому — восстание. Он знал, что его слова о судьбе украинских помещиков, о том, что «кровь их детей польется в далекое море сотнею рек», станут словами пророческими.

Вы, разбойники и воры,
Жадная орава!
По какому вы людскому
Божескому праву
И землей, от века общей,
И людьми живыми
Торгуете? Берегитесь,
Встретитесь вы с нами!
Он настанет, день веселый,
Вас настигнет кара,
Пламя новое повеет
С Холодного Яра!

Второй раз Шевченко приехал на Украину из Петербурга после окончания Академии художеств — весной 1844 года.

Весна стояла дружная, туманная. Полая вода задерживала Шевченко в пути. Есть нечто величавое в разливах русских рек. Они наполняют воздух самых убогих уголков земли блеском воды, отражающей весеннее небо. Блеском, похожим на блеск мелких морей, что вплотную подступили к порогам курных изб, к голым березовым рощам. Шевченко не досадовал на задержку в пути.

Он поселился в Киеве, сразу же был окружен украинской молодежью, но жил он в Киеве мало. Он исколесил всю Украину. Шевченко начал работать в археологической комиссии и по ее поручению зарисовывал памятники старины, сохранившиеся на Украине. Это дало ему прекрасное знание страны.

Он был в Подолии, на Волыни и в Полтавщине, во многих местах около Киева, в Чернигове, Нежине и Чигирине. Он напряженно работал как художник, но еще больше как поэт. В это время им была написана поэма об Яне Гусе и много стихотворений.

Однажды во время этих скитаний Шевченко попал на ярмарку в город Ромны. Здесь он увидел гоголевскую Украину.

Над Ромнами стояла непроницаемая мелкая пыль. На ярмарку пригнали громадные табуны лошадей и съехались со всей России кавалерийские ремонтеры покупать лошадей для армии. Лошадей гоняли на корде перед покупателями. Неистово кричали цыгане. Лудильщики били в медные тазы.

В ярмарочном балагане выступал знаменитый украинский актер Соленик. Это был выдающийся актер, равный Щепкину, но рано умерший. Шевченко считал его актером большего

мастерства, чем Щепкин. Со Щепкиным к тому времени Шевченко познакомился и сдружился.

Выступление Соленика перед ярмарочным сборищем Шевченко воспринял как унижение театрального искусства.

В тот же вечер на ярмарке выступал хор московских цыган. Они разухабисто пели «Горные вершины»:

Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Погоди немного,—
Отдохнешь и ты.

Пьяные ремонтеры ревели от восторга и швыряли в цыганок измятыми кредитками. Шевченко ушел взбешенный.

«Думал ли великий германский поэт, — писал об этом Шевченко, — а за ним и наш великий Лермонтов, что их глубоко поэтические стихи будут отвратительно-дико петы пьяными цыганками перед собором пьянейших ремонтеров? Им и во сне не снилась эта грязная пародия».

Во время скитаний по Украине Шевченко много времени проводил среди крепостных крестьян. По ночам в темных хатах собирались родные его «гречкосеи» и безнадежно жаловались на угнетения, на обиды, на жестокости панов и шляхтичей. Для помещиков и шляхтичей, наводнявших Украину, «гречкосеи» были только «быдлом» — рабочим скотом. Гнев охватывал Шевченко — великий, беспощадный гнев поэта, трибуна, революционера. Этот гнев сообщил его стихам характер неистовых проклятий.

Да, он клял этот барский «смердящий» мир, клял царя, всех предателей и насильников.

А слез! А крови! Напоить
Всех императоров бы стало.
Князей великих утопить
В слезах вдовиц! А слез девичьих,
Ночных и тайных слез привычных,
А материнских горьких слез,
А слез отцовских, слез кровавых!
Не реки — море разлилось!
Пылающее море... Слава
Борзым, и гончим, и псарям,
И нашим батюшкам-царям.

Шевченко был «вольный». Его вольное слово звучало по всей Украине, его стихи читали шепотом, но этот шепот гремел в сердцах как набатный колокол, от него закипали слезы в глазах и холодели руки.

— Что делать, Тарас? — спрашивали измученные крипаки.— Вот ты вышел в люди — дай совет, открой очи, научи, как добиться до правды.

Шевченко в то время уже знал, что делать. Сбросить царя и помещиков. Взять землю. Он открыто звал к этому крестьян. Он писал об этом. Его «археологические прогулки» по Украине превращались в страстные агитационные поездки. Всюду, где был Тарас, усиливался крестьянский гнев, разгоралось возмущение. Он подымал в сознании крипаков задавленные рабством пласты человеческого достоинства и негодования.

В это время в Киеве вокруг историка Костомарова собрался кружок либеральной украинской молодежи. Молодежь эта была враждебна крепостному праву и считала, что оно может быть уничтожено при помощи «раскаявшихся» помещиков. Надлежало только вдохновить на освобождение крестьян лучших из помещиков и сделать это, воздействуя на них наукой и поэзией.

Постепенно кружок вокруг Костомарова рос и превратился, наконец, в тайное общество, названное Кирилло-Мефодиевским братством. Члены братства мечтали о политическом объединении славян и уничтожении «рабства и всякого унижения низших классов». Государственный строй славянских стран члены братства представляли себе в виде Славянских Соединенных Штатов.

Костомаров преклонялся перед поэзией Шевченко. По его словам, «Тарасова муза прорвала какой-то подземный заклеп, уже несколько веков запертый многими замками, запечатанный многими печатями».

Костомаров привлек в братство Тараса Шевченко, хотя Шевченко не разделял в своих политических взглядах той половинчатой либеральной теории, какую проповедовало братство. Путь Шевченко был путь революционной борьбы, путь уничтожения царской и помещичьей власти. Шевченко знал, что революция будет беспощадной и кровавой. Но он примкнул к Кирилло-Мефодиевскому братству, так как вокруг него все же объединились передовые люди Украины.

Братство не было искушено в конспирации. В его среду проник предатель — студент Попов. Он донес властям, и братство было разгромлено. Костомаров и другие видные члены братства были арестованы.

Шевченко арестовали 5 апреля 1847 года, когда он возвращался из Чернигова в Киев и переправлялся на пароме через Днепр.

Участие Шевченко в Кирилло-Мефодиевском братстве было для правительства, как выяснилось впоследствии, только удобным поводом для ареста. Третье отделение давно подозревало о ходивших по рукам «дерзких» стихах Шевченко и об его агитации среди крепостных.

Семнадцатого апреля Шевченко был под конвоем доставлен в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость. Началось следствие.

На допросе в Третьем отделении на вопрос: «Какими случаями вы были доведены до такой наглости, что писали самые дерзкие стихи против государя императора?» — Шевченко ответил: «Возвратясь в Малороссию, я увидел нищету и ужасное угнетение крестьян помещиками, посессорами и шляхтичами. И все это делалось и делается именем государя и правительства».

Следствие закончилось быстро. Результаты его были неожиданны. Шеф жандармов Орлов доложил Николаю, что дело Кирилло-Мефодиевского братства раздуто. Приговоры были очень мягкими для тогдашнего режима. Очевидно, правительство знало цену разговорам пылких юношей о моральном перевоспитании крепостников. Костомаров получил только год тюрьмы. Почти все обвиняемые были освобождены. Только один Шевченко был приговорен к ссылке рядовым солдатом в Оренбургский батальон «с правом выслуги», то есть на неопределенное время, почти на пожизненную каторгу.

В своем докладе царю Орлов сказал прямо: «Шевченко не принадлежал к братству, но он виновен по своим собственным отдельным действиям».

Николай мстил Шевченко за ненависть поэта к царям. Николай понимал, что «мужицкая» поэзия Шевченко была во много раз более страшной угрозой для самодержавия, чем либеральная болтовня юношей из Кирилло-Мефодиевского братства.

На приговоре о ссылке Шевченко Николай написал слова, изумившие даже жандармов: «Под строжайший присмотр, запретив писать и рисовать». Это была гражданская смерть для Шевченко. Художнику связали руки, поэту заткнули рот и бросили его в каторжную жизнь захолустного гарнизона.

Второго июня Шевченко выехал с жандармами в Оренбург. Громадный путь в две тысячи километров жандармы проскакали в девять дней.

Шевченко был отправлен тайно. Никто не знал, куда сослан поэт. Первое время по Петербургу ходили слухи, что он увезен на Аландские острова и там повешен.

Из Оренбурга Шевченко отправили в Орскую крепость, в пятый линейный батальон.

Если бы Шевченко не обладал мужеством и волей, если бы он не был «одарен крепким телосложением», как было сказано даже в приговоре о ссылке, он не вынес бы десятилетней ссыльной тоски.

Тяжесть этой тоски трудно передать словами. Даже в русском языке мало этих слов, — а кому, как не русскому народу, была знакома острожная кандальная тоска! С давних времен до самого начала двадцатого века, вплоть до революции, народ этот пропадал по каторгам, шагал по унылым Владимиркам и томился на вшивых этапах. Но за черными сибирскими ночами, за мраком и пылью азиатских степей этот великий замученный народ видел правду, синеющую как далекий рассвет.

И Шевченко думал в ссылке о том, чтобы «солнце правды хоть сквозь сон увидеть», чтобы «хотя бы раз еще взглянуть на народ свой».

Мертвая степь окружала Орск со всех сторон, тусклая степь, откуда изредка приходили в город толпы кочевников менять верблюжью шерсть на водку и махорку. Кочевники называли Орск «злой крепостью».

Первые люди, которых Шевченко увидел, въезжая в Орск, были колодники с черными клеймами, выжженными на лбу.

Шевченко отвели в казарму. От нее шла застарелая кислая вонь. Ротный командир осмотрел поэта и пригрозил ему розгами, если он не будет «молодцевато служить государю» и выполнять по всей строгости ружейные приемы. Но до конца солдатской жизни Шевченко не выучил ни одного ружейного приема.

Казарма встретила поэта равнодушно. Люди тупели годами. Казалось, их ничто не занимало, кроме еды, сна, водки и картежной игры.

Командиры твердо следовали аракчеевскому правилу: «Сто человек забей — одного выучи». Это была, по словам Шевченко, «кабацкая шваль, прикрытая офицерским мундиром».

Каждый день из месяца в месяц Шевченко вставал на заре, чистил сапоги, фабрил усы и выходил на казарменный плац обучаться шагистике, ружейным приемам, колке чучел и «словесности» — самому тупоумному порождению николаевского армейского строя.

Унтера со злорадством следили за тем, чтобы поэт ничего не писал и не смел даже брать в руки карандаш.

«Стань навытяжку!» — этот крик преследовал поэта с утра до ночи. Но и ночь не давала покоя. Ночью солдаты дрались в казарме из-за украденных портянок и понюшки табаку, вели бесконечные споры, кого в какой роте пороли и кого будут пороть завтра, или разгоняли тоску — рвали всей пятерней струны балалаек. Среди старослуживых солдат крепко жили выработанные годами интересы — зависть из-за лишней манерки щей, мечты о лазарете. Когда Щевченко заболел цингой и лег в лазарет, вся рота жестоко завидовала ему. Болезнь была затаенной мечтой каждого солдата.

Пили все: офицеры, солдаты, все население никому не нужного Орска. Пили жестоко, тупо; заливали водкой, заглушали похабными песнями и рассказами казарменную тоску.

В Оренбурге у Шевченко нашлись друзья. Одним из них был чиновник Михаил Лазаревский. Он всячески старался облегчить участь поэта, но это было невозможно.

Единственный путь избавиться хотя бы в незначительной доле от муштровки, от скотского быта казармы, нелепый, но единственный путь — был в «угощении» офицеров. От каждого угощения водкой офицеры размякали, смотрели сквозь пальцы на отлучки Шевченко и не требовали от него лихой выправки, — на нее он был совершенно неспособен.

Во время этих отлучек Шевченко уходил в степь, за город, или на берег глинистого мутного Урала, доставал из-за голенища сапога, из-за солдатской «халявы» маленькую истрепанную тетрадку и записывал в нее стихи.

Это были короткие стихи об одиночестве, о многоцветных радугах, пьющих там, на далекой родной Украине, днепровскую воду, о жестокой бедняцкой доле. Временами все прошлое — Украина, и Петербург, и милые сердцу друзья, и Академия художеств — казалось обманом, навеянным степною сон-травой.

Но эти отлучки, короткие передышки были куплены тяжелой ценой, — Шевченко должен был пить вместе с теми, кого он угощал. Так полагалось по традиции пьяниц. Нарушение этой традиции приводило к жестоким унижениям. Это и случилось впоследствии, когда Шевченко был переведен в Новопетровское укрепление. Инженерный офицер Кампиони затащил Шевченко к себе в офицерский флигель, где пьянствовали офицеры. Они лежали в одних рубахах на кошме и тянули по очереди сивуху из полуведерной бутыли. Шевченко хотели напоить сивухой, но он вырвался и вышел. Кампиони выскочил вслед за ним с отчаянным криком, что он, рядовой Шевченко, оскорбил офицера. Шевченко был арестован. На следующий день

Кампиони подал рапорт коменданту о том, что Шевченко оскорбил действием его, Кампиони, и потому надлежит начать следствие.

Было это в 1857 году, накануне освобождения Шевченко, когда из Петербурга пришли известия о «помиловании». По тогдашним порядкам, дело грозило новой каторгой. Комендант посоветовал Шевченко единственный выход — извиниться перед Кампиони и уговорить его взять рапорт обратно. На карту ставилась вся дальнейшая жизнь, и Шевченко не выдержал: надел солдатский мундир и пошел к Кампиони. Он долго дожидался в передней. Потом Кампиони впустил Шевченко в комнату, покуражился над ним и, наконец, согласился взять рапорт обратно за четверть сивухи.

Так, среди отчаяния, сивухи, безвестности прошел год в Орске. Друзья ничего не писали. Они не скоро узнали, куда сослан Шевченко. Первые письма он получил от Варвары Репниной и от своего украинского друга Лизогуба. Репнина прислала Тарасу книги, а Лизогуб — ящик с красками. Это был печальный подарок. Лизогуб не знал приказа Николая, запрещавшего Шевченко рисовать.

Весной 1848 года просвещенный моряк лейтенант Бутаков приехал в Оренбургский край, чтобы произвести подробную опись берегов Аральского моря.

От Михаила Лазаревского Бутаков узнал о судьбе поэта и настоял, чтобы Шевченко был включен в состав Аральской экспедиции. Бутакову нужен был художник для зарисовки берегов Аральского моря. Шевченко был обрадован этим назначением и тотчас же выехал из Орска в Оренбург.

Экспедиция прошла на верблюдах от Оренбурга до берегов Аральского моря, построила две шхуны и вышла в плавание. Шевченко был назначен на шхуну «Константин». Он жил в одной каюте с офицерами и ссыльным солдатом, геологом Вернером.

Плаванье по Аралу было для Шевченко коротким отдыхом. Аральское море, похожее на синюю ртуть, налитую в песчаные берега, монотонные дни, самый характер работы, связанный с промером глубин, с исследованием необитаемых островов, с долгими стоянками в тихих, безжизненных бухтах, — все это позволяло хоть на время забыть казарму.

Экспедиция, закончив летние работы, зазимовала в глухом форте Кос-Арал.

Зимовка была тяжелая. Шумели холодные ветры, день

и ночь трещали сухие камыши. Не было ни книг, ни писем. Почта в Кос-Арал приходила один раз в шесть месяцев.

Шевченко снова переболел цингой. У него началась бессонница. Много лет спустя, при воспоминании о ночах в Кос-Арале, у него, по его собственному признанию, холодело сердце. А тут еще изводили казаки-староверы, несшие в Кос-Арале сторожевую службу. Они приняли Шевченко из-за его бороды за ссыльного раскольничьего попа и преследовали поэта назойливыми выражениями своей почтительности.

Но хуже всего была бессонница. Туманная луна подымалась над Голодной степью, — там лежали неведомые страны, откуда Сыр-Дарья несла мутную и мертвую воду.

Шевченко выходил по ночам на палубу и тихо, чтобы не слышал капитан, пел любимые украинские песни, — томился, вспоминал об Украине. Слушал эти песни только вахтенный матрос. А пел Шевченко прекрасно. Некоторые из его современников говорят, что талантливость Шевченко якобы ярче всего была выражена не в его стихах и картинах, а в пении старинных запорожских песен.

Трещали камыши, холодная ночь простиралась над миром, и одиночество камнем лежало на сердце. Иногда в такие ночи великий поэт и замуштрованный солдат, преждевременно состарившийся от каторжной муки, плакал, сидя на палубе шхуны, и вытирал глаза рукавом колючей шинели. Плакал о своей недоле, милых друзьях, о заброшенности и беспомощности среди окружавших его равнодушных, казенных людей. В ссылке он вспомнил о матери:

Славно, мама,
Что ты так рано спать легла,
А то б ты бога прокляла
За мой удел...

Никому не было дела до Шевченко. Каждый нес на душе свою заботу, каждый думал о покинутой семье. Один только лейтенант Бутаков был спокоен, — его спасала выдержка исследователя.

В Кос-Арале Шевченко написал за зиму много стихов и поэм. Его гнев на царя и панщину еще больше окреп, еще усилился в ссылке:

Пусть палачи царей карают.
Конец им, палачам людским!

Весной экспедиция закончила опись аральских берегов, вернулась в Оренбург и занялась разработкой полученных материалов. Бутаков сообщил начальству, что Шевченко не может

быть возвращен в свою часть, пока не закончит отделки «живописных видов Арала».

Шевченко остался в Оренбурге. Образованный и гуманный офицер капитан Герн поселил его у себя и отвел под жилье и мастерскую поэта флигель в саду. Шевченко снял ненавистную солдатскую форму, ходил в штатской одежде, много писал и рисовал. Командующий краем генерал Обручев заказал ему портрет своей жены.

После отчета о блестящей работе Аральской экспедиции генерал Обручев выдал Шевченко в награду... пять рублей серебром. Начальник Отдельного Оренбургского корпуса генерал Перовский возбудил в Петербурге ходатайство о производстве Шевченко в унтер-офицеры и разрешении ему рисовать. Петербург отказал. Петербург выразил неудовольствие тем, что, несмотря на приказ Николая, Шевченко было разрешено заниматься в экспедиции рисованием. Лейтенант Бутаков был взят под тайный надзор полиции.

В Оренбурге Шевченко сблизился с поляками, сосланными за восстание 1830 года. Среди них был разжалованный в солдаты польский офицер Сераковский. Он провел несколько лет в гарнизонах на берегу Сыр-Дарьи, видел ежедневные порки солдат, и у него возникла идея — ей он отдал всю жизнь — добиться отмены телесных наказаний в русской армии. После смерти Николая Сераковский был помилован, уехал в Петербург, поступил офицером в Главный штаб и настойчиво добивался уничтожения шпицрутенов, розог, палочных избиений, заковывания в колодки.

Когда в 1863 году началось второе польское восстание, Сераковский примкнул к нему, был схвачен и повешен по приказу Муравьева. О Сераковском писали Герцен и Чернышевский, как о мужественном и благородном человеке, проникнутом идеями социализма.

В Оренбурге жить стало немного легче. Шевченко знал, что в столице друзья хлопочут о нем, что по просьбе добряка Лазаревского генерал Обручев согласился отправить Шевченко не в Орск, а вместе с Вернером на полуостров Мангышлак, в горы Каратау для поисков каменного угля. Это уже сулило некоторую независимость, отодвигало все дальше «смердячую» казарму в Орске.

Но случилось предательство. Некий прапорщик Исаев донес генералу Обручеву, что Шевченко ходит в штатском платье и вопреки царскому приказу пишет стихи и рисует картины. Обручев это прекрасно знал, — ведь не кто иной, как Шевченко, рисовал портрет его жены, — но раз донос был по-

лучен, ему, по правилам, надлежало дать ход. У Шевченко был произведен обыск. Нашли «партикулярные ношебные вещи», тетради со стихами, альбомы с рисунками и книги Шекспира, Пушкина и Лермонтова.

Полетели срочные донесения в Петербург. Петербург предписал рядового Шевченко держать под арестом и внушить ему, чтобы в дальнейшем он не осмеливался нарушать приказа Николая. Но рвение местных военных властей обогнало Петербург. Шевченко был посажен в тюрьму, но уже не за рисование и не за стихи, а за то, что появлялся на улицах в штатской одежде.

Больше полугода он просидел в тюрьмах Оренбурга, Орска и Уральска и был, наконец, поздней осенью 1850 года выслан в Новопетровское укрепление на полуостров Мангышлак, на восточный бесплодный берег Каспийского моря. Это было место, носившее у видавших виды николаевских солдат название «могилы» и «вонючего пекла».

Ссылка на Мангышлак означала то же, что смерть. О человеке, загнанном в эту пустыню, начисто забывали. Он существовал только в рыжих от времени списках. Списки эти валялись в рассохшихся шкафах захолустных военных канцелярий. Пьяные писаря крутили из них цигарки, и в сизом чаду махорки исчезала порой самая память о сосланном. Если Петербург запрашивал о нем, то проходили месяцы, пока бумажные следы ссыльного отыскивались по канцеляриям.

Орск и Арал были только преддверием ссылки. Настоящая каторга началась на Мангышлаке.

Ротный Потапов — багроволицый, неряшливый, беспрерывно отрыгивающий сивухой, — придумал простой способ, чтобы отравить существование Шевченко. Он не кричал, не сажал поэта в «курятник» — на гауптвахту, а назойливо придирался к мелочам.

К Шевченко был приставлен дядька-солдат. Он следил, чтобы у Шевченко не было ни перьев, ни карандашей, ни чернил, ни бумаги. Каждый раз, когда Шевченко выходил из казармы, его обыскивали, заставляли снимать сапоги. Начальству было известно, что в Орске поэт прятал стихи в голенища сапог. Мангышлак — глинистый, перегоревший от солнца полуостров, окруженный мелководным морем. На востоке, за солончаками, подымаются горы Каратау. Они похожи на сухой человеческий мозг — громадные купола из песчаника, изрытые трещинами.

На этом клочке земли было выстроено Новопетровское укрепление — самое скучное место во всей тогдашней Российской империи.

Изредка приходила из Гурьева парусная лодка с почтой, и еще реже — колесный пароход из Астрахани. Два-три раза за несколько лет заходил старый маленький крейсер, и морские офицеры — «невежды и брехуны», по словам Шевченко, — забавлялись тем, что рассказывали одичавшим жителям форта всяческие страхи: на днях, мол, приедет корпусный командир, отдаст под суд за пьянство офицеров и перепорет для порядка всех ссыльных солдат.

Солдаты в Новопетровском были другие, чем в Орске. В Орске было все же много старослуживых солдат, взятых в армию по рекрутчине на двадцать пять лет. Здесь же было много юношей, отправленных в армию по воле родителей за «дурной нрав» (эта мера широко применялась в помещичьем быту), и бывших офицеров, разжалованных в солдаты за уголовщину — «загибание» углов в картежной игре, воровство, продажу казенного имущества.

Жалованье офицерам и солдатам привозил пароход из Астрахани. Его ждали с нетерпением целыми месяцами только затем, чтобы, получив мешки с деньгами и раздав деньги по рукам, начать «гомерическое» пьянство.

Деньги целиком отсылались маркитанту или «спиртомеру» — целовальнику винной лавки Зигмонтовскому. Денщики притаскивали бутылки с водкой. В офицерские флигеля вызывали из казарм песенников, и начиналось пьянство. Длилось оно несколько дней и кончалось обыкновенно кровавой дракой.

Но в пьянстве соблюдался известный порядок. Солдатам жалованье выдавали не раньше, чем кончали пить офицеры. В этом сказывалась «мудрость» начальства. Солдаты пили во вторую очередь, когда офицеры уже успевали проспаться, и таким образом форт не оставался покинутым на произвол сплошной пьяной толпы.

Пили и зимой и летом — в удушающей жаре, в испарине, пили до белых чертей.

Ссыльные солдаты могли бы легко бежать из укрепления во время офицерских попоек, но бежать было некуда. Вокруг простиралась смертоносная пустыня, такая голая пустыня, что «не на чем было даже повеситься», как горько шутил Шевченко.

Население Новопетровского состояло из солдат, а это было «самое бедное, самое жалкое сословие в нашем отечестве», из

офицеров — подонков армии, и немногих гражданских личностей — прощелыг и авантюристов.

Шевченко сдружился только с одним солдатом — служителем при лазарете, Андреем Обеременко. Они были земляки и, сидя по вечерам на пороге лазарета, вспоминали Украину и пели вполголоса украинские песни.

В свободные от тяжелых работ и муштровки часы Шевченко заходил к целовальнику Зигмонтовскому. Это был лживый, невежественный старик, утомительно хваставшийся своей феерической жизнью. Жизнь эта сплошь состояла из «стечения удивительных обстоятельств». Зигмонтовский был и актером и якобы прогремел в роли Дмитрия Донского. Под видом морского лейтенанта он плавал с адмиралом Лазаревым к Южному полюсу, а будучи заседателем Одесского земского суда, примкнул к декабристам, за что и сидел в одиночном заключении в крепости Измаиле. Все, на что бы ни бросал даже мимолетный взгляд этот беспокойный старик, вызывало у него жажду вранья. Однажды, угощая Шевченко селедкой, он обильно поливал ее прованским маслом и при этом рассказывал, что во время плавания с адмиралом Лазаревым ему, Зигмонтовскому, удалось досконально узнать, откуда берется это самое прованское масло. Корабли Лазарева остановились около острова Прованс, лежащего между Италией и «городом Сингапуро». На этом острове росли громадные деревья. Стоило только надрезать на них кору, чтобы в бутылки хлынуло чистейшее прованское масло.

Но среди обитателей укрепления даже Зигмонтовский и его бесцветная старушка жена казались прекрасными людьми, и Шевченко часто заходил к ним почитать газету (Зигмонтовский получал «Петербургские ведомости») и послушать безобидное вранье старика.

Прошло три года. Ротного Потапова перевели в Уфу. Вместо него был назначен ротным служака и фрунтовик капитан Косарев. Он показался после Потапова «ангелом доброты». Комендантом укрепления был назначен полковник Усков — человек мягкий, увлекавшийся впервые появившейся в то время фотографией. Наконец, начальником края вместо Обручева был назначен генерал Перовский — взбалмошный, жестокий, но предприимчивый и своеобразный человек, гордившийся знакомством с Пушкиным, Гоголем и Жуковским.

Под влиянием друзей Шевченко Перовский в предписании к Ускову намекнул на необходимость послаблений ссыльному поэту. Шевченко был освобожден от тяжелых работ, муштровки, выправки. Перовский, будучи в Петербурге, про-

сил шефа жандармов Дубельта разрешить, наконец, Шевченко рисовать, но Дубельт отказал.

Тогда Шевченко решил заняться лепкой. Бродя по окрестностям укрепления, он нашел хорошую глину и начал лепить из нее фигуры киргизов. Усков сначала обеспокоился, но потом решил, что раз лепка не запрещена — значит позволена, и смотрел на эти занятия Шевченко снисходительно.

Жизнь скрашивалась письмами — снова начали писать друзья, — посещениями семьи Ускова и редкими наездами в укрепление людей из России. Ненадолго приезжал писатель Писемский. Он обрадовал поэта рассказами о необычайном успехе его стихов. Два раза приезжали с экспедицией, изучавшей рыбные богатства Каспийского моря, ученый Бэр и молодой ученый Данилевский. С ними Шевченко отводил душу, но каждый раз после отъезда этих людей его охватывала новая тоска.

Бэр посоветовал Тарасу написать о своей судьбе президенту Академии художеств, известному скульптору и медальеру графу Федору Толстому. Шевченко написал, но без всякой надежды на помощь Толстого, только чтобы не обидеть Бэра.

Пустыня сторожила укрепление. В самой монотонности ее горизонта, в бесплодности земли, в мутном небе была заключена огромная тоска.

По вечерам Шевченко часто ходил вокруг стен укрепления. Сонные волны набегали на берега. Перекликались часовые. Звездное небо, такое же, как на родине, сверкало над головой, и от этого было еще горше, еще труднее на сердце.

Шевченко облысел, глаза его сузились и потеряли блеск, походка стала тяжелой и медленной. Жизнь как бы кончалась, но не кончалась каторга. Шевченко подолгу смотрел на запад, где за ночной мглой, за шумом тусклого моря лежали блещущие росой, цветистые от радуг степи и небеса Украины. Ему снились томительные сны, дрожащие песни кобзарей, деревни, пестрые как писанки, гром днепровских порогов. Но наступало пробуждение, и поэт с горечью признавался:

Сердце старое черствеет,
И очи не видят
Ни хатенки этой белой
Под синью небесной,
Ни долины приветливой
У темного леса...

В Новопетровском Шевченко не написал за семь лет ни одного стихотворения. Казалось, что воображение иссякло, пролилось, как вода на сухую землю. И все чаще ярость по-

дымалась к горлу, и Шевченко проклинал страшным неистовым проклятием палача Николая, обрекшего поэта на медленную смерть в изгнании, на худшую казнь, какую мог придумать «коронованный фельдфебель».

В 1855 году до глухого форта дошла радостная весть — Николай умер. Скрытое ликование охватило всех, даже некоторых офицеров. Упала тяжесть, ломавшая кости всей стране.

Говорили, что Николай отравился, не выдержал исхода Крымской кампании, и огромный его труп, надушенный и обложенный цветами, был так страшен, что придворные дамы от одного вида мертвого императора падали в обморок.

Шевченко ждал освобождения, ждал амнистии со стороны нового царя — Александра.

Александру Второму были поданы списки ссыльных, подлежавших освобождению. Он прочел их и тщательно вычеркнул из списков имя Шевченко. Он вежливо улыбнулся и сказал: «Этот слишком сильно оскорбил мою бабку и моего отца, чтобы я мог его простить».

Последняя надежда на освобождение пропала. И солдаты, и Усков, и даже иные отпетые офицеры Новопетровского укрепления были поражены царской несправедливостью и старались утешить Шевченко.

Одинокий, лишенный родных и друзей, Шевченко увлекся женой коменданта Ускова. Он бывал у Усковых каждый день. Дети Ускова полюбили поэта и звали его Горичем, сокращая трудное отчество.

Жена Ускова была красивая, приветливая женщина. Она обласкала Шевченко, а он полюбил ее по-юношески, с трепетом и благоговением. Но это была любовь неразделенная и скрытая. О ней нельзя было говорить никому. О ней Шевченко не мог даже намекнуть самой Усковой.

Любовь ссыльного солдата к жене коменданта сулила им обоим только несчастье.

О первых днях этой любви Шевченко писал, что дыхание поэзии появилось в мертвой пустыне. Но каторга — это «безграничное вместилище безграничных мерзостей» — оказалась сильнее молодой женщины. На глазах у поэта она притихла. Сначала она грустила и плакала, а через два года уже бойко играла в карты до утренней зари, ссорилась за ломберным столом, сплетничала, вырывала страницы из Лермонтова и скручивала из них папильотки.

Шевченко перенес двойной удар — неразделенной любви

и медленного морального падения любимой женщины. Но он уже привык к ударам и научился переносить их.

Во время припадков тоски он уходил в степь, где разбили свои кибитки киргизы. Кочевники с недоумением смотрели на пожилого солдата с желтым лицом и добрыми глазами, бродившего по пустыне. Шевченко любил киргизов за их чистосердечие, живость, за детское любопытство.

Опять, как на Арале, началась бессонница. Шевченко выходил с вечера к стенам укрепления и ходил всю ночь вокруг этих стен, пока не появлялась на чистом небе утренняя Венера. Он бродил и думал о том, что тюрьма убила его как художника и поэта.

Но на следующий день он записывал в своем дневнике: «Вечер был тихий, светлый. На горизонте чернела длинная полоса моря, на берегу его горели в красноватом свете скалы, а на одной из скал блестели белые стены укрепления. Я невольно залюбовался своей семилетней тюрьмой». Такую запись, где были скупые и точные краски, мог сделать только настоящий художник. Нет, глаз еще был зорок, и сердце негодовало на людскую неправду — значит, каторга еще не замучила поэта.

Шевченко не знал, что Федор Толстой обивал в это время в Петербурге пороги дворцовых приемных и требовал освобождения поэта. Толстой был человеком широкого сердца и душевной мягкости. Ему отказывали, но он упрямо возобновлял просьбы. Хлопотал он, хлопотала его жена, Настасья Ивановна Толстая. Они заинтересовали судьбой поэта всех петербургских литераторов. Они ездили к великим княгиням и министрам. Они доказывали, что дальнейшее заточение Шевченко — бессмысленная жестокость. Им помогали Сераковский, поэт Алексей Толстой, братья Жемчужниковы.

И вот, наконец, свершилось: второго мая 1857 года Шевченко получил письмо из Петербурга от Михаила Лазаревского. Лазаревский поздравлял Шевченко со свободой.

Поэт, не дочитав письма, заплакал и долго не мог унять своих слез. Потом он прочел, что обязан своим освобождением Федору Толстому, но больше всего — его жене, Настасье Ивановне Толстой.

Шевченко написал письмо Толстой, похожее на крик благодарности, на молитву, — письмо, полное громадного волнения, почти экстаза.

«Сестра моя... — написал он и долго не мог продолжать: слезы капали на бумагу, не давали Шевченко дышать. — Сестра моя, богу милая, никогда мною не виденная! Чем

заплачу тебе за радость, за счастье, которым ты обняла, восхитила мою бедную, тоскующую душу? Слезы! Слезы беспредельной благодарности приношу в твое возвышенное сердце».

Второе письмо он написал Федору Толстому и впервые подписал его не словом «рядовой», а словом «художник» Шевченко.

Шевченко ликовал, а приказ об освобождении медленно переползал из одной канцелярии в другую, писаря рылись в пыльных списках, пакеты дожидались оказии, и путь в три тысячи верст приказ шел почти три месяца. Поэт был обречен на ежедневное, изматывающее душу ожидание. Без приказа Усков не имел права освободить Шевченко. Он утешал поэта, а в ответ на гневные жалобы вздыхал и говорил одно только слово: «Форма!» Да, это была бесчеловечная «форма», но почему же, когда надо было сослать Шевченко, тот же длинный путь жандармы проделали всего за девять дней?

После письма Лазаревского Усков освободил Шевченко из казармы и разрешил ему жить в беседке, в комендантском саду. Сад был насажен с громадным трудом. Для него привозили на шхунах чернозем из Астрахани.

Шевченко любил этот сад, ухаживал за ним, и в беседке, в этом саду, дожидаясь приказа об освобождении, написал свои повести на русском языке и начал дневник. По своей искренности этот дневник является одним из исключительнейших явлений нашей литературы.

Начав писать, Шевченко успокоился. Ему казалось, что каторга его еще не сломала, что он все такой же, каким был десять лет назад.

О том, какой скудной, какой нищенской была солдатская жизнь Шевченко, можно судить по той неудержимой радости, с какой он пишет в дневнике, что купил себе, незадолго до отъезда, медный чайник. Это было уже богатство. Он ставил чайник на стол в беседке, писал, потом наливал себе чай в кружку, любовался чайником и гордился им, как живым существом.

Чтобы скрасить ожидание, Шевченко решил прочитывать по одной странице в день биографию Гоголя. Но биография была прочитана, а бумаги из Оренбурга все не было. Тогда Шевченко начал читать так же медленно книгу Кулиша «Записки о Южной Руси». И эта книга была прочитана до конца и выучена почти наизусть, а приказа все не было.

Шевченко много думал о будущем. Он мечтал после возвращения из ссылки заняться гравюрой. Он считал, что живо-

пись существует для народа, а единственный путь показать ему величайшие произведения живописи — это гравюра.

«Быть хорошим гравером, — писал он в своем дневнике, — значит, быть распространителем прекрасного и поучительного в обществе. Значит, быть полезным людям. Прекраснейшее, благороднейшее призвание гравера! Сколько изящнейших произведений, доступных только богачам, коптилось бы в мрачных галереях без твоего чудотворного резца».

Дни проходили в ожидании. Шли теплые, тихие дожди. Шевченко не спал по ночам, лежа в своей беседке. Он все думал о будущем и слушал, как застенчиво шуршит дождь — редкий гость пустыни — по скудной зелени, по крыше беседки. Потом Шевченко вставал, зажигал свечу, кипятил воду в чайнике и писал до утра свой дневник.

Наконец приказ об освобождении пришел. По правилам, Шевченко должен был выехать сначала в Оренбург, а уж оттуда, оформив свою «отставку из армии», возвращаться в Россию. Но комендант Усков на свой страх и риск выдал поэту пропуск от Новопетровского укрепления до Петербурга, без заезда в Оренбург.

Второго августа 1857 года, после десятилетней ссылки, Шевченко сел в парусную рыбачью лодку. Она отплывала в Астрахань. Шевченко был так взволнован, так торопился, что плохо помнил, как уехал, с кем прощался, кто провожал его на пристань.

Когда лодка отошла, он оглянулся на мрачные берега, где темнели батареи, где чей-то женский платок еще белел, еще трепетал в воздухе. Шевченко снял шапку. Любовь ушла, забылась. Каспийское море гудело, накатывало на берега тяжелую воду. Над пустыней подымалась тихая мгла, как дым пожара. Ветер заливал брызгами лицо. Это была свобода. Ветер теребил рваную солдатскую шинель, как будто хотел сбросить с поседевшего Тараса последнюю память о ссылке.

Тарас задумался. Значит, не сбылись его слова, а он их когда-то считал пророческими:

В неволе вырос меж чужими
И, не оплаканный своими,
В неволе, плачущий, умру.

В пропыленной Астрахани Шевченко прожил несколько дней, дожидаясь парохода на Нижний-Новгород. Здесь он встретил своих земляков киевлян. Они были потрясены видом поэта. Изможденный, в изорванном солдатском мундире, он

был больше похож на беглого, чем на освобожденного из ссылки.

Новые друзья одели Шевченко и устроили в его честь шумную вечеринку.

Только в Астрахани Шевченко понял, как измучила его ссыльная казарма: простое человеческое отношение к себе он воспринимал как счастье, — он отвык от него на протяжении последних десяти лет.

Астрахань казалась Шевченко «огромной кучей мусора, которую венчают зубчатые белые стены кремля и стройный великолепный собор XVII века». Шевченко был рад этому впечатлению от Астрахани. После семилетнего прозябания в пустыне он думал, что Астрахань должна была произвести на него громадное впечатление. Значит, он еще не потерял взыскательности художника. «Стало быть, — пишет Шевченко,— я еще не совсем одичал».

Он был тронут до слез, когда в грязном астраханском трактире завели «машину» и она хрипло заиграла увертюру из «Роберта-Дьявола». Семь лет Шевченко слышал только треск барабанов и раздирающие сердце звуки военного горна.

Собор так заинтересовал Шевченко, что он хотел зарисовать его, но не хватило времени. Он всех расспрашивал об этом соборе, об его строителе, но узнал только, что строил его «простой мужичок». Это было правдой. Это прекрасное и величественное здание, видное за тридцать километров, было построено крепостным Дорофеем Мякишевым в начале восемнадцатого века. За постройку этого здания — оно могло соперничать с лучшими зданиями знаменитейших зодчих — Мякишев получил всего сто рублей серебром. Постройка длилась двенадцать лет.

В ссылке Шевченко ничего не читал. В Астрахани он тотчас пошел в библиотеку. Старик библиотекарь с гренадерскими усами, одетый в сюртук с красным солдатским воротом, очень дивился любопытству приезжего и рассказал Шевченко, что он был всего пятнадцатым посетителем за весь последний год.

Шевченко увидел на полках книжки «Русского вестника» и тут же, стоя около полок, начал читать их, — там были напечатаны новые вещи Гоголя, Аксакова и Соловьева.

В Астрахани жил рыбопромышленник Сапожников, учившийся живописи у Шевченко в Петербурге в 1842 году. Он узнал о приезде поэта и предложил ему место на пароходе «Князь Пожарский», нанятом Сапожниковым для переезда со своей семьей в Нижний-Новгород. Поэт с радостью согласился.

Плавание по Волге было для Шевченко праздником. Пароход шел от Астрахани до Нижнего целый месяц. Шевченко все время бегал по палубе, смотрел на берега, перезнакомился со всем населением парохода, сдружился с капитаном Кишкиным.

У Кишкина была «секретная тетрадь» с запрещенными стихами Рылеева, Беранже и Барбье. По вечерам собирались в каюте, и Кишкин читал вслух эти стихи. Особенно понравились Шевченко гневные стихи Барбье:

Свобода — женщина с упругой, мощной грудью,
С загаром на щеке,
С зажженным фитилем, приложенным к орудию,
В дымящейся руке.

Иногда в каюту к Шевченко приходил бывший крепостной, пароходный буфетчик Панов, и играл для поэта на скрипке лучшие вещи Шопена. Панов был необыкновенный скрипач, «крепостной Паганини». Игра его радовала и печалила Шевченко. Поэт радовался неиссякаемой талантливости народа и печалился о его судьбе, — Паганини должен был с салфеткой под мышкой с утра до ночи подавать всяческие расстегаи, солянки и водку пассажирам и владельцам парохода.

На пароходе Шевченко впервые прочел «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина. Они вызвали у него восторженное восклицание: «О Гоголь, наш бессмертный Гоголь! Какою радостью возрадовалась бы благородная душа твоя, увидя вокруг себя таких гениальных учеников своих!»

Книга Салтыкова-Щедрина была для Шевченко первым громким голосом революционной демократии, нарождавшейся в России. Шевченко был взволнован, — теперь он не чувствовал одиночества. Появилось новое могучее течение общественной мысли — течение искреннее, смелое, подавшее голос «за бедную грязную чернь». Новые люди были сродни Шевченко, — он уже знал это по тем отдельным словам, рассказам, намекам, которые доходили до него во время волжского плавания.

Шевченко все реже вспоминал Костомарова, Кулиша, либеральных дворянских юношей из Кирилло-Мефодиевского братства. Голоса Герцена, Чернышевского заглушали наивную болтовню «братчиков», постепенно превращавшихся в реакционеров, в преданных царских чиновников, в казенных профессоров.

Стояла осень. Кончался сентябрь. Дубовые леса по бере-

гам Волги уже заржавели от первых утренних морозов, но на полях и в сырой траве еще попадались последние лесные цветы. Каждый раз, когда пароход останавливался у глухих пристаней, Шевченко уходил в леса и возвращался румяный, мокрый от росы, с громадным букетом цветов, которые тут же раздавал пассажирам.

Казалось, ничто не предвещало нового испытания. Но в Нижнем-Новгороде Шевченко узнал еще об одной подлости правительства. Нижегородский губернатор был извещен, что как только в городе появится Тарас Шевченко, то его, упомянутого бывшего рядового Шевченко, надлежит препроводить на жительство в Оренбург.

Кроме того, в предписании губернатору было сказано, что Шевченко запрещен въезд в обе столицы — Петербург и Москву.

В Нижнем-Новгороде Шевченко сказался больным. Местные власти сочли это заявление вполне достаточным и разрешили ему оставаться в городе до выздоровления.

Мягкость местных властей объяснялась тем, что нижегородским губернатором был причастный к декабристам, отсидевший ссылку в Верхнеудинске, полковник Александр Муравьев.

Нужно было выиграть время, чтобы Федор Толстой и петербургские друзья могли успеть выхлопотать поэту разрешение жить в Петербурге. Шевченко стремился в Петербург, к друзьям разночинцам, туда, где билась новая революционная мысль, наконец — в Академию художеств, чтобы изучить граверное мастерство.

Всю зиму поэт прожил в Нижнем-Новгороде. Местное общество встретило его ласково. Он перезнакомился со множеством «любопытных личностей». Нижний-Новгород был не только городом купцов, разбогатевших около Волги, но и городом многих чудаков и многих просвещенных людей.

Шевченко часто бывал у Якоби — любезного и едкого либерала, аристократа, презиравшего «фельдфебелей на троне» — Николая и Александра. Якоби снабжал Шевченко первыми брошюрами Герцена, вышедшими за границей. Когда Якоби показал Шевченко номер герценовского «Колокола», поэт поцеловал страницы газеты. Герцен был для Шевченко «апостолом» свободы.

Шевченко дружил с известным собирателем народных песен — тихим, застенчивым библиотекарем Варенцовым.

Он слушал игру на рояле местного виртуоза Татаринова, великолепно исполнявшего Мейербера.

В Нижнем-Новгороде был очень хороший театр, и Шевченко был постоянным его посетителем. В театре он познакомился с чудаком Улыбышевым, дряхлым старцем, знатоком музыки, написавшим биографии Бетховена и Моцарта.

И Шевченко и Улыбышев приходили в театр не столько посмотреть пьесы, сколько послушать музыку, — в старые времена в театре перед спектаклем и в антрактах играли оркестры. Шла какая-нибудь кровавая драма или балаганный водевиль «Коломенский нахлебник» («дрянь с подробностями», по выражению Шевченко), а в антракте зрители слушали прекрасную увертюру из моцартовского «Дон-Жуана». Прекрасную, конечно, лишь в том случае, если оркестранты не были мертвецки пьяны и если от духоты не гасли к третьему действию все лампы и спектакль на этом не прекращался.

В Нижнем-Новгороде в то время жил Даль. Тарас его побаивался за холодный характер и за увлечение теософией.

Шевченко предпочитал людей простых, общительных, разговорчивых, — он сам очень любил поговорить. Говорить он мог с одинаковой охотой обо всем — о Брюллове и ценах на муку, об отвратительных дорогах в России и мерзости военного сословия, о нижегородском кремле и «неудобозабываемом унтере» Николае Первом, о том, как делать настоящую вишневку, о картинах Цампиери.

В доме Якоби Шевченко впервые встретился с декабристом. Это был Анненков. Шевченко отнесся к нему с величайшей почтительностью. Анненков был седой, величественный старик — настоящий «благовеститель свободы».

Преклонение Шевченко перед декабристами было безграничным. Он разыскал в Новгороде дочь декабриста Пущина, учившуюся в тамошнем институте, нарисовал ее портрет и всячески ее баловал.

Декабристам он посвятил взволнованные строки:

А ты, всевидящее око!
Знать, проглядел твой взор высокий,
Как сотнями в оковах гнали
В Сибирь невольников святых!
Как истязали, распинали
И вешали?.. А ты не знало?
Ты видело мученья их
И не ослепло?.. Око, око!
Не очень смотришь ты глубоко.
Ты спишь в киоте, а цари —
Да чур им, тем царям прожженным! —

Пусть тешатся кандальным звоном.
Я думой полечу в Сибирь
И в Забайкалье; гляну в горы,
В вертепы темные и норы
Без дна, глубокие, и вас,
Поборников священной воли,
Из тьмы, из смрада и неволи,
Царям и людям напоказ,
Вперед вас выведу, суровых,
Рядами длинными, в оковах.

В Нижнем-Новгороде Шевченко много работал. Он написал поэму «Неофиты» и несколько стихотворений — свои знаменитые «Долю», «Музу», «Славу» — и привел в порядок все стихи, написанные в ссылке, всю свою «невольницкую» поэзию. Работал он над прозой — над «Матросом» и другими повестями.

Несмотря на снежную и очень морозную зиму, Шевченко много рисовал на воздухе. Он срисовывал новгородские церкви и башни кремля. Тяготение к старой суровой архитектуре было по-прежнему его «слабостью».

Шла деятельная переписка с друзьями. Один из этих друзей — знаменитый актер Щепкин — приехал на несколько дней в Нижний из Москвы, чтобы повидаться с Шевченко. Для Шевченко это было «торжество из торжеств». Сдружила Шевченко со Щепкиным общая судьба — оба были украинцами и бывшими крепостными.

В марте 1858 года пришло из Петербурга известие о том, что Шевченко разрешено жить в столице.

Восьмого марта Шевченко выехал в Москву.

В Москве он несколько дней прожил у Щепкина, виделся с Аксаковым, с декабристом Волконским, с Варварой Репниной. Она не узнала его — так осунулся и постарел Шевченко. По ее словам, он был «совсем потухший». Встреча не дала радости и поэту.

Из Москвы Шевченко выехал по железной дороге в Петербург.

Петербургские друзья встретили Шевченко восторженно. Федор Толстой и Лазаревский приехали на вокзал встречать поэта. Шевченко остановился у Лазаревского.

На следующий день Федор Толстой привез его к себе. Когда взволнованный Шевченко вошел в комнату, графиня Настасья Ивановна бросилась к нему. Шевченко протянул к ней руки, воскликнул: «Серденько мое!» — обнял ее и заплакал.

Шевченко хотел очень много сказать этой женщине, спасшей его от неволи. Он думал об этой встрече, ждал ее с нетерпением, но сказать ничего не смог — спазмы душили его.

Петербург очень радостно встретил поэта. В нем видели мученика, его приветствовали как страшную жертву николаевского царствования.

Каждый день его приглашали в дома тогдашних просвещенных людей. Он познакомился со Львом Толстым, Меем, Даргомыжским, Полонским, Щербиной, Достоевским, Курочкиным. На вечере, где Шевченко выступал вместе с Достоевским, Майковым и Писемским, публика устроила ему восторженную овацию. Шевченко от волнения сделалось дурно.

С утра до вечера комната Шевченко была полна друзьями. Они тащили его в театр, в цирк, в Эрмитаж, на художественные выставки, на званые обеды, на дружеские пирушки. Эта бурная радость оглушала и утомляла Шевченко. Иногда он прятался от друзей и одиноко бродил по Петербургу, возвращался на старые места, вспоминал молодость.

Ссылка кончилась. Петербург был перед ним. Свобода казалась неограниченной. Но к желанной цели Шевченко пришел физически усталым. На Волге, в Нижнем, в Москве он еще крепился. Только в Петербурге он понял, что сделали с ним ссылка и казарма. Доктора признали его организм «преждевременно и навеки искалеченным и обессиленным».

Физическая разбитость особенно удручала Шевченко потому, что в Петербурге он встретился и сошелся с великим представителем революционной русской демократии — Чернышевским. Шевченко вошел в круг передовых людей, группировавшихся около журнала «Современник». Всем существом, всеми помыслами Шевченко был с этими людьми. Это было естественно, — ведь, по словам Добролюбова, «весь круг дум и сочувствий Шевченко находился в совершенном соответствии со смыслом и строем народной жизни».

Шевченко впервые встретился с Чернышевским на «вторниках» у Костомарова. Чернышевский поразил Шевченко ясным сознанием цели, умом, волей. Костомаров опасался влияния Чернышевского на Шевченко. Костомарову был враждебен «мужицкий демократизм» Чернышевского. Костомаров хотел сохранить Шевченко для себя — для украинских либеральных националистов. Но Тарас резко и определенно стал на сторону «мужицких демократов» — его подлинных братьев по духу.

Охлаждение между Шевченко и Костомаровым было неизбежным. Костомаров был далеко не прежним либералом.

Многим стало известно, что во время ссылки в Саратове он ведал секретным столом при губернаторе и участвовал в обвинении саратовских евреев в ритуальном убийстве. А Шевченко в это время выступил вместе с Чернышевским с резким протестом против антисемитских статей одного петербургского журнала.

Шевченко начал изучать гравюру. Лучшие граверы, Иордан и Уткин, показали ему приемы этого сложного, тонкого мастерства. Шевченко с необыкновенным, почти подвижническим упорством погрузился в работу. Лучшие гравюры Шевченко сделал с картин Рембрандта. В 1860 году он получил звание академика гравюры и офорта.

В свободные минуты он писал стихи. В этих последних его стихах много горечи, много неистовой ненависти к общественному строю России, к ее «псарям-императорам», много насмешек над богом и его «свинцовыми ушами», предчувствия близкого конца:

Так не пора ли понемногу
С тобою, спутницей убогой,
Нам вирши слабые бросать
И помаленьку собирать
Телеги в дальнюю дорогу?

Шевченко жил в маленькой квартире при Академии. Старый солдат-дядька приносил ему еду, чистил платье, изредка пытался прибрать в комнате, но Шевченко каждый раз его выгонял. Он не позволял никому прикасаться к своим гравировальным доскам, к резцам, рукописям, к бутылям с кислотами для протравления гравюр. На столе всегда лежало монисто, цветные украинские бусы, а над постелью на стене висели пучки сухих украинских трав — барвинки, руты, полыни.

Но жизнь порадовала Шевченко еще одной редкой и верной дружбой. В то время в Петербурге играл на сцене великий негритянский трагик Айра Ольридж. Он первым показал русским подлинного Шекспира. Это был актер гениальный. Он разрушал все традиции ложноклассического театра. Он даже играл спиной к публике, что тогда считалось совершенно невозможным для актера. Каждый его жест потрясал, каждая фраза была ясна, несмотря на то, что Ольридж играл на английском языке.

Шевченко впервые увидел Ольриджа в «Отелло». Поэт ушел со спектакля в глубоком смятении.

Через несколько дней Шевченко познакомился с Ольриджем у Толстых. Беседа шла при помощи переводчиков — детей Толстого. Ольридж рассказал Шевченко свою жизнь. Он

был негром из Судана. Миссионер привез его из Африки в Лондон, где он, сын племени рабов, стал величайшим трагическим актером. Много общего было в судьбах Шевченко и Ольриджа, и это общее сдружило их.

Они много времени проводили вместе. Ольридж один раз был у Шевченко. В этот день Шевченко впервые разрешил старому солдату прибрать комнату, и тот выкинул во двор сухую траву и рассыпанное монисто. Шевченко промолчал.

Шевченко написал портрет Ольриджа. Ольридж пел для Шевченко негритянские песни.

Когда Ольридж уезжал, его провожал весь театральный Петербург. С пути Ольридж прислал письмо русским актерам. «Вы изъявили в моем лице, — писал Ольридж, — сочувствие всему моему угнетенному племени».

Приближалась старость. Появилось желание уехать на родину, на Украину, поселиться в чистой маленькой хате, в покое, читать, писать стихи и гравировать прекрасные произведения живописи.

Шевченко рвался на Украину, хотел переиздать «Кобзаря», но ни того, ни другого власти ему не разрешали.

С большим трудом было все же добыто разрешение поехать на родину. Летом 1859 года Шевченко приехал в родное село Кирилловку, где жили его брат и сестра.

Сестра не сразу его узнала — не узнала своего Тараса в измученном, старом, тяжело дышащем человеке. Жить в Кирилловке было мучительно. Шевченко был один «вольный» среди всей своей крепостной семьи.

...в благодатном том селе,
Земли чернее по земле
Блуждают люди; оголились
Сады зеленые; в пыли
Погнили хаты, покосились;
Пруды бурьяном поросли.
Село как будто погорело,
Как будто люди одурели, —
Без слов на панщину идут
И за собой детей ведут.

Тарас уехал в местечко Корсунь, к родственнику Варфоломею Шевченко, и вместе с ним начал поиски клочка земли.

Землю нашли под Каневом, на высоком крутояре над Днепром, где Шевченко был потом похоронен.

Во время переговоров о покупке земли, — как водится, неторопливых и хитрых переговоров за бутылкой наливки, — присутствовал какой-то захудалый шляхтич Козловский. Шевченко уже дошел до той степени раздражения против поме-

щиков и шляхтичей, что не мог спокойно разговаривать с людьми этого сословия. Он сказал Козловскому несколько колкостей, потом разговор зашел о «божественных вещах», и Шевченко весьма вольно высказался о христианских святых.

Козловский донес. Через шесть дней Шевченко был арестован, просидел в тюрьме в Черкассах и в Киеве, был допрошен и выпущен.

Он прожил около месяца в Киеве и возвратился в Петербург. Он увез с собой новую обиду и память о запуганной, опутанной доносчиками стране.

В Петербург Шевченко приехал уже больным.

Здесь он хлопотал об освобождении от крепостной зависимости своих родных. Хлопоты эти были связаны с утомительным хождением по канцеляриям, переговорами со взяточниками. С Шевченко все чаще случались припадки неистового гнева. Он легко раздражался, плакал, подолгу никого к себе не пускал. Усталость усиливалась. Врачи исследовали Шевченко и нашли у него водянку. Ему запретили выходить из дому.

Он засел за гравюру, торопился работать, как будто сам назначил себе сроки приближавшейся смерти.

Девятнадцатого февраля 1860 года к Шевченко зашел его знакомый — Черненко. В этот день ждали опубликования манифеста об освобождении крестьян.

— Ну, что, что? Есть воля? Есть манифест? — судорожно спросил Шевченко.

— Еще нет, — ответил Черненко.

Шевченко тяжело выругался, закрыл лицо руками, упал на кровать и заплакал.

Болезнь усиливалась. Шевченко очень страдал. Друзья навещали его, но он стеснялся этих посещений. Большую часть дня он сидел один в своей неуютной холостяцкой комнате.

Старый солдат не понимал, что Шевченко болен, и все ходил вокруг, ворчал на беспорядок, на то, что лампа горит по ночам и со стен, с пучков сухих украинских трав, сыплется мусор.

Двадцать пятого февраля был день рождения Шевченко. Квартиру поэта посетило много знакомых. Когда все ушли и остался один Лазаревский, Шевченко сказал:

— Да, если бы на родину, на Украину, — там бы я, может быть, выздоровел.

Ночь прошла без сна. Мокрый снег шел над Петербургом. В этом снегу, среди холода невских льдов, среди каменных уснувших громад, в душной комнате, пропитанной запахом кислот и лекарств, в комнате, как бы отрезанной от мира ночным

мраком, сидел и задыхался одинокий, отекший от водянки, плачущий старик с загубленной жизнью. Старик, которому едва минуло сорок шесть лет.

Двадцать шестого февраля утром Шевченко позвал старого солдата, приказал прибрать комнату и пошел в свою мастерскую. В дверях он остановился, вскрикнул и тяжело упал на порог.

А через несколько часов он уже лежал в комнате на столе, покрытый простыней, спокойный и величавый. Тонкие свечи трещали в изголовье и озаряли измученное лицо ссыльного солдата и великого народного певца.

Черное солнце поднялось в тот день над милой его Украиной.

РАЗЛИВЫ РЕК

Поручик Тенгинского пехотного полка Лермонтов ехал на Кавказ, в ссылку, в крепость Грозную.

Весна выдалась не похожая на обыкновенные русские весны. Поздно распустились деревья, поздно цвела по заглохшим уездным садам черемуха. И реки запоздали и долго не могли войти в берега.

Разливы задерживали Лермонтова. Приходилось дожидаться паромов, а иной раз, если паром был поломан или ветер разводил на разливе волну, даже останавливаться на день-два в каком-нибудь захолустном городке.

Лермонтов равнодушно слушал жалобы проезжающих на высокую воду и дрянные отечественные дороги. Он был рад задержкам. Куда было скакать сломя голову? Под чеченскую пулю?

Впервые за последние годы он с тревогой думал о смерти. Прошло мальчишеское время, когда ранняя гибель казалась ему единственным исходом в жизни. Никогда еще ему так не хотелось жить, как сейчас.

Все чаще вспоминались слова: «И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной». Он был бесконечно благодарен Пушкину за эти строки. Может быть, он еще увидит в жизни простые и прекрасные вещи и услышит речи бесхитростные, как утешения матери. И тогда раскроется сердце, и он поймет, наконец, какое оно, это человеческое счастье.

Городок, где пришлось задержаться из-за гнилого парома, был такой маленький, что из комнаты в «номерах для проезжающих» можно было рассмотреть совсем рядом — рукой подать — поля, дуплистые ивы по пояс в воде и заречную деревню. Ее избы чернели на просыхающем откосе, как стая грачей. Навозный дымок курился над ними.

Из окна было слышно, как далеко, за краем туманной земли, поет, ни о чем не тревожась, пастуший рожок.

— Когда пройдет это круженье сердца? — сказал Лермонтов и усмехнулся. Он снял пыльный мундир и бросил на

стул. — Круженье сердца! Кипенье дум! Высокие слова! Но иначе как будто и не скажешь.

Вошел слуга.

— Тут какие-то офицеры картежные стоят, — доложил он Лермонтову. — В этих номерах. Хрипуны, охальники — не дай бог! Про вас спрашивали.

— Будет врать! Откуда они меня знают?

— Ваша личность видная. Играть с ними будете? Ай нет?

— Отстань!

— А то я вам мундир почищу. В таком мундире к столу сесть совестно. Одна пыль!

— Не трогай мундир! — приказал Лермонтов и добавил, ничуть не сердясь, а даже с некоторым любопытством: — Станешь ты меня слушать или нет?

— Как придется, — уклончиво ответил слуга. — Я перед вашей бабкой евангелие целовал за вами смотреть.

— Знаешь что, — спокойно сказал Лермонтов, — ступай ты подальше! Надоел.

Слуга вышел. Лермонтов расстегнул рубаху, лег на шаткую койку и закинул руки за голову.

В дощатом домишке рядом с «номерами» сидел у окна худой паренек и вот уже который час наигрывал на гармонике один и тот же мотив, — должно быть, совсем ошалел от скуки: «Ах ты, барыня-сударыня моя! Ах ты, барыня-сударыня моя! Ах ты, барыня-сударыня моя!»

Лермонтов слушал, глядя сумрачными глазами на стену. Там было старательно выведено синим карандашом: «Пристанище для путешествующих по державе Российской».

Российская держава, Россия! Нескладная родная страна!

Утром Лермонтову встретился на улице слепой солдат. Он просил милостыню. Солдата вела за руку девочка лет четырнадцати, вся в лохмотьях. Сквозь грязную рвань просвечивало ее детское нежное тело.

— Кем он тебе приходится, этот солдат? — спросил Лермонтов девочку.

— Да никем. Ему пушечным огнем глаза выжгло. А я сирота.

— В бою под Тарутином! — хрипло прокричал солдат. По его зажатым воспаленным векам ползали мухи, но солдат их не отгонял.

«Ах ты, барыня-сударыня моя! Ах ты, барыня-сударыня моя!» — повизгивала гармоника.

Лермонтов дал солдату полтинник.

Слуга лежал на подоконнике в «номерах» и смотрел на улицу.

— Напрасно вы их балуете, Михаил Юрьевич, — сказал он укоризненно из окна.

— Помалкивай, пока я тебя не отправил в Тарханы!

Да, Россия... В Москве, на вечере у Погодина, Лермонтов впервые встретился с Гоголем. Гости сидели в саду. В этот день было народное гуляние. Из-за кирпичной ограды проникал с бульвара запах пропотевшего ситца. Пыль, золотясь от вечерней зари, оседала на деревьях.

Гоголь, прищурив глаза, долго смотрел на Лермонтова — чуть сутуловатого офицера — и лениво говорил, что Лермонтов, очевидно, не знает русского народа, так как привык вращаться в свете. «Попейте кваску с мужиками, поспите в курной избе рядом с телятами, поломайте поясницу на косьбе — тогда, пожалуй, вы сможете — и то в малой мере — судить о доле народа».

Лермонтов вежливо промолчал. Это Гоголю не понравилось.

Лермонтов был удивлен разговорами Гоголя, его брюзгливым голосом. За ужином Гоголь долго выбирал, помахивая в воздухе вилкой, в какой соленый груздь эту вилку вонзить.

Одно было ясно Лермонтову — Гоголь им пренебрегал. «Способный, конечно, юноша. Написал превосходные стихи на смерть Александра Сергеевича. Но мало ли кому удаются хорошие стихи! Писательство — это богослужение, тяжкая схима. А офицер этот никак не похож на схимника».

В ответ Гоголю Лермонтов, выждав время, прочел отрывок из «Мцыри».

— Еще что-нибудь! — приказал Гоголь.

Тогда Лермонтов прочел посвящение Марии Щербатовой:

На светские цепи,
На блеск утомительный бала
Цветущие степи
Украйны она променяла...

Гоголь слушал, сморщив лицо, ковырял носком сапога песок у себя под ногами, потом сказал с недоумением:

— Так вот вы, оказывается, какой! Пойдемте!

Они ушли в темную аллею. Никто не пошел вслед за ними. Гости сидели в креслах на террасе. Обгорали на свечах

зеленые прозрачные мошки. На бульваре лихо позванивала карусель.

В аллее Гоголь остановился и повторил:

Как ночи Украйны
В сиянии звезд незакатных,
Исполнены тайны
Слова ее уст ароматных...

Он схватил Лермонтова за руку и зашептал:

— «Ночи Украйны в сиянии звезд незакатных...» Боже мой, какая прелесть! Заклинаю вас — берегите свою юность.

Гоголь сел на скамью, вынул из кармана клетчатый платок и прижал его к лицу. Лермонтов молчал. Гоголь слабо махнул ему рукой, и Лермонтов, стараясь не шуметь, ушел в глубину сада, легко перелез через ограду и вернулся к себе.

За окном прогремели по булыжникам колеса, брякнул и замолк колокольчик под дугой, захрапели лошади; топоча сапогами, скатился по лестнице гостиничный слуга, знакомая девочка-нищенка пропела серебряным голосом: «Барыня-красавица, подайте копеечку убогому слепцу-кавалеру», и гармоника споткнулась и затихла. Кто-то новый приехал в гостиницу.

Лермонтов встал с койки и подошел к окну.

Из запыленной коляски выходила, слегка подобрав дорожное платье, Мария Щербатова — высокая, тонкая, с бронзовым отблеском в волосах.

Лермонтов отшатнулся от окна. Откуда она здесь, в этом заштатном городке? Так недавно еще он расстался с ней в Петербурге.

Любила ли она его? Он не знал. Вообще он не знал, любил ли его по-настоящему хоть кто-нибудь в жизни. Все привязанности кончались обманом. Наталья Иванова променяла его на проворовавшегося офицера, Лопухина вышла замуж за богача.

Как же Щербатова попала сюда? В Петербурге она ничего не говорила ему об этой поездке. Потом он вспомнил — городок этот лежал по пути на ее Украину. Какой все же славный городок! Там, в степях Заднепровья, выросла эта юная женщина с лазурными глазами.

Любила ли она его, он не знал. Но он, если бы мог, подарил ей всю землю. Вся теплота этой любви была в нем одном. Он берег ее, он жил с ней одиноко и счастливо.

Он был благодарен за это Щербатовой. Неважно, знала она об этом или нет. Достаточно того, что она жила и случай столкнул их на несхожих житейских дорогах.

Он позвал слугу и велел получше почистить мундир.

Мария Щербатова была здесь! Он слышал ее голос в пропахшем кислыми щами коридоре, шум ее платья, знакомые шаги, хлопанье рассохшихся дверей, свежий плеск воды в тазу, запах лавандовых духов. И, наконец, он услышал заглушенные слова, каких ждал с той минуты, когда увидел ее выходящей из коляски:

— Неужели Михаил Юрьевич здесь? Вот забавный случай! Тогда передай ему вот это.

«Вот это» было запиской, наспех набросанной на клочке бумаги. Ее принес слуга.

В записке было два слова:

«Приходите скорей!»

Никакие слова не казались ему такими зовущими и ласковыми, как два этих маленьких слова.

Марии Щербатовой тоже казалось, что впервые в жизни она написала такие удивительные и важные слова. В них было все смятение ее любви, утаенной печали.

С детства она верила в счастливые неожиданности, ждала их, но ожидание это никогда не сбывалось. Ничего, кроме горечи, не приносило это ожидание. А вот сейчас — сбылось!

Еще там, в Петербурге, узнав о ссылке Лермонтова, Щербатова решила тотчас уехать к себе на Украину. Нет, еще бьется сердце, и она не променяла цветущие украинские степи на мертвую суету Петербурга. Он был не прав, когда упрекал ее в этом.

Она решила ехать. В глубине души, как исчезающий, неуловимый сон, жила надежда — может быть, она еще встретит его, догонит в пути. Мало ли что случается в жизни. Есть же такое утешительное слово — «наугад».

И вот — сбылось! Лермонтов здесь. И она должна решиться и сказать ему, наконец, как он ей дорог. И потом плакать напролет от безнадежности, нежности, от непонимания, как добиться хотя бы недолгого счастья.

Она не могла объяснить себе многого. Сейчас ей хотелось запомнить на всю жизнь этот городок, гостиный двор с желтыми облупившимися сводами, голубей на базаре, зеленую вывеску трактира «Чай да сахар!», каждую щепку на горбатой мостовой.

— Я думаю совсем не о том, не о том! — шептала

Щербатова, торопливо причесываясь перед темным гостиничные зеркалом. — Думаю о пустяках, а этот свободный для сердца день не повторится. Никогда! Что я скажу ему? Где? Нет, только не в этих «номерах»! Уйдем за город, к реке. Вон в ту рощу, где блестит на солнце покосившийся крест над часовней. Должно быть, там кладбище.

Но встреча, как это всегда бывает, вышла совсем не такой, как ожидала Щербатова.

Когда послышались шаги Лермонтова, Щербатова вышла в коридор, сбежала, задыхаясь, по лестнице и остановилась в воротах. В руке она держала за синюю шелковую ленту соломенную шляпу.

Они встретились у ворот, и Лермонтов, наклонившись, чтобы поцеловать ее руку, пропустил тот единственный миг, когда слеза блеснула в ее синих, как шелковая лента, глазах и тотчас исчезла.

И пошли они не в кладбищенскую рощу, а в городской запущенный сад. Там так громко трещали воробьи, что Лермонтов, усмехнувшись, заметил:

— Как будто на сотне сковородок жарят яичницу на украинском сале.

Щербатова слабо улыбнулась. Она поняла, что вряд ли скажет ему сейчас то, что хотела сказать минуту назад. Они все время уходили в сторону от единственно важного для них разговора.

Под горой в мутноватой воде кружились отражения облаков. И весь этот скромный весенний день казался Щербатовой тайным подарком. Он принадлежал только ей. Никто не знает, где она, с кем она сейчас. Сердце полно до краев. Пальцы вздрагивают, когда она прикасается к рукаву его грубого мундира. Прижать бы к груди эту милую голову, пригладить волосы...

Но этого тоже не случилось. Лермонтов, сгорбившись и застенчиво улыбаясь, заговорил о России, о том, что он любит в ней как раз то, чего не любят другие. Вот все досадуют на разлив, а он готов прожить хоть месяц в этом городке и только то и делать, что смотреть на полую воду. Должно быть, все занимательно для нас, если душа открыта для простых впечатлений.

Он говорил с ней как с другом, как с мужчиной. В его темных глазах появился влажный блеск.

Он рассказал о слепом солдате и девочке-поводыре. Она весь день не выходила у него из головы.

— Михаил Юрьевич! — Щербатова положила пальцы на

горячую руку Лермонтова. — Я догадываюсь обо всем, что вы можете думать обо мне. Но я не такая. Я выросла среди простонародья. Я бегала босиком по крапиве и пасла телят и гусей. До сих пор я не могу без слез слушать наши малороссийские песни. «Закувала та сыва зозуля раным-рано на зори». Вы понимаете? «Закуковала серая кукушка на ранней заре».

— Я понимаю,— ответил Лермонтов и начал чертить ножнами сабли по песку.

— Михаил Юрьевич! — сказала с отчаянием Щербатова. — Опять у вас тоска! Я не знаю, что сделать, чтобы ее не было.

— Все кончится, — спокойно ответил Лермонтов. — Мы украли у этого дурацкого света единственный день. Но все равно вы ничем не можете помочь мне. Просто вы не решитесь.

— Да, не решусь, — призналась Щербатова и опустила голову.

— Вы не виноваты, — сказал, успокаивая ее, Лермонтов. — Мне грустно оттого, что я вас люблю и знаю, что за этот легкий день вам придется дорого рассчитаться. Мы не скроемся. Здесь шайка петербургских офицеров. И среди них один. Я давно приметил его. Или, вернее, он давно преследует меня, как тень. Некий жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу. Единственный, но зоркий глаз Бенкендорфа.

— Ну вот, — Щербатова встала и протянула Лермонтову руки, как бы желая помочь ему подняться с низкой садовой скамейки. — Вы так просто сказали то, что я не решаюсь сказать сама.

Она слегка потянула его за руки. Лермонтов встал, и она, обняв его за плечи, поцеловала в губы, потом в глаза — поцеловала прямо, открыто, глядя в побледневшее лицо.

И опять все случилось не так, как она думала. Не было ни бурных слов, ни пылких признаний, ни клятв, а была только разрывающая сердце нежность.

Слепой солдат зашел в ренсковый погребок и купил на весь полтинник, полученный от Лермонтова, казенного вина. Но он не стал его пить в погребке, а отнес на «квартиру» — солдат ночевал на окраине городка, в Слободке, в дальней кривой избе.

Хозяин избы, непутевый шорник, вдовец, увидев штоф с вином, засуетился, постлал на стол дырявое, но чистое рядно,

насыпал в деревянную миску соленых желтых огурцов, достал краюху хлеба и солонку с красной, заржавевшей солью.

В избе было по-весеннему сыро. Пахло гнилой кожей. Изо рта валил пар.

Начали пить, отдуваясь, поминая святых угодников.

Девочка сидела на скамье, поджав босые ноги, и жевала корку. Тощая, только что окотившаяся кошка терлась о ноги девочки. Девочка чувствовала тепло кошачьей шкурки, смотрела на кошку прозрачными, пустыми глазами, потом отломила кусок корки и бросила кошке.

Кошка стала жадно грызть корку, как пойманную мышь,— урча, давясь и встряхивая ушами.

— Ишь ты, — сказал хозяин избы, — мамзель какая! Хлеб животному стравливает. Это, я считаю, безобразие.

Девочка ничего не ответила, а солдат закричал хозяину:

— Тысячи нас, солдат, сполняют царскую службу! Понимаешь ты это, серая твоя башка? На солдате государство стоит...

— То-то вас порют через каждого третьего, — заметил хозяин. — Ты лучше расскажи, откуда ты родом.

— А я и не помню! — бесшабашно ответил солдат. — Ей-богу, забыл. Одно помню — стояла мать под ракитой и крестилась на солнце, когда меня угоняли. Мать у меня была раскрасавица, прямо цыганка!

— Ну, бреши, утешайся, — согласился хозяин избы. — Куда ты только подаяние деваешь? У самого в брюхе щелк. И девчонка у тебя засохла, насквозь светится.

— Она вроде немая, — ответил солдат. — Только милостыню за меня просит. А чтобы другое слово сказать, так этого за ней не водится. Катька! — крикнул он. — Хочешь вина?

Девочка молча покачала головой, не спуская глаз с кошки.

— Слушай! — закричал солдат и стукнул желтой ладонью по столу. — Слушай мое объяснение, сиворайдовский мужик! Меня сам командир за бой под Тарутином облобызал. Видишь, крест егорьевский! Перед ним встать следует, а не сидеть раскорякой. С тем крестом я могу во дворец беспрепятственно войти — часовые меня не тронут. Войти и сказать караульному генералу: «Доложи государю, такой-растакой сын, что старослужащий солдат желает ему представиться на предмет вспоможения». И генерал — ни-ни, не пикнет! Только забренчит орденами и пойдет к царю докладать.

— Да ну! — притворно удивился хозяин избы. — Так-таки и пойдет?

— Еще как! Мне вот офицер дал полтинник. Катька говорит — молодой офицер, чернявый. Это не каждому полтинник дают! Это, брат, заслужить надо. Я самого Кутузова видел. Полководца! Одноглазый генерал. Облик львиный. Скачет в дыму, знамена над ним шумят, «ура» катится до самой Москвы. И кричит он нам: «Ребята, умрем за отечество! Умрем, кричит, за отечество!»

Солдат сморщил лоб и заплакал. Плакал он молча, сидя навытяжку, придерживая на груди почернелый георгиевский крест.

— Все герои, а пока что в дерме преем, — вздохнул хозяин. — Ты лучше пей, кавалер. Солдат веселиться должен. По уставу.

— Видит бог, должен! — закричал солдат с натугой, и лицо его начало чернеть.

Ах ты, сукин сын, камаринский мужик!

Солдат тяжело затопал ногами под столом.

Ты, видать, видать, к веселию привык!

— Дедушка, — испуганно сказала девочка и положила синеватые пальцы на набухшую узлами руку солдата, — ты не пой — закашляешься.

— Полк, слуша-а-ай! — закричал солдат и тотчас закашлялся.

Кашлял он долго, навалившись грудью на стол, выпучив красные от удушья глаза. Хозяин избы жевал огурец и с любопытством смотрел на солдата.

— Чего же ты сидишь? — сказал он, наконец, девочке.— Видишь, человек кончается. Паралик его разбирает.

Солдат упал головой на стол, захрипел и сполз, свалив лавку, на земляной пол. Кошка, прижав уши, отбежала с недоеденной коркой к холодной печке.

Девочка стала на колени около солдата, схватила его за голову.

— Дедушка! — закричала она. — Встань! Чего ж ты по полу валяешься? Худо тебе?

— Тихо! — прохрипел солдат. — Слушай мою команду. Офицер дал мне полтинник. Душа-офицер! Доложи ему — помер, мол, старослужащий солдат и кавалер Трифон Калугин с весельем, как полагается.

Ах ты, сукин сын, камаринский мужик!

— Дедка! — звонко вскрикнула девочка, легла головой на грудь солдату и обхватила его плечи.

И, должно быть, солдат почувствовал скудное и последнее для него тепло детских рук. Он задвигался и положил девочке на лицо тяжелую ладонь.

— Темно мне помирать, — сказал он. — Хоть бы солнышко вполглаза увидеть! Ты не кричи. Жизнь солдатская — портянка. Снял и выкинул. Беги к офицеру, скажи... хоронить надо солдата по правилам службы.

Солдат дернулся и застыл. В наступившей тишине было слышно, как кошка догрызала хлебную корку и тяжело дышал хозяин избы.

— Вот тоже, — сказал он, наконец, — навязались постояльцы на мой загривок. Погоды!

Он оттолкнул девочку и начал ловко шарить в карманах у солдата.

— Мошна-то глубокая, да пуста, — зло бормотал он. — Голь перекатная! А вино пьют. Да еще угощают! Мне двугривенный полагается за постой.

Девочка вскочила. Хозяин качнулся, хотел схватить ее за подол, но девочка метнулась к порогу и, не оглядываясь, выбежала из избы.

Бывает такая душевная уверенность, когда человек может сделать все.

Он может почти мгновенно написать такие стихи, что потомки будут повторять их несколько столетий.

Он может вместить в своем сознании все мысли и мечты мира, чтобы раздать их первым же встречным и ни на минуту не пожалеть об этом.

Он может увидеть и услышать волшебные вещи там, где их никто не замечает: серебряный пень в лунную ночь, звон воздуха, небо, похожее на старинную морскую карту. Он может придумать множество удивительных рассказов.

Примерно такое же состояние испытывал сейчас Лермонтов. Он был спокоен и счастлив. Но не только любовью Щербатовой. Разум говорил, что любовь может зачахнуть в разлуке. Он был счастлив своими мыслями, их силой, широтой, своими замыслами, всепроникающим присутствием поэзии.

Днем Лермонтов обошел со Щербатовой весь городок. Из сада они пошли посмотреть на разлив и узнали, что паром починят только завтра. Они долго сидели на теплых от солнца сосновых бревнах, наваленных на береговом песке. Щербатова

рассказывала о своем детстве, о Днепре, о том, как у них в усадьбе оживали весной высохшие, старые ивы и выпускали из коры мягкие острые листочки.

Она увлеклась воспоминаниями. В голосе у нее появилось мягкое южное придыхание. Лермонтов любовался ею.

Они пообедали у известной в городке бригадирской вдовы поварихи. Она накрыла стол в саду. Цвела яблоня. Лепестки падали на толстые ломти серого хлеба и в тарелки с крутым борщом. К чаю бригадирша подала тягучее вишневое варенье и сказала Лермонтову:

— Я его берегла для праздника. А вот сейчас не стерпела, выставила для вашей жены. Где это вы отыскали такую красавицу?

Щербатова вспыхнула слабым румянцем. Лермонтов впервые за этот день увидел слезу на глазах Щербатовой. Она незаметно вытерла ее мизинцем.

Он не узнавал ее. Она была прелестна в Петербурге, но куда сейчас девалась ее тамошняя сдержанность, снежная, почти мраморная красота и горделивость движений? Сейчас перед ним была простая, ласковая женщина, и тайная радость, что она переменилась так внезапно ради него, не покидала Лермонтова.

Только к вечеру они вернулись в «номера». Огромное солнце склонялось к разливу.

Из большой комнаты в «номерах», занятой офицерами, доносились то дружный хохот, то рыдающие стоны гитары и нестройное пение:

Коперник весь свой век трудился,
Чтоб доказать Земли вращенье.
Дурак, зачем он не напился, —
Тогда бы не было сомненья!

Под стеной «номеров» сидела на земле, обхватив руками колени и положив на них голову, знакомая нищенка. Она, казалось, спала. Лермонтов остановился.

— Почему ты одна? — спросил он. — Где солдат?

Девочка подняла голову, но не встала.

— Где солдат? — повторил Лермонтов.

— На Слободке. Лежит в хате.

— Что с ним?

— А он помер. Как почернел, так и свалился под лавку. А меня к вам послал.

— Зачем?

— А я не знаю, — шепотом ответила девочка, и лицо у нее задрожало. — Велел добежать до вас, а я не дослушала.

— Испугалась?

— Ага! — еще тише ответила девочка.

Щербатова вскинула на Лермонтова глаза. Лицо его стало суровым и нежным. Она ни разу не видела у него такого лица. Легкая боль кольнула ей сердце.

— Я не знала, что вы так чувствительны.

Лермонтов пристально взглянул на нее.

— Я не люблю благодеяний, — сказал он, чуть сердясь. — Все это вздор! Но со вчерашнего дня мне все кажется, что я отвечаю за эту детскую жизнь.

Слуга Лермонтова, по своему обыкновению, лежал на подоконнике и, сощурив глаза, смотрел на улицу. Он явно показывал проходящим, что нестерпимо скучает в этой серой провинции. Лермонтов резко окликнул его и приказал накормить девочку.

Когда Лермонтов проходил с Щербатовой по тесному коридору «номеров», дверь из офицерской комнаты распахнулась. Из нее высунулся жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу. Увидев Лермонтова, он тотчас захлопнул дверь.

— Извините, мне надобно отлучиться, — сказал Лермонтов Щербатовой, поклонился и быстро открыл дверь в офицерскую комнату.

Шум за дверью оборвался.

Щербатова пошла к себе, но в комнату не вошла, а остановилась у дверей. Она была оскорблена внезапным уходом Лермонтова.

«Господи! — сказала она про себя. — Дорога каждая минута, а он теряет время на карты. Что это значит?»

Тяжелая боль сжала ей грудь. В одно это мгновение она поняла, что даже короткая разлука приводит ее в отчаяние. Что же будет завтра, когда надо будет расставаться надолго, может быть навсегда?

Небо за окном в конце коридора становилось все зеленее. День быстро угасал. На смену ему шла тишина ночи со слабым заревом звезд.

Если бы можно было остановить медленный ход ночи над этим глухим уголком России! Остановить, чтобы никогда не приходил завтрашний день...

Офицеры играли и пили вторые сутки.

Лермонтов вошел не постучавшись. Он уронил на пороге

белоснежный носовой платок и так ловко и незаметно поднял его, что кое-кто из офицеров подумал:

«Да, с этим разжалованным гусаром лучше не связываться. Бьет, как пить дать, в пикового туза пулей в пулю».

Жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу встал и вышел в соседнюю комнату. Лермонтов посмотрел ему в спину. Одноглазый! А может быть, нарочно завязал глаз для нечистой игры.

Офицеры замолкли. По их напряженным лицам Лермонтов догадался, что они только что говорили о нем и Щербатовой. Нижняя губа у него дернулась, но усилием воли он сдержал нервную дрожь, кивнул всем и громко сказал:

— Жаль, что так поспешно ушел господин ротмистр. Мне бы надобно сразиться именно с ним.

Жандармский ротмистр быстро открыл дверь из соседней комнаты и остановился на пороге.

— Я к вашим услугам, — сказал он добродушно и слегка поклонился. — Всегда рад сразиться с прославленным русским поэтом.

— Насколько я знаю, — спокойно ответил Лермонтов, — вы играете только втемную. Ну что ж, сыграем и втемную.

Ротмистр деланно засмеялся и подошел к столу. Глаз его прищурился от злобы.

— Играю на тысячу, — сказал Лермонтов. — Не больше. Без отыгрыша. После выигрыша тотчас уйду. Идет?

Ротмистр кивнул.

— Идет! — ответил за него банкомет, белобрысый драгунский капитан. — Остановка за малым — за выигрышем. А я, признаться, думал, что вам сейчас не до игры, господин Лермонтов.

— Мысли ваши держите в кармане рейтуз, — резко ответил Лермонтов.

— Ежели бы вы не ехали на Кавказ, под пули... — сказал, краснея, банкомет и осекся.

Лермонтов смотрел на него выжидательно и спокойно.

— То что бы случилось, позвольте узнать? — спросил он с вежливым любопытством.

— Да так... ничего, — пробормотал банкомет.

Ротмистр кивнул и бросил на стол пачку ассигнаций.

Лермонтов тоже вынул деньги.

— Здесь тысяча, — сказал он. — Иду на все!

— Вы об этом уже изволили докладывать. Вот ваша карта.

Офицеры столпились у расшатанного стола. Хмель сразу

слетел с них. Всем было ясно, что Лермонтов играет неспроста. Не такой уж мальчик уродился, чтобы чего-нибудь не выкинуть. Только совсем юный и пьяный до беспомощности чиновник прокричал:

Вам не видать таких сражений!

— Замолчите! — ласково сказал ему Лермонтов.

Чиновник всхлипнул и затих. Лермонтов быстро открыл карты.

— Ваша тысяча! — сказал банкомет с наигранным равнодушием.

— Посмотрим, как вы отыграетесь, — сказал Лермонтов ротмистру, взял деньги, засунул их, не считая, в карман, кивнул и вышел.

С этой минуты Лермонтов с полной ясностью понял, что ротмистр послан следить за ним.

— Индюк! — зло сказал ротмистр банкомету. Тот удивленно моргнул красными от бессонницы веками. — Тюфяк! — повторил ротмистр. — Пропустил такой случай расквитаться с этим наглецом! Он же лез на ссору, а ты вильнул и скис. «Да так... ничего...» — передразнил он банкомета.

— От такого и тремя откупишься, — пробормотал конопатый пехотный капитан. — По всем повадкам видно — головорез!

Тогда вдруг зашумел чиновник.

— Стреляться с Лермонтовым? — закричал он. — Не допущу! Извольте взять свои слова обратно!

— Проспитесь сначала, фитюк! — брезгливо ответил ротмистр.

А банкомет еще долго сидел, недоумевая, и моргал красными веками, пока двое вдребезги пьяных драгун не взяли его под руки и не уложили на рваный, стреляющий пружинами диван.

После выигрыша Лермонтов пошел на Слободку.

К себе в «номера» он вернулся поздним вечером. Девочки в комнате не было. Слуга сидел у стола и лениво отковыривал ногтем воск на чадящей свече.

От внезапного тяжелого гнева у Лермонтова заныл затылок. Припадки такого гнева случались с ним все чаще. Последний раз так было на маскараде в Благородном собрании, когда великая княжна игриво ударила его веером по руке и сказала, что хочет причислить поэта к своим приближенным.

Но тогда этот гнев был понятен. Он не сдержался, сказал княжне дерзость.

Но почему гнев вспыхнул сейчас? Он не мог разобраться в этом. Может быть, потому, что в комнате не оказалось девочки, а может быть, от сонной и, как ему показалось, насмешливой рожи слуги.

— Подай мне мокрое полотенце, — хрипло сказал Лермонтов. — Свеча чадит, а ты сидишь как истукан. Где девочка?

Слуга начал мочить полотенце под медным рукомойником.

— Пить бы вам надо поменьше, — сказал он наставительно.

— Где девочка? — повторил Лермонтов, и голос его зазвенел.

— Кабы вы приказали мне ее караулить... — обиженно сказал слуга, но Лермонтов не дал ему окончить.

— Где? — крикнул он, и слуга отшатнулся, увидев его взбешенные глаза.

— Княгиня сюда заходили и увели ее к себе, — скороговоркой пробормотал слуга. — Что ж я, силком ее, что ли, буду держать, христарадницу эту!

Лермонтов вырвал из рук слуги полотенце, обвязал им голову.

— Ступай к себе, — сказал он, сдерживаясь. — И собирайся в дорогу. Завтра поедешь в Тарханы. К черту!

— Это как же? — спросил, прищурившись, слуга.

— Ступа-а-ай! — повторил Лермонтов так протяжно и яростно, что слуга, сжавшись, выскочил в коридор.

За дверью он перекрестился. «И впрямь лучше поеду, — подумал он. — А то еще убьет. Ей-богу, убьет. Смотри, какой бешеный!»

Лермонтов сел к окну, оперся локтями о подоконник и сжал ладонями голову.

Ночная прохлада лилась в окно из зарослей черемухи, будто черемуха весь день прятала эту прохладу в своих ветвях и только ночью отпускала ее на волю. Низко в небе вздрагивал огонь звезды.

«Надо пойти к Щербатовой, — думал Лермонтов. — Но можно ли? Там камеристка. Да все равно ничего не удержишь в тайне. Зачем случилась эта встреча? Опять пришла тоска, дурные предчувствия». Он привык к одиночеству. Иногда он даже бравировал им: «Некому руку подать в минуту душевной невзгоды». А вот сейчас и невзгода и есть кому руку подать, а тоска растет, как лавина, и вот-вот раздавит сердце.

Никогда ему не хотелось ни о ком заботиться. А вот теперь...

У него, как и у этой девочки, не было ни матери, ни отца. Сиротство роднило их, прославленного поэта и запуганную нищенку. Он думал, усмехаясь над собой, что, должно быть, поэтому он был так явно обеспокоен ее судьбой.

Он смутно помнил свою мать, — вернее, ему казалось, что он ее помнил, — ее голос, теплые бессильные руки, ее пение. Думая о ней, он написал стихи о звуках небес, о том, что их не могли заменить скучные земные песни.

За окном стучал в колотушку сторож. И как люди считают, сколько раз прокуковала кукушка, чтобы узнать, долго ли им осталось жить, так он начал считать удары колотушки. Выходило каждый раз по-иному: то три года, то девять, а то и все двадцать лет. Двадцати лет ему, пожалуй, хватит.

За спиной Лермонтова открылась дверь. Сквозной ветер согнул пламя свечи.

— Опять ты здесь, — сказал устало Лермонтов. — Я же говорил, чтобы ты оставил меня в покое.

Теплые руки обняли Лермонтова за голову, горячее лицо Щербатовой прижалось к его лицу, и он почувствовал у себя на щеке ее слезы.

Она плакала безмолвно, навзрыд, цепляясь за его плечи побледневшими пальцами. Лермонтов обнял ее.

— Радость моя! — сказала она. — Серденько мое! Что же делать? Что делать?

Оттого, что в этот горький час она сказала, как в детстве, украинские ласковые слова, Лермонтов внезапно понял всю силу ее любви.

Что делать, он не знал. Неужели смириться? Жизнь взяла его в такую ловушку, что он не в силах был вырваться. Дикая мысль, что его может спасти только всеобщая любовь, что он должен отдать себя под защиту народа, мелькнула в его сознании. Но он тотчас прогнал ее и засмеялся. Глупец! Что он сделал для того, чтобы заслужить всенародное признание? Путь к великому назначению поэта так бесконечно труден и долог — ему не дойти!

— Мария, — сказал он, и голос его дрогнул, — если бы вы только знали, как мне хочется жить! Как мне нужно жить, Машенька!

Она прижала его голову к груди. Он впервые за последние годы заплакал — тяжело, скупо, задыхаясь в легком шелку ее платья, не стыдясь своих слез.

— Ну что ты? Что ты, солнце, радость моя? — шептала Щербатова.

Лермонтов сжал зубы и сдержался. Но долго еще он не мог вздохнуть всей грудью.

— Пойдем сейчас ко мне, — шептала Щербатова. — Я покажу тебе девочку. Она спит. Я вымыла ее, расчесала. Я возьму ее к себе.

— Хорошо, — сказал он. — Иди. Я сейчас умоюсь и приду.

— Только скорее, милый.

Она незаметно вышла. Лермонтов умываться не стал. Он сел к столу и быстро начал писать:

Мне грустно потому, что я тебя люблю
И знаю — молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье...

Он встал, спрятал стихи за обшлаг мундира, задул свечу и вышел.

Глухая ночь проходила неведомо куда над городком, над черными полями и разливом. И лениво, как бы засыпая, ударил один раз в колотушку ночной сторож.

Рано утром Лермонтов снова ушел на Слободку и вернулся только к полудню. Перед уходом он послал записку Щербатовой. Она была написана по-французски:

«Я обязан сегодня отдать последний долг старому солдату. Если у вас есть черное платье, то, прошу вас, наденьте его. Я зайду за вами и за девочкой».

Щербатова достала простое черное платье и торопливо переоделась.

Лермонтов пришел сдержанный, молчаливый, и они втроем пошли на Слободку.

Солдат лежал в неструганом гробу на столе, прибранный, покрытый рваным рядном. Он как бы прислушивался, дожидаясь утренней побудки, пения полковой трубы.

Высокая старуха читала псалтырь, проглатывая слова, как бы боясь, что ее остановят. По столу около гроба суетливо бегали рыжие тараканы. Старуха смахивала их ладонью.

Хозяин избы, уже успевший опохмелиться на полученную от Лермонтова трешку, не то плакал, не то кряхтел, стоя в углу и вытирая лицо ситцевым рукавом.

Пришел рыжий веселый священник с дряхлым дьячком, надел через голову старую ризу, выпростал жирные волосы,

вытер лицо коричневым платком, попробовал голос и начал отпевание.

Щербатова стояла, опустив голову. Воск капал ей на пальцы с тонкой, согнувшейся свечи. Но она не замечала этого. Она думала о бездомном солдате, о своей нарядной и утомительной жизни в Петербурге и вдруг удивилась: зачем ей эта жизнь? И зачем ради нее она должна отказаться от любви, от радости, от веселья, даже от того, чтобы пробежать босиком по мокрой траве? Она думала о Лермонтове. Их родственная и светлая близость не может пройти никогда. Она думала обо всем этом, и ей казалось, что она молится за солдата, за Лермонтова, за свою самую печальную на свете любовь.

Девочка, одетая в серенькое, наспех подшитое на ней платье, смотрела, не мигая, за окно.

За окно смотрел и Лермонтов. Там сияла последняя в жизни солдата весна. Легкий сквозняк уносил дым ладана. Небо и деревья светились сквозь этот дым тусклой позолотой.

«Может быть, это и моя последняя весна», — подумал Лермонтов, но тотчас начал торопливо думать о другом — о Щербатовой, о том, что уже починили, должно быть, паром и через несколько часов он расстанется с ней.

— Кутузовский кавалер! — вздыхал позади хозяин избы. — Царствие ему небесное, вечный спокой!

Лермонтов улыбнулся. Щербатова с тревогой подняла на него глаза. Со времени встречи в городке малейшее его душевное движение тотчас передавалось ей. А он подумал, что вот эти слова будут когда-нибудь петь и над ним. Петь о вечном покое над человеком, созданным для вечного непокоя. Ну что ж, тогда ему будет все равно!

Кладбище оказалось в той маленькой роще за городом, где Щербатова хотела встретиться с Лермонтовым. Дымные тени от недавно распустившихся берез шевелились под ногами.

Хозяин избы подошел к гробу с молотком и гвоздями, чтобы заколотить крышку. Гвозди он держал во рту. Лермонтов отстранил его, наклонился и поцеловал бугристую руку солдата. Смуглое лицо его побледнело.

Щербатова опустилась на колени перед гробом, тоже поцеловала холодную солдатскую руку и подумала, что никогда она не забудет об этом дне.

Не забудет о шуме ветра в березах, застенчивом солнечном тепле, дрожащих губах девочки, голосе Лермонтова, о каждом сказанном им слове, об этих двух днях, что останутся в памяти, как святая святых, — маленьких днях, затерянных среди тысячи других дней в потоке времени.

Все неподвижно смотрели, как сырая земля сыпалась на крышку гроба. Щербатова взяла руку Лермонтова и незаметно и нежно поцеловала ее. За все — за прошлые его страдания, за погибшую молодость, за счастье жить с ним под одним небом.

Щербатова сидела в коляске, закрыв глаза, закутав голову. Она сослалась на нездоровье, чтобы ее не тревожили.

После разлуки с Лермонтовым она не могла смотреть ни на степь, ни на людей, ни на попутные села и города. Они как бы вырывали у нее воспоминание о нем, тогда как все ее сердце принадлежало только ему. Все, что не было связано с ним, могло бы совсем не существовать на свете.

С детских лет она слышала разговоры, что любовь умирает в разлуке. Какая ложь! Только в разлуке бережешь, как драгоценность, каждую малость, если к ней прикасался любимый.

Вот и сейчас к подножке коляски прилип листок тополя. Когда Лермонтов, прощаясь со Щербатовой, вскочил на подножку, он наступил на него.

Щербатова смотрела на этот трепещущий от ветра жалкий лист и боялась, что его оторвет и унесет в поле. Но он не улетал. Лист оторвался и улетел только на третий день к вечеру, когда из-за днепровских круч ударил в лицо грозовой ветер и молнии, обгоняя друг друга, начали бить в почерневшую воду.

Гроза волокла над землей грохочущий дым и ликовала, захлестывая поля потоками серой воды.

Кучер повернул к видневшейся вдалеке деревне. Испуганные кони скакали, прижав уши, храпя, косясь на раскаты грозы, обгонявшие коляску то справа, то слева.

Щербатова привстала, сбросила шаль. Тополевого листка на подножке не было.

Гром расколол над головою небо.

«Зачем я не бросила все, — подумала с тоской Щербатова, — и не поехала с ним на Кавказ?»

Ничего не нужно сейчас — ни покоя, ни прочности в жизни. Только бы увидеть его, взять за руки. И знать, что он здесь, рядом, и что никакая сила в мире не сможет теперь оторвать их друг от друга.

Девочка испугалась грозы. Щербатова обняла ее, прижала к себе и тогда только заметила, что девочка плачет.

— О ком ты плачешь? — спросила Щербатова порывисто — О ком?

Девочка только затрясла головой и крепче прижалась к Щербатовой.

Гроза несла над ними на юг, к Кавказу, обрывки разодранного в клочья неба. И старик украинец в накинутой на голову свитке торопливо отворял перед взмыленными лошадьми скрипучий плетень и говорил:

— В такую грозу разве мыслимо ехать! Убьет и размечет. Заходите скорийше до хаты.

Опять задержка. Но теперь не из-за поломанного парома, а из-за грозы. Она долго кружила над ночной степью в полыхании синего небесного огня. Серебряная путаница сухих стеблей и колосистых трав вдруг возникала во мраке по сторонам степного шляха и тотчас гасла, чтобы через мгновение вспыхнуть снова с нестерпимой пугающей яркостью.

Каждый раз при вспышке молнии Лермонтов видел ее вороватый отблеск на эфесе своей шашки и на медной бляхе на спине ямщика. И каждый раз появлялась и снова тонула в кромешном мраке припавшая к широким балкам степная станица. Она как бы прилегла к земле, спасаясь от грозы.

В одной из хат Лермонтов и остановился переждать грозу. Он думал назавтра ехать дальше, но черноземные дороги превратились от ливня в озера липкой грязи. Надо было дождаться, пока они немного просохнут.

Хата была ветхая. На жердях под потолком висели пучки пересохшей полыни. Жили в хате старуха Христина, промышлявшая знахарством и гаданием, и ее муж, сельский скрипач Захар Тарасович. Он играл на крестинах и свадьбах. Скрипочка у него была совсем детская, высохшая от старости, как пучки полыни под потолком. И такая же легкая, как эти пучки.

Лермонтов прожил в станице два дня. Все время напролет он писал. Слугу он отправил в Тарханы, и никто не мешал ему, не приставал с разговорами.

Мысли были ясные, как безоблачная ночь. На душе было легко от этих мыслей и от ощущения, что все вокруг подвластно поэзии. Разлука со Щербатовой, воспоминания, тоска по юной любящей женщине — все это помогало Лермонтову писать. Он с грустью думал, что в сердце поэта, кажется, нет большей привязанности, чем привязанность к поющей строфе.

В последний вечер перед отъездом из станицы Захар Тарасович зазвал Лермонтова с собой на свадьбу.

Лермонтов согласился. В этот вечер ему не хотелось оставаться одному. Он был встревожен, и его тянуло к людям. Днем он видел, как ротмистр с черной повязкой на глазу вошел в хату, где жила молодая шинкарка. Опять этот ротмистр вьется около него.

На свадьбе Лермонтов сидел в углу на темной от времени лавке. Девушки в венках из бумажных цветов искоса поглядывали на него, опускали глаза и заливались румянцем. Сваты, повязанные вышитыми рушниками, степенно пили пшеничную водку и закусывали розовым салом и квашеной капустой.

Девушки тихо пели:

Ой, в Ерусалиме
Рано зазвонили.
Молода дивчина
Сына спородыла.

Невеста украдкой вытирала слезы, а Захар Тарасович подыгрывал девушкам на скрипке.

В полночь Лермонтов попрощался с хозяевами и вышел. Звезды медленно роились над головой. Ночь была южная, непроглядная. Из степи тянуло чабрецом.

Невдалеке от своей хаты Лермонтов столкнулся с пьяным. Пьяный молча загородил Лермонтову дорогу. Лермонтов сделал шаг в сторону, чтобы его обойти, но пьяный засмеялся и снова загородил дорогу.

— Ты со мной не шути, приятель, — сказал, сдерживая гнев, Лермонтов. — Дай мне пройти.

— Куда? — тихо спросил пьяный и крепко схватил Лермонтова за руку.

Лермонтов вырвался. Ни пистолета, ни шашки при нем не было.

— Долго ты у меня не находишься, — сказал со смешком пьяный.

Лермонтов с силой оттолкнул его и тут только заметил, что от пьяного не пахнет водкой.

Лермонтов пошел к своей избе. Сзади было тихо. Лермонтов оглянулся, и в то же мгновение сверкнул тусклый огонь из пистолетного дула, и пуля, подвывая, прошла около плеча Лермонтова и ударила в стену хаты. Посыпалась сухая белая глина.

Лермонтов в ярости бросился назад. Но там уже никого не было. Только брехали по всей станице собаки, встревоженные ночным выстрелом.

Лермонтов вернулся в хату, зажег свечу и при ее свете

заметил, что левый погон у него оторван. Он потрогал плечо. Оно чуть болело.

Бабка лежала на печке.

— Вот клятый иуда! — сказала она. — Злодий, чтоб добра ему не было! Не поранил он вас?

— Нет. А откуда ты знаешь, что это в меня стреляли?

— Да так... ниоткуда, — ответила бабка. — Свечку лучше задуйте да отойдите от окна. А то он упорный.

— Кто это «он»?

— А кто ж его знает, — неохотно ответила бабка. — Он всего третий год как приехал до нашей станицы. За карбованец любого подпалит, а за два карбованца — так и до смерти забьет. Он кат, палач, людей вешал. Свое отслужил, так начальство и заховало его к нам в станицу, в скрытность.

Лермонтов зарядил пистолет, погасил свечу, лег на лавку и укрылся буркой.

Он думал, что год назад ни за что бы не погасил свечу, а наоборот, сел бы при свете к окну, чтобы бросить вызов судьбе. А сейчас он берег каждый час своей жизни.

Сейчас он не имел права играть собой. Он отвечал за все еще не свершенное им, за каждое будущее слово, за каждую будущую строфу. Перед кем? Перед людьми, перед своей совестью, перед поэзией. Нечего играть в прятки. Порой он сам восхищался тем, что создал, но, конечно, никому не сознавался в этом. Разве не он написал слова, что «звезда с звездою говорит»? Ради этого стоило погасить свечу и лежать тихо, прислушиваясь, трогая время от времени теплую сталь пистолета.

— Ну что ж, пока вам еще не удалось отыграться, господин ротмистр, — сказал вслух Лермонтов.

Он задремал. Сквозь дремоту он ощущал легкий, даже легчайший ветер на лице. Щербатова вошла в избу, оставила открытой скрипучую дверь, и звездный свет сиял за дверью, как синяя глубокая заря. И свежесть ночи, огромная успокоительная свежесть, собравшая весь холод родников, что журчат повсюду по степным балкам, прикоснулась к его лицу. От этого прикосновения ночной прохлады губы Щербатовой, приникшие сквозь сон к его глазам, показались такими горячими, будто солнечный луч каким-то чудом прорвался сквозь ночь и упал на лицо Лермонтова.

Лермонтов проснулся. Сердце медленно билось. На печке Христина шепталась с Захаром Тарасовичем, вернувшимся со свадьбы, рассказывала ему о ночном происшествии с Лермонтовым.

Лермонтов пролежал с закрытыми глазами до рассвета. Он лежал один в крошечной хате, затерянной в широкой степи под неохватным небом, лежал, укрывшись буркой.

Он вспомнил, как девочка-нищенка на кладбище обняла плечи солдата худыми руками и на мгновение прижалась к его груди. Что бы он дал теперь, чтобы почувствовать на себе эту детскую ласку!

— Нет, не успеть! — сказал он и покачал головой.

Было слышно, как где-то, должно быть в соседней хате, плакал ребенок. Этот слабый звук наполнял ночь живым ощущением горя. Что делать, чтобы прошло это сиротство, одиночество?

Лермонтов сел на лавке. Старики на печке зашевелились и затихли. Не зажигая свечи, Лермонтов начал писать карандашом на обертке от табака:

Не смейся над моей пророческой тоскою.
Я знал — удар судьбы меня не обойдет.
Я знал, что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет.
Я говорил себе — ни счастия, ни славы
Мне в мире не найти. Настанет час кровавый,
И я паду...

А потом были длинные жаркие месяцы, ветер с невысоких гор под Ставрополем, пахнущий бессмертниками, серебряный венец Кавказских гор, схватки у лесных завалов с чеченцами, визг пуль, Пятигорск, чужие люди, с которыми надо было держать себя как с друзьями. И снова мимолетный Петербург и Кавказ, желтые вершины Дагестана и тот же любимый и спасительный Пятигорск. Короткий покой, широкие замыслы и стихи, легкие и взлетающие к небу, как облака над вершинами гор. И дуэль. И последнее, что он заметил на земле, — одновременно с выстрелом Мартынова ему почудился второй выстрел, из кустов под обрывом, над которым он стоял.

Кавказ сотрясался от раскатов грома. Лермонтов упал. Тотчас, вся в летнем прозрачном солнце, склонилась над ним Мария Щербатова, и он сказал ей:

— Не плачьте. Я видел смерть. Значит, я буду жить вечно. На мне они не отыграются.

Гром не затихал в теснинах Кавказа. Это было 27 июля 1841 года — сто двенадцать лет назад.

КОРЗИНА С ЕЛОВЫМИ ШИШКАМИ

Композитор Эдвард Григ проводил осень в лесах около Бергена.

Все леса хороши с их грибным воздухом и шелестом листьев. Но особенно хороши горные леса около моря. В них слышен шум прибоя. С моря постоянно наносит туман, и от обилия влаги буйно разрастается мох. Он свешивается с веток зелеными прядями до самой земли.

Кроме того, в горных лесах живет, как птица пересмешник, веселое эхо. Оно только и ждет, чтобы подхватить любой звук и швырнуть его через скалы.

Однажды Григ встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками — дочь лесника. Она собирала в корзину еловые шишки.

Стояла осень. Если бы можно было собрать все золото и медь, какие есть на земле, и выковать из них тысячи тысяч тоненьких листьев, то они составили бы ничтожную часть того осеннего наряда, что лежал на горах. К тому же кованые листья показались бы грубыми в сравнении с настоящими, особенно с листьями осины. Всем известно, что осиновые листья дрожат даже от птичьего свиста.

— Как тебя зовут, девочка? — спросил Григ.

— Дагни Педерсен, — вполголоса ответила девочка.

Она ответила вполголоса не от испуга, а от смущения. Испугаться она не могла, потому что глаза у Грига смеялись.

— Вот беда! — сказал Григ. — Мне нечего тебе подарить. Я не ношу в кармане ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев.

— У меня есть старая мамина кукла, — ответила девочка. — Когда-то она закрывала глаза. Вот так!

Девочка медленно закрыла глаза. Когда она вновь их открыла, то Григ заметил, что зрачки у нее зеленоватые и в них поблескивает огоньками листва.

— А теперь она спит с открытыми глазами, — печально добавила Дагни. — У старых людей плохой сон. Дедушка тоже всю ночь кряхтит.

— Слушай, Дагни, — сказал Григ, — я придумал. Я подарю тебе одну интересную вещь. Но только не сейчас, а лет через десять.

Дагни даже всплеснула руками.

— Ой, как долго!

— Понимаешь, мне нужно ее еще сделать.

— А что это такое?

— Узнаешь потом.

— Разве за всю свою жизнь, — строго спросила Дагни, — вы можете сделать всего пять или шесть игрушек?

Григ смутился.

— Да нет, это не так, — неуверенно возразил он. — Я сделаю ее, может быть, за несколько дней. Но такие вещи не дарят маленьким детям. Я делаю подарки для взрослых.

— Я не разобью, — умоляюще сказала Дагни и потянула Грига за рукав. — И не сломаю. Вот увидите! У дедушки есть игрушечная лодка из стекла. Я стираю с нее пыль и ни разу не отколола даже самого маленького кусочка.

«Она совсем меня запутала, эта Дагни», — подумал с досадой Григ и сказал то, что всегда говорят взрослые, когда попадают в неловкое положение перед детьми:

— Ты еще маленькая и многого не понимаешь. Учись терпению. А теперь давай корзину. Ты ее едва тащишь. Я провожу тебя, и мы поговорим о чем-нибудь другом.

Дагни вздохнула и протянула Григу корзину. Она действительно была тяжелая. В еловых шишках много смолы, и потому они весят гораздо больше сосновых.

Когда среди деревьев показался дом лесника, Григ сказал:

— Ну, теперь ты добежишь сама, Дагни Педерсен. В Норвегии много девочек с таким именем и фамилией, как у тебя. Как зовут твоего отца?

— Хагеруп, — ответила Дагни и, наморщив лоб, спросила: — Разве вы не зайдете к нам? У нас есть вышитая скатерть, рыжий кот и стеклянная лодка. Дедушка позволит вам взять ее в руки.

— Спасибо. Сейчас мне некогда. Прощай, Дагни!

Григ пригладил волосы девочки и пошел в сторону моря. Дагни, насупившись, смотрела ему вслед. Корзину она держала боком, из нее вываливались шишки.

«Я напишу музыку, — решил Григ. — На заглавном листе я прикажу напечатать: «Дагни Педерсен — дочери лесника Хагерупа Педерсена, когда ей исполнится восемнадцать лет».

* * *

В Бергене все было по-старому.

Все, что могло приглушить звуки, — ковры, портьеры и мягкую мебель, — Григ давно убрал из дома. Остался только старый диван. На нем могло разместиться до десятка гостей, и Григ не решался его выбросить.

Друзья говорили, что дом композитора похож на жилище дровосека. Его украшал только рояль. Если человек был наделен воображением, то он мог услышать среди этих белых стен волшебные вещи — от рокота северного океана, что катил волны из мглы и ветра, что высвистывал над ними свою дикую сагу, до песни девочки, баюкающей тряпичную куклу.

Рояль мог петь обо всем — о порыве человеческого духа к великому и о любви. Белые и черные клавиши, убегая из-под крепких пальцев Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей и гневом и вдруг сразу смолкали.

Тогда в тишине еще долго звучала только одна маленькая струна, будто это плакала Золушка, обиженная сестрами.

Григ, откинувшись, слушал, пока этот последний звук не затихал на кухне, где с давних пор поселился сверчок.

Становилось слышно, как, отсчитывая секунды с точностью метронома, капает из крана вода. Капли твердили, что время не ждет и надо бы поторопиться, чтобы сделать все, что задумано.

Григ писал музыку для Дагни Педерсен больше месяца.

Началась зима. Туман закутал город по горло. Заржавленные пароходы приходили из разных стран и дремали у деревянных пристáней, тихонько посапывая паром.

Вскоре пошел снег. Григ видел из своего окна, как он косо летел, цепляясь за верхушки деревьев.

Невозможно, конечно, передать музыку словами, как бы ни был богат наш язык.

Григ писал о глубочайшей прелести девичества и счастья.

Он писал и видел, как навстречу ему бежит, задыхаясь от радости, девушка с зелеными сияющими глазами. Она обнимает его за шею и прижимается горячей щекой к его седой небритой щеке. «Спасибо!» — говорит она, сама еще не зная, за что она благодарит его.

«Ты как солнце, — говорит ей Григ. — Как нежный ветер и раннее утро. У тебя на сердце расцвел белый цветок и наполнил все твое существо благоуханием весны. Я видел жизнь. Что бы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна. Я старик, но я отдал молодежи жизнь, работу,

талант. Отдал все без возврата. Поэтому я, может быть, даже счастливее тебя, Дагни.

Ты — белая ночь с ее загадочным светом. Ты — счастье. Ты — блеск зари. От твоего голоса вздрагивает сердце.

Да будет благословенно все, что окружает тебя, что прикасается к тебе и к чему прикасаешься ты, что радует тебя и заставляет задуматься».

Григ думал так и играл обо всем, что думал. Он подозревал, что его подслушивают. Он даже догадывался, кто этим занимается. Это были синицы на дереве, загулявшие матросы из порта, прачка из соседнего дома, сверчок, снег, слетавший с нависшего неба, и Золушка в заштопанном платье.

Каждый слушал по-своему.

Синицы волновались. Как они ни вертелись, их трескотня не могла заглушить рояля.

Загулявшие матросы рассаживались на ступеньках дома и слушали, всхлипывая. Прачка разгибала спину, вытирала ладонью покрасневшие глаза и покачивала головой. Сверчок вылезал из трещины в кафельной печке и подглядывал в щелку за Григом.

Падавший снег останавливался и повисал в воздухе, чтобы послушать звон, лившийся ручьями из дома. А Золушка смотрела, улыбаясь, на пол. Около ее босых ног стояли хрустальные туфельки. Они вздрагивали, сталкиваясь друг с другом, в ответ на аккорды, долетавшие из комнаты Грига.

Этих слушателей Григ ценил больше, чем нарядных и вежливых посетителей концертов.

* * *

В восемнадцать лет Дагни окончила школу.

По этому случаю отец отправил ее в Христианию погостить к своей сестре Магде. Пускай девочка (отец считал ее еще девочкой, хотя Дагни была уже стройной девушкой, с тяжелыми русыми косами) посмотрит, как устроен свет, как живут люди, и немного повеселится.

Кто знает, что ждет Дагни в будущем? Может быть, честный и любящий, но скуповатый и скучный муж? Или работа продавщицы в деревенской лавке? Или служба в одной из многочисленных пароходных контор в Бергене?

Магда работала театральной портнихой. Муж ее Нильс служил в том же театре парикмахером.

Жили они в комнатушке под крышей театра. Оттуда был виден пестрый от морских флагов залив и памятник Ибсену.

Пароходы весь день покрикивали в открытые окна. Дядюшка Нильс так изучил их голоса, что, по его словам, безошибочно знал, кто гудит — «Нордерней» из Копенгагена, «Шотландский певец» из Глазго или «Жанна д'Арк» из Бордо.

В комнате у тетушки Магды было множество театральных вещей: парчи, шелка, тюля, лент, кружев, старинных фетровых шляп с черными страусовыми перьями, цыганских шалей, седых париков, ботфорт с медными шпорами, шпаг, вееров и серебряных туфель, потертых на сгибе. Все это приходилось подшивать, чинить, чистить и гладить.

На стенах висели картинки, вырезанные из книг и журналов: кавалеры времен Людовика XIV, красавицы в кринолинах, рыцари, русские женщины в сарафанах, матросы и викинги с дубовыми венками на головах.

В комнату надо было подыматься по крутой лестнице. Там всегда пахло краской и лаком от позолоты.

* * *

Дагни часто ходила в театр. Это было увлекательное занятие. Но после спектаклей Дагни долго не засыпала и даже плакала иногда у себя в постели.

Напуганная этим тетушка Магда успокаивала Дагни. Она говорила, что нельзя слепо верить тому, что происходит на сцене. Но дядюшка Нильс обозвал Магду за это «наседкой» и сказал, что, наоборот, в театре надо верить всему. Иначе людям не нужны были бы никакие театры. И Дагни верила.

Но все же тетушка Магда настояла на том, чтобы пойти для разнообразия в концерт.

Нильс против этого не спорил. «Музыка, — сказал он, — это зеркало гения».

Нильс любил выражаться возвышенно и туманно. О Дагни он говорил, что она похожа на первый аккорд увертюры. А у Магды, по его словам, была колдовская власть над людьми. Выражалась она в том, что Магда шила театральные костюмы. А кто же не знает, что человек каждый раз, когда надевает новый костюм, совершенно меняется. Вот так оно и выходит, что один и тот же актер вчера был гнусным убийцей, сегодня стал пылким любовником, завтра будет королевским шутом, а послезавтра — народным героем.

— Дагни, — кричала в таких случаях тетушка Магда, — заткни уши и не слушай эту ужасную болтовню! Он сам не понимает, что говорит, этот чердачный философ!

Был теплый июнь. Стояли белые ночи. Концерты проходили в городском парке под открытым небом.

Дагни пошла на концерт вместе с Магдой и Нильсом. Она хотела надеть свое единственное белое платье. Но Нильс сказал, что красивая девушка должна быть одета так, чтобы выделяться из окружающей обстановки. В общем длинная его речь по этому поводу сводилась к тому, что в белые ночи надо быть обязательно в черном и, наоборот, в темные сверкать белизной платья.

Переспорить Нильса было невозможно, и Дагни надела черное платье из шелковистого мягкого бархата. Платье это Магда принесла из костюмерной.

Когда Дагни надела это платье, Магда согласилась, что Нильс, пожалуй, прав — ничто так не оттеняло строгую бледность лица Дагни и ее длинные, с отблеском старого золота косы, как этот таинственный бархат.

— Посмотри, Магда, — сказал вполголоса дядюшка Нильс, — Дагни так хороша, будто идет на первое свидание.

— Вот именно! — ответила Магда. — Что-то я не видела около себя безумного красавца, когда ты пришел на первое свидание со мной. Ты у меня просто болтун.

И Магда поцеловала дядюшку Нильса в голову.

Концерт начался после обычного вечернего выстрела из старой пушки в порту. Выстрел означал заход солнца.

Несмотря на вечер, ни дирижер, ни оркестранты не включили лампочек над пультами. Вечер был настолько светлый, что фонари, горевшие в листве лип, были зажжены, очевидно, только для того, чтобы придать нарядность концерту.

Дагни впервые слушала симфоническую музыку. Она произвела на нее странное действие. Все переливы и громы оркестра вызывали у Дагни множество картин, похожих на сны.

Потом она вздрогнула и подняла глаза. Ей почудилось, что худой мужчина во фраке, объявлявший программу концерта, назвал ее имя.

— Это ты меня звал, Нильс? — спросила Дагни дядюшку Нильса, взглянула на него и сразу же нахмурилась.

Дядюшка Нильс смотрел на Дагни не то с ужасом, не то с восхищением. И так же смотрела на нее, прижав ко рту платок, тетушка Магда.

— Что случилось? — спросила Дагни.

Магда схватила ее за руку и прошептала:

— Слушай!

Тогда Дагни услышала, как человек во фраке сказал:

— Слушатели из последних рядов просят меня повторить.

Итак, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига, посвященная дочери лесника Хагерупа Педерсена Дагни Педерсен по случаю того, что ей исполнилось восемнадцать лет.

Дагни вздохнула так глубоко, что у нее заболела грудь. Она хотела сдержать этим вздохом подступавшие к горлу слезы, но это не помогло. Дагни нагнулась и закрыла лицо ладонями.

Сначала она ничего не слышала. Внутри у нее шумела буря. Потом она, наконец, услышала, как поет ранним утром пастуший рожок и в ответ ему сотнями голосов, чуть вздрогнув, откликается струнный оркестр.

Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. Дагни почувствовала порыв воздуха, исходивший от музыки, и заставила себя успокоиться.

Да! Это был ее лес, ее родина! Ее горы, песни рожков, шум ее моря!

Стеклянные корабли пенили воду. Ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувыркавшихся в воздухе, в ауканье детей, в песню о девушке — в ее окно любимый бросил на рассвете горсть песку. Дагни слышала эту песню у себя в горах.

Так, значит, это был он! Тот седой человек, что помог ей донести до дому корзину с еловыми шишками. Это был Эдвард Григ, волшебник и великий музыкант! И она его укоряла, что он не умеет быстро работать.

Так вот тот подарок, что он обещал сделать ей через десять лет!

Дагни плакала, не скрываясь, слезами благодарности. К тому времени музыка заполнила все пространство между землей и облаками, повисшими над городом. От мелодических волн на облаках появилась легкая рябь. Сквозь нее светили звезды.

Музыка уже не пела. Она звала. Звала за собой в ту страну, где никакие горести не могли охладить любви, где никто не отнимает друг у друга счастья, где солнце горит, как корона в волосах сказочной доброй волшебницы.

В наплыве звуков вдруг возник знакомый голос. «Ты — счастье, — говорил он. — Ты — блеск зари!»

Музыка стихла. Сначала медленно, потом все разрастаясь, загремели аплодисменты.

Дагни встала и быстро пошла к выходу из парка. Все оглядывались на нее. Может быть, некоторым из слушателей

пришла в голову мысль, что эта девушка и была той Дагни Педерсен, которой Григ посвятил свою бессмертную вещь.

«Он умер! — думала Дагни. — Зачем?» Если бы можно было увидеть его! Если бы он появился здесь! С каким стремительно бьющимся сердцем она побежала бы к нему навстречу, обняла бы за шею, прижалась мокрой от слез щекой к его щеке и сказала бы только одно слово: «Спасибо!» — «За что?» — спросил бы он. «Я не знаю... — ответила бы Дагни. — За то, что вы не забыли меня. За вашу щедрость. За то, что вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек».

Дагни шла по пустынным улицам. Она не замечала, что следом за ней, стараясь не попадаться ей на глаза, шел Нильс, посланный Магдой. Он покачивался, как пьяный, и что-то бормотал о чуде, случившемся в их маленькой жизни.

Сумрак ночи еще лежал над городом. Но в окнах слабой позолотой уже занимался северный рассвет.

Дагни вышла к морю. Оно лежало в глубоком сне, без единого всплеска.

Дагни сжала руки и застонала от неясного еще ей самой, но охватившего все ее существо чувства красоты этого мира.

— Слушай, жизнь, — тихо сказала Дагни, — я люблю тебя.

И она засмеялась, глядя широко открытыми глазами на огни пароходов. Они медленно качались в прозрачной серой воде.

Нильс, стоявший поодаль, услышал ее смех и пошел домой. Теперь он был спокоен за Дагни. Теперь он знал, что ее жизнь не пройдет даром.

ПРОСТАЯ КЛЕЕНКА

На окраине Тифлиса были расположены знаменитые Верийские и Ортачальские сады.

То было место летних увеселений и отдыха. Почти каждый небольшой сад был превращен в кафешантан или духан.

К вечеру, когда начинала спадать жара, тифлисцы тянулись в эти сады. Кто побогаче — на извозчиках, а кто победнее — пешком.

Названия кафешантанов отличались пышностью и безвкусием. Самый дорогой шантан назывался «Эльдорадо». Потом шли «Фантазия», «Сан-Суси», «Шантеклер» и «Джентльмен».

Невдалеке от Ортачальских садов были так называемые «веселые» улицы. Многие посетители шантанов сначала заезжали на эти улицы и привозили оттуда шумных девиц.

Что ждало тифлисца в этих садах? Прохлада, легкий чад баранины, пение, танцы, азартная игра в лото и красивые огрубевшие женщины.

Особенно привлекала прохлада под сенью чинар и шелковиц. Трудно было понять, как она удержалась, когда весь Тифлис лежал рядом в жаркой котловине, в кольце нагретых гор, и даже страшно было смотреть на него с окрестных высот. Казалось, что Тифлис дымится от накала и вот-вот вспыхнет исполинским костром.

Может быть, этой прохладой тянуло от фонтанов или в сады осторожно проникало дуновение горных снегов. В городе можно было дышать только перед рассветом, когда дома немного остывали за ночь. Но стоило солнцу подняться из Кахетии — и изнурительный жар сейчас же заливал улицы.

Среди певиц, выступавших в Верийских садах, была одна женщина, ленивая, тонкая в талии и широкая в плечах, с бронзового цвета волосами, нежной и сильной шеей и розовым телом. Звали ее Маргаритой.

Посетители шантана, где она пела по вечерам, считали ее обрусевшей немкой, но хозяин сада — обидчивый мингрел — каждый раз, услышав эти разговоры, устраивал настоящий скандал.

— Наверное, твои мозги совсем перевернулись в голове! — кричал хозяин. — Ты слышал такую страну — Франция?

— Ну, слышал, — хмуро отвечал неосторожный посетитель.

— А во Франции слышал такую губернию — Эльза? Слышал? Ну так она из этой губернии, из Эльза. Француженка высшего сорта. Что за люди! Пустяков не знают! Драться — знают, сдачи не давать — знают, трогать на улице девчонок — знают, мошенничать в карты — знают, а сообразить — ничего не знают!

Маргарита редко соглашалась поужинать с посетителями, но равнодушно, как должное, принимала от них маленькие подарки. Потом она их раздаривала подругам. Она была совершенно одинока.

Вообще было трудно понять, что она думает обо всем, особенно о мужчинах. Многие хотели сделать ее своей любовницей.

Говорила она мало, а пела каким-то необыкновенным, как говорили, двойным, голосом.

Ее приезжали слушать артисты оперы и музыканты. От пения Маргариты оставалось ощущение, будто оно всегда сопровождается подголоском, похожим на слабое эхо.

Актеры говорили, что это так называемый «вокальный обман», как бывает, например, «обман зрения». На самом же деле никакого второго голоса нет. Они говорили так и спорили, но, несмотря на это, каждый слышал, когда пела Маргарита, двойной звук ее голоса. Как будто главный голос был золотой, а второй серебряный.

Однажды певцы и музыканты сняли на весь вечер духан «Варяг», пригласили туда Маргариту и устроили для любителей пения закрытый концерт.

После концерта встал старый дирижер и сказал, что человеческий голос является самым сложным музыкальным инструментом. Он богаче рояля и скрипки, и потому одновременное существование в голосе нескольких тонов вполне возможно и естественно.

А Маргарита пила, потупившись, вино. Красный шелк платья придавал ее волосам отблеск пожара. Изредка она подымала глаза и обводила ими всех, кто сидел за столом, но в туманной глубине ее зрачков не было ни огня, ни улыбки.

Прислонившись к дверному косяку, стоял высокий, очень худой грузин с тонким лицом и печальными глазами, в старом пиджаке и, не шевелясь, смотрел на Маргариту.

Это был бродячий художник Нико Пиросманишвили. Он лю-

бил Маргариту. Она была для него единственным человеком на свете. Каждая пядь земли, куда не ступала нога Маргариты, казалась ему остатком пустыни. Но там, где сохранялся ее след, была благословенная земля. Каждая крупинка песка на ней грела, как крошечный алмаз.

Так, очевидно, спели бы о чувствах Пиросмана иранские поэты средней руки. Но все равно они были бы правы, несмотря на цветистую речь.

Тот день, когда Нико не слышал ее голоса, был для него самым глухим днем на земле.

Чрезмерная любовь вызывает желания, недоступные трезвому человеку. Кому из людей в их будничном состоянии может прийти в голову дикая мысль поцеловать человеческий голос, или осторожно погладить по голове поющую иволгу, или, наконец, похохотать вместе с воробьями, когда они поднимают вокруг вас неистовый гам, пыль и базар?

У Пиросмана появлялось иногда удивительное желание осторожно дотронуться до дрожащего горла Маргариты, когда она пела, желание одним только дыханием прикоснуться к этому таинственному голосу, к этой теплой струе воздуха, что издает такой великолепнейший взволнованный звон.

Люди говорят, что слишком большая любовь покоряет человека.

Любовь Нико не покорила Маргариту. Так по крайней мере считали все. Но все же нельзя было понять, действительно ли это так? Сам Нико не мог сказать этого. Маргарита жила, как во сне. Сердце ее было закрыто для всех. Ее красота была нужна людям. Но, очевидно, она совсем не была нужна ей самой, хотя она и следила за своей наружностью и хорошо одевалась. Шуршащая шелком и дышащая восточными духами, она казалась воплощением зрелой женственности.

Но было в этой ее красоте нечто грозное, и, кажется, она сама понимала это.

Откуда появился Пиросман, никто толком не знал.

Потом, после смерти Пиросмана, Кирилл Зданевич собрал по обрывкам и крохам его биографию, и хотя и не полно, но восстановил его жизнь.

Пиросман родился в 1862 году в кахетинском селении Мирзаки в семье бедного крестьянина. Еще мальчишкой родители отдали его слугой в грузинскую состоятельную семью в Тифлис.

Пиросман работал слугой до двадцати лет. Потом он поступил кондуктором на Закавказскую железную дорогу. Тогда впервые он начал рисовать. Первой его работой был портрет начальника станции и его жены. Очевидно, это был очень ядо-

витый и карикатурный портрет, потому что начальник станции, увидев портрет, тотчас выгнал Пиросмана со службы.

Что было делать? Пиросман не мог заниматься тем, чем занималось в то время большинство бедняков в Тифлисе, — ничтожными темными делами, удачным и неудачным обманом. Для этого он был слишком чистосердечен и горд.

Он не был бездельником и тифлисским кинто — полунищим, веселым и наглым. Он не умел, как кинто, делать деньги «из воздуха», из анекдота, из неприличной шутки, из «ишачьего крика».

Одно время Пиросман торговал молоком на задворках майдана и кое-как перебивался на свой нищенский доход. Но и это занятие претило ему.

Он любил живопись, только живопись, и прежде всего разрисовал всю свою лавку, как пышный цветок. Первые свои картины он раздаривал и бывал счастлив, когда их охотно брали.

Иногда он спускал свои картины, или, как их называли на майдане, «картинки», перепродавцам всяких мало кому нужных вещей. Такие вещи, как говорится, были «на любителя» и назывались загадочным иностранным словом «брик-а-бра». По мнению перепродавцов, это было очень красивое и заманчивое слово, тем более что оно было не понятно ни самим перепродавцам, ни Пиросману, ни покупателям.

Но ставка на это слово не удалась. Покупатели сильно удивлялись, даже пугались и картин не брали. Перепродавцы же платили Пиросману за его картины гроши.

И Пиросман голодал. Иногда он присаживался у стены какого-нибудь дома или у ствола старого, как мир, пыльного дерева и сидел тихо, пока у него не переставала кружиться голова.

Пришлось вернуться на родину, в деревню, где на Пиросмана неизбежно должна была обрушиться вся тяжесть бытовых и семейных традиций.

Свой дом в деревне Пиросман тоже расписал сверху донизу, к великому восхищению сородичей и соседей.

Потом Пиросман устроил в этом доме пир. После этого он написал четыре картины, изображающие этот деревенский праздник. Пир был удивителен тем, что вопреки большинству пиров на нем не было богачей. Гости стояли, сидели и лежали, высоко подняв рога с вином. Эта живописная и нарядная толчея была написана Пиросманом очень смело.

Наконец Пиросман придумал удачный, как ему казалось, выход. Он вернулся в Тифлис и начал писать яркие вывески

для духанов за несколько обедов с вином и несколько ужинов. Часть заработка он брал деньгами, чтобы покупать краски и платить за ночлег.

Но на материалы денег никогда не хватало. Духанщики охотно снимали старые жестяные вывески и предлагали писать на них, предварительно замазав почерневшую раскраску. Но Пиросман не соглашался на это.

Жестяные вывески ржавели. А Пиросман знал, что какой бы он ни был неученый художник, или, как говорят русские, самоучка, но по силе и чистоте красок и рисунка он мог бы, пожалуй, потягаться с некоторыми большими художниками (он видел хорошие репродукции их картин). Может быть, даже с самим Делакруа, — об этом французе ему много рассказывал один гимназист, тоже мечтавший стать художником.

Материала не было, и Пиросман начал писать на том единственном, что находилось всегда под рукой в каждом, даже самом дешевом духане, — на простой клеенке, снятой со столика.

Клеенки были черные и белые. Пиросман писал, оставляя там, где это было нужно, незакрашенные куски клеенки.

Потом он применил этот прием и для портретов. Впечатление от некоторых вещей, сделанных в такой манере, было необыкновенным.

Я навсегда запомнил его клеенку «Князь», где бледный старик в черной черкеске стоит с рогом в руках на скудной земле. Позади него виден доведенный почти до топографической схемы горный Кавказ. Черкеска князя как раз и была непрописанным куском клеенки глубокого черного цвета, особенно резкого в рассветном тусклом освещении. Я никак не мог понять, какими красками было передано это освещение.

За такие портреты, как этот, Пиросман в лучшие свои времена получал двадцать — тридцать рублей.

Посетителям нравились вывески Пиросмана — прозрачный виноград, тыквы, оранжевая хурма, кудрявые мандариновые сады и богатые натюрморты из разных травок, баклажанов, шашлыков, сыра и жареной рыбы «локо».

Но бесконечно писать эти натюрморты для вывесок Пиросман не мог. Чрезмерность, как всегда, вызывала скуку. Тогда Пиросман начал писать на вывесках многолюдные пирушки на траве, на узких крестьянских скатертях. На вывесках появились люди, пейзаж и животные, главным образом многотерпеливые ишаки.

Иногда Пиросман сообща с хозяином придумывал для духа-

на название. Чем замысловатее было название, тем больше оно нравилось.

Пиросман, усмехаясь, писал: «Шашлыки по-электрически» или «Одному не надо пить».

Особенно любили такие броские названия в грузинской провинции, где-нибудь в Озургетах, Ахалкалахах или Сагареджо.

Я уже не застал Пиросмана: он умер до моего приезда в Тифлис.

Пиросман оставил огромное живописное богатство. Его картины ряд лет собирал Кирилл Зданевич, собирал буквально по крохам. Он разыскал почти всего Пиросмана, он спас работы прекрасного народного художника, совершил подлинный подвиг и впоследствии подарил собрание картин Пиросмана государству, иными словами — народу.

В 1913 году Кирилл Зданевич встретился в Петрограде с художниками Гончаровой и Ларионовым. Они приехали в Петроград из Молдавии и привезли смешные и очень живописные вывески, найденные ими в Тирасполе.

Вывески очень понравились Кириллу Зданевичу. Вскоре в Тифлисе он увидел еще более живописную вывеску в духане «Варяг» и купил ее. Она была написана неизвестным живописцем Нико Пиросманишвили.

У Кирилла были знакомства с крестьянами, духанщиками, бродячими музыкантами, сельскими учителями. Всем им он поручал разыскивать для него картины и вывески Пиросмана.

Первое время духанщики продавали вывески за гроши. Но вскоре по Грузии прошел слух, что какой-то художник из Тифлиса скупает их якобы для заграницы, и духанщики начинали набивать цену.

И старики Зданевичи и Кирилл были очень бедны в то время. При мне был случай, когда покупка картины Пиросмана посадила всю семью на хлеб и воду. Мария бегала на Дезертирский базар продавать последние серьги или последний жакет. Кирилл носился по Тифлису в надежде перехватить хоть немного деньжат, старик брал со своих недорослей плату вперед.

Наконец хмурый Кирилл (чем больше он бывал растроган, тем сильнее хмурился) принес картину, молча развернул ее, сказал: «Ну, каково?» — и картина после этого несколько дней провисела на почетном месте в гостиной.

После этого Кирилл отсыпался от волнений, а потом началось паломничество любителей живописи. Из моей комнаты были слышны все разговоры в гостиной, и я вскоре знал назубок истории всех новых картин.

Мое знакомство с Пиросманом началось с первого же дня моей жизни в Тифлисе.

Как я уже говорил, стены моей комнаты были завешаны от верхнего карниза до плинтуса клеенками Пиросмана.

В день приезда я только мельком взглянул на них. К тому же в комнате было сумрачно от зимнего тифлисского дня. Но все же меня все время не оставляла непонятная тревога, как будто меня быстро провели за руку через удивительную, совершенно причудливую страну, как будто я уже ее видел или она мне давно приснилась, и с тех пор я никак не дождусь, чтобы осмотреться в этой стране, прийти в себя и узнать ее во всех подробностях.

Я уснул с тревогой на сердце. Тревогой от незнакомых картин, они молча окружали меня и, как мне казалось, не спускали с меня глаз.

Проснулся я, должно быть, очень рано. Резкое и сухое солнце косо лежало на противоположной стене.

Я взглянул на эту стену и вскочил. Сердце у меня начало биться тяжело и быстро.

Со стены смотрел мне прямо в глаза — тревожно, вопросительно и явно страдая, но не в силах рассказать об этом страдании — какой-то странный зверь — напряженный, как струна.

Это был жираф. Простой жираф, которого Пиросман, очевидно, видел в старом тифлисском зверинце.

Я отвернулся. Но я чувствовал, я знал, что жираф пристально смотрит на меня и знает все, что творится у меня на душе.

Во всем доме было мертвенно тихо. Все еще спали. Я отвел глаза от жирафа, и мне тотчас же показалось, что он вышел из простой деревянной рамы, стоит рядом и ждет, чтобы я сказал что-то очень простое и важное, что должно расколдовать его, оживить и освободить от многолетней прикрепленности к этой сухой, пыльной клеенке.

Внезапно во дворе раздался отчаянный, нечеловеческий крик: «Мацони!! Мацони!!» Так отчаянно, почти рыдая, кричали почему-то все продавцы мацони — кавказской простокваши. Они развозили свой товар по городу, навьючивая переметные сумы с кувшинами мацони на черных и таких пыльных осликов, будто все прохожие долго вытирали о них ноги, как о половики.

Я вздрогнул от крика мацонщика и застонал.

Но дрожь не проходила. Я все сильнее стонал, стараясь сдержаться. Жираф ушел в тусклую клеенку. Белое солнце било в косяки окон, солнце Кахетии, и я увидел около себя

испуганную Марию, увидел косо срезанную на ее щеке прядь каштановых блестящих волос, потом увидел Валентину Кирилловну. Она внимательно смотрела на меня поверх очков. Тогда я понял, что меня схватил — теперь уже в Тифлисе — жестокий припадок малярии.

Валентина Кирилловна ушла, а Мария положила мне на лоб холодную мокрую повязку, наклонилась ко мне и прижалась щекой к моим губам, чтобы попробовать, сильный ли у меня жар. И я с благодарностью ощутил это деловое прикосновение, как отдаленную, мимоходом брошенную ласку.

Вскоре я знал уже почти все картины Пиросмана. Они помогли мне понять и полюбить Кавказ — сложную и мозаически прекрасную страну.

Пиросман стал для меня живописной и свободной в своем выражении энциклопедией Грузии, ее людей, ее истории и природы.

Панорамы Кавказа, начиная от магической лунной ночи над Тифлисским арсеналом и кончая выжженной панорамой гор у ног Шамиля, запомнились мне на всю жизнь.

Сотни худых пиросмановских крестьян, веселых виноградарей, бедных и робких женщин, рыбаков, спесивых богачей с толстыми усами, тифлисских дворников с такими же космтыми бородами, как и их растрепанные метлы, равнодушных музыкантов толпились в квартире Зданевичей на слегка пыльных клеенках. Время от времени кто-нибудь вспоминал то об одной, то о другой картине и рассказывал о ней что-нибудь интересное.

Большей частью на картинах Пиросмана были люди, но особое место занимали на них и разные звери: львы, газели, буйволы, жирафы, верблюды и безответные друзья художника — ишаки.

Искусство всегда берет человека за сердце и чуть сжимает его. И человек никогда не забудет этого явного прикосновения прекрасного.

Человек не забудет того состояния душевной полноты и крылатости, которое иногда дает ему одна — только одна! — строчка великолепных стихов или картина, пережившая несколько столетий для того, чтобы донести до нас свою красоту.

Если бы я не знал Пиросмана, я бы видел Кавказ недопроявленным, как слабый снимок, без красок и теней, без деталей и контуров и без синеющей мглы его полувосточных и полуевропейских пространств.

Пиросман наполнил для меня Кавказ соком плодов и резкостью сухих красок. Он приобщил меня к этой стране, где

одновременно с радостью ощущаешь легкую и непонятную грусть. Так блестят весельем и сдержанной грустью глаза грузинских красавиц. Они обычно быстро и легко исчезают в толпе, эти красавицы, хотя к ним обращена нежная просьба поэта:

Оглянись на меня, генацвале!
Генацвале, оглянись на меня!

Это летнее утро поначалу ничем не отличалось от других. Все так же неумолимо, испламеняя все вокруг, подымалось из Кахетии солнце, так же рыдали ишаки, привязанные к телеграфным столбам, такие же свирепого вида черноусые люди проходили по улицам с большими бидонами и неохотно покрикивали: «Нафт! Нафт!», предлагая хозяйкам керосин.

Все было, как всегда: Кура шумела у мельниц около Ишачьего моста и жидко позванивали полупустые трамваи.

Утро еще дремало в одном из переулков в Сололаках, тень лежала на серых от времени деревянных невысоких домах.

В одном из таких домов были распахнуты на втором этаже маленькие окна, и за ними спала Маргарита, прикрыв глаза рыжеватыми ресницами.

Как в жидком стекле, виднелись над Сололаками гора Давида, фуникулер и могила Грибоедова. Она заросла плющом. Я часто ходил на гору Давида, на священную Мтацминду и видел там могилы великих грузинских поэтов — Ильи Чавчавадзе и Акакия Церетели. Их лиризм и одновременная склонность к сарказму придали особую глубину грузинской литературе и окружили ее резким и тонким воздухом классической ясности.

Да, но я отвлекся.

В общем утро было бы действительно самым обыкновенным, если не знать, что это было утро дня рождения Нико Пиросманишвили и если бы именно в это утро в узком переулке в Сололаках не появились арбы с редким и легким грузом.

Груз этот был, очевидно, настолько легок, что арбы даже не скрипели под ним, а только чуть слышно погромыхивали, подскакивая на крупных камнях мостовой.

Арбы были доверху нагружены срезанными обрызганными водой цветами. От этого казалось, что цветы покрыты сотнями крошечных радуг.

Арбы остановились около дома Маргариты. Аробщики, вполголоса переговариваясь, начали снимать охапки цветов и сваливать их на тротуар и мостовую у порога.

Когда первые арбы отъехали и вся мостовая была уже усыпана цветами, на смену первым арбам появились вторые. Каза-

лось, арбы свозили сюда цветы не только со всего Тифлиса, но и со всей Грузии.

Запах цветов заполнил сололакскую улицу. В окнах появились первые хозяйки. Они торопливо расчесывали смоляные волосы и жадно смотрели на удивительное зрелище: аробщики, самые обыкновенные аробщики, а не легендарные погонщики из «Тысячи и одной ночи» загружали цветами всю улицу, как будто хотели засыпать ими дома до второго этажа.

Смех детей и возгласы хозяек разбудили Маргариту. Она села на постели и вздохнула. Целые озера запахов — освежающих, ласковых, ярких и нежных, радостных и печальных — наполнили воздух. Это был, возможно, запах небесных пространств, оставшийся после медленного прохождения ночной звездной сферы над нашей землей, или запах зародыша, замкнутого в течение долгого времени под оболочкой обыкновенного цветочного семени, а теперь освобожденного водой, теплом и крепкими солями земли.

С обеих сторон при входе в переулок уже собрались и шумели толпы. Люди глазели на непонятное зрелище.

Непонятность того, что произошло, смущала людей, и потому никто не решался первым ступить на этот цветущий ковер, доходивший людям до самых колен.

Что же касается маленьких детей, то они могли даже заблудиться в этих цветочных грудах. Поэтому женщины, полные восхищения и гордости от сознания тайны, приблизившейся вплотную к их стертым, знакомым до последней трещины порогам (а они знали все трещины потому, что им приходилось часто мыть эти пороги), крепко держали за руки детей и не отпускали их от себя.

Каких цветов тут только не было! Бессмысленно их перечислять!

Поздняя иранская сирень. Там в каждой чашечке скрывалась маленькая, как песчинка, капля холодной влаги, пряной на вкус. Густая акация с отливающими серебром лепестками. Дикий боярышник — его запах был тем крепче, чем каменистее была почва, на которой он рос. Нежная синяя вероника, бегония и множество разноцветных анемон. Изящная красавица жимолость в розовом дыму, красные воронки ипомеи, лилии, мак, всегда вырастающий на скалах именно там, где упала хотя бы самая маленькая капля птичьей крови, настурция, пионы и розы, розы, розы всех размеров, всех запахов, всех цветов — от черной до белой и от золотой до бледно-розовой, как ранняя заря. И тысячи других цветов.

Взволнованная Маргарита, еще ничего не понимая, быстро

оделась. Она надела свое самое лучшее, самое богатое платье и тяжелые браслеты, прибрала свои бронзовые волосы и, одеваясь, улыбалась, сама не зная чему. Потом она засмеялась, потом слезы появились у нее на глазах, но она не вытирала их, а только стряхивала быстрым движением головы. Слезинки разлетались от этого в разные стороны и долго еще горели на ее платье.

Она догадывалась, что этот праздник устроен для нее. Но кем? И по какому случаю? И тут она вспомнила, что сегодня, кажется, день рождения Пиросмана. Может быть, все эти горы цветов он прислал ей в память этого полузабытого дня.

Но почему прислал в день не ее, а своего рождения?

В это время единственный человек, худой и бледный, решился переступить границу цветов и медленно пошел по цветам к дому Маргариты.

Толпа узнала его и замолчала. Это был нищий художник Нико Пиросманишвили. Где он только взял столько денег, чтобы купить эти сугробы цветов? Столько денег!

Он шел к дому Маргариты, прикасаясь рукой к стенам.

Все видели, как навстречу ему выбежала из дома Маргарита — еще никогда никто не видел ее в таком блеске красоты, — обняла Пиросмана за худые, больные плечи и прижалась к его старому чекменю.

— Почему, — спросила Маргарита, задыхаясь, — почему ты подарил мне эти горы цветов в день своего рождения? Я ничего не понимаю, Нико.

Пиросман не ответил. Но Маргарита всем существом, всеми нервами, всей кровью, бившейся в ее теле, поняла и без его ответа силу его любви и впервые крепко поцеловала Нико в губы. Поцеловала перед лицом солнца, неба и простых людей — жителей тифлисского квартала Сололаки.

Некоторые люди отворачивались, чтобы скрыть слезы. Люди думали, что большая любовь всегда найдет дорогу к любимому, хотя бы и холодному сердцу. Потому что все знали, что Пиросман любил Маргариту, но она совсем не любила его, а только жалела за его горькую и неудачную жизнь.

Историю любви Пиросмана рассказывают по-разному. Я повторил один из этих рассказов. Я коротко записал его, не придавая чрезмерного значения его сугубой подлинности. Пусть этим занимаются придирчивые и скучные люди.

Но об одном я не могу умолчать, потому что это, пожалуй, одна из самых горьких правд на земле, — вскоре Маргарита нашла себе богатого возлюбленного и сбежала с ним из Тифлиса.



ФРИДРИХ ШИЛЛЕР

В одной из сказок Андерсена засохший розовый куст покрывается среди жестокой зимы белыми душистыми цветами. Потому что к нему прикоснулась добрая человеческая рука.

Эта сказка могла бы быть написана о Фридрихе Шиллере. «Он обладал даром, — сказал о Шиллере Гете, — облагораживать все, к чему прикасался».

У меня на столе лежит старая книга — биография Шиллера. На первой странице этой книги чьей-то дрожащей, очевидно старческой, рукой написано: «Чудный благородный человек!»

Когда я смотрю на эту надпись, я не могу избавиться от мысли, что тот, кто написал эти простые и верные слова о великом немецком поэте, наверное, оплакивал его.

Я невольно ищу на страницах следы слез. Но книге больше семидесяти лет. Слезы давно высохли, а их следы — выветрились. Их заменили в наших сердцах благоговение к поэту и горечь за него, умершего так рано, измученного жестокостью и самомнительной глупостью «старой доброй Германии» — этого «питомника рабов», как выразился один из друзей Шиллера.

Никто из биографов Шиллера даже не пытается объяснить, каким чудом из среды скучного немецкого мещанства, из образцовой казармы наглого герцога Виртембергского вышел этот блистательный, смелый и пленительно простой поэт. Он по полному праву стал в ряды тех людей, которых мы называем «украшением человечества».

Шиллер учился в военной школе с военным режимом.

За малейшее проявление живой мысли учеников этой школы карали заключением в крепость на несколько лет.

И вот там, в этой тюрьме, он написал свою первую бунтарскую пьесу — «Разбойники».

Он проклинал тиранов, он верил в спасительность народного восстания, он призывал к нему во имя свободы и достоинства человека.

Недаром Национальное собрание Франции приняло его в 1792 году в число французских граждан. Декрет об этом был подписан Дантоном.

Во Франции даже не знали толком его имени, — эта великая честь была оказана автору «Разбойников» господину «Жиллю». Понадобилось несколько лет, пока друзья поэта догадались, что таинственный «господин Жилль» — это Шиллер.

«Разбойники» были написаны в темной каморке старого казарменного сторожа. Там Шиллер прятался от ястребиных глаз своих начальников.

Удивительна все же судьба многих первых книг. «Разбойники» написаны где-то под лестницей, прекрасные стихи Бернса — в шотландской хижине с такими узкими окнами, что сквозь них едва просачивался свет, многие рассказы Чехова — на подоконнике в бедной московской квартире, сказки Андерсена — в дешевых номерах провинциальных гостиниц.

Но эти убогие жилища озарены в нашем представлении светом молодости и таланта и кажутся нам великолепнее самых красивых и величественных дворцовых зал.

«Разбойники» прокатились по Европе, как внезапный удар грома. На затхлую Германию дохнуло ветром. Подходила гроза.

Шиллер — глашатай этой грозы, глашатай «бури и натиска», назначенный после окончания школы полковым лекарем, вынужден был бежать из Виртемберга, чтобы не попасть в крепость. Герцог был разгневан появлением дерзкой пьесы.

С тех пор началась скитальческая и трудная жизнь Шиллера. Он был штатным театральным драматургом, издателем журнала, преподавателем истории, но прежде всего — поэтом, драматургом и человеком огромного личного обаяния.

По словам его современников, духовная чистота Шиллера, романтическая его настроенность, сила его мысли, его доброта и наполненность поэзией — все это отражалось даже на его внешности.

Это был высокий и очень худой, бледный человек со светлыми каштановыми волосами, с задумчивым взглядом, с ловкими изящными движениями и открытой улыбкой.

Но главное его свойство была простота. Он был не только прост со всеми, но временами застенчив.

Очевидно, поэтому его так самоотверженно любили друзья и так нежно любили женщины.

Даже мимолетное появление Шиллера преображало людей и весь уклад их размеренной жизни. Он всюду вносил с собой беспокойство ума. Он всюду видел поэзию, какой бы скромной на вид она ни была, и умел незаметно втягивать людей в круг поэтических ощущений и в мир богатого своего воображения.

Он полагал, что искусство — это средство воспитать человека так, чтобы он стал подлинным гражданином «государства разума».

После «Разбойников» он написал еще несколько пьес: «Коварство и любовь», «Дон Карлос», «Валленштейн», «Мария Стюарт», «Орлеанская дева» и «Вильгельм Телль».

Все эти пьесы — шедевры драматургического искусства как по напряженному действию, так и по глубине мысли.

«Коварство и любовь» — беспощадный удар по тирании и сопутствующим ей мерзостям жизни. И вместе с тем это трогательный рассказ о гибели прекрасной девушки.

Эта пьеса до наших дней не сходит со сцены театров всего мира. У нас она была особенно популярна во времена гражданской войны.

Я был однажды на представлении «Коварства и любви» в Киеве — на второй или третий день после занятия города советскими войсками.

В зрительном зале сидели вооруженные, полуголодные, пахнущие порохом красноармейцы. Накал среди зрителей достиг такой силы, что актер, игравший негодяя президента, боялся, как бы из зрительного зала по нему не начали стрелять.

У него, как оказалось, были веские основания для этого. В задних рядах кто-то крикнул: «Ну, погоди ж ты, гад, паразит!» Щелкнул затвор. В зрительном зале тотчас началась какая-то невнятная и упорная сутолока, — это товарищи отнимали винтовку у бойца, впавшего в неистовый гнев.

Я видел «Коварство и любовь» много раз. Особенно хорошо шла эта пьеса в Москве в театре Вахтангова. Ее сопровождала удивительная музыка Бетховена (Бетховен написал финал Девятой симфонии на текст шиллеровской оды «К радости») и великолепное оформление — зима в немецком старом городке с облетелыми ивами, со снегом, похожим на старое серебро, с огнем свечей в бюргерских домах.

Два таких великих немца, как Шиллер и Гете, не могли не встретиться.

Шиллер переехал в Веймар, познакомился там с Гете, и вскоре это знакомство перешло в дружбу. Гете говорил, что после встречи с Шиллером «все в нем радостно распустилось и расцвело». А знаменитый немецкий ученый Гумбольдт, знавший и Гете и Шиллера, утверждал, что влияние этих двух великих людей друг на друга было прекрасно и плодотворно.

Когда Шиллер тяжело заболел и стало ясно, что смерть близка, то это обстоятельство скрыли от Гете. «Великий старец» был болен, и домашние боялись его волновать. Но Гете догадывался. Он боялся спросить окружающих о состоянии Шиллера, чтобы оставить себе хоть какую-нибудь надежду на выздоровление друга. Он тихо плакал напролет несколько ночей и никого к себе не пускал.

О смерти Шиллера он узнал, услышав рыдания своей старой служанки. «Я был уверен, — писал потом Гете, — что сам умру. Я потерял половину своей жизни».

Недаром Гете и Шиллеру поставлен один общий памятник. На постаменте они стоят рядом.

Советские солдаты, как только освободили Веймар от фашистов в 1945 году, еще пыльные и истомленные боем, осыпали цветами могилы Гете и Шиллера, как бы подтвердив этим, что в стране, где жили два великих немецких поэта, никому не будет позволено разбойничать и гасить человеческий разум.

СКАЗОЧНИК

(Христиан Андерсен)

Мне было всего семь лет, когда я познакомился с писателем Христианом Андерсеном.

Случилось это в зимний вечер, всего за несколько часов до наступления двадцатого столетия. Веселый датский сказочник встретил меня на пороге нового века.

Он долго рассматривал меня, прищурив один глаз и посмеиваясь, потом достал из кармана белоснежный душистый платок, встряхнул им, и из платка вдруг выпала большая белая роза. Сразу же вся комната наполнилась ее серебряным светом и непонятным медленным звоном. Оказалось, что это звенят лепестки розы, ударившись о кирпичный пол подвала, где жила тогда наша семья.

Случай с Андерсеном был тем явлением, которое старомодные писатели называли «сном наяву». Просто это мне, должно быть, привиделось.

В тот зимний вечер, о котором я рассказываю, у нас в семье украшали елку. По этому случаю взрослые отправили меня на улицу, чтобы я раньше времени не радовался елке.

Я никак не мог понять, почему нельзя радоваться раньше какого-то твердого срока. По-моему, радость была не такая частая гостья в нашей семье, чтобы заставлять нас, детей, томиться, дожидаясь ее прихода.

Но как бы там ни было, меня услали на улицу. Наступило то время сумерек, когда фонари еще не горели, но могли вот-вот зажечься. И от этого «вот-вот», от ожидания внезапно вспыхивающих фонарей у меня замирало сердце. Я хорошо знал, что в зеленоватом газовом свете тотчас появятся в глубине зеркальных магазинных витрин разные волшебные вещи: коньки «Снегурка», витые свечи всех цветов радуги, маски клоунов в маленьких белых цилиндрах, оловянные кавалеристы на горячих гнедых лошадях, хлопушки и золотые бумажные цепи. Непонятно почему, но от этих вещей сильно пахло клейстером и скипидаром.

Я знал со слов взрослых, что этот вечер был совершенно

особенный. Чтобы дождаться такого же вечера, нужно было прожить еще сто лет. А это, конечно, почти никому не удастся.

Я спросил у отца, что значит «особенный вечер». Отец объяснил мне, что этот вечер называется так потому, что он не похож на все остальные.

Действительно, тот зимний вечер в последний день девятнадцатого века не был похож на все остальные. Снег падал медленно и очень важно, и хлопья его были такие большие, что, казалось, с неба слетают на город легкие белые цветы. И по всем улицам слышался глухой перезвон извозчичьих бубенцов.

Когда я вернулся домой, елку тотчас зажгли и в комнате началось такое веселое потрескиванье свечей, будто вокруг беспрерывно лопались сухие стручки акации.

Около елки лежала толстая книга — подарок от мамы. Это были сказки Христиана Андерсена.

Я сел под елкой и раскрыл книгу. В ней было много цветных картинок, прикрытых папиросной бумагой. Приходилось осторожно отдувать эту бумагу, чтобы рассмотреть эти картинки, липкие от краски.

Там сверкали бенгальским огнем стены снежных дворцов, дикие лебеди летели над морем, в котором отражались розовые облака, и оловянные солдатики стояли на часах на одной ноге, сжимая длинные ружья.

Я начал читать и зачитался так, что, к огорчению взрослых, почти не обратил внимания на нарядную елку.

Прежде всего я прочел сказку о стойком оловянном солдатике и маленькой прелестной плясунье, потом — сказку о снежной королеве. Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, человеческая доброта исходила от страниц этой книги с золотым обрезом.

Потом я задремал под елкой от усталости и жара свечей и сквозь эту дремоту увидел Андерсена, когда он обронил белую розу. С тех пор мое представление о нем всегда было связано с этим приятным сном.

Тогда я еще не знал, конечно, двойного смысла андерсеновских сказок. Я не знал, что в каждой детской сказке заключена вторая, которую в полной мере могут понять только взрослые.

Это я понял гораздо позже. Понял, что мне просто повезло, когда в канун трудного и великого двадцатого века мне встретился милый чудак и поэт Андерсен и научил меня вере в победу солнца над мраком и доброго человеческого сердца над злом. Тогда я уже знал пушкинские слова «Да здравствует

солнце, да скроется тьма!» и был почему-то уверен, что Пушкин и Андерсен были закадычными друзьями и, встречаясь, долго хлопали друг друга по плечу и хохотали.

Биографию Андерсена я узнал значительно позже. С тех пор она всегда представлялась мне в виде интересных картин, похожих на рисунки к его рассказам.

Андерсен всю свою жизнь умел радоваться, хотя детство его не давало для этого никаких оснований. Родился он в 1805 году, во времена наполеоновских войн, в старом датском городе Одензе в семье сапожника.

Одензе лежит в одной из котловин среди низких холмов на острове Фюн. В котловинах на этом острове почти всегда застаивался туман, а на вершинах холмов цвел вереск.

Если хорошенько подумать, на что был похож Одензе, то, пожалуй, можно сказать, что он больше всего напоминал игрушечный город, вырезанный из почернелого дуба.

Недаром Одензе славился своими резчиками по дереву. Один из них, средневековый мастер Клаус Берг, вырезал из черного дерева огромный алтарь для собора в Одензе. Алтарь этот — величественный и грозный — наводил оторопь не только на детвору, но даже на взрослых.

Но датские резчики делали не только алтари и статуи святых. Они предпочитали вырезать из больших кусков дерева те фигуры, что, по морскому обычаю, украшали форштевни парусных кораблей. То были грубые, но выразительные статуи мадонн, морского бога Нептуна, нереид, дельфинов и изогнувшихся морских коньков. Эти статуи раскрашивали золотом, охрой и кобальтом, причем клали краску так густо, что морская волна не могла в течение многих лет смыть ее или повредить.

По существу эти резчики корабельных статуй были поэтами моря и своего ремесла. Не зря же из семьи такого резчика вышел один из величайших скульпторов девятнадцатого века, друг Андерсена, датчанин Альберт Торвальдсен.

Маленький Андерсен видел замысловатые работы резчиков не только на кораблях, но и на домах Одензе. Должно быть, он знал в Одензе тот старый-престарый дом, где год постройки был вырезан на деревянном толстом щите в рамке из тюльпанов и роз. Там же было вырезано целое стихотворение, и дети выучивали его наизусть. А у башмачников висели над дверью деревянные вывески с изображением орла с двумя головами в знак того, что башмачники всегда шьют только парную обувь.

Отец Андерсена был башмачником, но над его дверью не висело изображение двуглавого орла. Такие вывески имели право держать только члены цеха башмачников, а отец Андерсена был слишком беден, чтобы платить взносы в цех.

Андерсен вырос в бедности. Единственной гордостью семьи Андерсенов была необыкновенная чистота в их доме, ящик с землей, где густо разрастался лук, и несколько вазонов на окнах.

В них цвели тюльпаны. Их запах сливался с перезвоном колоколов, стуком отцовского сапожного молотка, лихой дробью барабанщиков около казармы, свистом флейты бродячего музыканта и хриплыми песнями матросов, выводивших по каналу неуклюжие барки в соседний залив.

Во всем этом разнообразии людей, небольших событий, красок и звуков, окружавших тихого мальчика, он находил повод для того, чтобы радоваться и выдумывать всякие истории.

В доме Андерсенов у мальчика был только один благодарный слушатель — старый кот по имени Карл. Но Карл страдал крупным недостатком — он часто засыпал, не дослушав до конца какую-нибудь интересную сказку. Кошачьи годы, как говорится, брали свое.

Но мальчик не сердился на старого кота. Он все ему прощал за то, что Карл никогда не позволял себе сомневаться в существовании колдуний, хитреца Клумпе-Думпе, догадливых трубочистов, говорящих цветов и лягушек с бриллиантовыми коронами на голове.

Первые сказки мальчик услышал от отца и старух из соседней богадельни. Весь день эти старухи пряли, сгорбившись, серую шерсть и бормотали свои нехитрые рассказы. Мальчик переделывал эти рассказы по-своему, украшал их, как бы раскрашивал свежими красками и в неузнаваемом виде снова рассказывал их, но уже от себя богаделкам. А те только ахали и шептали между собой, что маленький Христиан слишком умен и потому не заживется на свете.

Прежде чем рассказывать дальше, надо остановиться на том свойстве Андерсена, о котором я уже вскользь говорил, — на его умении радоваться всему интересному и хорошему, что попадается на каждой тропинке и на каждом шагу.

Пожалуй, неправильно называть это свойство умением. Гораздо вернее назвать его талантом, редкой способностью замечать то, что ускользает от ленивых человеческих глаз.

Мы ходим по земле, но часто ли нам является в голову же-

лание нагнуться и тщательно рассмотреть эту землю, рассмотреть все, что находится у нас под ногами. А если бы мы нагнулись или даже больше — легли бы на землю и начали рассматривать ее, то на каждой пяди мы бы нашли много любопытных вещей.

Разве не интересен сухой мох, рассыпающий из своих кувшинчиков изумрудную пыльцу, или цветок подорожника, похожий на сиреневый солдатский султан? Или обломок перламутровой ракушки — такой крошечный, что из него нельзя сделать даже карманное зеркальце для куклы, но достаточно большой, чтобы бесконечно переливаться и блестеть таким же множеством неярких красок, каким горит на утренней заре небо над Балтикой.

Разве не прекрасна каждая травинка, наполненная пахучим соком, и каждое летучее семечко липы? Из него обязательно вырастет могучее дерево.

Да мало ли что увидишь у себя под ногами! Обо всем этом можно писать рассказы и сказки, — такие сказки, что люди будут только качать головами от удивления и говорить друг другу:

— Откуда только взялся такой благословенный дар у этого долговязого сына башмачника из Одензе? Должно быть, он все-таки колдун.

Детей вводит в мир сказки не только народная поэзия, но и театр. Спектакль дети почти всегда принимают как сказку.

Яркие декорации, свет масляных ламп, бряцанье рыцарских доспехов, гром музыки, подобный грому сражения, слезы принцесс с синими ресницами, рыжебородые злодеи, сжимающие рукоятки зазубренных мечей, пляски девушек в воздушных нарядах — все это никак не походит на действительность и, конечно, может происходить только в сказке.

В Одензе был свой театр. Там маленький Христиан впервые увидел пьесу с романтическим названием «Дунайская дева». Он был ошеломлен этим спектаклем и с тех пор стал ярым театралом на всю свою жизнь — до самой смерти.

На театр не было денег. Тогда мальчик заменил подлинные спектакли воображаемыми. Он подружился с городским расклейщиком афиш Петером, начал помогать ему, а за это Петер дарил Христиану по одной афише каждого нового спектакля.

Христиан приносил афишу домой, забивался в угол и, прочитав название пьесы и имена действующих лиц, тут же выдумывал свою, захватывающую дух пьесу под тем же названием, которое стояло на афише.

Выдумывание это длилось по нескольку дней. Так созда-

вался тайный репертуар детского воображаемого театра, где мальчик был всем: автором и актером, музыкантом и художником, осветителем и певцом.

Андерсен был единственным ребенком в семье и, несмотря на бедность родителей, жил вольно и беззаботно. Его никогда не наказывали. Он занимался только тем, что непрерывно мечтал. Это обстоятельство даже помешало ему вовремя научиться грамоте. Он одолел ее позже, чем все мальчики его возраста, и до пожилых лет писал не совсем уверенно и делал орфографические ошибки.

Больше всего времени Христиан проводил на старой мельнице на реке Одензе. Мельница эта вся тряслась от старости, окруженная обильными брызгами и потоками воды. Зеленые бороды тины свешивались с ее дырявых лотков. У берегов запруды плавали в ряске ленивые рыбы.

Кто-то рассказал мальчику, что прямо под мельницей на другом конце земного шара находится Китай и что китайцы довольно легко могут прокопать подземный ход в Одензе и внезапно появиться на улицах заплесневелого датского городка в красных атласных халатах, расшитых золотыми драконами, и с изящными веерами в руках.

Мальчик долго ждал этого чуда, но оно почему-то не произошло.

Кроме мельницы, еще одно место в Одензе привлекало маленького Христиана. На берегу канала была расположена усадьба старого отставного моряка. В своем саду моряк установил несколько маленьких деревянных пушек и рядом с ними — высокого, тоже деревянного солдата.

Когда по каналу проходил корабль, пушки стреляли холостыми зарядами, а солдат палил в небо из деревянного ружья. Так старый моряк салютовал своим счастливым товарищам — капитанам, еще не ушедшим на пенсию.

Несколько лет спустя Андерсен попал в эту усадьбу уже студентом. Моряка не было в живых, но юного поэта встретил среди цветочных клумб рой красивых и задорных девушек — внучек старого капитана.

Впервые тогда Андерсен почувствовал любовь к одной из этих девушек, — любовь, к сожалению, безответную и туманную. Такими же были все увлечения женщинами, случавшиеся в его беспокойной жизни.

Христиан мечтал обо всем, что только могло прийти ему в голову. Родители же мечтали сделать из мальчика хорошего портного. Мать учила его кроить и шить. Но мальчик если что-либо и шил, то только пестрые платья для своих театраль-

ных кукол (у него уже был свой собственный домашний театр). А вместо кройки он научился виртуозно вырезать из бумаги замысловатые узоры и маленьких танцовщиц, делающих пируэты. Этим своим искусством он поражал всех даже в годы своей старости.

Уменье шить пригодилось впоследствии Андерсену, как писателю. Он так перемарывал рукописи, что на них не оставалось места для поправок. Тогда Андерсен выписывал эти поправки на отдельных листках бумаги и тщательно вшивал их нитками в рукопись — ставил на ней заплатки.

Когда Андерсену исполнилось четырнадцать лет, умер его отец. Вспоминая об этом, Андерсен говорил, что всю ночь над умершим пел сверчок, в то время как мальчик всю ночь проплакал.

Так под песню запечного сверчка ушел из жизни застенчивый башмачник, ничем не замечательный, кроме того, что он подарил миру своего сына — сказочника и поэта.

Вскоре после смерти отца Христиан отпросился у матери и на жалкие сбереженные гроши уехал из Оdensе в столицу Копенгаген — завоевывать счастье, хотя он сам еще толком не знал, в чем оно заключалось.

В сложной биографии Андерсена нелегко установить то время, когда он начал писать свои первые прелестные сказки.

С раннего детства его память была полна разных волшебных историй. Но они лежали под спудом. Юноша Андерсен долго считал себя кем угодно — певцом, танцором, декламатором, поэтом, сатириком и драматургом, но только не сказочником. Несмотря на это, отдаленный голос сказки давно слышался то в одном, то в другом из его произведений как звук чуть затронутой, но тотчас же отпущенной струны.

Свободное воображение ловит в окружающей нас жизни сотни частностей и соединяет их в стройный и мудрый рассказ. Нет ничего, чем пренебрег бы сказочник, будь то горлышко пивной бутылки, капля росы на пере, потерянном иволгой, или заржавленный уличный фонарь. Любая мысль — самая могучая и великолепная — может быть выражена при дружеском содействии этих скромных вещей.

Что толкнуло Андерсена в область сказки?

Сам он говорил, что легче всего писал сказки, оставаясь наедине с природой, «слушая ее голос», особенно в то время, когда он отдыхал в лесах Зеландии, почти всегда окутанных неплотным туманом, дремлющих под слабым мерцанием звезд.

Далекий ропот моря, долетавший в чащу этих лесов, придавал им таинственность.

Но мы также знаем, что многие свои сказки Андерсен писал среди зимы, в разгар детских елочных праздников, и придавал им нарядную форму, свойственную елочным украшениям.

Что говорить! Приморская зима, ковры снега, треск огня в печах и сияние зимней ночи — все это располагает к сказке. А может быть, толчком к тому, что Андерсен стал сказочником, послужил один случай на улице в Копенгагене.

Маленький мальчик играл на подоконнике в старом копенгагенском доме. Игрушек было не так уж много — несколько кубиков, старая бесхвостая лошадь из папье-маше, много раз уже выкупанная и потому потерявшая масть, и сломанный оловянный солдатик.

Мать мальчика — молодая женщина — сидела у окна и вышивала.

В это время в глубине пустынной улицы со стороны Старого порта, где усыпительно покачивались в небе реи кораблей, показался высокий и очень худой человек в черном. Он быстро шел несколько скачущей неуверенной походкой, размахивая длинными руками, и говорил сам с собой.

Шляпу он нес в руке, и потому был хорошо виден его большой покатый лоб, орлиный тонкий нос и серые сощуренные глаза.

Он был некрасив, но изящен и производил впечатление иностранца. Душистая веточка мяты была воткнута в петлицу его сюртука.

Если бы можно было прислушаться к бормотанию этого незнакомца, то мы бы услышали, как он чуть нараспев читает стихи:

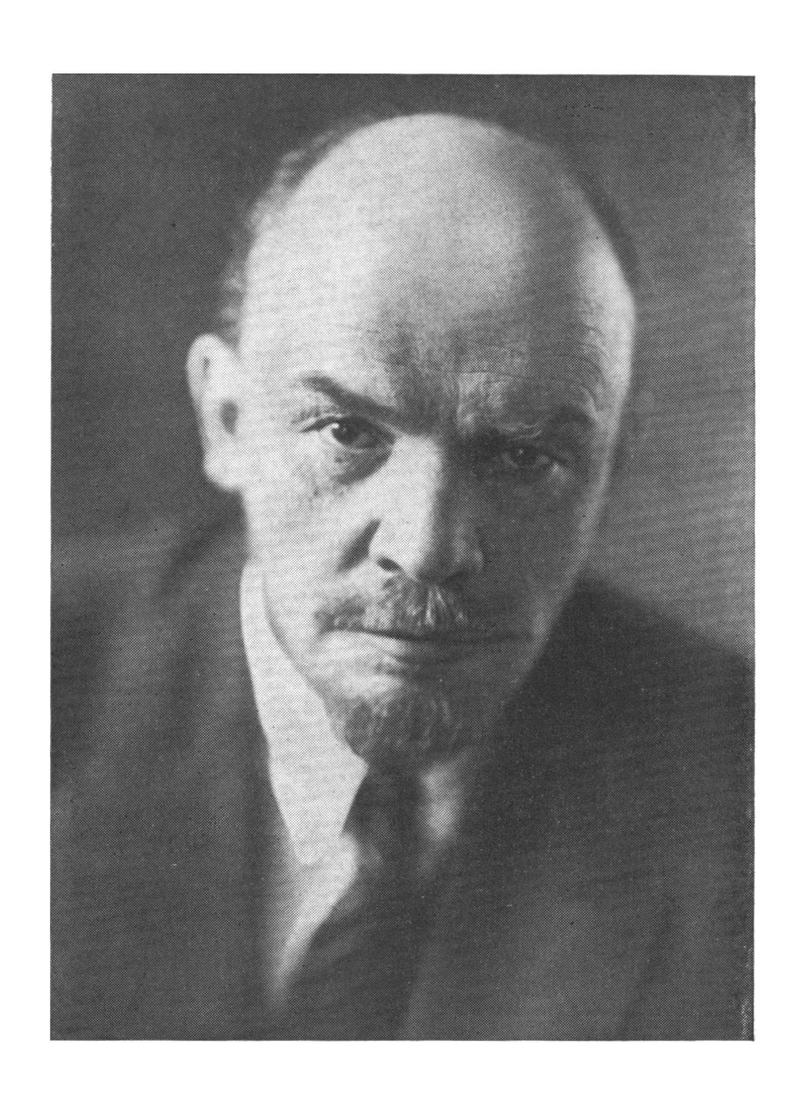
Я сохранил тебя в своей груди,
О роза нежная моих воспоминаний...

Женщина за пяльцами подняла голову и сказала мальчику:

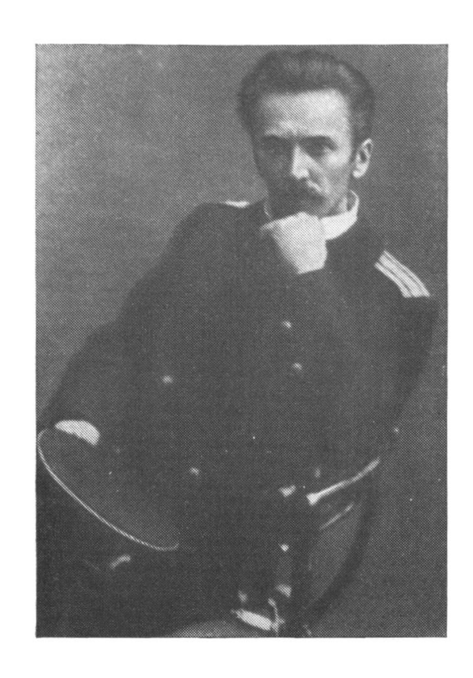
— Вот идет наш поэт, господин Андерсен. Под его колыбельную песню ты так хорошо засыпаешь.

Мальчик посмотрел исподлобья на незнакомца в черном, схватил своего единственного хромого солдатика, выбежал на улицу, сунул солдатика в руку Андерсену и тотчас убежал.

Это был неслыханно щедрый подарок. Андерсен понял это. Он воткнул солдатика в петлицу сюртука рядом с веточкой мяты, как орден, потом вынул платок и слегка прижал его к глазам, — очевидно, недаром друзья обвиняли его в чрезмерной чувствительности.



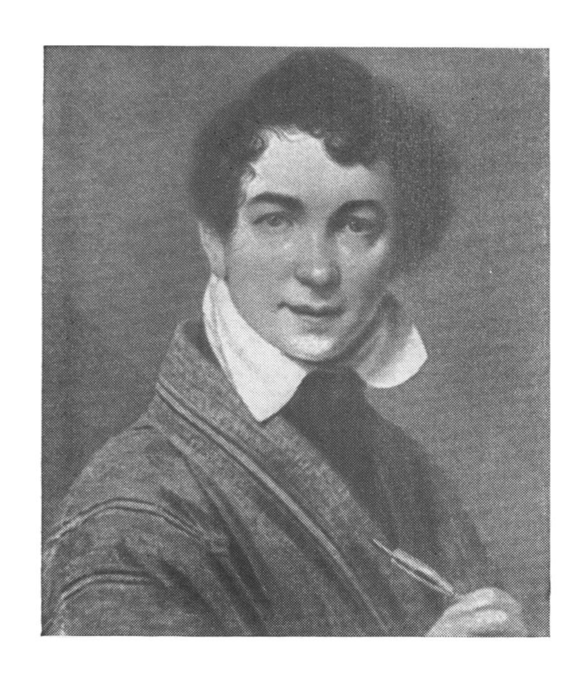
1. В. И. Ленин.



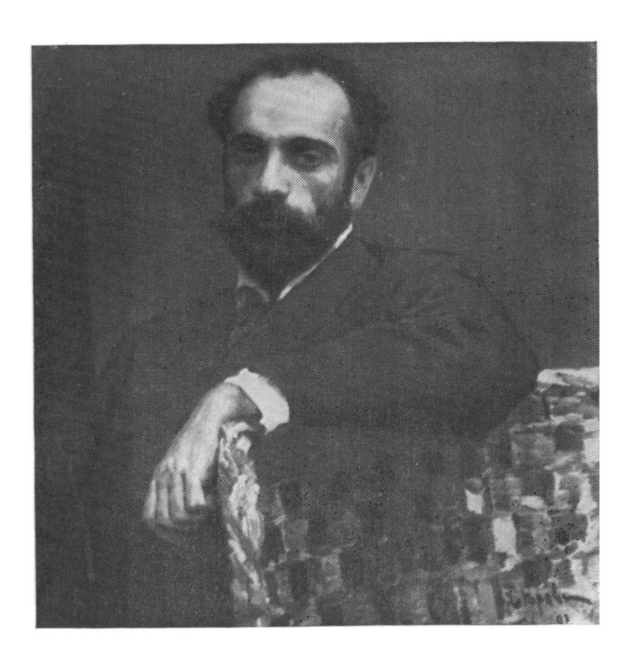
2. П. П. Шмидт.



3. Маршал Блюхер.



4. Орест Кипренский.



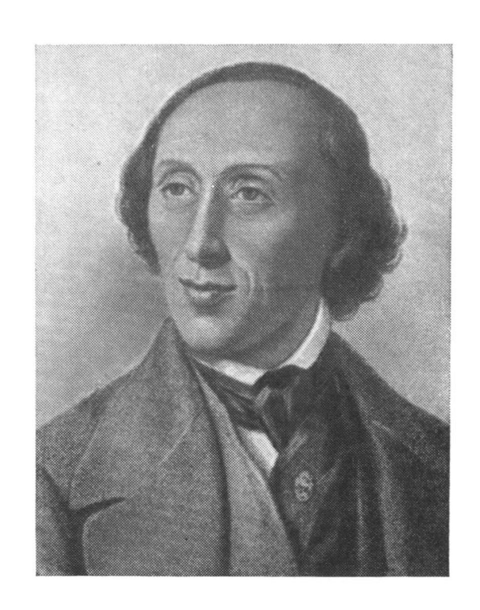
5. Исаак Левитан.



6. Т. Г [illegible]евченко.



7. М. Ю. Лермонтов.



8. Христиан Андерсен.

9. Ф. Шиллер.



10. А. И. Куприн.



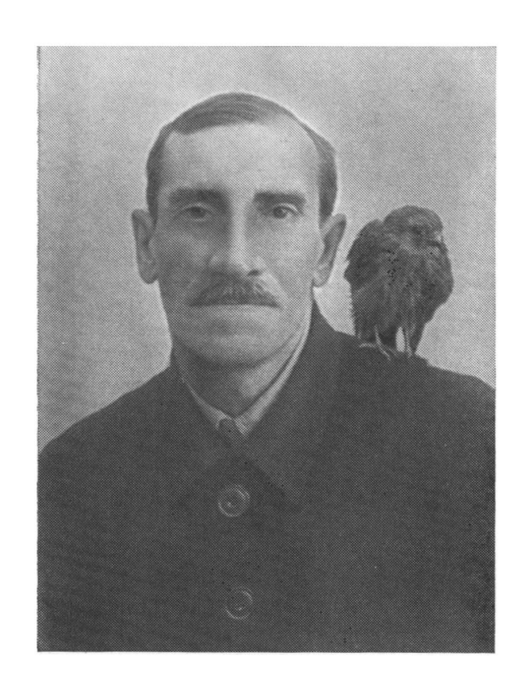
11. А. П. Чехов.



12. Александр Блок.



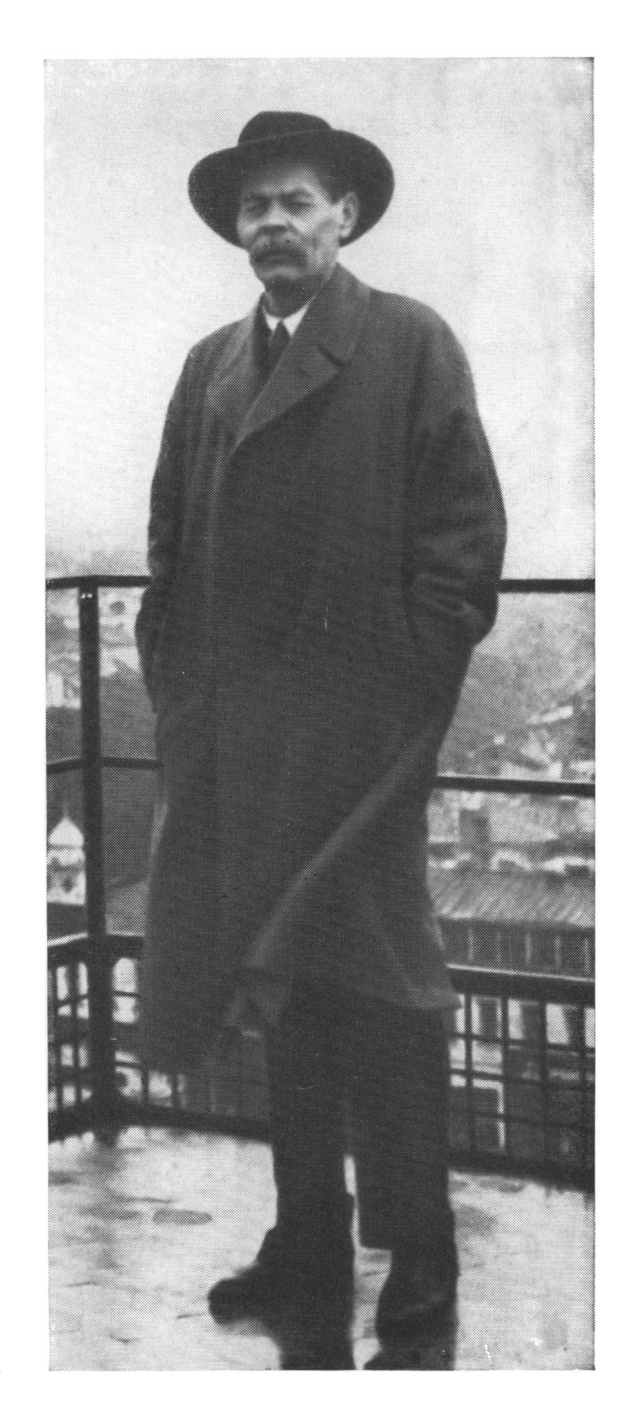
13. И. А. Бунин.



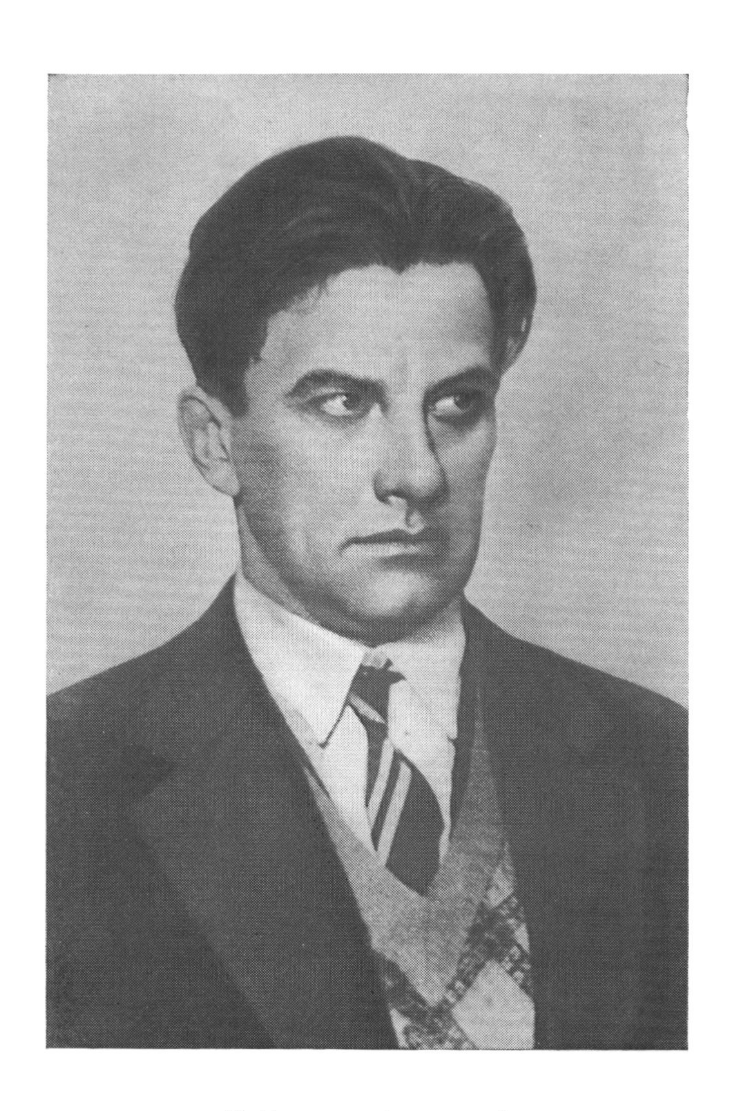
14. Александр Грин.



15. В. А. Гиляровский.



16. А. М. Горький.



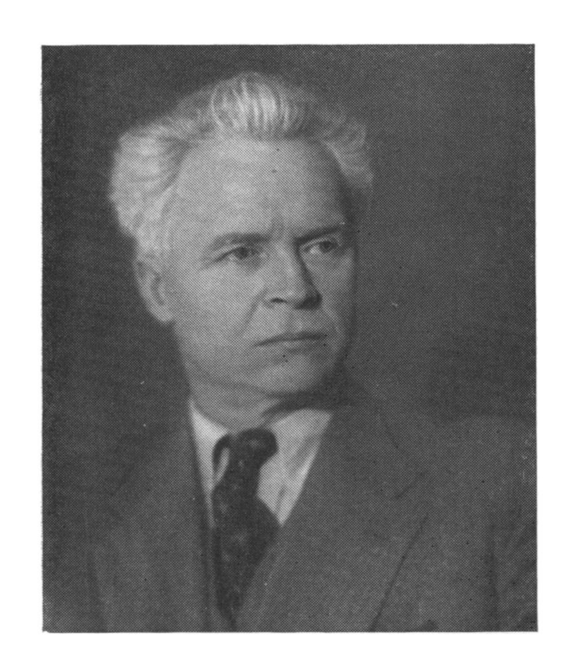
17. Владимир Маяковский.



18. Сергей Есенин.



19. Исаак Бабель.



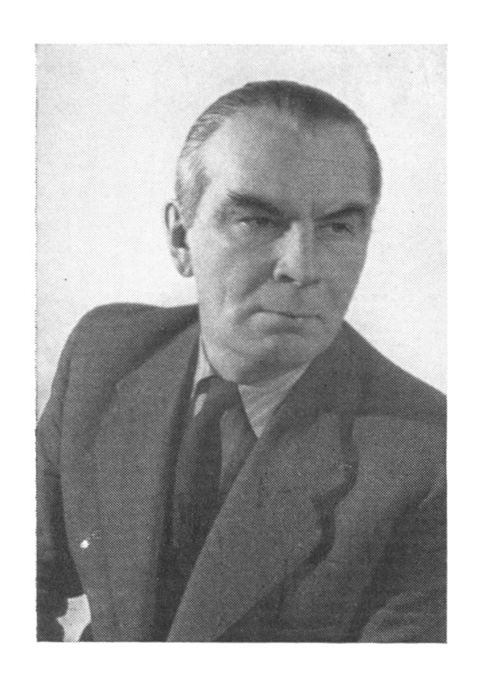
20. А. П. Довженко.



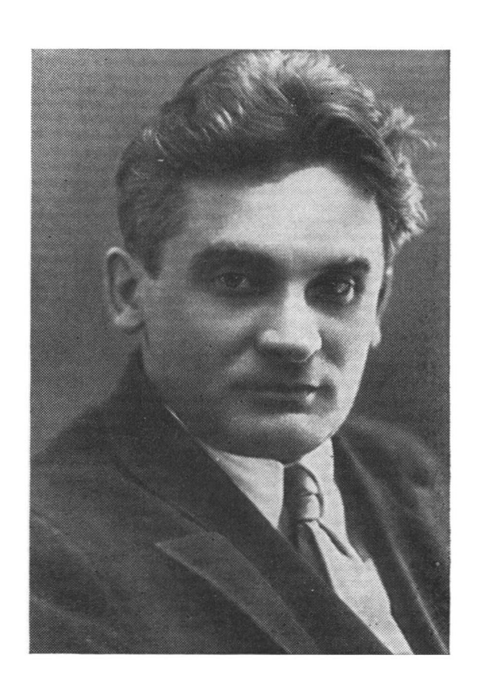
21. Эдуард Багрицкий.



22. Р. И. Фраерман.



23. Владимир Луговской.



24. Ю. К. Олеша.

А женщина, подняв голову от вышивания, подумала, как хорошо и вместе с тем трудно было бы ей жить с этим поэтом, если бы она могла полюбить его. Вот говорят, что даже ради молодой певицы Дженни Лунд, в которую он был влюблен — все звали ее «ослепительной Дженни», — Андерсен не захотел отказаться ни от одной из своих поэтических привычек и выдумок.

А этих выдумок было много. Однажды он даже придумал прикрепить к мачте рыбачьей шхуны эолову арфу, чтобы слушать ее жалобное пение во время угрюмых северо-западных ветров, постоянно дующих в Дании.

Андерсен считал свою жизнь прекрасной и почти безоблачной, но, конечно, лишь в силу детской своей жизнерадостности. Эта незлобивость по отношению к жизни обычно бывает верным признаком внутреннего богатства. Таким людям, как Андерсен, нет охоты растрачивать время и силы на борьбу с житейскими неудачами, когда вокруг так явственно сверкает поэзия и нужно жить только в ней, жить только ею и не пропустить то мгновение, когда весна прикоснется губами к деревьям. Как бы хорошо никогда не думать о житейских невзгодах! Что они сто́ят по сравнению с этой благодатной, душистой весной.

Андерсену хотелось так думать и так жить, но действительность совсем не была милостива к нему, как он того заслуживал.

Было много, слишком много огорчений и обид, особенно в первые годы в Копенгагене, в годы нищеты и пренебрежительного покровительства со стороны признанных поэтов, писателей и музыкантов.

Слишком часто, даже в старости, Андерсену давали понять, что он «бедный родственник» в датской литературе и что ему — сыну сапожника и бедняка — следует знать свое место среди господ советников и профессоров.

Андерсен говорил о себе, что за свою жизнь он выпил не одну чашу горечи. Его замалчивали, на него клеветали, над ним насмехались. За что?

За то, что в нем текла «мужицкая кровь», что он не был похож на спесивых и благополучных обывателей, за то, что он был истинный поэт «божьей милостью», был беден, и, наконец, за то, что он не умел жить.

Неумение жить считалось самым тяжким пороком в филистерском обществе Дании. Андерсен был просто неудобен в

этом обществе — этот чудак, этот, по словам философа Киркегора, оживший смешной поэтический персонаж, внезапно появившийся из книги стихов и забывший секрет, как вернуться обратно на пыльную полку библиотеки.

«Все хорошее во мне топтали в грязь», — говорил о себе Андерсен. Говорил он и более горькие вещи, сравнивая себя с тонущей собакой, в которую мальчишки швыряют камни, но не из злости, а ради пустой забавы.

Да, жизненный путь этого человека, умевшего видеть по ночам свечение шиповника, похожее на мерцание белой ночи, и умевшего услышать воркотню старого пня в лесу, не был усыпан венками.

Андерсен страдал жестоко, и можно только преклоняться перед мужеством этого человека, не растерявшего на своем житейском пути ни доброжелательства к людям, ни жажды справедливости, ни способности видеть поэзию всюду, где она есть.

Он страдал, но он не покорялся. Он негодовал. Он гордился своей кровной близостью к беднякам — крестьянам и рабочим. Он вошел в «Рабочий союз» и первый из датских писателей начал читать рабочим свои сказки.

Он становился ироничен и беспощаден, когда дело касалось пренебрежения к простому человеку, несправедливости и лжи. Рядом с детской сердечностью в нем жил едкий сарказм. С полной силой он выразил его в своей великой сказке о голом короле.

Когда умер скульптор Торвальдсен, сын бедняка и друг Андерсена, то Андерсену была невыносима мысль, что за гробом великого мастера впереди всех будет напыщенно шествовать датская знать.

Андерсен писал кантату на смерть Торвальдсена. Он собрал на похороны детей бедняков со всего Амстердама. Эти дети шли цепью по сторонам похоронной процессии и пели кантату Андерсена, начинавшуюся словами:

Дорогу дайте к гробу беднякам,—
Из их среды почивший вышел сам...

Андерсен писал о своем друге поэте Ингемане, что тот разыскивал семена поэзии на крестьянской земле. С гораздо большим правом эти слова относятся к самому Андерсену. Он собирал зерна поэзии с крестьянских полей, согревал их у своего сердца, сеял в низких хижинах, и из этих семян вырастали и расцветали невиданные и великолепные цветы поэзии, радовавшие сердца бедняков.

Были годы трудного и унизительного учения, когда Андерсену приходилось сидеть в школе за одной партой с мальчиками, бывшими моложе его на много лет.

Были годы душевной путаницы и мучительных поисков своей настоящей дороги. Сам Андерсен долго не знал, какие области искусства сродни его таланту.

«Как горец вырубает ступеньки в гранитной скале, — говорил о себе под старость Андерсен, — так я медленно и тяжело завоевывал свое место в литературе».

Он толком не знал своей силы, пока поэт Ингеман не сказал ему шутя:

«Вы обладаете драгоценной способностью находить жемчуг в любой сточной канаве».

Эти слова открыли Андерсену самого себя.

И вог — на двадцать третьем году жизни — вышла первая подлинно андерсеновская книга «Прогулка на остров Амагер». В этой книге Андерсен решил, наконец, выпустить в мир «пестрый рой своих фантазий».

Легкий трепет восхищения перед неведомым до тех пор поэтом прошел по Дании. Будущее становилось ясным.

На первый же скудный гонорар от своих книг Андерсен устремился в путешествие по Европе.

Беспрерывные поездки Андрсена можно с полным правом назвать путешествиями не только по земле, но и по своим великим современникам. Потому что, где бы Андерсен ни был, он всегда знакомился со своими любимыми писателями, поэтами, музыкантами и художниками.

Такие знакомства Андерсен считал не только естественными, но просто необходимыми. Блеск ума и таланта великих современников Андерсена наполняли его ощущением собственной силы.

В длительном волнении, в постоянной смене стран, городов, народов и попутчиков, в волнах «дорожной поэзии», в удивительных встречах и не менее удивительных размышлениях прошла вся жизнь Андерсена.

Он писал всюду, где его заставала жажда писать. Кто сочтет, сколько царапин оставило его острое торопливое перо на оловянных чернильницах в гостиницах Рима и Парижа, Афин и Константинополя, Лондона и Амстердама!

Я упомянул о торопливом пере Андерсена. Придется на минуту отложить рассказ о его путешествиях, чтобы объяснить это выражение.

Андерсен писал очень быстро, хотя потом долго и придирчиво правил свои рукописи.

Писал же он быстро потому, что обладал даром импровизации. Андерсен был чистым образцом импровизатора.

Импровизация — это стремительная отзывчивость поэта на любую чужую мысль, на любой толчок извне, немедленное превращение этой мысли в потоки образов и гармонических картин. Она возможна лишь при большом запасе наблюдений и великолепной памяти.

Свою повесть об Италии Андерсен написал как импровизатор. Поэтому он и назвал ее этим словом — «Импровизатор». И, может быть, глубокая и почтительная любовь Андерсена к Гейне объяснялась отчасти тем, что в немецком поэте Андерсен видел своего собрата по импровизации.

Но вернемся к путешествиям Христиана Андерсена.

Первое путешествие он совершил по Каттегату, заполненному сотнями парусных кораблей. Это была очень веселая поездка. В то время в Каттегате появились первые пароходы: «Дания» и «Каледония». Они вызвали ураган негодования среди шкиперов парусных кораблей.

Когда пароходы, надымив на весь пролив, смущенно проходили сквозь строй парусников, их подвергали неслыханным насмешкам. Шкипера посылали им в рупор самые отборные проклятья. Их обзывали «трубочистами», «дымовозами», «копчеными хвостами» и «вонючими лоханками». Эта жестокая морская распря очень забавляла Андерсена.

Но плавание по Каттегату было не в счет. После него начались «настоящие путешествия» Андерсена. Он много раз объездил всю Европу, был в Малой Азии и даже в Африке.

Он познакомился в Париже с Виктором Гюго и великой артисткой Рашель, беседовал с Бальзаком, был в гостях у Гейне. Он застал немецкого поэта в обществе молоденькой прелестной жены-парижанки, окруженной кучей шумных детей. Заметив растерянность Андерсена (сказочник втайне побаивался детей), Гейне сказал:

— Не пугайтесь. Это не наши дети. Мы их занимаем у соседей.

Дюма водил Андерсена по дешевым парижским театрам, а однажды Андерсен видел, как Дюма писал свой очередной роман, то громко переругиваясь с его героями, то покатываясь от хохота.

Вагнер, Шуман, Мендельсон, Россини и Лист играли для Андерсена свои вещи. Листа Андерсен называл «духом бури над струнами».

В Лондоне Андерсен встретился с Диккенсом. Они посмотрели друг другу в глаза. Андерсен не выдержал, отвернулся и заплакал. То были слезы восхищения перед великим сердцем Диккенса.

Потом Андерсен был в гостях у Диккенса в его маленьком доме на взморье. Во дворе заунывно играл шарманщик-итальянец, за окном в сумерках блестел огонь маяка, мимо дома проплывали, выходя из Темзы в море, неуклюжие пароходы, а отдаленный берег реки, казалось, горел, как торф, — то дымили лондонские заводы и доки.

— У нас полон дом детей, — сказал Диккенс Андерсену, хлопнул в ладоши, и тотчас несколько мальчиков и девочек — сыновей и дочерей Диккенса — вбежали в комнату, окружили Андерсена и расцеловали его в благодарность за сказки.

Но чаще всего и дольше всего Андерсен бывал в Италии.

Рим стал для него, как и для многих иностранных писателей и художников, второй родиной.

Однажды Андерсен проезжал в дилижансе по Италии.

Была весенняя ночь, полная крупных звезд. В дилижанс село несколько деревенских девушек. Было так темно, что пассажиры не могли рассмотреть друг друга. Но, несмотря на это, между ними начался шутливый разговор. Да, было так темно, что Андерсен заметил только, как поблескивали влажные зубы девушек.

Он начал рассказывать девушкам о них самих. Он говорил о них, как о сказочных принцессах. Он увлекся. Он восхвалял их зеленые загадочные глаза, душистые косы, рдеющие губы и тяжелые ресницы.

Каждая девушка была по-своему прелестна в описании Андерсена. И по-своему счастлива.

Девушки смущенно смеялись, но, несмотря на темноту, Андерсен заметил, как у некоторых из них блестели на глазах слезы. То были слезы благодарности доброму и странному попутчику.

Одна из девушек попросила Андерсена, чтобы он описал им самого себя.

Андерсен был некрасив. Он знал это. Но сейчас он изобразил себя стройным, бледным и обаятельным молодым человеком с душой, трепещущей от ожидания любви.

Наконец дилижанс остановился в глухом городке, куда ехали девушки. Ночь стала еще темнее. Девушки расстались с Андерсеном, причем каждая горячо и нежно поцеловала на прощанье удивительного незнакомца.

Дилижанс тронулся. Лес шумел за его окнами. Фыркали

лошади, и низкие итальянские созвездия пылали над головой. И Андерсен был счастлив так, как, может быть, еще никогда не был счастлив в жизни. Он благословлял дорожные неожиданности, мимолетные и милые встречи.

Италия покорила Андерсена. Он полюбил в ней все: каменные мосты, заросшие плющом, обветшалые мраморные фасады зданий, оборванных смуглых детей, померанцевые рощи, «отцветающий лотос» — Венецию, статуи Латерана, осенний воздух, холодноватый и пьянящий, мерцание куполов над Римом, старинные холсты, ласкающее солнце и то множество плодотворных мыслей, которые рождала Италия в его сердце.

Умер Андерсен в 1875 году.

Несмотря на частые невзгоды, ему выпало на долю подлинное счастье быть обласканным своим народом.

Я не перечисляю тут всего, что написал Андерсен. Вряд ли это нужно. Я хотел только набросать беглый облик этого поэта и сказочника, этого обаятельного чудака, оставшегося до самой своей смерти чистосердечным ребенком, этого вдохновенного импровизатора и ловца человеческих душ — и детских и взрослых.

Он был поэтом бедняков, несмотря на то, что короли считали за честь пожать его сухощавую руку.

Он был простонародным певцом. Вся его жизнь свидетельствует о том, что сокровища подлинного искусства заключены только в сознании народа и нигде больше.

Поэзия насыщает сердце народа подобно тому, как мириады капелек влаги насыщают воздух над Данией. Поэтому, говорят, нигде нет таких широких и ярких радуг, как там.

Пусть же эти радуги почаще сверкают, как многоцветные триумфальные арки, над могилой сказочника Андерсена и над кустами его любимых белых роз.

НОЧНОЙ ДИЛИЖАНС

Я хотел написать отдельную главу о силе воображения и его влияния на нашу жизнь. Но, подумав, я написал вместо этой главы рассказ о поэте Андерсене. Мне кажется, что он может заменить эту главу и даст даже более ясное представление о воображении, чем общие разговоры на эту тему.

В старой и грязной венецианской гостинице нельзя было допроситься чернил. Да и зачем было держать там чернила? Чтобы писать дутые счета постояльцам?

Правда, когда Христиан Андерсен поселился в гостинице, то в оловянной чернильнице оставалось еще немного чернил. Он начал писать ими сказку. Но с каждым часом сказка бледнела на глазах, потому что Андерсен несколько раз разбавлял чернила водой. Так ему и не удалось окончить ее — веселый конец сказки остался на дне чернильницы.

Андерсен усмехнулся и решил, что следующую сказку он так и назовет: «История, оставшаяся на дне высохшей чернильницы».

Он полюбил Венецию и называл ее «увядающим лотосом».

Над морем клубились низкие осенние тучи. В каналах плескалась гнилая вода. Холодный ветер дул на перекрестках. Но когда прорывалось солнце, то из-под плесени на стенах проступал розовый мрамор и город появлялся за окном, как картина, написанная старым венецианским мастером Каналетто.

Да, это был прекрасный, хотя и несколько печальный город. Но пришло время покинуть его ради других городов.

Поэтому Андерсен не чувствовал особого сожаления, когда послал гостиничного слугу купить билет на дилижанс, отправлявшийся вечером в Верону.

Слуга был под стать гостинице — ленивый, всегда навеселе, нечистый на руку, но с открытым, простодушным лицом. Он ни разу не прибрал в комнате у Андерсена, даже не подмел каменный пол.

Из красных бархатных портьер золотистыми роями вылета-

ла моль. Умываться приходилось в треснувшем фаянсовом тазу с изображением полногрудых купальщиц. Масляная лампа была сломана. Взамен ее на столе стоял тяжелый серебряный канделябр с огарком сальной свечи. Его, должно быть, не чистили со времен Тициана.

Из первого этажа, где помещалась дешевая остерия, разило жареной бараниной и чесноком. Там весь день оглушительно хохотали и ссорились молодые женщины в потертых бархатных корсажах, кое-как затянутых порванными тесемками.

Иногда женщины дрались, вцепившись друг другу в волосы. Когда Андерсену случалось проходить мимо дерущихся женщин, он останавливался и с восхищением смотрел на их растрепанные косы, рдеющие от ярости лица и горящие жаждой мести глаза.

Но самым прелестным зрелищем были, конечно, гневные слезы, что брызгали у них из глаз и стекали по щекам, как алмазные капли.

При виде Андерсена женщины затихали. Их смущал этот худой и элегантный господин с тонким носом. Они считали его заезжим фокусником, хотя и называли почтительно «синьор поэт». По их понятиям это был странный поэт. В нем не бурлила кровь. Он не пел под гитару раздирающие сердце баркаролы и не влюблялся по очереди в каждую из женщин. Только один раз он вынул из петлицы алую розу и подарил ее самой некрасивой девочке-судомойке. Она была к тому же хромая, как утка.

Когда слуга пошел за билетом, Андерсен кинулся к окну, отодвинул тяжелый занавес и увидел, как слуга шел, насвистывая, вдоль канала. Он походя ущипнул за грудь краснолицую продавщицу креветок и получил оглушительную оплеуху.

Потом слуга долго и сосредоточенно плевал с горбатого моста в канал, стараясь попасть в пустую половинку яичной скорлупы. Она плавала около свай.

Наконец он попал в нее, и скорлупа утонула. После этого слуга подошел к мальчишке в рваной шляпе. Мальчишка удил. Слуга сел около него и бесмысленно уставился на поплавок, дожидаясь, когда клюнет какая-нибудь бродячая рыба.

— О боже! — воскликнул с отчаянием Андерсен. — Неужели я сегодня не уеду из-за этого болвана?

Андерсен распахнул окно. Стекла задребезжали так сильно, что слуга услышал их звон и поднял голову. Андерсен воздел руки к небу и яростно потряс кулаками.

Слуга сорвал с мальчишки шляпу, восторженно помахал

ею Андерсену, снова нахлобучил ее на мальчишку, вскочил и скрылся за углом.

Андерсен рассмеялся. Он ничуть не был рассержен. Его страсть к путешествиям усиливалась изо дня в день даже от таких забавных пустяков.

Путешествия всегда сулили неожиданности. Никогда ведь не знаешь, когда блеснет из-под ресниц лукавый женский взгляд, когда покажутся вдали башни незнакомого города и закачаются на горизонте мачты тяжелых кораблей, какие стихи придут в голову при виде грозы, бушующей над Альпами, и чей голос пропоет тебе, как дорожный колокольчик, песенку о нераспустившейся любви.

Слуга принес билет на дилижанс, но не отдал сдачу. Андерсен взял его за шиворот и вежливо вывел в коридор. Там он шутливо хлопнул слугу по шее, и тот помчался вниз по шаткой лестнице, перепрыгивая через ступеньки и распевая во все горло.

Когда дилижанс выехал из Венеции, начал накрапывать дождь. На болотистую равнину опустилась ночь.

Возница сказал, что сам сатана придумал, должно быть, отправлять дилижансы из Венеции в Верону по ночам.

Пассажиры ничего не ответили. Возница помолчал, в сердцах сплюнул и предупредил пассажиров, что, кроме огарка в жестяном фонаре, свечей больше нет.

Пассажиры не обратили на это внимания. Тогда возница выразил сомнение в здравом рассудке своих пассажиров и добавил, что Верона — глухая дыра, где порядочным людям нечего делать.

Пассажиры знали, что это не так, но никто не захотел возразить вознице.

Пассажиров было трое — Андерсен, пожилой угрюмый священник и дама, закутанная в темный плащ. Она казалась Андерсену то молодой, то пожилой, то красавицей, то дурнушкой. Все это были шалости огарка в фонаре. Он освещал даму каждый раз по-иному — как ему приходило в голову.

— Не погасить ли огарок? — спросил Андерсен. — Сейчас он не нужен. Потом, в случае необходимости, нам нечего будет зажечь.

— Вот мысль, которая никогда бы не пришла в голову итальянцу! — воскликнул священник.

— Почему?

— Итальянцы не способны что-либо предвидеть. Они спохватываются и вопят, когда уже ничего нельзя исправить.

— Очевидно, — спросил Андерсен, — ваше преподобие не принадлежит к этой легкомысленной нации?

— Я австриец! — сердито ответил священник.

Разговор оборвался. Андерсен задул огарок. После некоторого молчания дама сказала:

— В этой части Италии лучше ездить ночью без света.

— Нас все равно выдает шум колес, — возразил ей священник и недовольно добавил: — Путешествующим дамам следует брать с собой кого-нибудь из родственников. В качестве провожатого.

— Мой провожатый, — ответила дама и лукаво засмеялась, — сидит рядом со мной.

Она говорила об Андерсене. Он снял шляпу и поблагодарил свою спутницу за эти слова.

Как только огарок погас, звуки и запахи усилились, как будто они обрадовались исчезновению соперника. Громче стал топот копыт, шорох колес по гравию, дребезжание рессор и постукивание дождя по крыше дилижанса. И гуще потянуло в окна запахом сырой травы и болота.

— Удивительно! — промолвил Андерсен. — В Италии я ожидал услышать запах померанцевых рощ, а узнаю воздух своей северной родины.

— Сейчас все переменится, — сказала дама. — Мы подымаемся на холмы. Там воздух теплее.

Лошади шли шагом. Дилижанс действительно подымался на отлогий холм.

Но ночь от этого не посветлела. Наоборот, по сторонам дороги потянулись старые вязы. Под их раскидистыми ветвями темнота стояла плотно и тихо, чуть слышно перешептываясь с листьями и дождевыми каплями.

Андерсен опустил окно. Ветка вяза заглянула в дилижанс. Андерсен сорвал с нее на память несколько листьев.

Как у многих людей с живым воображением, у него была страсть собирать во время поездок всякие пустяки. Но у этих пустяков было одно свойство — они воскрешали прошлое, возобновляли то состояние, какое было у него, Андерсена, именно в ту минуту, когда он подбирал какой-нибудь осколок мозаики, лист вяза или маленькую ослиную подкову.

«Ночь!» — сказал про себя Андерсен.

Сейчас ее мрак был приятнее, чем солнечный свет. Темнота позволяла спокойно размышлять обо всем. А когда Андерсену это надоедало, то она помогала выдумывать разные истории, где он был главным героем.

В этих историях Андерсен представлял себя неизменно кра-

сивым, юным, оживленным. Он щедро разбрасывал вокруг себя те опьяняющие слова, которые сентиментальные критики называют «цветами поэзии».

На самом же деле Андерсен был очень некрасив и хорошо это знал. Он был долговяз и застенчив. Руки и ноги болтались у него, как у игрушечного человечка на веревочке. Таких человечков у него на родине дети зовут «хампельманами».

С этими качествами нечего было надеяться на внимание женщин. Но все же каждый раз сердце отзывалось обидой, когда юные женщины проходили мимо него, как около фонарного столба.

Андерсен задремал.

Когда он очнулся, то прежде всего увидел большую зеленую звезду. Она пылала над самой землей. Очевидно, был поздний час ночи.

Дилижанс стоял. Снаружи доносились голоса. Андерсен прислушался. Возница торговался с несколькими женщинами, остановившими дилижанс в пути.

Голоса этих женщин были такими вкрадчивыми и звонкими, что весь этот мелодический торг напоминал речитатив из старой оперы.

Возница не соглашался подвезти женщин до какого-то, очевидно, совершенно ничтожного, городка за ту плату, какую они предлагали. Женщины наперебой говорили, что они сложились втроем и больше денег у них нет.

— Довольно! — сказал Андерсен вознице. — Я приплачу вам до той суммы, которую вы нагло требуете. И прибавлю еще, если вы перестанете грубить пассажирам и болтать вздор.

— Ладно, красавицы, — сказал возница женщинам, — садитесь. Благодарите мадонну, что вам попался этот иностранный принц, который сорит деньгами. Он просто не хочет задерживать из-за вас дилижанс. А вы-то сами ему нужны, как прошлогодние макароны.

— О Иисусе! — простонал священник.

— Садитесь рядом со мной, девушки, — сказала дама. — Так нам будет теплее.

Девушки, тихо переговариваясь и передавая друг другу вещи, влезли в дилижанс, поздоровались, робко поблагодарили Андерсена, сели и затихли.

Сразу же запахло овечьим сыром и мятой. Андерсен смутно различал, как поблескивали стекляшки в дешевых серьгах девушек.

Дилижанс тронулся. Снова затрещал гравий под колесами. Девушки начали шептаться.

— Они хотят знать, — сказала дама, и Андерсен догадался, что она усмехается в темноте, — кто вы такой. Действительно ли вы иностранный принц? Или обыкновенный путешественник-форестьер?

— Я предсказатель, — ответил, не задумываясь, Андерсен. — Я умею угадывать будущее и видеть в темноте. Но я не шарлатан. И, пожалуй, я своего рода бедный принц из той страны, где некогда жил Гамлет.

— Да что же вы можете увидеть в эдакой темноте? — удивленно спросила одна из девушек.

— Хотя бы вас, — ответил Андерсен. — Я вижу вас так ясно, что мое сердце наполняется восхищением перед вашей прелестью.

Он сказал это и почувствовал, как у него холодеет лицо. Приближалось то состояние, какое он всякий раз испытывал, выдумывая свои поэмы и сказки.

В этом состоянии соединялись легкая тревога, неизвестно откуда берущиеся потоки слов, внезапное ощущение поэтической силы, своей власти над человеческим сердцем.

Как будто в одной из его историй отлетела со звоном крышка старого волшебного сундука, где хранились невысказанные мысли и дремлющие чувства, где было спрятано все очарование земли, — все ее цветы, краски и звуки, душистые ветры, просторы морей, шум леса, муки любви и детский лепет.

Андерсен не знал, как называется это состояние. Одни считали его вдохновением, другие — восторгом, третьи — даром импровизации.

— Я проснулся и услышал среди ночи ваши голоса, — спокойно сказал, помолчав, Андерсен. — Для меня этого было довольно, милые девушки, чтобы узнать вас и даже больше того — полюбить, как своих мимолетных сестер. Я хорошо вас вижу. Вот вы, девушка с легкими светлыми волосами. Вы хохотушка и так любите все живое, что даже дикие дрозды садятся вам на плечи, когда вы работаете на огороде.

— Ой, Николина! Это же он говорит про тебя! — громким шепотом сказала одна из девушек.

— У вас, Николина, горячее сердце, — так же спокойно продолжал Андерсен. — Если бы случилось несчастье с вашим любимым, вы бы пошли не задумываясь за тысячи лье через снежные горы и сухие пустыни, чтобы увидеть его и спасти. Правду я говорю?

— Да уж пошла бы... — смущенно пробормотала Николина. — Раз вы так думаете.

— Как вас зовут, девушки? — спросил Андерсен.

— Николина, Мария и Анна, — охотно ответила за всех одна из них.

— Что ж, Мария, я бы не хотел говорить о вашей красоте. Я плохо говорю по-итальянски. Но еще в юности я поклялся перед богом поэзии прославлять красоту повсюду, где бы я ее ни увидел.

— Иисусе! — тихо сказал священник. — Его укусил тарантул. Он обезумел.

— Есть женщины, обладающие поистине потрясающей красотой. Это почти всегда замкнутые натуры. Они переживают наедине сжигающую их страсть. Она как бы изнутри опаляет их лица. Вот вы такая, Мария. Судьба таких женщин часто бывает необыкновенной. Или очень печальной, или очень счастливой.

— А вы встречали когда-нибудь таких женщин? — спросила дама.

— Не далее, как сейчас, — ответил Андерсен. — Мои слова относятся не только к Марии, но и к вам, сударыня.

— Я думаю, что вы говорите так не для того, чтобы скоротать длинную ночь, — сказала дрогнувшим голосом дама. — Это было бы слишком жестоко по отношению к этой прелестной девушке. И ко мне, — добавила она вполголоса.

— Никогда я еще не был так серьезен, сударыня, как в эту минуту.

— Так как же? — спросила Мария. — Буду я счастлива? Или нет?

— Вы очень много хотите получить от жизни, хотя вы и простая крестьянская девушка. Поэтому вам нелегко быть счастливой. Но вы встретите в своей жизни человека, достойного вашего требовательного сердца. Ваш избранник должен быть, конечно, человеком замечательным. Может быть, это будет живописец, поэт, борец за свободу Италии... А может быть, это будет простой пастух или матрос, но с большой душой. Это в конце концов все равно.

— Сударь, — застенчиво сказала Мария, — я вас не вижу, и потому мне не стыдно спросить. А что делать, если такой человек уже завладел моим сердцем? Я его видела всего несколько раз и даже не знаю, где он сейчас.

— Ищите его! — воскликнул Андерсен. — Найдите его, и он вас полюбит.

— Мария! — радостно сказала Анна. — Так это же тот молодой художник из Вероны...

— Замолчи! — прикрикнула на нее Мария.

— Верона не такой большой город, чтобы человека нельзя было отыскать, — сказала дама. — Запомните мое имя. Меня зовут Елена Гвиччиоли. Я живу в Вероне. Каждый веронец укажет вам мой дом. Вы, Мария, приедете в Верону. И вы будете жить у меня, пока не произойдет тот счастливый случай, какой предсказал наш милый попутчик.

Мария нашла в темноте руку Елены Гвиччиоли и прижала к своей горячей щеке.

Все молчали. Андерсен заметил, что зеленая звезда погасла. Она зашла за край земли. Значит, ночь перевалила за половину.

— Ну, а что же вы мне ничего не посулили? — спросила Анна, самая разговорчивая из девушек.

— У вас будет много детей, — уверенно ответил Андерсен. — Они будут выстраиваться гуськом за кружкой молока. Вам придется терять много времени, чтобы каждое утро их всех умывать и причесывать. В этом вам поможет ваш будущий муж.

— Уж не Пьетро ли? — спросила Анна. — Очень он мне нужен, этот пентюх Пьетро!

— Вам еще придется потратить много времени, чтобы несколько раз за день перецеловать всех этих крошечных мальчиков и девочек в их сияющие любопытством глаза.

— В папских владениях были бы немыслимы все эти безумные речи! — сказал раздраженно священник, но никто не обратил внимания на его слова.

Девушки опять о чем-то пошептались. Шепот их все время прерывался смехом. Наконец Мария сказала:

— А теперь мы хотим знать, что вы за человек, сударь. Мы-то не умеем видеть в темноте.

— Я бродячий поэт, — ответил Андерсен. — Я молод. У меня густые, волнистые волосы и темный загар на лице. Мои синие глаза почти все время смеются, потому что я беззаботен и пока еще никого не люблю. Мое единственное занятие — делать людям маленькие подарки и совершать легкомысленные поступки, лишь бы они радовали моих ближних.

— Какие, например? — спросила Елена Гвиччиоли.

— Что же вам рассказать? Прошлым летом я жил у знакомого лесничего в Ютландии. Однажды я гулял в лесу и вышел на поляну, где росло много грибов. В тот же день я вер-

нулся на эту поляну и спрятал под каждый гриб то конфету в серебряной обертке, то финик, то маленький букетик из восковых цветов, то наперсток и шелковую ленту. На следующее утро я пошел в этот лес с дочерью лесничего. Ей было семь лет. И вот под каждым грибом она находила эти необыкновенные вещицы. Не было только финика. Его, наверное, утащила ворона. Если бы вы только видели, каким восторгом горели ее глаза! Я уверил ее, что все эти вещи спрятали гномы.

— Вы обманули невинное создание! — возмущенно сказал священник. — Это великий грех!

— Нет, это не было обманом. Она-то запомнит этот случай на всю жизнь. И, уверяю вас, ее сердце не так легко очерствеет, как у тех, кто не пережил этой сказки. Кроме того, замечу вам, ваше преподобие, что не в моих привычках выслушивать непрошеные наставления.

Дилижанс остановился. Девушки сидели не двигаясь, как зачарованные. Елена Гвиччиоли молчала, опустив голову.

— Эй, красотки! — крикнул возница. — Очнитесь! Приехали!

Девушки опять о чем-то пошептались и встали.

Неожиданно в темноте сильные руки обняли Андерсена за шею, и горячие губы прикоснулись к его губам.

— Спасибо! — прошептали эти горячие губы, и Андерсен узнал голос Марии.

Николина поблагодарила его и поцеловала осторожно и ласково, защекотав волосами лицо, а Анна — крепко и шумно. Девушки соскочили на землю. Дилижанс покатился по мощеной дороге. Андерсен выглянул в окно. Ничего не было видно, кроме черных вершин деревьев на едва зеленеющем небе. Начинался рассвет.

Верона поразила Андерсена великолепными зданиями. Торжественные фасады соперничали друг с другом. Соразмерная архитектура должна была способствовать спокойствию духа. Но на душе у Андерсена спокойствия не было.

Вечером Андерсен позвонил у дверей старинного дома Гвиччиоли, в узкой улице, подымавшейся к крепости.

Дверь ему открыла сама Елена Гвиччиоли. Зеленое бархатное платье плотно облегало ее стан. Отсвет от бархата падал на ее глаза, и они показались Андерсену совершенно зелеными, как у валькирии, и невыразимо прекрасными.

Она протянула ему обе руки, сжала его широкие ладони холодными пальцами и, отступая, ввела его в маленький зал.

— Я так соскучилась, — сказала она просто и виновато улыбнулась. — Мне уже не хватает вас.

Андерсен побледнел. Весь день он вспоминал о ней с глухим волнением. Он знал, что можно до боли в сердце любить каждое слово женщины, каждую ее потерянную ресницу, каждую пылинку на ее платье. Он понимал это. Он думал, что такую любовь, если он даст ей разгореться, не вместит сердце. Она принесет столько терзаний и радости, слез и смеха, что у него не хватит сил, чтобы перенести все ее перемены и неожиданности.

И кто знает, может быть, от этой любви померкнет, уйдет и никогда не вернется пестрый рой его сказок. Чего он будет стоить тогда!

Все равно его любовь будет в конце концов безответной. Сколько раз с ним уже так бывало. Такими женщинами, как Елена Гвиччиоли, владеет каприз. В один печальный день она заметит, что он урод. Он сам был противен себе. Он часто чувствовал за своей спиной насмешливые взгляды. Тогда его походка делалась деревянной, он спотыкался и готов был провалиться сквозь землю.

«Только в воображении, — уверял он себя, — любовь может длиться вечно и может быть вечно окружена сверкающим нимбом поэзии. Кажется, я могу гораздо лучше выдумать любовь, чем испытать ее в действительности».

Поэтому он пришел к Елене Гвиччиоли с твердым решением увидеть ее и уйти, чтобы никогда больше не встречаться.

Он не мог прямо сказать ей об этом. Ведь между ними ничего не произошло. Они встретились только вчера в дилижансе и ничего не говорили друг другу.

Андерсен остановился в дверях зала и осмотрелся. В углу белела освещенная канделябрами мраморная голова Дианы, как бы побледневшая от волнения перед собственной красотой.

— Кто обессмертил ваше лицо в этой Диане? — спросил Андерсен.

— Канóва, — ответила Елена Гвиччиоли и опустила глаза. Она, казалось, догадывалась обо всем, что творилось у него в душе.

— Я пришел откланяться, — пробормотал Андерсен глухим голосом. — Я бегу из Вероны.

— Я узнала, кто вы, — глядя ему в глаза, сказала Елена Гвиччиоли. — Вы Христиан Андерсен, знаменитый сказочник и поэт. Но, оказывается, в своей жизни вы боитесь сказок. У вас не хватает силы и смелости даже для короткой любви.

— Это мой тяжкий крест, — сознался Андерсен.

— Ну что ж, мой бродячий и милый поэт, — сказала она горестно и положила руку на плечо Андерсену, — бегите! Спасайтесь! Пусть ваши глаза всегда смеются. Не думайте обо мне. Но если вы будете страдать от старости, бедности и болезней, то вам стоит сказать только слово — и я приду, как Николина, пешком за тысячи лье, через снежные горы и сухие пустыни, чтобы утешить вас.

Она опустилась в кресло и закрыла руками лицо. Трещали в канделябрах свечи.

Андерсен увидел, как между тонких пальцев Елены Гвиччиоли просочилась, блеснула, упала на бархат платья и медленно скатилась слеза.

Он бросился к ней, опустился на колени, прижался лицом к ее теплым, сильным и нежным ногам. Она, не открывая глаз, протянула руки, взяла его голову, наклонилась и поцеловала в губы.

Вторая горячая слеза упала ему на лицо. Он почувствовал ее соленую влагу.

— Идите! — тихо сказала она. — И пусть бог поэзии простит вас за все.

Он встал, взял шляпу и быстро вышел.

По всей Вероне звонили к вечерне колокола.

Больше они никогда не виделись, но думали друг о друге все время.

Может быть, поэтому незадолго до смерти Андерсен сказал одному молодому писателю:

— Я заплатил за свои сказки большую и, я бы сказал, непомерную цену. Я отказался ради них от своего счастья и пропустил то время, когда воображение, несмотря на всю его силу и весь его блеск, должно было уступить место действительности.

Умейте же, мой друг, владеть воображением для счастья людей и для своего счастья, а не для печали.

ЭДГАР ПО

В конце сентября 1849 года в вагоне поезда, только что отошедшего из Балтиморы в Филадельфию, кондуктор заметил низенького, худого человека в потрепанной одежде. Человек этот лежал без сознания. Когда он пришел в себя, кондуктор высадил его на первой же станции и отправил обратно в Балтимору, где, как полагал кондуктор, у этого человека должны были быть родственники или друзья. Неизвестный человек двигался, как во сне, и почти ничего не понимал. Чемодан его был набит рукописями.

В Балтиморе неизвестный вышел из вокзала, сел на уличную скамейку и просидел несколько часов без движения. Потом он упал. Его подобрали и отправили в больницу.

Через несколько дней, 7 октября 1849 года, этот человек умер от болезни, которую врачи не смогли определить. В медальоне на груди умершего нашли портрет молодой женщины необыкновенной красоты. Как потом выяснилось, это был портрет его матери. С ним умерший не расставался всю жизнь.

Так странно и одиноко окончилось существование замечательного американского писателя Эдгара По.

Современники Эдгара По оставили о нем много воспоминаний, но все эти воспоминания написаны так, будто Эдгар По появился в тогдашней Америке как пришелец с далекой планеты.

О нем писали с почтительным или злым недоумением. Его разглядывали с любопытством и осуждением. Его боялись, но время от времени им восхищались. Он никак не сливался с благопристойной скукой и добропорядочностью, составлявшими основу жизни американца тридцатых и сороковых годов.

Эдгар По был «блудным сыном» Америки. Самое существование этого поэта, фантаста и неудачника, казалось вызовом ханжеству и рутине. В трезвый век пара и торговых лихорадок появился человек, который жил только силой своего воображения и насмехался над всем, что составляло смысл жизни его соотечественников.

Этого ему не могли простить, за это ему мстили. Его за-

ставили почти всю жизнь голодать, нищенствовать, обивать пороги редакций. При жизни ему платили равнодушием, после смерти — клеветой.

Эта посмертная клевета на Эдгара По вызвала возмущенный возглас французского поэта Бодлера: «Почему в Америке не запрещают собакам ходить на кладбище?»

Эдгар По написал много фантастических рассказов. Он написал много великолепных стихов и поэм, ставших сокровищами не только американской, но и всемирной поэзии.

Его поэмы «Ворон» и «Колокола» справедливо считаются по глубине и поэтической силе мировыми шедеврами.

Кроме того, Эдгар По впервые создал приключенческие и так называемые детективные рассказы, отличавшиеся необыкновенной точностью и блеском анализа. Пожалуй, на первом месте среди таких рассказов стоит «Золотой жук» — рассказ, овеянный острым и волнующим воздухом тайны.

Эдгар По был одним из родоначальников той фантастической литературы, которая получила свое развитие в произведениях Жюля Верна и Герберта Уэллса.

По крови Эдгар По ирландец. Он происходил из старинного ирландского рода. Предки его переселились в Америку. Дед Эдгара участвовал в войне за независимость Соединенных Штатов. По оставил генеральский дом с его прочным укладом и стал актером. Он женился на английской актрисе Элизабет Арнольд, женщине редкой красоты, сироте, родившейся на палубе корабля среди океана и воспитанной чужими людьми. Родители По переезжали в фургоне из города в город с труппой бродячих актеров.

В 1809 году в Бостоне у них родился сын Эдгар.

Когда Эдгару было всего два года, родители его почти в одно время умерли от чахотки. Мальчика взял на воспитание шотландский купец Джон Аллен из города Ричмонда в Виргинии.

Эдгар, красивый, своенравный и смелый мальчик, отличавшийся необыкновенной добротой, рос в богатой семье. Вскоре Аллен уехал на пять лет по торговым делам в Англию и взял Эдгара с собой.

То было время битвы при Ватерлоо, пленения Наполеона, молодости Байрона и Пушкина. Ветер романтики бушевал над Европой. Маленький Эдгар учился в школе на окраине Лондона, на тихой улице, обсаженной вековыми вязами. Улица эта выросла по сторонам сохранившейся древней римской дороги. Вся эта обстановка и бледное небо Англии вызывали мечтательность. С детских лет Эдгар дал волю своему воображению

и потом с полным правом говорил о себе, что «мечтать было единственным делом моей жизни».

В 1820 году Эдгар вместе с Алленом вернулся в Виргинию и поступил в ричмондскую школу. Учителей этой школы удивляло, что Эдгар «всегда был готов уцепиться за любую трудную умственную задачу». Мальчик великолепно плавал. Он прославился на весь штат тем, что проплыл шесть миль против течения бурной реки. Он мечтал переплыть Ламанш.

Так как будто безоблачно шла жизнь, но в глубине ее пряталась горечь. Эдгар никогда не мог забыть, что он приемыш. Весь характер жизни в доме Аллена был ему чужд и даже враждебен. Чувство одиночества не покидало «странного Эдди». Он очень болезненно и пылко отзывался на проявления доброты по отношению к себе. Случайная знакомая, Елена Стенперд, однажды приласкала его, и он отплатил ей за это глубокой привязанностью. Стенперд вскоре умерла. Эдгар часто ходил на ее могилу, иногда даже засыпал на могиле в слезах, а утром его находили на кладбище слуги шокированного этими «выходками» Джона Аллена.

Разрыв с приемным отцом был неизбежен. Он произошел, когда Эдгар поступил в Виргинианский университет.

Там он жил среди студентов весело и безалаберно. Он поражал всех своей удивительной памятью и немного сумбурной, но необыкновенной речью. Он потрясал слушателей, зачаровывал их, вырывал из привычной действительности и переносил в мир поэзии, вдохновения, тайн и тревог. «Гений подкидыш», — говорили о нем преподаватели и студенты.

Эдгар не окончил университета. Он порвал с приемным отцом, уехал в Бостон, и с этого времени началась его самостоятельная, порой легендарная бродячая и трудная жизнь.

В Бостоне он выпустил первую книгу своих стихов — «Тамерлан». Потом на шесть лет он исчез из Америки. Никто не знает, что происходило с ним за эти шесть лет. Здесь начинается область легенд. Говорят, что он был в Греции, Италии, участвовал в польском восстании, жил в Петербурге, был ранен во время драки в Марселе и, наконец, якобы служил под вымышленным именем в американской армии. Известно только, что в 1830 году он появился в Вест-Пойнте, в Военной академии, уже усталым, с подорванным здоровьем юношей, но пробыл там недолго. Он несколько раз, очевидно сознательно, нарушил дисциплину, был предан военному суду и исключен из армии. Потом Эдгар По выпустил две новые книги поэм и опять исчез на три года. Появился он в 1833 году в редакции журнала «Субботний гость» в Балтиморе. Он принес в редак-

цию два рассказа: «Рукопись, найденная в бутылке» и «Низвержение в Мальстрем» — и ушел. Рассказы произвели ошеломляющее впечатление. Писатель Кеннеди бросился разыскивать неизвестного автора. Он нашел Эдгара По в холодной каморке, умирающего от голода. Кеннеди поразило нервное и печальное лицо По, светло-оливковый цвет его кожи, живые и напряженные глаза и весь облик этого нищего, державшего себя с необыкновенным достоинством и изяществом подлинного джентльмена.

Рассказы были напечатаны. Слава пришла сразу. Она прокатилась волной по Америке и перебросилась в Старый Свет. Но слава ни разу в жизни не дала Эдгару По ни одного дня, свободного от нужды и забот.

В 1837 году жизнь, наконец, улыбнулась Эдгару. Он полюбил свою двоюродную сестру Виргинию. Некоторое время спустя Эдгар По обвенчался с нею в Ричмонде. По отзывам всех, кто видел Виргинию, это была девушка, полная внешнего и внутреннего изящества, простоты и ласковости. Она глубоко и преданно любила Эдгара По. Знакомые прозвали ее «Троицын цвет» — по имени нежного цветка, украшавшего поля вокруг Ричмонда.

Виргиния умерла от чахотки, когда ей было всего двадцать пять лет. Эдгар По прожил с ней и с ее матерью Клемм несколько спокойных годов. Он был очень весел в это время, мягок и добр. Когда жить в Нью-Йорке, Ричмонде, Филадельфии и других городах стало уже не по силам из-за денежных затруднений, По переехал в деревню.

Он жил с Виргинией и ее матерью в маленьком доме, окруженном мириадами цветов и старыми вишневыми деревьями. Поэтесса Френсис Локки вспоминает, как легко и весело работал в это время Эдгар По. Он показывал ей свои рукописи. Писал он на узких и длинных листах бумаги, свернутой в рулоны. По, смеясь, развертывал перед ней эти длинные рукописи и протягивал их через весь сад.

В деревне Эдгар По начал писать очерки о тогдашних американских писателях. Это были язвительные и беспощадные портреты. Литературная Америка всполошилась. Началась обдуманная травля Эдгара По. Ему начали возвращать рукописи из журналов. На него клеветали. Наступили безденежье и нужда. По пришел в отчаяние и начал пить. Все рушилось.

Один из журналов напечатал воззвание к гражданам Америки с просьбой жертвовать деньги и вещи в пользу нищего Эдгара По. Это воззвание о милостыне привело писателя в ярость. Он считал, что его литературные заслуги перед Аме-

рикой таковы, что правительство может помочь ему в трудную минуту. Но правительство ответило на обращение Эдгара По грубым отказом.

В январе 1847 года Виргиния умерла в пустом деревенском доме — все было продано. Она умерла на полу, на охапке чистой соломы, застланной белоснежной простыней, умерла, укрытая старым рваным пальто Эдгара По.

Эдгар По пережил Виргинию только на два года. Он сильно страдал, метался по стране. Он искал новых привязанностей, но никто не мог заменить Виргинию. Один только человек остался верен Эдгару По до смерти, по-матерински заботился о нем. Это была мать Виргинии, старуха Клемм.

Хоронили Эдгара По в Балтиморе. Хоронили чужие, а может быть, и враждебные люди.

Они заказали очень тяжелую каменную плиту, чтобы положить ее на могилу неспокойного поэта. Как будто тяжестью этой плиты они измеряли свое пренебрежение к нему. Как будто они боялись, что он может встать из могилы — насмешливый и непонятный.

Когда каменную плиту положили на могилу Эдгара По, она раскололась. Весной в трещине проросли занесенные ветром семена полевых цветов, и могила закрылась этими цветами и высокой травой.

Так жил, работал и умер Эдгар По. Жизнь его, равно как и смерть, лишний раз подтвердила ту истину, что старое общество всегда было жестоко и несправедливо к людям большого таланта и большой души.

РАВНИНА ПОД СНЕГОМ

Снег начал идти с вечера и к ночи запорошил всю равнину. Океан катил на песок длинные волны. Они шумели без устали — месяцы, годы, — и Аллан так привык к этому шуму, что перестал его замечать. Наоборот, Аллана поражала окрестная тишина. Ему казалось, что она выпала на землю вместе со снегом.

Холодный снег и черные оконные стекла с отражением свечи. Должно быть, эту свечу было видно с океана, где волны мотали тяжелую рыбачью барку. И рыбаки, глядя на слабый огонь, думали о кипящем котелке и сухой постели.

Аллан усмехнулся. Вечный самообман, вечная наивность человеческих надежд и мечтаний! Хороши бы они были, эти рыбаки, если бы им удалось пристать к берегу и они прошли бы через равнину к его дому! Что бы они увидели здесь? Пустую комнату, свечу, солдатскую койку и холодную золу в камине. И его, Аллана, закутанного в рваный шарф, озябшего и до того печального, что он даже не мог говорить. Потому что он был одинок, как никто. Даже мышь, что шуршала в золе, была счастливее его. Она была серой и веселой мышью, а он был великим и никому не нужным поэтом Америки — огромной страны, где сейчас начиналась эта затяжная зима.

Люди любят рассуждать о счастье. Но никто не знает, что самое большое счастье — в понимании. Он не хотел ни славы, ни покоя. Он хотел только одного — чтобы окружающие поняли, что его воображения и умения радовать хватит на тысячи людей, а не на двух-трех.

Ему хотелось дарить без конца. И чем больше он дарил, тем становился богаче.

Он мог, сидя на камне у перекрестка, рассказать маленькому негритенку свой новый замысел. Этот замысел был так похож на сказку, что Аллан сам смеялся от неожиданности, когда рассказывал его. И негритенок тоже хохотал и хлопал себя по бокам черными руками.

Он мог сказать случайной попутчице в дилижансе о своей любви к ней, начавшейся сейчас, внезапно. Конец этой любви

был близок — на первой же остановке, где она сойдет. Но вместе с тем Аллан знал, что конца этой любви не будет. Потому что есть память, и она не даст покоя.

Аллан так ясно представлял себе эту встречу, как будто он должен был тотчас сесть к столу и написать о ней. Усталое от дороги лицо молодой женщины, визг чайки над тусклой водой, фырканье лошадей, скрип песка под колесами — и потом, после нескольких его слов, мир каким-то чудом зацветет вокруг.

Женщина подымет глаза, улыбнется, и он заметит смятение на ее лице. Кто этот человек? Гость из той страны, о которой мы иногда думаем втихомолку, но не верим в ее существование? Или безумный?

Почему солнце прорвало гряду сырых облаков и морская пена ослепительно засверкала, как взбитый снег? Почему возница запел о той, что похитила его сердце, ничего не сказав о любви? Почему с далеких холмов доносится гул леса, а редкие капли дождя тяжело бьют по крыше дилижанса? Почему радуга опрокинулась над равниной, как пограничная арка? Что это за густое жужжание? Неужели золотой жук пролетел за окном? Почему дрожит ее рука и губы силятся сказать: «Кто вы? Не надо было говорить мне этого».

Он знает, что она права, что он разрушил освященное годами течение жизни, что отныне ее комната с полосатыми обоями, голос мужа, треск кофейной мельницы и добропорядочные гости — все это покажется мертвым и скучным, как обыденный день, заполненный заботами свыше сил.

«Меня могут обвинить в пристрастии к женщинам и детям», — подумал Аллан.

Ну, хорошо. Вспомним другое. Больницу в Морристоне, когда на соседней койке умирал лесоруб. Его придавило сосной, и старику больше ничего не оставалось, как умереть.

И он умер, конечно. Но ночью, за два часа до смерти, он открыл глаза и спросил Аллана:

— Сосед! А, сосед! Вы знаете, что такое леса?

— Знаю, — ответил Аллан, немного подумав. — Это, пожалуй, то же самое, что океан, если смотришь на него с одинокой вершины. Они шумят, колеблются, и солнце закатывается в листве, как в темной бездне. И если птица сядет над головой и прокричит пять раз, то, значит, где-то здесь, в пяти ярдах, зарыт старинный клад. Его легко отыскать и вытащить из песка, окованный железом сундук. Можно разбить его и найти там — нет, не дублоны! — а подвенечное платье для вашей дочери. Ее, кажется, зовут Чармен?

— Да, — сказал лесоруб, — ее зовут Чармен.

— А вам случалось, — спросил Аллан, — встречаться с глазу на глаз с медведем?

— Еще бы! — ответил лесоруб. — Он долго смотрел на меня своими зелеными буркалами, потом мы подмигнули друг другу и разошлись. Мы лесные жители, и нам незачем задираться. А Чармен, — неожиданно добавил лесоруб, — всего девятнадцать лет. Я написал ей, что скоро поправлюсь.

Чем можно было его утешить? Только ложью.

— Вы знаете, — сказал Аллан, — стоит вам закрыть глаза, поглубже вздохнуть и вызвать в памяти Чармен — и все случится так, как вы хотите. Попробуйте! Ну! Ветер всегда затихает к вечеру, и солнце освещает сосны над вашей лачугой. Смотрите на небо сколько вам угодно, но вы увидите только одно-единственное облако, такое маленькое, как перо, потерянное сойкой. И больше ничего. Я же знаю — вам хочется дождаться, когда темнота настолько сгустится, что в ней заблестят звезды. Это значит, что пора ужинать. И ужин, конечно, готов — Чармен гремит мисками и напевает песенку. Ах, черт! Я позабыл ее слова.

— А-а, — догадался лесоруб, — это, должно быть, о том нищем медвежонке, что клянчил у девочки милостыню?

— Да, да! Это та самая песенка. Я вспомнил. И я спою ее, но тихо, чтобы не услышали сиделки. Они думают, что все доставляющее нам радость служит во вред.

Он начал напевать:

Тук-тук! — стучится в дверь
Какой-то мокрый зверь —
Голодный медвежонок.
«Прошу меня простить,—
Нельзя ли одолжить
У Чармен мне деньжонок?»

Лесоруб уснул под эту песню и так и не проснулся. Жизнь затихла в нем, как отдаленный звон.

Лесоруба похоронили на кладбище недалеко от больницы. Между зеленых могил паслись стреноженные лошади.

Аллан вызвался сделать на деревянном кресте эпитафию. Он написал:

«Здесь спит Томас Бирн, лесоруб, 63 лет, убитый упавшей сосной. Он всю жизнь трудился и потому был благородным человеком. Да упокоит его господь в селеньях праведных».

Аллан выздоравливал и доживал в больнице последние дни. Он часто ходил на могилу Бирна. Ему нравилось думать, что под этим еще не заросшим травою холмом лежит человек, который мог бы стать его другом.

Они бы наверняка сошлись, потому что лесорубу не надо было объяснять всех сложностей жизни, подтачивавших существование Аллана. С ним Аллан отдыхал бы за разговором о том, как надо разводить пилу и подманивать птиц.

Перед тем как покинуть больницу, Аллан написал дочери лесоруба о последних минутах отца. И тотчас исчез, как бы боясь, что Чармен приедет и застанет его в Морристоне.

Аллан подошел к окну. Океан разыгрывался и сотрясал берега.

— Никогда! — сказал Аллан и поежился от холода. — Никогда! — повторил он.

Никогда не вернется прожитая жизнь. Ему было жаль ее. Если выбросить годы нищеты, утрат и путаницы, возникавшей почти при каждом общении его с людьми, то все же останется несколько десятков дней, ласковых и тихих, как падение этого снега.

Вирджиния умерла. Ее звали «Троицын цвет». Так зовут в этом штате весенний легкий цветок.

Он виноват в ее смерти. Он был не способен заработать несколько десятков долларов, чтобы позвать врача, протопить эту старую лачугу, создать Вирджинии хотя бы подобие покоя. Он мог только мечтать. Это было единственным делом его жизни.

Что он мог еще? Только укрывать Вирджинию своим рваным пальто, когда она лежала в жару на соломенном тюфяке. И, отвернувшись, глотать слезы. Даже бродячий кот, прижившийся в их доме, знал лучше Аллана, что было нужно делать. Все последние ночи он лежал на груди у Вирджинии и согревал ее своей теплотой.

Тогда была такая же зима и океан шумел так же, как и сейчас, — ему не было дела до страданий Вирджинии. Тысячи лет он накатывал на землю горы зеленой воды. Это занятие было таким величественным, что людские горести казались перед ним мимолетными, как шорох песчинки.

— Неужели никогда? — спросил Аллан и повернулся лицом к темной комнате.

Как долго он живет с этими скудными вещами! Как безропотно они несут вместе с ним тяжесть существования! Они были здесь при Вирджинии. Она прикасалась к ним. С ними можно было разговаривать вполголоса, но все равно не услышишь от них ни одного слова в ответ.

— Почему вы живете, а ее нет? — громко спросил Аллан.

Вещи молчали.

— Ну, ничего, — сказал Аллан, — не обижайтесь. Я никогда вас не брошу.

Вещи не отвечали.

— Боже мой! — сказал Аллан. — Как пережить эту ночь!

Он сел к столу и начал писать. Это его немного успокоило, хотя он и знал, что каждый его новый рассказ вызовет злое, а в лучшем случае почтительное недоумение. В Америке к нему относились как к пришельцу с чужой планеты.

Как смеет этот нищий поэт разрушать своим острым и сверкающим словом добропорядочность и твердые понятия и превращать трезвый мир в чучело для насмешек! Как он смеет выдавать свое воображение за нечто столь же действительно существующее, как существуют биржи, звездный флаг, церкви и конторы!

Что это дает, кроме короткой ложной радости и длительной сосущей под сердцем тоски? Зачем отравлять сердца и рассказывать прекрасные небылицы? Для лишних слез? Для разочарований? Для чего?

«Неправда! — говорил про себя Аллан. — Я — веселый легкий человек. Не хмурьтесь! Засмейтесь мне навстречу. Я хочу прибавить вам каплю счастья. А вы отшатываетесь от нее, как от яда. Глупцы!»

«Я глубоко убежден, — писал Аллан, — что человек может совершать чудеса. Если мне не удастся доказать это, то через пятьдесят или сто лет появится другой человек, который докажет это лучше меня. Я вовсе не хочу сказать — избави господи! — что именно я способен сделать что-нибудь чудесное. Но все же я заметил, что люди охотно верят в те истории, которые я для них выдумываю, и тотчас рассказывают о них друг другу. Так у людей возникает твердое убеждение в существовании того, что выдумано мной и никогда не бывало. А разве это не чудо?

Мы знаем, что корабли Магеллана обошли вокруг света, а адмирал Нельсон был убит в Трафальгарском бою. Но с такой же достоверностью мы знаем, что существовал принц Гамлет, а леди Макбет не могла отмыть со своих рук кровавые пятна...»

Кто-то сильно постучал, должно быть кулаком, в стену. Аллан прикрыл исписанную страницу валявшимся на столе листком пожелтевшей бумаги с кривым рядом цифр, встал и вышел в прихожую. Дуло в разбитое окно, и было слышно, как за порогом нетерпеливо бьет ногой по мерзлой земле и фыркает верховой конь.

Аллан, не окликая ночного гостя, распахнул дверь.

— А-а! — сказал он. — Доктор Грегори! Как это вы решились приехать в такую ночь!

Грегори, нагнувшись, вошел в прихожую, снял шляпу и стряхнул с нее снег. Это был высокий сухой человек со щеками кирпичного цвета. Он прищурил и без того маленькие глаза, улыбнулся и протянул Аллану руку.

— Мой долг, — ответил он хрипловатым голосом. — Я был здесь неподалеку, у Фридера. Он подыхает от водянки. Вас уже две недели не видели в Вест-Пойнте. Я решил заехать по пути и проведать, в добром ли вы здоровье, Аллан.

Они вошли в комнату.

— К сожалению... — пробормотал Аллан и взглянул на черный холодный камин.

— Не стоит беспокоиться, — ответил Грегори, — раз в кармане всегда есть вот это... А стаканы найдутся.

Он вынул из кармана и поставил на стол бутылку виски.

Сначала они выпили молча и медленно. Океан ревел все яростнее, он совсем осатанел. Пламя свечи трепетало на мраморном лице богини Паллады — ее бюст стоял на старом шкафу.

— Пыль у вас, — сказал, наконец, Грегори. — Пыль и холод!

Он обернулся к Палладе.

— Разбейте эту женскую голову, эту богиню победы!

— Зачем?

— Она вам не принесла ни победы, ни даже успеха.

— Как знать, — сдержанно ответил Аллан.

— Что там знать! — воскликнул Грегори. — Ваша участь ясна, как вот этот стакан. Считайте себя кем хотите. Посланником неба. Или ада. Мне все равно. Что вы еще можете выдумать, Аллан? Многое? Прекрасно! А что вы за это получите? Пыль и холод? И писк мышей вон там, в камине?

Аллан пристально посмотрел на Грегори. Доктор мало выпил, но был уже пьян и как всегда начинал придираться. Аллан усмехнулся.

— Вы гордитесь своим воображением, — сердито сказал Грегори. — А между тем не можете выжать из него ни цента. Вы не знаете, что такое жизнь. Поездите по ночам, как я. Под этим снегом. На старой лошади. А чего ради? Ради благодарности нищих и бездельников? Из нее, так же как и из вашей поэзии, не выжмешь гроша.

— Я слушаю вас очень внимательно.

Доктор стукнул кулаком по столу.

— Черт меня побери, но я заслуживаю лучшего существо-

вания! Я просился лекарем в армию генерала Тейлора. Мне нравилась эта мексиканская война. Там здорово грели руки.

— Америка полна негодяями и искателями приключений, — мягко заметил Аллан.

— Искателями золота, — поправил Грегори. — Не стоит быть простачком в наше время, Аллан.

Грегори в упор посмотрел на Аллана.

— Я, кажется, чуточку выпил. Да! Так как же, Аллан? Можете вы из ваших мечтаний вытряхнуть хоть единый доллар? Сколько же после этого стоит ваша голова?

— Продолжайте!

— Хо! — крикнул доктор. — Я не дам за нее даже свой рваный зонтик.

— У меня нет охоты, — спокойно сказал Аллан, — слушать любую пьяную болтовню. Вы мне помешали.

— Все равно у вас нет выбора собеседников, — пробормотал Грегори. — Чему я помешал? Изобретению философского камня? Или эликсира молодости?

Глаза Аллана почернели от гнева.

— Хорошо! — воскликнул он. — Раз вы издеваетесь над воображением... видите этот рваный листок с цифрами?

— Счет от лавочника, — сказал Грегори и налил себе виски. — Вижу. Посмотрим, что вы еще выдумаете. В вашем теперешнем положении.

— Это не счет от лавочника. Вы недогадливый человек, Грегори. Особенно когда напьетесь и грубите. Я нашел этот листок в старом фолианте. В описании открытия Флориды адмиралом Понсэ де Леоном. Я купил эту книгу у негра в Вест-Пойнте. Она попахивает перцем и веками.

— Просто пахнет негром, — возразил Грегори.

— Этот листок был вклеен между двумя страницами. Судя по чернилам, бумаге и почерку, ему около двухсот лет. Это тайная запись. Вы могли бы ее разобрать?

— И не подумал бы!

— Для этого у вас просто не хватит гибкости ума, — вежливо объяснил, улыбнувшись, Аллан. — Нужно найти ключ. Я нашел его и восстановил эту запись. За несколько часов.

— А-а, — небрежно протянул Грегори. — Что же там было такого особенного?

— В школе вы учили историю завоевания Америки. Вы знаете, конечно, о каперах и пиратах. Одного из них звали Блейк. Он был англичанином, но работал на испанского короля.

— Спасибо за свежие новости! — пробормотал Грегори. — Блейк! Он был самым богатым подлецом на этой земле.

— Перед смертью Блейк зарыл свои богатства. Никто не знает где. Их искали сто лет и...

— Нашли? — спросил Грегори.

— Нет. Но сейчас их найти ничего не стоит.

Грегори безнадежно махнул рукой.

— Ох, это старые сказки, Аллан! Для парализованных бабушек около камина.

— Записывайте! — строго сказал Аллан. — Я буду расшифровывать эту ветхую запись и диктовать. Я читаю теперь эти цифры с такою же легкостью, как вы рецепты. Но до сих пор я не удосужился выразить эту математическую запись в словах.

— Забавно! — пробормотал Грегори, взял перо, резко отодвинул рукописи Аллана и приготовился писать.

— Пишите! «Я, божьей милостью известный всем Блейк, завещаю тому, кто сможет прочесть эту предсмертную запись, не обращать ее во зло людям, а применить для добра. Я беру с него клятву в этом перед престолом всевышнего. В случае если он найдет мои сокровища, накопленные в морских схватках, — да отпустит мне господь невинно пролитую кровь! — то пусть возьмет себе только сотую часть, а все остальное отдаст первой же девчонке, какую он встретит в окрестностях, при условии, что, кроме рваного платья, на ней ничего не будет надето.

Если этот мой приказ не будет исполнен, то в день воскресения мертвых я встану из могилы и сочтусь с тем обманщиком самым страшным судом, какой способен придумать человеческий разум.

Клад зарыт к югу от форта Брунсвик, на острове Джекиле, под третьим холмом, если идти от северной оконечности острова, от мыса Иглы. Найдя середину холма, надо отметить сто семнадцать шагов к юго-юго-западу, к тому месту, где среди наваленных в беспорядке камней лежит обломок черного лабрадора. От этого обломка отсчитать еще тридцать шагов на двести сорок один градус и тогда начинать работу.

Сокровища эти могут ослепить весь человеческий род. Даже всемилостивейший мой король не обладает и третьей частью таких богатств, хотя в его владениях не заходит солнце и любой ураган затихает, не долетев до их середины».

— Переписали? — спросил Аллан, выждав, когда Грегори допишет последнее слово.

— Да. Занятная штука.

— Благодарю вас, — Аллан взял написанный Грегори ли-

сток из-под руки у доктора и небрежно засунул в старый фолиант. — Теперь вы убедились в силе воображения?

Грегори медленно взглянул на Аллана, подмигнул на фолиант, хлопнул себя по коленям набухшими, красными руками и захохотал.

— Вы здорово умеете морочить голову, — признался он добродушно. — Что же вы до сих пор не выкопали этот клад, Аллан? А? Нет времени? Или при вашем богатстве вы в нем не нуждаетесь?

Аллан не ответил.

— Ну ладно! — примирительно сказал Грегори. — Хватит. Оставим эти детские бредни. Меня сейчас занимает другое. Как вы?

— Бессонница, — ответил Аллан. — Это тяжелее всего. Мне хочется записать мысли, что проносятся всю ночь напролет в моей голове. Но тогда они остановятся.

— И слабость? — спросил Грегори.

— Да. И слабость.

— Нервы натянуты с силой струны, — заметил Грегори. — А прочности в них не больше, чем в паутине.

Он задумался.

— Что же мне делать с вами? Я вам скажу откровенно — надо лечь в больницу.

— Опять! — с тоской воскликнул Аллан. — Нет! Ни за что!

— О боже мой! — вздохнул Грегори. — Все не так! Я могу дать вам порошки от бессонницы. Но это вас не спасет.

— Меня ничто не спасет.

Грегори строго посмотрел на Аллана, достал из жилетного кармана несколько бумажных пакетов, порылся в них и протянул один Аллану.

— Примите сейчас. Тогда к утру уснете. Можно с виски. Это будет сильнее.

Аллан высыпал в стакан виски белый мохнатый порошок и выпил залпом.

— Ночь кончается, — сказал Грегори. — Я бы мог посидеть у вас до утра, чтобы проследить за вашим состоянием. Но кто же за мной закроет дверь, когда вы уснете?

— Я могу закрыть ее сейчас.

— Вы, как всегда, чрезвычайно любезны.

Грегори встал так резко, что порыв воздуха погасил свечу. Тотчас ночь побледнела, и Аллан увидел за окном в освещении, похожем на отблеск лунного холодного огня, пенистую даль океана и черное дерево под окном.

— Ну что же вы? — зло сказал Грегори. — Будете закрывать дверь или нет? Советую зажечь свечу.

Грегори пошел в прихожую и наткнулся в темноте на стул. Он вышел, отвязал коня, похлопал его по шее, потом крикнул:

— Спокойной ночи, Аллан!

Аллан не ответил. Он вышел в прихожую, когда за открытой дверью был уже слышен удаляющийся топот копыт. Лошадь шла галопом.

— Четкий топот копыт раздавался в долине! — проговорил Аллан, стараясь, чтобы ударения в словах совпадали с ударами лошадиных копыт. И повторил: — Четкий топот копыт раздавался в долине!

Он вернулся в комнату, зажег свечу, взял фолиант, опрокинул его над столом и потряс. Потом он перелистал весь фолиант по страницам. Записки, сделанной Грегори, не было. Аллан засмеялся:

— Я победил. Даже эту сухую подметку. Пусть теперь перероет весь остров Джекиль Там столько песка, что хватит копать на тысячу лет.

Аллан взял листок с цифрами. Это была страница, вырванная из школьной тетради. В нее Аллану завернули в какой-то лавчонке сыр — на бумаге остались жирные пятна.

«Бедный мальчик! Он никак не мог решить уравнение с двумя неизвестными».

Далекий пушечный удар внезапно прокатился над океаном. Блеснул багровый свет.

Аллан погасил свечу и вгляделся в темноту. Что там происходит? Стремительная заря окрасила волны в мрачный цвет меди, и стал виден сорокапушечный корабль. Он шел под полными парусами и вел огонь. На его мачте вился черный флаг с изображением белой человеческой руки.

Блейк! Кого он преследует? Дым застилал волны. Да, конечно, это был Блейк, гость из прошлого века.

Но почему же он уже идет от берега к дому Аллана, увязая в песке, и ветер треплет кружевные обшлага его камзола? Толстоносый Блейк с обожженным лицом. Разбойник и шутник, придумавший изобразить человеческую руку на флаге.

«Мне будет легко сговориться с ним», — сказал Аллан, закрыл глаза и положил голову на стол.

Стало темно и душно, но Аллан все же видел, как в этой темноте равнина зацвела фиалками от края до края. Цветы испускали тонкий звук, будто в каждом была заложена маленькая струна.

«Да это же сон! — подумал с облегчением Аллан. — Ка-

кая сладкая отрава! Хочется жить, но нет сил ей сопротивляться. Вирджиния, уже зацвел твой троицын цвет. Дай руку! Вот так. Почему она ледяная и я не узнаю твой голос? Я знаю каждый твой палец, потому что всем им я когда-то рассказывал по очереди сказки. Что это за пропасть, куда меня тянет, как в Мальстрем?

Помоги мне! Открой мне глаза, Вирджиния!»

Утром к дому Аллана подошла робкая худенькая девушка — Чармен Бирн.

Ветер стих, но было пасмурно. Над океаном поблескивала синева.

Чармен постучала, но никто не ответил. Она заметила, что дверь не заперта, и тихонько вошла в дом.

Худой человек небольшого роста сидел у стола. Голова его лежала на раскрытом фолианте.

— Мистер Аллан! — позвала Чармен.

Человек не ответил.

Тогда Чармен с бьющимся сердцем подошла к Аллану и подняла его голову. Он был мертв.

Чармен с трудом уложила его на солдатскую койку.

На шее у Аллана висел на цепочке маленький медальон. Чармен открыла его. Там был портрет молодой женщины редкой красоты. Сбоку рукой Аллана было написано: «Моя мать».

Чармен наклонилась, осторожно взяла ладонями голову Аллана, нежно сжала ее и поцеловала в губы.

Лицо Аллана было прекрасно. Казалось, никогда он не был достоин большей любви, чем сейчас.

Аллан был похоронен на песчаной дюне вблизи океана. На могиле его положили каменную плиту с его именем и надписью, что он прожил на этом свете всего сорок лет.

Через год после его смерти, в бурную и холодную ночь, к могиле подъехал на старом верховом коне доктор Грегори. Он соскочил с коня, оглянулся, подошел к могиле, быстро вынул из-под плаща тяжелый молоток и со всего размаху ударил им по могильной плите. Плита раскололась на несколько частей.

Конь, испугавшись удара, отскочил и помчался галопом вдоль берега. Грегори молча побежал за ним, но замешкался, чтобы закинуть молоток в океан. Потом и конь и Грегори исчезли.

Весной из трещин могильной плиты потянулись ростки троицына цвета, и вскоре вся плита покрылась тесной толпой этих легких цветов.

ОСКАР УАЙЛЬД

В ноябре 1895 года в Реддингскую каторжную тюрьму был доставлен из Лондона в ручных кандалах знаменитый английский писатель Оскар Уайльд. Он был приговорен к нескольким годам заключения за «нарушение нравственности».

На вокзале в Реддинге вокруг Уайльда собралась толпа любопытных. Писатель, одетый в полосатую арестантскую куртку, стоял под холодным дождем, окруженный стражей, и плакал впервые в жизни. Толпа хохотала.

До тех пор Уайльд никогда не знал слез и страдания. До тех пор он был блестящим лондонским денди, бездельником и гениальным говоруном. Он выходил гулять на Пикадилли с цветком подсолнечника в петлице. Весь аристократический Лондон подражал Уайльду. Он одевался так, как Уайльд, повторял его остроты, скупал, подобно Уайльду, драгоценные камни и надменно смотрел на мир из-под полуприкрытых век, почти так, как Уайльд.

Уайльд не хотел замечать социальной несправедливости, которой так богата Англия. При каждом столкновении с ней он старался заглушить свою совесть ловкими парадоксами и убегал к своим книгам, стихам, зрелищу драгоценных картин и камней.

Он любил все искусственное. Оранжереи были ему милее лесов, духи — милее запаха осенней земли. Он недолюбливал природу. Она казалась ему грубой и утомительной. Он играл с жизнью, как с игрушкой. Все, даже острая человеческая мысль, существовало для него как повод для наслаждения

В Лондоне около дома, где жил Уайльд, стоял нищий. Его лохмотья раздражали Уайльда. Он вызвал лучшего в Лондоне портного и заказал ему для нищего костюм из тонкой, дорогой ткани. Когда костюм был готов, Уайльд сам наметил мелом места, где должны быть прорехи. С тех пор под окнами Уайльда стоял старик в живописном и дорогом рубище. Нищий перестал оскорблять вкус Уайльда. «Даже бедность должна быть красивой».

Так жил Уайльд — надменный человек, погруженный в кни-

ги и созерцание прекрасных вещей. По вечерам он появлялся в клубах и салонах, и это были лучшие часы его жизни. Он преображался. Его обрюзгшее лицо становилось молодым и бледнело.

Он говорил. Он рассказывал десятки сказок, легенд, печальных и веселых историй, пересыпал их неожиданными мыслями, блеском внезапных сравнений, отступлениями в область редчайших знаний.

Он напоминал фокусника, вытаскивающего из рукава груды пестрой ткани. Он вытаскивал свои истории, расстилал их перед удивленными слушателями и никогда не повторялся. Уходя, он забывал о рассказанном. Он бросал свои рассказы в подарок первому встречному. Он предоставлял друзьям записывать все, что они слышали от него, сам же писал очень мало. Едва ли сотая часть его рассказов была записана им впоследствии. Уайльд был ленив и щедр.

«В истории всего человечества, — писал об Уайльде его биограф, — никогда еще не было такого замечательного собеседника».

После суда все было кончено. Друзья отшатнулись от него, книги были сожжены, жена умерла от горя, дети были отняты, и нищета и страдание стали уделом этого человека и уже не покидали его до самой смерти.

В тюремной камере Уайльд, наконец, понял, что значит горе и социальная несправедливость. Раздавленный, опозоренный, он собрал последние силы и закричал о страдании, о справедливости и бросил этот крик, как кровавый плевок, в лицо предавшему его английскому обществу. Этот крик Уайльда назывался «Баллада Реддингской тюрьмы».

За год до этого он высокомерно удивлялся людям, сочувствующим страданиям бедняков, тогда как, по его мнению, следовало сочувствовать только красоте и радости. Теперь он писал:

«Бедняки мудры. Они сострадательнее, ласковее, они чувствуют глубже, чем мы. Когда я выйду из тюрьмы, то если в домах богатых я не получу ничего — мне подадут бедные».

Год назад он говорил, что выше всего в жизни искусство и люди искусства. Теперь он думал иначе:

«Много прекрасных людей — рыбаков, пастухов, крестьян и рабочих — ничего не знают об искусстве, и, несмотря на это, они — истинная соль земли».

Год назад он выказывал полное пренебрежение к природе. Даже цветы — полевую гвоздику или ромашку, — прежде чем приколоть к петлице, он красил в зеленый цвет. Их естественный цвет казался ему слишком крикливым. Теперь он писал:

«Я чувствую стремление к простому, первобытному, к морю, которое для меня такая же мать, как земля».

В тюрьме он мучительно завидовал натуралисту Линнею, который упал на колени и заплакал от радости, когда впервые увидел обширные луга нагорья, желтые от дрока.

Нужна была каторга, нужно было смотреть в лицо смертника, видеть, как избивают сумасшедших, месяцами, сдирая ногти, расщипывать по волокнам гнилые канаты, бессмысленно перетаскивать с места на место тяжелые камни, потерять друзей, потерять блестящее прошлое, чтобы понять, наконец, что общественный строй Англии «чудовищен и несправедлив», чтобы окончить свои записки такими словами:

«В обществе, как оно устроено теперь, нет места для меня. Но природа найдет для меня ущелье в горах, где смогу я укрыться, она осыплет ночь звездами, чтобы, не падая, мог я блуждать во мраке, и ветром завеет следы моих ног, чтобы никто не мог преследовать меня. В великих водах очистит меня природа и исцелит горькими травами».

В тюрьме Уайльд впервые в жизни узнал, что значит товарищество. «Никогда в жизни я не испытал столько ласки и не видел столько чуткости к своему горю, как в тюрьме со стороны товарищей — арестантов».

Из тюрьмы Уайльд вышел, окруженный преданной любовью всех, кому выпало на долю отбывать вместе с ним английскую королевскую каторгу.

После тюрьмы Уайльд написал две статьи, известные под названием «Письма о тюремной жизни». Эти статьи, пожалуй, стоят всего написанного Уайльдом раньше.

В одной статье он со сдержанной яростью пишет о страданиях маленьких детей, которых наравне со взрослыми сажают в английские тюрьмы, в другой — о дикости тюремных нравов.

Эти статьи ставят Уайльда в ряды лучших людей. Уайльд впервые выступил как обличитель.

Одна из статей написана как будто по незначительному поводу: надзиратель Реддингской тюрьмы Мартин был уволен за то, что дал маленькому голодному ребенку-арестанту несколько сухарей.

«Жестокость, которой подвергаются и днем и ночью дети в английских тюрьмах, невероятна. Поверить в нее могут только те, кто сами наблюдали их и убедились в бесчеловечности английской системы. Ужас, испытываемый ребенком в тюрьме, не знает пределов. Нет ни одного арестанта в Реддингской тюрьме, который с величайшей радостью не согласился бы продлить на целые годы свое заключение, лишь бы перестали мучить в тюрьмах детей».

Так писал Уайльд в то время, и совершенно ясно, что наравне с остальными арестантами он, бывший великий эстет, отсидел бы в тюрьме несколько лишних лет за того крошечного мальчика, которого он часто видел рыдающим в одиночной камере.

Вскоре после освобождения из тюрьмы Уайльд умер в добровольном изгнании в Париже.

Он умер в нищете, забытый Англией, Лондоном и друзьями. За его гробом шли только бедняки того квартала, где он жил.

РЕДИАРД КИПЛИНГ

Из всех английских писателей только один Редиард Киплинг получал легендарный гонорар — шиллинг за слово. Каждое слово Киплинга стоило на наши деньги пятьдесят копеек золотом. Веселый и чувствительный Диккенс — общий друг человечества — не получал и десятой доли этих денег.

Киплинг — единственный из английских писателей, чьи сочинения заслужили высокую честь выйти полным собранием еще при жизни автора. До Киплинга Англия не слыхала о таких литературных излишествах.

Чем объяснить такую славу? Чем объяснить, что Киплинг сделался настольным писателем среднего английского обывателя, наемного солдата и престарелого лорда?

Только тем, что Киплинг был «истым» британцем — жестоким и твердым, писавшим свои книги во славу Большой Англии — владычицы океанов, империи, где никогда не заходит солнце. Он был ее верным слугой, солдатом и певцом.

Англия была для Киплинга превыше всего. Человечество существовало в глазах Киплинга только как удобрение для необъятных английских плантаций.

Поэтому Киплинг воспевал солдат и офицеров, колониальные войны, жестокость и смелость.

Если он и восставал против правящих классов Англии, то только за то, что они были недостаточно мужественными и культурными поработителями. Покорение чужих народов и выкачивание из них богатств духовных и материальных для блага Англии, создание миллионных армий рабов было, по мнению Киплинга, трудным искусством, хитрой наукой, плохо усвоенной чванными генералами и пэрами Англии. Только за это Киплинг и позволял себе смеяться над ними.

Старые лорды и генералы не понимали, чего от них хочет этот выскочка, журналист, родившийся и выросший в Индии, в пышной тропической провинции. Они не понимали нападок Киплинга и называли его в глаза «нахальным босяком». Но но-

вые, более просвещенные империалисты уже похлопывали Киплинга по плечу, прислушивались к его советам и платили шиллинг за слово.

Жизнь Киплинга — один из трагических примеров того, как гений может погубить себя.

Талант его был неистощим, язык — точен и богат, выдумка его была полна правдоподобия, все его обширные поразительные знания, вырванные из подлинной жизни, во множестве сверкают на страницах его книг.

Всех этих свойств достаточно для того, чтобы быть гением, принадлежащим всему человечеству. Но Киплинг отказался от этого. Он втиснул свой талант в узкие ножны английского солдатского тесака, он не захотел принадлежать человечеству и предпочел стать певцом британского империализма. Поэтому любой писатель гораздо меньшего дарования, чем Киплинг, хотя бы Герберт Уэллс, дороже нам, чем блистательный и воинственный Киплинг. Рассказы Киплинга звучат как наглый крик трубы перед кавалерийской атакой на безоружную толпу голодных рабов.

Был ли империалист Киплинг (его имя стоит наравне с именами таких империалистов, как Сесиль Родс, Китченер, Чемберлен и полковник Лоуренс) искренним до конца?

Конечно, нет. Изредка он проговаривался. Он носил в себе множество тем, запретных для самого себя. Человек большого таланта, он не мог не видеть правды. Она тяготила его и помимо его воли проникала на страницы рассказов.

Эти страницы — самые ценные у Киплинга. Так непосредственно он написал книгу о зверях — «Джунгли», одну из лучших книг девятнадцатого столетия. Так он написал несколько рассказов «о мертвом уровне Индии», о бунте измученных солдат, Томми Аткинсов, замотанных тропической казармой, о том, наконец, что «Индия — это страна, где, желая обвинить человека в преступлении, можно купить все улики, включая мертвое тело, за 54 рупии».

Он первый дал резкие картины борьбы человека с природой, и это его свойство особенно ценно для советских читателей — людей той страны, где переделка природы идет глубоко и смело.

Жизнь Киплинга больше походила на жизнь солдата или шпиона, чем на жизнь писателя. Он много работал в газетах. Долгое время он был военным корреспондентом. Всю жизнь он занимался тем, что странствовал по свету, по всем углам земли, куда уже протянулась рука Англии или куда она хотела протянуться.

Киплинг написал 37 замечательных книг.

Это был сухой черноусый англичанин в очках, скрывавших его пристальный и неприятный взгляд. Все в нем было подчинено одной цели, даже почерк. Он писал твердо, разборчиво, тем почерком, каким пишут военные донесения.

Влияние Киплинга на мировую литературу было огромно.

ЗАМЕТКИ НА ПАПИРОСНОЙ КОРОБКЕ

У многих из нас есть плохая привычка записывать в двух-трех словах свои мысли, впечатления и номера телефонов на папиросных коробках. Потом, как правило, коробки эти теряются, а с ними исчезают из памяти целые дни нашей жизни.

День жизни — это совсем не так просто и не так мало, как может показаться. Попробуйте вспомнить любой свой день минута за минутой — все встречи, разговоры, мысли, поступки, все события и душевные состояния, свои и чужие, — и вы убедитесь, что восстановить весь этот поток времени можно, только написав новую книгу, если не две, а то и все три.

Однажды биограф Чехова А. И. Роскин предложил нам, собравшимся зимой в Ялтинском доме писателей, заняться этой, как он шутя говорил, «работкой».

Мы с радостью встретили эту идею Роскина. Каждый начал писать свою «Книгу одного дня», но вскоре все бросили это занятие. «Работка» оказалась труднейшей, почти непосильной даже для опытных и работоспособных мастеров. Она требовала непрерывного напряжения памяти и брала уйму времени, несмотря на то, что при ней отпадали тяжелые для писателя заботы о теме, сюжете и композиции. Все делала за нас сама жизнь.

У меня тоже есть плохая привычка записывать свои мысли на чем попало, в частности на папиросных коробках. Я всегда был уверен, что никогда не потеряю эти коробки, но тотчас терял их.

Эти небрежные свои записи я оправдывал тем, что Эдуард Багрицкий читал мне свои стихи «По рыбам, по звездам проносит шаланду», считывая их с затрепанной папиросной коробки «Герцеговина-Флор».

Но несколько коробок все же уцелело. Одна из них имеет отношение к Чехову и чеховскому дому в Ялте. Я попытаюсь расшифровать сохранившиеся на этой коробке полустертые и короткие записи.

Я обещал написать статью о Чехове. Но, начав ее, тут же убедился, что писать сейчас о Чехове в том жанре, какой мы определяем словом «статья», очень трудно и, пожалуй, почти невозможно. Кажется, что все слова в русском языке, которые можно отнести к Чехову, уже сказаны, уже истрачены. Любовь к Чехову переросла наши словарные богатства. Она, как и каждая большая любовь, быстро исчерпала запас наших лучших выражений. Возникает опасность повторений и общих мест.

О Чехове сказано как будто все. Но пока еще мало сказано о том, что оставил Чехов нам в наследство в наших характерах и как Чехов своим существованием определил сегодня жизнь тех, кому он дорог.

Почти ничего не сказано о «чувстве Чехова» — всегда живого и милого нам человека, о чувстве сильном и благодарном.

И вот я решил статьи не писать, а обратиться к своим записям на папиросной коробке. Может быть, там где-нибудь и проскользнет то «чувство Чехова», которое я не могу еще точно определить.

Записи эти, как я уже говорил, очень короткие. Например: «1950 год. Я один в доме. Мохнатая собачка лает внизу. По традиции ее зовут «Каштанкой».

Память получила легкий толчок и начинает восстанавливать прошлое.

Это было осенью 1950 года. Я пришел в Ялтинский дом Чехова, к Марии Павловне. Ее не было, она ушла куда-то по соседству, а я остался ждать ее в доме. Старуха работница провела меня на террасу.

Стояла та обманчивая и удивительная ялтинская осень, когда нельзя понять — доцветает ли весна или расцветает прозрачная осень. За балюстрадой горел на солнце во всей своей девственной белизне куст каких-то цветов.

Цветы уже осыпались от каждого веяния или, вернее, дыхания воздуха. Я знал, что этот куст был посажен Антоном Павловичем, и боялся прикосновения к нему, хотя мне и хотелось сорвать на память хоть самую ничтожную веточку. Наконец, я решился, протянул руку к кусту и тотчас же отдернул ее, — снизу, из сада, на меня залаяла мохнатая рыжая собачка, по имени Каштанка. Она отбрасывала задними лапами землю и лаяла совершенно так, как писал Чехов:

«Р-р-р... нга-нга-нга! Р-р-р... нга-нга-нга!»

Я невольно рассмеялся. Собачка села, расставила уши и начала слушать. Солнце просвечивало ее желтые добрые глаза.

Было тихо, тепло. Синий солнечный дым поднимался к небу со стороны моря, как широкий занавес, и за этим занавесом мощно и мужественно, в три тона, протрубил теплоход.

Я услышал в комнатах добрый голос Марии Павловны, и вдруг у меня сердце сжалось с такой силой, что я с трудом сдержал слезы. О чем? О том, что жизнь неумолима, что хотя бы некоторым людям, без которых мы почти не можем жить, она должна бы дать если не бессмертие, то долгую жизнь, чтобы мы всегда ощущали у себя на плече их легкую руку.

Я тут же устыдился этих мыслей, но горечь не проходила. Разум говорил одно, а сердце — другое. Мне казалось, что в то мгновение я отдал бы половину жизни, чтобы услышать за дверью спокойные шаги и покашливание давным-давно ушедшего отсюда хозяина этого дома. Давным-давно! Со дня его смерти прошло 46 лет. Этот срок казался мне одновременно и ничтожным и невыносимо огромным.

Цветы за балюстрадой тихонько опадали. Я смотрел на перепархиванье легчайших лепестков, боялся, чтобы Мария Павловна не вошла раньше времени и не заметила моего волнения. И успокаивал себя совершенно искусственными мыслями о том, что в каждой ветке этого куста есть нечто вечное, постоянное движение соков под корой — такое же постоянное, как и ночное движение светил над тихо шумящим морем.

Пришла Мария Павловна, заговорила о Левитане, рассказала, что была влюблена в него, и, рассказывая, покраснела от смущения, как девочка.

Сам не зная почему, но я, выслушав Марию Павловну, сказал:

— У каждого, должно быть, была своя «Дама с собачкой». А если не была, то обязательно будет.

Мария Павловна снисходительно улыбнулась и ничего не ответила.

———

После этого я много раз приходил в чеховский дом в разные времена года. Внутрь я входил редко. Чаще всего я прислонялся к ограде и, постояв немного, уходил.

Особенно притягательным был этот дом зимой. Низкая тьма висела над морем. В ней тускло проступали бортовые огни парохода, и я по рассказам моряков знал, что с палубы парохода иногда можно увидеть в бинокль освещенное лампой с зеленым абажуром окно чеховского кабинета.

Странно было думать, что огонь этой лампы был зажжен

на самом краю страны, что здесь обрывалась над морем Россия, а там, дальше, уже лежат в ночи древние малоазиатские страны.

Я разбирал еще одну запись: «Зима в Ялте, снег на Яйле, его свет над Ауткой». Да. Зимой на Яйле лежала кромка легкого снега. Он отсвечивал в блеске луны. Ночная тишина спускалась с гор на Ялту.

Чехов все это видел вот так же, как мы, все это знал. Иногда, по словам Марии Павловны, он гасил лампу и долго сидел один в темноте, глядя за окна, где неподвижно сияли снега.

Иногда он выходил в сад, но тайком, чтобы не разбудить и не напугать мать и сестру. Мучила бессонница, и он долго бродил в ночной темноте один, как бы забытый всеми, несмотря на то, что слава его уже жила во всем мире. Но в такие вечера она не тяготила его.

А рядом белел дом, ставший приютом русской литературы. Давно замолкли в нем голоса Куприна, Горького, Мамина-Сибиряка, Станиславского, Бунина, Рахманинова, Короленко, но отголосок их как бы жил в доме. И дом ждал их возвращения. Ждал и хозяин, тревожившийся только наедине, по ночам, когда никто не мог этого заметить, когда его болезнь, тоска и тревога никого не могли взволновать.

Во всей огромной литературе о Чехове, во всех воспоминаниях о нем нет ни одного слова о том, что Чехов когда-нибудь плакал.

Его слезы видел только писатель Тихонов (Серебров), когда Чехов незадолго до смерти приезжал с Саввой Морозовым на Урал. Рассказ Тихонова производит потрясающее впечатление. То были скрытые от всех ночные слезы одинокого, по существу, брошенного и умирающего человека.

И слезы свои и свои страдания Чехов скрывал по своей доброте, по огромному своему мужеству и благородству, — только для того, чтобы не омрачать жизнь близких, чтобы не причинять окружающим даже тени неприятности.

Я разобрал еще одну запись: «России всегда мало» — и сразу же вспомнил вечер, когда мы с поэтом Луговским стояли в кабинете Чехова перед камином и смотрели на левитановские «Стога».

Серые сумерки и бледная луна над мглистыми болотами, крик дергачей, огромные пространства лесов, простоявших

этой ночью и сотнями других ночей втуне. Потому, что никто не видел их сырой и поблескивающей березовой листвы и не слышал их загадочных шорохов.

Леса были покинуты, одни. Ночь одиноко и напрасно шла над ними к отдаленному рассвету. И у Чехова болело сердце оттого, что он тратит время здесь, ничего не видя, когда ему нужно, до зарезу нужно быть там, в России, на севере, чтобы следить за отблесками ночи на тесовой крыше избы или в омутах родных притихших озер.

Он рвался в Россию, он мучился и сгорал от досады, от горечи, оттого, что не видел, а только угадывал всю ее нерассказанную и нераскрытую красоту.

Сожаление о жизни, очень короткой и, по его мнению, почти бесплодной и только слегка задевшей его своим быстрым крылом, мучило его в этом доме с его давно устоявшимся уютом конца XIX века.

И не только его. Почему-то почти каждый человек, попавший в этот дом, начинал думать о своей судьбе, особенно если он проглядел свою жизнь и только сейчас спохватился.

Почему так случалось, трудно сказать. Очевидно, гармоничность чеховской жизни и его подлинный оптимизм заставляли людей проверять свою жизнь.

Сейчас разговор о чеховской тоске, хмурости и серых людях может вызвать только улыбку. Как все это неумно и далеко!

С тех пор мы повзрослели и узнали, что такое чеховский оптимизм. У Чехова все в жизни получало дополнительный, чеховский цвет, рисунок жизни был точен и прозрачен. Его сострадание к людям было требовательным и действенным.

Запись «Цель фотографий» напомнила один вечер, когда мне удалось достать много карточек Чехова.

Я разложил их по годам — от гимназических до последней карточки, снятой перед смертью.

Ничего более поучительного я не видел. Весь путь Чехова — от бездумного обывателя и пустого шутника с легкой пошлинкой до человека удивительной внутренней красоты, благородства и спокойного мужества — был поразительно нагляден.

Он сам себя воспитал. Он сам себя сделал таким и дал нам суровый урок порядочности по отношению к людям и к своему писательскому делу.

Чехов много страдал от предвзятости. Его провозгласили певцом тоски, скуки, нытья.

Страдал от предвзятости и Бунин, и чуть ли не до самой смерти. Критика объявила его барином, ледяным сердцем.

Только сейчас, когда опубликованы достоверная биография Бунина и его переписка, вдруг выяснилось, что этот крепостник был мелким служащим в земстве и репортером, обивал пороги в поисках грошового заработка, выпрашивал у старшего брата по два-три рубля, чтобы не умереть вместе с больной матерью от голода, испытывал множество унижений и неудач.

Сколько вымотанных нервов, скольких ненаписанных книг стоили эти преступные наскоки критики и Чехову, и Бунину, и многим другим писателям! Этого, конечно, не сочтешь.

Две последние записи очень уж коротки, только по одному слову. Первая запись — «гений», а вторая — «доброта».

Ничего неясного в этих записях нет.

Чехов — писатель гениальный. Это бесспорно. Но во внимание к его исключительной скромности никто из людей, писавших о нем, не сказал об этом прямо. Даже после смерти Чехова мы стесняемся об этом говорить, чтобы не рассердить его. Сам Чехов наложил запрет на это слово.

Чехов был скромен, как может быть скромным только подлинно великий человек. Он с яростью относился к чванству, к спеси, к хвастовству.

Он писал, что самое характерное качество бездарного писателя заключается в том, что он ведет себя надуто и спесиво, как первосвященник. Скромность — одна из величайших черт русского народа. Скромными были все простые и замечательные русские люди. Ни один из них не занимался самохвальством, не улюлюкал на чужаков, не ставил себя в пример всем. В скромности — моральная сила и чистота народа, в бахвальстве — его ничтожность и недостаток ума.

Относительно записи «доброта» можно сказать очень много. Но остается мало времени и места.

Можно говорить о доброте самого Чехова как человека, но гораздо важнее то обстоятельство, что Чехов был добр и гуманен как писатель. Пожалуй, нет в нашей литературе другого человека, который бы с большим доброжелательством относился к людям, страдая за них, и стремился им помочь.

Да, он был добр, но беспощаден. Он умел ненавидеть, он не был мягкотелым проповедником всепрощения. Но он знал глубину человеческого горя и ужас людского несчастья, знал,

как врач и писатель, и требовал от людей милосердия друг к другу.

Влияние Чехова в этом отношении было и остается огромным. Почти все передовое итальянское кино в лучших своих образцах — таких, как «Рим в 11 часов», «Похитители велосипедов», «Машинист», «Полицейские и воры», «Мечты на дорогах», — вышло из чеховского гуманизма.

Этой чеховской доброты, его взыскательного гуманизма не хватает некоторым произведениям нашей литературы. Это обедняет их и лишает в какой-то степени одного из сильнейших качеств.

Вот расшифровка всех записей, какие я нашел на своей старой папиросной коробке. Благодаря им я кое-что сохранил в своей памяти и смог рассказать об этом обаятельном человеке и писателе.

Самое его существование доказывает нам возможность и неизбежность подлинного человеческого счастья, ради которого мы работаем, боремся и побеждаем.

ПОТОК ЖИЗНИ

(Заметки о прозе Куприна)

В 1921 году в одесских газетах появилось объявление о смерти никому не известного Арона Гольдштейна.

В те годы революции, голода и веселья никто бы не обратил внимания на это объявление, если бы внизу под фамилией Гольдштейн не было напечатано в скобках: «Сашка Музыкант из «Гамбринуса».

Я прочел это объявление и удивился. Значит, он действительно жил на свете, этот Сашка Музыкант, а не был только отдаленным прототипом для Куприна в его «Гамбринусе». Значит, все, о чем писал в этом рассказе Куприн, подлинность.

В это трудно было поверить потому, что жизнь и искусство в нашем представлении никогда не сливались так неразрывно.

Оказалось, что Сашка Музыкант, давно ставший для нас легендой, литературным героем, жил в зимней обледенелой Одессе рядом с нами и умер где-то на мансарде старого одесского дома.

Хоронила Сашку Музыканта вся портовая и окраинная Одесса. Эти похороны были как бы концовкой купринского рассказа.

Колченогие лошади, часто останавливаясь, тащили черные дроги с гробом. Где достали этих одров, выживших в то голодное время, когда и людям нечего было есть, так и осталось тайной.

Правил этими конями высокий рыжий старик — должно быть, какой-нибудь знаменитый биндюжник с Молдаванки. Рваная кепка была сдвинута у него на один глаз. Биндюжник курил махорку и равнодушно сплевывал, выражая полное презрение к жизни и к смерти: «Какая разница, когда на Привозе уже не увидишь буханки арнаутского хлеба и зажигалка стоит два миллиона!»

За гробом шла большая шумная толпа. Ковыляли старые тучные женщины, замотанные в теплые шали. Похороны были для них единственным местом, где можно поговорить не о ценах на подсолнечное масло и керосин, а о тщете суще-

ствования и семейных бедах, — поговорить, как выражаются в Одессе, «за жизнь».

Женщин было немного. Я упоминаю их первыми, потому что, по галантным правилам одесского нищего люда, их пропустили вперед, к самому гробу.

За женщинами шли в худых, подбитых ветром пальто музыканты — товарищи Сашки. Они держали под мышками инструменты. Когда процессия остановилась около входа в заколоченный «Гамбринус», они вытащили свои инструменты, и неожиданная печальная мелодия старинного романса полилась над толпой:

Не для меня придет весна,
Не для меня Буг разольется...

Скрипки пели так томительно, что люди в толпе начали сморкаться, кашлять и утирать слезы.

Когда музыканты кончили, кто-то крикнул сиплым голосом:

— А теперь давай Сашкину!

Музыканты переглянулись, ударили смычками, и над толпой понеслись игривые, скачущие звуки:

Прощай, моя Одесса,
Прощай, мой Карантин!
Нас завтра угоняют
На остров Сахалин!

Куприн писал о посетителях «Гамбринуса», что все это были матросы, рыбаки, кочегары, портовые воры, машинисты, рабочие, лодочники, грузчики, водолазы, контрабандисты — люди молодые, здоровые, пропитанные крепким запахом моря и рыбы. Они-то и шли сейчас за гробом Сашки Музыканта. Но от прежней молодости и задора ничего уже не осталось. «Жизнь погнула!» — говорили старые морские люди. Что от нее сохранилось? Надсадный кашель, обкуренные седые усы да опухшие суставы на руках с узловатыми синими венами. Да и то сказать — жизнь не обдуришь! Жизнь надо выдюжить, как десятипудовый тюк, — довести до трюма и скинуть. Вот и скинули, а отдохновения все равно нету, — не тот возраст! Вот и Сашка лежит в гробу, белый, сухой, как та обезьянка.

Я слушал эти разговоры в толпе, но их горечь не доходила до меня. Я был тогда молод, революция гремела вокруг, события смывали друг друга с такой быстротой, что некогда было как следует в них разобраться.

Ко мне подошел репортер Ловенгард — седобородый нищий старик с большими детскими глазами.

Ловенгард, как шутили молодые непочтительные репортеры, картавил на все буквы, и потому его не всегда можно было сразу понять. К тому же Ловенгард любил говорить несколько выспренно.

— Я первый, — сказал он мне, — привел Александра Ивановича Куприна в «Гамбринус». Он сидел, курил, пил пиво и смеялся — и вдруг через год вышел этот рассказ! Я плакал над ним, молодой человек. Это шедевр любви к людям, жемчужина среди житейского мусора.

Он был прав, Ловенгард. Я не знал, что он был знаком с Куприным; но с тех пор мне всегда казалось, что Куприн просто не успел написать о самом Ловенгарде.

Это был подлинный купринский персонаж. Единственной страстью этого одинокого старика был одесский порт. В редакциях газет ему предлагали любую выгодную работу, но он от всего упорно отказывался и оставлял за собой только порт.

С утра до вечера, в любое время года и в любую погоду, он медленно обходил все гавани и все причалы — неимоверно худой и торжественный, как Дон-Кихот, опираясь вместо рыцарского копья на толстую палку.

Он подымался на все пароходы и, как «капитан порта», в известном рассказе Грина, опрашивал моряков о подробностях рейса. Он в совершенстве говорил на нескольких языках, даже на новогреческом. С изысканной вежливостью он беседовал с капитанами и с отпетыми портовыми босяками и, разговаривая, снимал перед всеми старую шляпу.

В порту его прозвали «Летописцем». Несмотря на нелепость его старомодной фигуры среди буйного и ядовитого на язык населения гаваней, его никогда не трогали и не давали в обиду. Это был своего рода Сашка Музыкант для моряков.

Мне кажется, что Ловенгард очень просто, даже слишком просто сказал о том главном, что характерно для Куприна, — о его любви к человеку и его человечности.

Любовь Куприна к человеку проступает ясным подтекстом почти во всех его повестях и рассказах, несмотря на разнообразие их тем и сюжетов. Она лежит в основе таких произведений, как «Олеся» и «Анафема», «Чудесный доктор» и «Листригоны».

Прямо, в открытую Куприн говорит о любви к человеку

не так уж часто. Но каждым своим рассказом он призывает к человечности.

Он повсюду искал ту силу, что могла бы поднять человека до состояния внутреннего совершенства и дать ему счастье. В поисках он шел по разным путям, часто заблуждался, но в конце концов пришел к единственно правильному решению, что только величайший гений социализма приведет к расцвету человечности в этом измученном противоречиями мире.

Он пришел к этому решению поздно, после трудной и сложной жизни, после дружбы и разрыва с Горьким, после своего противоречивого и не всегда ясного отношения к революционным событиям, после некоторой склонности к анархическому индивидуализму, — пришел уже в старости, больной и утомленный своим непрерывным писательским трудом. Тогда он вернулся из эмиграции на Родину, в Россию, в Советский Союз, и этим поставил точку под всеми своими исканиями и раздумьями.

Александр Иванович Куприн родился 8 сентября 1870 года в городке Наровчате Пензенской губернии.

Городок этот стоял, по свидетельству Куприна, среди пыльной равнины и каждый год почти наполовину выгорал от пожаров. Место было унылое и безводное.

Долгое время Наровчат по своей полной ничтожности пребывал в качестве так называемого «заштатного города». В нем не было ничего примечательного, кроме ремесленников, делавших хорошие решета и бочки, и ржаных полей, подступавших вплотную к заставам Наровчата.

У городка этого, по существу, не было истории, как не было и своих летописцев. Да и в литературе Наровчат до революции ни разу не отмечался. Впервые написал о нем К. Федин в своих замечательных рассказах «Наровчатская хроника».

В общем только два выдающихся литературных события были связаны с именем этого захолустного городка — рождение в нем Куприна и упомянутая выше книга Федина, тоже имевшего некоторое касательство к Наровчату (мать писателя была родом из этого городка).

Пензенская земля дала много незаурядных людей. Недаром Чехов в одном из своих писем пензяку Ладыжинскому шутливо воскликнул: «Да здравствует Пенза!»

В первом ряду этих замечательных пензяков был Куприн.

Отец Куприна — обнищавший дворянин — был мелким уездным письмоводителем.

Раннее его детство прошло в скучнейшем Наровчате, в обстановке мещанской и скудной, но Куприн никогда не проклинал этот город. Наоборот, он любил его, как любят, должно быть, заброшенного и некрасивого ребенка, и, будучи уже писателем, навещал его. Каким бы он ни был, этот безвестный Наровчат, но все же это была родина, своя земля. Она первая открыла ему свою нехитрую прелесть.

В любви к родным местам есть всегда доля необъяснимого или, вернее, необъясненного. Порой эта любовь ставит нас в тупик и удивляет, но, конечно, только в тех случаях, когда относится не к нашим родным местам.

Вот Наровчат! За что, кажется, можно полюбить этот плоский и пыльный городок?

Для того чтобы проникнуть в тайну этой любви, нужно пожить в нем, и тогда, возможно, и вам, приезжему человеку, приглядится и полюбится этот городок. Тогда исподволь начнет оживать скрытая в нем поэзия молчаливых полей, что простираются вокруг, поэзия закатов, мутных от пыли, поднятой стадами, резных наличников с облупившейся краской, могучих вязов со внезапно возникающим шумом тяжелой листвы, фикусов, выставленных под теплый дождь, веснушчатых детей и сухих вечеров, когда зарницы полыхают за оврагами, за полями и от них доходит запах прибитой дождем дорожной пыли.

Все эти разнообразные черты, где бы мы с ними ни встречались, одинаково близки и понятны нам, и из них-то и разрастается любовь к своей земле.

С самого раннего детства она завладела Куприным и преобразилась в дальнейшем в сильнейшую жадность к жизни. Это, пожалуй, было самым характерным свойством Куприна как писателя и человека. Не было ничего в реальной жизни своей страны, ни единой мелочи, которая казалась бы ему безразличной.

Сам он сказал о себе словами Платонова в «Яме»:

— Я бродяга и страстно люблю жизнь. Я был токарем, наборщиком, сеял и продавал табак, махорку-серебрянку, плавал кочегаром по Азовскому морю, рыбачил на Черном — на Дубининских промыслах, грузил арбузы и кирпич на Днепре, ездил с цирком, был актером — всего и не упомню. И никогда меня не гнала нужда. Нет, только безмерная жадность к жизни и нестерпимое любопытство... я хотел бы на несколько дней сделаться лошадью, растением или рыбою,

или побыть женщиной и испытать роды; я бы хотел пожить внутренней жизнью и посмотреть на мир глазами каждого человека, которого я встречаю.

В этих словах — человеческий и писательский облик Куприна.

Для него характерна конкретность ви́дения мира. Он говорит не вообще о махорке, а о махорке-серебрянке, и не вообще о рыбачьих промыслах на Черном море, а именно о Дубининских промыслах. И мы прекрасно понимаем, что Куприн может написать интереснейшие рассказы и об этой махорке и этих промыслах, и потому нам становится досадно, что он упомянул о них вскользь и не рассказал подробнее.

Есть наука, или, вернее, свод знаний, которая носит скучное название «товароведение». Она подробно рассказывает о всех так называемых товарах, хотя бы, к примеру, о той же махорке, о всех ее сортах и качествах, о том, как ее выращивают и приготовляют, о том, чем и почему «кременчугская крошка» лучше «нежинских корешков». Учебник товароведения можно читать как увлекательную повесть.

Можно представить себе такой же свод знаний о жизни, своего рода энциклопедию жизневедения. В этой области Куприн был замечательным знатоком, великим жизневедом. Все окружающее, в особенности человеческий быт, обиход, служило для него вернейшим показателем внутренней человеческой жизни и ее сложнейших психических состояний.

Но дело не только в знании людей. Куприн поистине поражает нас своими познаниями в любой области жизни.

Познания эти особенно ценны потому, что все они — следствие житейских наблюдений. Все пережито, все увидено воочию, все услышано самим писателем. Это сообщает прозе Куприна неувядаемую свежесть и богатство.

Можно открывать наугад том за томом сочинения Куприна и в каждом рассказе находить россыпи глубоких и разносторонних знаний.

Например, в великолепном рассказе «Анафема» Куприн показал себя блестящим знатоком церковной службы с ее «крюковскими» распевами, требниками, чином анафемствования, канонами. В «Поединке» и в цикле военных рассказов Куприн — непревзойденный знаток армейской службы и армейских нравов.

Обо всем он пишет, как знаток, — о цирке, актерской работе, охоте, рысистых бегах и нравах животных.

Куприн читается легко. Таково общее мнение. И это верно. Но для того чтобы погрузиться в тот житейский материал,

какой «подымает» Куприн, чтобы оценить всю обширность купринских познаний в науке жизневедения, надо читать его книги медленно, надо запоминать множество точных и метких черт «быстротекущей жизни», схваченных острым глазом писателя и целиком перенесенных им из жизни на страницы книг, где они продолжают жить, как и в действительности. Так пересаживают растения с комом плодородной земли, чтобы они не завяли.

Одним из первых выражений купринского «жизневедения» была его маленькая книга «Киевские типы». Она похожа на блестяще выполненный молодым писателем литературный этюд.

Это галерея киевских обывателей (в Киеве обывательщина носила своеобразный, несколько западный характер) и темных пронырливых людей — от студентов-«белоподкладочников» до шулеров.

Нужно было обладать превосходной проницательностью, чтобы так безошибочно вникнуть в душевный мир разнообразнейших людей, как это сделал Куприн в своих «Киевских типах».

Я не буду подробно рассказывать здесь биографию Куприна. Вся его жизнь — в его повестях и рассказах. Полнее, чем сам Куприн, никто об этом, конечно, не скажет. К тому же Куприн писал, что «лишнее для читателя путаться в мелочах жизни писателей, ибо это любопытство вредно, мелочно и пошло». Поэтому я ограничусь лишь самыми важными событиями из его жизни.

Отец умер рано. С тех пор у мальчика началась сиротская жизнь с беспомощной матерью, жизнь без маленьких радостей, но с большими обидами и нуждой. С необыкновенной едкостью и горечью Куприн рассказал об этой сиротской жизни в рассказе «Река жизни»:

«Моя мать... рано овдовела, и мои первые детские впечатления неразрывны со скитаньем по чужим домам, клянченьем, подобострастными улыбками, мелкими, но нестерпимыми обидами, угодливостью, слезливыми, жалкими гримасами с этими подлыми мучительными словами: кусочек, капелька, чашечка чайку... Меня заставляли целовать ручки у благодетелей — у мужчин и женщин. Мать уверяла, что я не люблю того-то и того-то лакомого блюда, лгала, что у меня золотуха, потому что знала, что от этого хозяйским детям останется больше и что хозяевам это будет приятно. Прислуга втихомолку издевалась над нами: дразнила меня горбатым,

потому что я в детстве держался сутуловато, а мою мать называла при мне приживалкой и салопницей... Я ненавидел этих благодетелей, глядевших на меня, как на неодушевленный предмет, сонно, лениво и снисходительно совавших мне руку в рот для поцелуя, и я ненавидел и боялся их, как теперь ненавижу и боюсь всех определенных, самодовольных, шаблонных, трезвых людей, знающих все наперед».

Мать Куприна устроилась во вдовий дом в Москве, на Кудринской площади. Мальчик первое время жил там вместе с матерью, потом его перевели в сиротский пансион.

В нашей дореволюционной литературе мало писали о «богоугодных заведениях» — о сиротских и вдовьих домах и убежищах для престарелых. Унижение человека было доведено в этих заведениях до степени искусства. Нужно было впасть в полное отчаяние, чтобы добиваться приема в эти дома, откуда не было другого выхода, кроме как в больницу или на кладбище.

Куприн с необыкновенной точностью описал жизнь этих заведений в рассказах «Беглецы», «Святая ложь», «На покое». Он, пожалуй, первый из наших писателей безбоязненно прикоснулся к теме людей, вышвырнутых за ненадобностью из жизни. Он писал об этом с какой-то пронзительной жалостью.

Но у Куприна было доброе сердце. Иногда он сам не выдерживал беспросветного горя, о котором писал, и старался смягчить судьбу своих персонажей по своей писательской воле. Но это плохо ему удавалось и воспринималось читателями, да, очевидно, и самим автором, как беспомощное утешение или как вынужденная концовка святочного рассказа.

После сиротского периода в жизни Куприна начался второй период — военный. Он тянулся очень долго — четырнадцать лет.

Мальчика удалось устроить в кадетский корпус. В те времена для детей обнищавших чиновников и дворян кадетский корпус был единственной возможностью получить кое-какое образование, — обучение в корпусе было бесплатное, и кадеты жили, как говорилось, «на всем готовом».

Из корпуса Куприн перешел в Александровское юнкерское училище в Москве. Оттуда он был выпущен подпоручиком и направлен «для несения строевой службы» в 46-й пехотный Днепровский полк. Полк стоял в захолустных городках Подольской губернии — Проскурове и Волочинске.

Очень лаконично Куприн описал эти заброшенные города в своих военных рассказах.

В этих рассказах впервые проявилась редкая особенность

купринского таланта (таланта «чрезвычайного», как говорил о нем Бунин) — его способность быстро и крепко вживаться в любую обстановку, в любой уклад жизни, в любой пейзаж. О чем бы Куприн ни писал, он с первых же слов захватывал читателя полной достоверностью своей прозы.

Писал ли он об Одессе, Западном крае, Киеве, лесах и посадах Рязанского края, Балаклаве, Донецком бассейне, Полесье, Москве, о деревнях и железнодорожных полустанках — всегда он наполнял свои рассказы остро подмеченными чертами, которые тотчас же переносили нас, читателей, в эти места, делали нас обитателями их и очевидцами местных событий.

Эта способность Куприна — все от того же жизнелюбия, постоянной заинтересованности всеми проявлениями действительности, от жажды все знать, все видеть и все понять.

Куприн прослужил в полку всего четыре года. Но этого времени ему вполне хватило, чтобы досконально изучить армейскую жизнь и написать через несколько лет одно из самых замечательных и беспощадных произведений русской литературы — повесть «Поединок».

«Поединок» вышел в мае 1905 года в 6-м сборнике «Знания».

Появление этой книги было тяжелейшей пощечиной политическому строю царской России. Успех «Поединка» был поистине неслыханным и небывалым.

Я был в то время мальчишкой, мне исполнилось только тринадцать лет, но я помню и то грозное время и то впечатление, какое произвела новая книга Куприна.

Война в Маньчжурии приближалась к своему роковому и позорному концу. Солдаты гибли тысячами в гаоляновых полях из-за бездарности и вопиющей глупости генералов. Болтливого Куропаткина сменил выживший из ума маньяк генерал Линевич. Тыл воровал и пьянствовал. Армия не умела даже отступать. Страна волновалась.

И как последний ошеломляющий удар пришла весть о полном, почти неправдоподобном разгроме всего нашего флота при Цусиме.

Я видел первые рабочие и студенческие демонстрации после Цусимского разгрома. Даже шарманщики пели по дворам новую песню:

Довольно! Довольно! Герои Цусимы,
Вы жертвой последней легли.

Она уже близко, она у порога,
Свобода родимой земли!

И в это время вышел «Поединок».

Все искали причин маньчжурского поражения. Куприн в «Поединке» сказал свое слово об этих причинах с такой неопровержимостью, что даже сторонники царского строя были растеряны.

Нельзя было спорить с очевидностью. А этой очевидностью был «Поединок» — повесть и вместе с тем документ о тупой и сгнившей до сердцевины офицерской касте, об армии, державшейся только на страхе и унижении солдат, об армии, как бы нарочно созданной для неизбежного и постыдного разгрома в первых же боях.

Волна гнева прокатилась по стране. Даже лучшая часть офицерства приветствовала Куприна и посылала ему благодарственные телеграммы. Но большинство офицеров — типичных героев из «Поединка» — было возмущено и озлоблено.

В то время я, киевский гимназист, жил вне семьи и снимал комнату в тесной дешевой квартире пехотного поручика Ромуальда Козловского в Диком переулке. Поручик жил с матерью — подслеповатой и незлобивой старушкой.

Когда я прочел «Поединок», то мне казалось, что в этой книге не хватает Ромуальда Козловского. Чванный этот офицер, несмотря на то, что отец его был полотером, очень кичился своим шляхетством и был налит до краев глуповатым гонором. Он был задирист и взвинчен постоянным ожиданием столкновений с непочтительными «шпаками». Он даже ждал этих столкновений и набивался на них, чтобы потом защищать свою шляхетскую честь и честь своего пехотного мундира.

Из-за своего маленького роста он носил сапоги на высоченных каблуках, корсет и все время вытягивался, как петух, перед тем как загорланить на мусорной куче.

По утрам он пил в кухне ячменный кофе, сидя в подусниках и голубых кальсонах. От него несло бриллиантином и крепкими дешевыми духами. Пан Ромуальд душился яростно, чтобы перебить кислый запах каких-то лекарств, которыми он безуспешно лечился от сифилиса. Этот тошнотворный запах сочился из его комнаты и наполнял всю квартиру.

Поручик считал себя сердцеедом, неутомимым в любви. Говорили, что он бил солдат. Изредка он бренчал на гитаре и пел шансонетку:

Ваша ножка
Толста немножко,
Но обожаю
Ее лобзать!

С матерью он был груб. Она боялась его. Я же поручика ненавидел.

Однажды пан Ромуальд вошел в кухню, где мы со старушкой Козловской пили кофе «Гималайское жито». Он брезгливо нес двумя пальцами неизвестную книгу и бросил ее в мусорное ведро.

— Сожгите это! — сказал он своей мамаше. — Сожгите в грубке эту гадость, где какой-то штафирка позволил себе оплевать наше русское офицерство. Если бы он мне попался, я бы показал ему кузькину мать, клянусь честью! Он бы у меня потанцевал!

Этой книгой был «Поединок».

Сейчас я ловлю себя на том, что уже второй раз вспоминаю людей, которые могли бы участвовать в рассказах Куприна. Мне кажется, что это совсем не случайно и только доказывает необыкновенную типичность его персонажей для своего времени, кажущегося нам очень далеким.

Сила «Поединка» — в превосходном знании армейской среды и в точности ее изображения. Портретная галерея офицеров в «Поединке» вызывает и стыд за человека и спасительный гнев.

Шкала унижения в армии шла по нисходящей линии: генерал грубо и пренебрежительно обращался с командиром полка, командир, в свою очередь, «цукал», как тогда говорили, офицеров, а офицеры — солдат. Всю злобу мелких неудачников, всю житейскую муть, жгущую сердце, офицеры срывали на солдатах.

Почти все офицеры в «Поединке» — это скопище ничтожеств, тупиц, пьяниц, трусливых карьеристов и невежд, для которых Пушкин был только «какой-то там шпак».

Они начисто оторваны от народа. Они варятся в грязноватом и нудном быту. Их сознательно превратили в касту с ее спесью, с ее ни на чем не основанным представлением о своей исключительной роли в жизни страны, о «чести мундира».

Лучше всего об этом сказал Куприн словами одного из героев «Поединка», талантливого и спившегося офицера, доморощенного ницшеанца Назанского:

«Подумайте вы о нас, несчастных армеутах, об армейской пехоте, об этом главном ядре славного и храброго русского войска. Ведь все это заваль, рвань, отбросы... убоявшиеся премудрости гимназисты, реалисты, даже не окончившие семинаристы. Я вам приведу в пример наш полк. Кто у нас служит хорошо и долго? Бедняки, обремененные семья-

ми, нищие, готовые на всякую уступку, на всякую жестокость, даже на убийство, на воровство солдатских копеек, и все это из-за своего горшка щей. Ему приказывают: «Стреляй!», и он стреляет, — кого, за что? Может быть, понапрасну? Ему все равно, он не рассуждает. Он знает, что дома пищат его замурзанные, рахитические дети, и он бессмысленно, как дятел, выпуча глаза, долбит одно слово: «Присяга!» Все, что есть талантливого, способного, спивается. У нас семьдесят пять процентов офицерского состава больны сифилисом.

...Если рабство длилось века, то распадение его будет ужасно. Чем громаднее было насилие, тем кровавее будет расправа. И я глубоко, я твердо уверен, что настанет время, когда нас (офицеров. — К. П.)... станут стыдиться женщины и, наконец, перестанут слушаться солдаты. И это будет не за то, что мы били в кровь людей, лишенных возможности защищаться, и не за то, что нам, во имя чести мундира, проходило безнаказанным оскорбление женщин, и не за то, что мы, опьянев, рубили в кабаках в окрошку всякого встречного и поперечного. Конечно, и за то и за это, но есть у нас более страшная и уже теперь непоправимая вина. Это то, что мы слепы и глухи ко всему. Давно уже где-то вдали от наших грязных, вонючих стоянок совершается огромная, новая, светозарная жизнь. Появились новые, смелые, гордые люди, загораются в умах пламенные свободные мысли... А мы, надувшись, как индейские петухи, только хлопаем глазами и надменно болбочем: «Что? Где? Молчать! Бунт! Застрелю!» И вот этого-то индюшечьего презрения к свободе человеческого духа нам не простят во веки веков!»

О сирой солдатской доле Куприн говорит с такой же жестокой силой, как и об офицерстве.

Мучительная сцена разговора Ромашова с замордованным, обезумевшим от побоев солдатом Хлебниковым, пытавшимся броситься под поезд, принадлежит к одной из лучших сцен в русской литературе. Ее невозможно читать без глубокой внутренней дрожи.

В том же ряду, как и «Поединок», стоят военные рассказы Куприна: «Ночная смена», «Поход», «Дознание».

Значительно позднее «Поединка» Куприн написал превосходный и отточенный рассказ о японском шпионе «Штабс-капитан Рыбников».

В рассказе великолепно выписан японский шпион, в какой-то мере напоминающий гоголевского капитана Копейкина. Это был, пишет Куприн, «настоящий тип госпитальной, воен-

но-канцелярской или интендантской крысы». Шпион долго и безнаказанно работал только из-за разгильдяйства властей и благодушия и непомерной лени русских интеллигентов.

«Поединок» стал одной из революционных вех в России. Недаром, когда Куприн читал «Поединок» в Севастополе, к нему подошел лейтенант Шмидт и крепко пожал ему руку. Это было незадолго до восстания на «Очакове».

После «Поединка» слава Куприна приобрела не только всероссийский, но и мировой характер. Но Куприн не только не обольщался ею, но даже тяготился.

Свою славу Куприн, по свидетельству Бунина, «нес... так, как будто ровно ничего не случилось в его жизни; казалось, что он не придает ей ни малейшего значения, ни в грош не ставит ее».

Куприн часто говорил, что писателем он стал случайно и потому собственная слава его удивляет.

В 1894 году Куприн вышел в отставку из армии и поселился в Киеве.

Сначала он бедствовал, но вскоре начал работать в киевских газетах фельетонистом и писать, как он говорил, «рассказишки».

До этого Куприн писал очень мало. Еще юнкером в 1889 году он напечатал свой первый рассказ — «Последний дебют» — в московском юмористическом журнале «Русский сатирический листок». В кадетском корпусе Куприн написал несколько стихотворений с революционной, но несколько приподнятой и по-детски наивной окраской.

Свои рассказы Куприн писал легко, не задумываясь, брал талантом, но прекрасно понимал, что на одном таланте без большого жизненного материала долго не продержишься. В одном из своих писем он писал о том, что, когда он вышел из полка, «самое тяжелое было то, что у меня не было никаких знаний — ни научных, ни житейских. С ненасытимой и до сей поры жадностью я накинулся на жизнь и на книги».

Надо было уходить в жизнь, и Куприн, не задумываясь, бросился в нее. Он изъездил всю Россию, меняя одну профессию за другой. Он изучил страну и знал ее во всех ее качествах, любил жить одной жизнью с простыми людьми, выспрашивать их, следить за ними, запоминать их язык, их говор.

И так постепенно, из года в год, Куприн стал таким же бывалым человеком, как Горький, с которым он потом подружился, как Лесков, — стал знатоком своего народа и его описателем. Поэтому он никогда не чувствовал недостатка

материала. Все занимало его, и обо всем он рассказывал живо, со вкусом, ни на минуту не сомневаясь в том, что это интересно и всем окружающим.

В этом широком погружении в жизнь страны вырабатывалась зрелость писателя. В этом отношении интересно сравнить рассказы «Киевские типы» с рассказом «Река жизни».

Все эти рассказы связаны с жизнью Куприна в Киеве. Материал их одинаков, но после фельетонных, хотя и, несомненно, талантливых, «Киевских типов» рассказ «Река жизни» по своей силе является классическим.

Мне пришлось еще юношей жить в таких же киевских номерах, как купринская «Сербия», и каждый раз, когда я перечитываю этот рассказ, он меня поражает своей типичностью. В «Сербии» я не жил. Но жил в номерах «Прогресс». Там все было совершенно таким же, как и в описанной Куприным «Сербии», и вся обстановка, и хозяйка, и ее любовник-управитель, и вся коллекция отталкивающих и подозрительных жильцов.

Тогда, между прочим, я впервые и единственный раз видел Куприна. Он выступал в помещении Киевского цирка с чтением своих рассказов. Читал он превосходно. Меня поразила внешность Куприна. До этого я видел его фотографии, и он казался мне похожим на хорошего русского прасола. У него было широкое простонародное лицо чуть монгольского типа.

В цирке же я увидел крепкого, немного кряжистого человека с явными чертами внутреннего и внешнего изящества — вплоть до красной гвоздики в петлице пиджака.

В 1896 году Куприн работал в кузнечном цехе одного из металлургических заводов Донбасса. Вскоре после этого он написал повесть «Молох».

В те годы донецкие земли быстро теряли патриархальный характер чеховской «Степи». Мутные дымы заводов залегли над степными горизонтами. Степная поэзия «Слова о полку Игореве» ушла в невозвратимое прошлое. А. Блок писал об этом:

Нет, не видно там княжьего стяга,
Не шеломами черпают Дон,
И прекрасная внучка варяга
Не клянет половецкой полон...

Нет, не вьются там по ветру чубы,
Не пестреют в степях бунчуки...
Там чернеют фабричные трубы,
Там заводские стонут гудки.

Путь степной — без конца, без исхода,
Степь да ветер, да ветер — и вдруг
Многоярусный корпус завода,
Города из рабочих лачуг...

Донецкий бассейн охватила «золотая каменноугольная лихорадка». Угленосные участки раскупались за бешеные деньги. Создавались акционерные компании, строились шахты и заводы. Шло жестокое соревнование между русскими промышленниками и иностранцами. Иностранцы почти всегда побеждали. У них была старая сноровка, а русские толстосумы, недавние купцы и подрядчики, пока что примеривались и приспосабливались и знали только один способ выколачивать прибыли — выжимать все до конца из людей, земли и машин.

Перечитывая Куприна, я с удивлением заметил, что в своих жизненных скитаниях я как бы шел по его следам. Западный край, Киев, Одесса, Донбасс, Балаклава, Мещерские леса под Рязанью — все это прошло через жизнь почти в той же последовательности, как и в жизни Куприна. Разница была только во времени, и то небольшая, не больше двадцати лет.

Я застал жизнь такой же, какой она была при Куприне, и потому могу с некоторым правом свидетельствовать о необыкновенной свежести его характеристик людей и событий, всего его художественного письма.

Куприн был на Юзовском заводе в 1896 году. Мне привелось работать там в 1916 году — ровно через двадцать лет, но я застал еще в Донбассе всю обстановку купринского «Молоха». Я помню те же рабочие поселки, Нахаловки и Шанхаи, из землянок и лачуг, беспросветную работу и нужду шахтеров, воскресные побоища с казаками, уныние, гарь, брезгливых и высокомерных инженеров и «молохов» — владельцев акционерных компаний, промышленных сатрапов, перед которыми заискивали министры.

Ни в одной своей вещи Куприн не выразил с такой силой, как в «Молохе», свою ненависть к капитализму и его разнузданным представителям, свое осуждение прекраснодушных и мягкотелых интеллигентов, в решительную минуту впадающих в истерию, и свое сочувствие рабочим, обреченным на голод и нищету.

Очень резко, густо выписан в повести делец и промышленник Квашнин — «молох», «мешок, набитый золотом». Временами Куприн придает Квашнину даже несколько гротескные черты.

Часть современных Куприну критиков, так называемых «литературных чистоплюев», обвиняла писателя, особенно в связи с «Молохом», в том, что он не окончил «литературную консерваторию» и допускает в своих вещах языковые и стилистические небрежности.

Обвинение это объясняется тем, что Куприн стремился сказать все, что он хотел, «по свежему следу», не откладывая работу и не вынашивая ее годами. Ему было важно заразить людей своим состоянием, своими мыслями, гневом или радостью, своей заветной мечтой, и для этого он не искал особых слов и особых эпитетов.

Куприн любил и превосходно знал русский язык, но никогда не делал из него раз навсегда установленного литературного канона.

Временами его язык приближается к разговорному, к языку устного рассказчика; и в этом отношении он несколько родствен языку Толстого. Вместе с тем Куприн всегда восхищался языком Чехова — «благоуханным, тонким и солнечным». Эта солнечность языка, его свет, его сила, его свежие краски были присущи и купринскому языку.

Куприн с удивительным чувством меры и умением пользовался родственными русскому языками (в частности, украинским) и местными диалектами. Особенно хороши его полесские рассказы, где диалект полещуков придает локальную прелесть всему произведению.

Помимо этого, Куприн хорошо знал жаргоны русского языка, вплоть до «блатного» языка и жаргона проституток, до речи обывателя и полуинтеллигента. Это качество придает его рассказам острую типичность. Куприн свободно владел способностью характеристики не только отдельных людей, но и больших прослоек русского общества при помощи их языковых особенностей, при помощи диалога.

Примеров можно привести много, но достаточно хотя бы двух — манеры говорить инженера Боброва из «Молоха» и студента из рассказа «Река жизни».

Ничто так не разоблачает внутреннюю несостоятельность этих интеллигентов, как их язык — приподнятый, временами даже ходульный, книжный, многословный, «прекраснодушный», но лишенный твердости и силы.

По размаху своего таланта, по своему живому языку Куприн окончил не только «литературную консерваторию», но и несколько литературных академий.

Еще будучи офицером, Куприн ездил в Петербург держать экзамен в Академию генерального штаба. Экзамена он не выдержал, но поездка помогла ему установить связь с журналом «Русское богатство» и несколькими писателями.

С тех пор, несмотря на беспрерывные скитания иногда по самым забытым и глухим углам страны, Куприн не прерывал эти связи. Он познакомился с Чеховым, часто бывал у него в Ялте на Аутке и сдружился там с Буниным, Горьким, Федоровым, писателем-доктором Елпатьевским и со всем чеховским окружением.

Среди писателей он выделялся своей непосредственностью, простотой и образом жизни, далеким от обычного писательского существования. Дружа с писателями, Куприн никогда не изменял своим старым друзьям из рабочих, рыбаков, крестьян и матросов, из простонародья и ради общения с ними легко мог поступиться обществом литераторов.

В нем не было тщеславия. Он никогда не говорил о себе, как о писателе, — возможно, что он просто забывал об этом. Но он никогда не упускал случая помочь начинающему писателю, особенно если он происходил из милой его сердцу простонародной среды.

Писатель Н. Никандров рассказывал мне, как Куприн упорно тащил и жестоко заставлял его, Никандрова, работать, чтобы «сколотить из него настоящего писателя».

История эта вообще интересна для характеристики того времени.

В 1905 году Никандров, бывший черноморский рыбак, сидел в севастопольской тюрьме за принадлежность к организации эсеров.

Севастопольская тюрьма была расположена вблизи Базарной площади, в месте довольно оживленном. Было лето. Стояла жара, и потому окна в камерах были открыты.

Никандрову — человеку необыкновенно жизнерадостному и большому говоруну — было скучно сидеть без дела, и он придумывал себе развлечения. Стоя у окна, он следил за пешеходами, шедшими на базар, главным образом за крикливыми южными хозяйками. Как только хозяйки, встретившись, останавливались и заводили разговор, Никандров начинал вслух сочинять этот разговор — смехотворный и необыкновенно сочный. Никандров хорошо знал быт и нравы южан.

Вся тюрьма слушала Никандрова у открытых окон и награждала его рассказы хохотом и аплодисментами.

Однажды Никандров получил через уголовного, прибиравшего камеры, записку. В ней было сказано, что если Никанд-

ров набросает на бумаге свои устные рассказы и передаст их автору этой записки, то рассказы можно будет напечатать в севастопольской газете и даже получить за них гонорар. Под запиской стояла незнакомая Никандрову подпись — Гриневский. Это был А. С. Грин.

Никандров набросал свои озорные рассказы, переслал их Грину, и вскоре рассказы действительно были напечатаны.

После освобождения из тюрьмы Никандров зашел в редакцию севастопольской газеты. Там на его имя лежало письмо из Балаклавы от Куприна. Куприн с восхищением отзывался о рассказах Никандрова и приглашал неизвестного автора к себе.

Никандров поехал к Куприну в Балаклаву, они быстро сдружились, и Куприн просто заставлял Никандрова писать и долго и терпеливо учил его основам писательского мастерства.

В Балаклаве Куприн написал один из самых обаятельных своих рассказов — «Листригоны».

Я уже говорил о том, что почти все вещи Куприна автобиографичны. Все мечтатели и все влюбленные в жизнь в его рассказах — это он сам, Куприн, цельный и непосредственный человек, не знающий ни рисовки, ни позы, ни резонерства. Поэтому его неудержимо тянуло к таким же простым и ярким людям, каким он был сам.

Таковы были балаклавские греки — «листригоны».

Вообще «Листригоны» занимают по своей поэтичности, свободе повествования и вместе с тем по живописной конкретности людей, обстановки и пейзажа особое место в творчестве Куприна.

«Листригоны» — удивительная по простоте и прелести поэма русской прозы. Каждая черта, каждая деталь вызывают улыбку — настолько все ощутимо, верно и просто.

Двумя-тремя лаконичными фразами Куприн дает тонкое, эмоциональное, если можно так выразиться, представление о Балаклаве.

Вот, например, одна из таких фраз:

«Нигде во всей России, — а я порядочно ее изъездил по всем направлениям, — нигде я не слушал такой глубокой, полной, совершенной тишины, как в Балаклаве. Выходишь на балкон — и весь поглощаешься мраком и молчанием. Черное небо, черная вода в заливе, черные горы. Вода так густа, так тяжела и так спокойна, что звезды отражаются в ней, не рябясь и не мигая».

Куприн недаром жил в Балаклаве. Нет, по-моему, лучшего места (конечно, зимой, когда Балаклава пустее) для писательской работы.

Что-то гриновское есть в этом городке, в его греческих домах с пустыми нишами для статуй, в тончайших голубых сетях, разостланных прямо на набережной, в его уютных лесенках, в закоулках и переходах, в его тишине, в близости открытого моря. Гул шторма слышен рядом, за мысом, тогда как в Балаклавской бухте вода, налитая вровень со старыми набережными, стоит неподвижно и ветер даже не шелестит в сухой листве акаций.

Но самыми поразительными, действительно магическими и необыкновенными являются балаклавские ночи, когда свет единственного в городе фонаря тонет во мраке и так хорошо думать, сидя на балконе в кромешной темноте, и чувствовать беспредельный покой и какую-то, я бы сказал, тишину сердца. В этой тишине должны рождаться удивительные мысли и такие удивительные книги, как «Листригоны».

У Куприна есть цикл рассказов: «Лесная глушь», «Болото», «На глухарей». Их объединяет место действия — леса, но по своему содержанию они очень различны.

Благоговейная и спокойная любовь Куприна к природе очень заразительна, и в этом тоже чувствуется сила его таланта.

О природе, о лесах, о какой-нибудь хибарке смолокуров Полесья Куприн рассказывает так, что тоска начинает грызть сердце, — тоска оттого, что ты сейчас не там, не в этих местах, тоска от страстного желания немедленно увидеть их во всей девственной суровости и красоте.

Одно время Куприн жил в Мещерских лесах у мужа сестры, лесничего в Криушах. Действие рассказа «Болото» происходит в Мещере.

Память о зяте Куприна и о нем самом еще жива среди старых мещерских лесников и объездчиков. Они даже показывают место, где стояла сторожка лесника Степана, описанного Куприным в «Болоте», — безответного, тихого человека, умершего, как и вся его семья, от малярии.

Сторожка стояла на Боровом Мху, на обширном болоте. Такие болота в Рязанской области зовут мшарами. Сейчас Боровой Мох почти осушен, и лесники на нем уже не живут. Лесные сторожки-кордоны вынесены из болот на так называемые «острова», на песчаные бугры среди сосновых лесов.

На буграх сухо и тепло, но жить там летом тоже адовая мука. Комара столько, что семьи лесников по неделям не выходят из избы и сидят в едком дыму от дымокуров. Спят только под марлевыми пологами. К осени комар исчезает, и потому осень — самое благословенное время для лесных жителей. Воздух свеж и чист, и последняя легкая теплота еще прогревает сосновые чащи.

О великой силе комаров можно судить хотя бы по тому, что листва ольхи по берегам озер и на болотах днем кажется серой, а не зеленой, от плотного слоя комаров, сидящих на деревьях. А по вечерам все болота зудят тонким и, кажется, всемирным комариным писком.

Мне случилось ночевать на мшарах. Ни костер, ни толстая подстилка из сосновых веток не спасали от резкого водянистого холода, что сочился снизу, из самых недр земли. А туманы были такие, что никак не могли разгореться костры.

Все сказанное выше — только внешняя обстановка рассказа «Болото». Рассказ этот с потрясающей силой обличает идиотизм деревенской жизни и тупую, поистине рабскую покорность человека перед недоброй силой тогдашнего общественного строя. Вся беспомощность лесника Степана, вся его безответная философия сводится к словам: «Не мы, так другие».

Есть у Куприна одна заветная тема. Он прикасается к ней целомудренно, благоговейно и нервно. Да иначе к ней и нельзя прикасаться. Это — тема любви.

Иногда кажется, что о любви в мировой литературе сказано все. Что можно сказать о любви после «Тристана и Изольды», после сонетов Петрарки и истории Манон Леско, после пушкинского «Для берегов отчизны дальной», лермонтовского «Не смейся над моей пророческой тоскою», после «Анны Карениной» и чеховской «Дамы с собачкой»?

Но у любви тысячи аспектов, и в каждом из них — свой свет, своя печаль, свое счастье и свое благоухание.

Один из самых благоуханных и томительных рассказов о любви, и самых печальных, — это купринский «Гранатовый браслет».

Куприн плакал над рукописью «Гранатового браслета», плакал скупыми и облегчающими слезами. К сожалению, писатели не так часто плачут и хохочут над своими рукописями. Я говорю к сожалению потому, что и эти слезы и этот смех говорят о глубокой жизненности того, что писатель создал,

иной раз сам не понимая до конца силы своего перевоплощения и своего таланта.

Куприн говорил о «Гранатовом браслете», что ничего более целомудренного он еще не писал.

Это верно. У Куприна есть много тонких и превосходных рассказов о любви, об ожидании любви, о трагических ее исходах, об ее поэзии, тоске и вечной юности. Куприн всегда и всюду благословлял любовь. Он посылал «великое благословение всему: земле, водам, деревьям, цветам, небесам, запахам, людям, зверям и вечной благости и вечной красоте, заключенной в женщине».

Характерно, что великая любовь поражает самого обыкновенного человека — гнущего спину за канцелярским столом чиновника контрольной палаты Желткова.

Невозможно без тяжелого душевного волнения читать конец рассказа с его изумительно найденным рефреном: «Да святится имя твое!»

Особую силу «Гранатовому браслету» придает то, что в нем любовь существует как нежданный подарок — поэтический и озаряющий жизнь — среди обыденщины, среди трезвой реальности и устоявшегося быта.

Все персонажи «Гранатового браслета» действительно существовали. Куприн сам писал об этом в одном из своих писем: «Это — помнишь? — печальная история маленького телеграфного чиновника П. П. Жолтикова, который был так безнадежно, трогательно и самоотверженно влюблен в жену Любимова».

Я упоминаю об этом исключительно для того, чтобы подчеркнуть безусловную подлинность многих вещей Куприна. Куприн не извлекал свои рассказы из мира вымысла и поэзии. Наоборот, он открывал в реальности поэтические пласты настолько глубокие и чистые, что они производили впечатление свободного вымысла.

У меня нет возможности рассказать обо всех достоинствах «Гранатового браслета», но об одном нельзя не сказать — о безошибочном вкусе Куприна, включившего рассказ о трагической и единственной любви в обстановку южной приморской осени.

Трудно сказать почему, но блистательный и прощальный ущерб природы, прозрачные дни, безмолвное море, сухие стебли кукурузы, пустота оставленных на зиму дач, травянистый запах последних цветов — все это сообщает особую горечь и силу повествованию.

Куприн с восторгом принял Февральскую революцию, но

по отношению к Октябрьской революции он занял противоречивую позицию. Он гневно восставал против врагов Октябрьской революции и вместе с тем сомневался в ее успехе и в ее подлинно народной сущности.

В этом состоянии растерянности Куприн эмигрировал в 1919 году во Францию.

Поступок этот был неорганичен для него, был случаен. За границей он тяжело тосковал по России, почти бросил писать и, наконец, весной 1937 года вернулся в родную Москву.

Он был уже тяжко болен и умер 25 августа 1938 года.

«Даже цветы на родине пахнут по-иному», — написал он перед самой смертью, и в этих словах выразилась вся его глубочайшая любовь к своей стране.

Мы должны быть благодарны Куприну за все — за его глубокую человечность, за его тончайший талант, за любовь к своей стране, за непоколебимую веру в счастье своего народа и, наконец, за никогда не умиравшую в нем способность загораться от самого незначительного соприкосновения с поэзией и свободно и легко писать об этом.

ИВАН БУНИН

> Как ни грустно в этом непонятном мире, но он все же прекрасен.
>
> И. Бунин

Еще в гимназии я начал зачитываться Буниным. В то время я мало знал о нем. Кое-что я узнал из автобиографической заметки, написанной самим Буниным для «Словаря писателей» Венгерова. Там было сказано, что Бунин провел свое детство в деревне, где-то между Ельцом и городком Ефремовом (в тогдашней Тульской губернии), а потом учился в Елецкой гимназии.

В холодном апреле 1916 года я впервые приехал в Ефремов к родственнице — одинокой старушке. Она звала меня погостить у нее и отдохнуть после моих скитаний по югу.

Старушка учительствовала в Ефремовской городской школе. Как все учительницы, она часто болела ангиной. Лечилась она всякими способами, даже по «знахарскому методу Бунина».

— Какого Бунина? — спросил я удивленно.

— Евгения Алексеевича. Брата писателя. Он служит у нас в Ефремове в акцизе. Открыл способ лечить ангину. Натирает шею сухой беличьей шкурой, и ангина тотчас проходит. Только мне не помогла эта шкурка. А Евгений Бунин — деловой и довольно суховатый господин. Вот брат его, писатель, говорят, человек прелестный, замечательный. Он иногда сюда приезжает.

С той минуты, как я узнал, что здесь бывает Бунин, Ефремов сразу преобразился для меня, хотя вообще-то был городком достаточно унылым. Теперь же он представлялся мне воплощением российского провинциального уюта.

Почти все наши захолустные города были схожи друг с другом. Все они, по слова́м Чехова, были «типичными Ефремовыми» — с запущенными монастырскими подворьями, с землистыми ликами угодников над каменными вратами церквей, с заливистыми колокольцами на тройке исправника, с острогом на выгоне, земским собранием — единственным домом, где у подъезда горел калильный фонарь, с крикливыми галками на

кладбищенских липах и глубокими оврагами. Летом в них стенами стояла глухая крапива, а зимой на сером от золы снегу сизо чадили головешки, выброшенные из печей и самоваров.

Тогда в Ефремове вошла в меня бунинская Россия и завладела мной надолго.

Елец был рядом. Я решил съездить туда, чтобы посмотреть этот бунинский город.

С ранней юности у меня была неистребимая страсть посещать места, связанные с жизнью любимых писателей и поэтов. Лучшим местом на земле я считал (и считаю до сих пор) холм под стеной Святогорского монастыря в Псковщине, где похоронен Пушкин. Таких далеких и чистых далей, какие открываются с этого холма, нет больше нигде в России.

Из Ефремова до Ельца ходил рабочий поезд, так называемый «Максим Горький». Я поехал на нем в Елец.

Холодный рассвет застал меня в дребезжащем, старом вагоне. Я сидел под мигающей свечой и читал в растрепанной старой книжке журнала «Современный мир» бунинский рассказ «Илья Пророк».

По своей пронзительной горечи этот рассказ — один из лучших в русской литературе. Каждая подробность, каждая черта этого рассказа (даже «бледные, как саван, овсы») щемила сердце предчувствием неизбежной беды, нищенством, сиростью, ставшими уделом тогдашней России.

От этой России временами хотелось бежать без оглядки. Но редко кто на это решался. Ведь нищенку-мать любят и в горьком ее унижении.

Бунин тоже ушел от своей единственно любимой страны. Но ушел только внешне. Человек необыкновенно гордый и строгий, он до конца своих дней тяжело страдал по России и пролил по ней много скрытых слез в чужих ночах Парижа и Граца, слез человека, добровольно изгнавшего себя из отечества.

Я ехал в Елец. Тощие зеленя тянулись за окнами вагона. Ветер посвистывал в жестяных вентиляторах, гнал низкие тучи. Я перечитывал «Илью Пророка», перечитывал скорбную историю Ивана Новикова, крестьянина Елецкого уезда Предтеченской волости. И старался понять: как, какими словами, каким волшебством достигнуто это подлинное чудо? Чудо создания короткого и сильного, горестного и великолепного рассказа.

В Ельце я не останавливался в гостинице. Для этого я был тогда слишком беден. Весь день до позднего вечера, когда

отходил обратный поезд на Ефремов, я бродил по городу и очень, конечно, устал.

Был серый высокий день. Пошел неожиданный запоздалый снежок. Ветер сдувал его с мостовых, обнажая каменные, избитые подковами белые плиты.

Город был весь каменный. Чудилось в этом его каменном обличье что-то крепостное. Оно чувствовалось и в пустынности улиц и в их тишине. Я слышал, что Елец всегда был шумным торговым городом, и удивлялся этому городскому покою, пока не понял, что тишина и малолюдие — следствие войны.

Елец действительно был крепостью. Бунин в «Жизни Арсеньева» говорил о нем:

«...Город гордился своей древностью и имел на это право: он и впрямь был одним из самых древних русских городов, лежал среди великих черноземных полей Подстепья, на той роковой черте, за которой некогда простирались «земли дикие, незнаемые», а во время княжеств Суздальского и Владимирского принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что, по слову летописцев, первые вдыхали бурю, пыль и хлад из-под грозных азиатских туч...»

Почти каждое слово в этом отрывке доставляет наслаждение своей простотой, точностью, образностью. Чего стоят одни только слова о том, что эти древние города вдыхали бурю и хлад азиатских набегов! Эти слова воскрешают тревожный свист караульных, грохот колотушек по чугунным доскам, призыв всех на городские валы.

Я долго простоял около здания мужской гимназии с каменным двором. В этой гимназии учился Бунин. Внутри было тихо, за окнами шли уроки.

Потом я прошел через базарную площадь, удивляясь обилию запахов. Пахло укропом, конским навозом, старыми сельдяными бочками, кожей, ладаном из открытых дверей церкви, где кого-то отпевали, пахло палым, уже перебродившим листом из садов за высокими серыми заборами.

Я напился чаю в трактире. Там было пусто и холодновато. Из трактира я пошел на окраину города. До поезда оставалось еще много времени.

На окраине — уходящем в низину длинном и голом выгоне — чадили и звенели от ударов по наковальням черные кузницы. Над выгоном белело небо. Рядом тянулась кладбищенская стена.

Я зашел на кладбище. Чуть позванивали и скрипели от ветра побитые фарфоровые розы и жестяные заржавленные листья на погребальных венках.

Кое-где на железных с витиеватыми завитушками крестах с облупившейся масляной краской виднелись коричневые, смытые дождями фотографии в металлических медальонах.

К вечеру я пришел на вокзал. В своей жизни я часто бывал одинок, но редко испытывал такое горькое ощущение неприкаянности, как в тот вечер в Ельце.

Где-то рядом за стенами домов, в теплых комнатах шла жизнь, может быть веселая и светлая, а может быть скудная и молчаливая. Но я был вне этих теплых стен. Я сидел в тускло освещенном зале третьего класса, где воняло керосином и дуло холодом по ногам.

У каждого в жизни бывали странные, порой приятные, порой печальные совпадения. Были они и у меня. Но самое удивительное совпадение случилось в этот вечер на Елецком вокзале.

Я купил в газетном киоске сырой номер «Русского слова». В зале третьего класса из-за темноты читать было трудно. Я пересчитал свои деньги. Их хватало на то, чтобы напиться чаю в ярко освещенном вокзальном буфете и даже дать подвыпившему официанту на чай.

Я сел в буфете за стол около пустого мельхиорового ведра для шампанского и развернул газету...

Опомнился я только через час, когда вокзальный швейцар, мотая колокольчиком, прокричал нарочито гнусавым голосом: «Второй звонок на Ефремов, Волово, Тулу!»

Я вскочил, бросился в вагон и просидел, забившись в угол около темного окна, до самого Ефремова.

Все внутри меня дрожало от печали и любви. К кому?

К дивной девушке, к убитой вот на этом вокзале гимназистке Оле Мещерской. В газете был напечатан рассказ Бунина «Легкое дыхание».

Я не знаю, можно ли назвать эту вещь рассказом. Это не рассказ, а озарение, самая жизнь с ее трепетом и любовью, печальное и спокойное размышление писателя, эпитафия девичьей красоте.

Я был уверен, что проходил на кладбище мимо могилы Оли Мещерской, и ветер робко позванивал в старом венке, как бы призывая меня остановиться.

Но я прошел, ничего не зная. О, если бы я знал! И если бы я мог! Я бы усыпал эту могилу всеми цветами, какие только цветут на земле. Я уже любил эту девушку. Я содрогался от непоправимости ее судьбы.

За окнами дрожали, погасая, редкие и жалкие огни деревень. Я смотрел на них и наивно успокаивал себя тем, что

Оля Мещерская — это бунинский вымысел, что только склонность к романтическому приятию мира заставляет меня страдать из-за внезапной любви к этой погибшей девушке.

Пожалуй, в эту ночь в холодном вагоне, среди черных и серых полей России, среди шумящих от ночного ветра еще не распустившихся березовых рощ я впервые до конца, до последней прожилки понял, что такое искусство и какова его возвышающая и вечная сила.

Я несколько раз разворачивал газету и перечитывал при умирающем огне свечи, а потом при водянистом свете бездомной зари все одни и те же слова о легком дыхании Оли Мещерской, о том, что теперь «это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре».

* * *

Второй съезд советских писателей встретил овацией слова о том, что Бунин должен быть возвращен русской литературе.

И он был возвращен. Были возвращены на Родину драгоценнейшие бунинские вещи и в их числе повесть «Жизнь Арсеньева».

Об этой повести писать трудно, почти невозможно, так же, как и о самом Бунине. Он так богат, так щедр, так многообразен, так беспощадно и точно видит любого человека — от господина из Сан-Франциско до плотника Аверкия, видит каждый малейший жест и каждое душевное движение так удивительно ясно, одновременно строго и нежно, говорит о природе, неотделимой от течения человеческих дней, что писать об этом, как говорится, «из вторых рук» бесполезно и почти бессмысленно.

Бунина надо читать и навсегда отказаться от жалких попыток рассказывать обыденными, не бунинскими словами о том, что написано им с классической силой и четкостью.

Нельзя рассказать своими словами «Ненастный день потух» Пушкина, «Над вечным покоем» Левитана или «По синим волнам океана» Лермонтова. Это так же бесполезно, как поверять сухой алгеброй гармонии Моцарта и всех великих композиторов от XIV века до Стравинского. Поэтому я не буду делать попыток, заранее обреченных на неудачу, пересказывать Бунина и толковать его вещи применительно к «злобе дня».

«Злоба дня», иными словами, понятие современности не может существовать без теснейшей связи со всем, что пред-

шествовало нашему времени и что в какой-то мере его определило.

Книги Бунина тем и замечательны, что они целиком — в своем времени и вместе с тем связаны живой связью с прошлым нашего народа.

В прозе и поэзии Бунина явственно присутствует ощущение жизни как длительного и в основе своей прекрасного пути от рождения человека до его смерти. Особенно сильно это ощущение жизни выражено в «Жизни Арсеньева».

Эта повесть — не только славословие России, не только итог жизни Бунина, не только выражение глубочайшей и поэтической его любви к своей стране, выражение печали и восторга перед ней, изредка блещущего со страниц книги скупыми слезами, похожими на редкие ранние звезды на небосклоне. Это еще нечто другое.

Это не только вереница русских людей — крестьян, детей, нищих, разорившихся помещиков, прасолов, студентов, юродивых, художников, прелестных женщин, — многих людей, присутствовавших на всех путях и перепутьях писателя и написанных с резкой, порой ошеломляющей силой.

«Жизнь Арсеньева» в каких-то своих частях напоминает картину художника Нестерова «Святая Русь». Эта картина — наилучшее выражение своей страны и народа в понимании художника.

По широкой дороге среди перелесков и взгорий, мимо чистых речек и почернелых бревенчатых церквей, мерно роняющих в тишину осеннего дня колокольные звоны, мимо позабытых погостов и деревенек идет под светлым северным небом большая толпа.

Кого только нет в этой толпе! Идет вся Русь! Идет древний царь в тяжелой парче и литом золоте, идут, жидко звеня цепями, кандальники, робкие сермяжные мужички, подпаски с длинными кнутами, странники в скуфейках, девушки с опущенными, будто насурмленными, ресницами, что бросают нежную тень на их бледные лица, озаренные каким-то целомудренным внутренним светом. Идут юроды, побирушки, истовые старухи, плотники, косцы, грозные старцы с посохами, подмастерья, идут притихшие белоголовые дети, глядя вверх на проблески солнца и на тянущих на юг журавлей.

В толпе идет Лев Толстой, а невдалеке от него — Достоевский. Они идут в дорожной пыли со своим ищущим правды народом, идут вместе с ним в ясные, но пока еще далекие дали, о которых они не уставали говорить всю жизнь.

Что-то общее у этой картины с книгами Бунина. С тем толь-

ко, однако, отличием, что люди у Бунина совершенно реальные, всем знакомые, а страна гораздо скромнее и беднее, чем у Нестерова.

Срединная наша Россия предстает у Бунина в прелести серых дней, покое полей, дождях и туманах, а порой в бледной лучезарности, в тлеющих широких закатах.

Здесь уместно будет сказать, что у Бунина было редкое и безошибочное ощущение красок и освещения.

Мир состоит из великого множества соединений красок и света. И тот, кто легко и точно улавливает эти соединения, — счастливейший человек, особенно если он художник или писатель.

В этом смысле Бунин был очень счастливым писателем. С одинаковой зоркостью он видел все: и среднерусское лето, и пасмурную зиму, и «скудные, свинцовые, спокойные дни поздней осени», и море, «которое из-за диких лесистых холмов вдруг глянуло на меня всей своей темной громадной пустыней».

В записках Бунина есть одна короткая фраза. Она относится к началу лета 1906 года. «Начинается пора прелестных облаков», — записал Бунин и этим как бы открыл нам одну из тайн своей писательской жизни. Это слова о приближении неизбежного и милого труда, связанного у Бунина с летней порой, «порой облаков», «порой дождей», «порой цветения».

Этими четырьмя словами Бунин отмечает начало своей работы по наблюдению за небом, по изучению облаков, всегда таинственных и притягательных.

Недаром все лучшие наши поэты так точно и образно писали об облаках. Возьмем хотя бы наших современников. У Юрия Олеши над Москвой висит легкое облако, похожее на очертания Южной Америки. У Заболоцкого особенно много облаков. «В нежном небе серебристым комом облако невиданной красы. По бокам туманно-лиловато, посредине — грозно и светло, — медленно плывущее куда-то раненого лебедя крыло».

Каждый раз, когда читаешь бунинские строки о лете, вспоминаешь эту его запись. Слова о лете у него всегда томительны, даже если и занимают всего две строки:

«Отцвел и оделся сад, целый день пел соловей, целый день были подняты нижние рамы окон».

Бунин одинаково остро и тонко видел все, что привелось ему увидеть в жизни. А видел он очень много, с юных лет заболев скитальчеством, непокоем, жаждой непременно увидеть все, до той поры невиданное.

Он признавался, что никогда не чувствовал себя так пре-

красно, как в те минуты, когда ему предстояла большая дорога.

Есть некая крепкая связь между такими явлениями, как свет, запах, звук и цвет.

В чем эта связь? Хотя бы в том, что, глядя на неизвестные цветы, похожие на огромные крокусы на картине Ван-Гога, глядя на плотный свет, напоминающий прозрачный сок каких-то не наших плодов, неожиданно вдыхаешь сладковатый дразнящий запах этих плодов и свежее и слабое дыхание сырого морского песка. Этот запах как бы доносит до картинного зала равномерным ветром с чужих островов.

Читая Бунина, часто ловишь себя на ощущениях такого рода. Краска дает запах, свет дает краску, а звук восстанавливает ряд удивительно точных картин. Все это вместе рождает особое душевное состояние то сосредоточенности и печали, то легкости и жизни с ее теплыми ветрами, шумом деревьев, беспредельным гулом океана, милым смехом детей и женщин.

О своем чувстве красок, отношении к цвету в природе Бунин говорит в «Жизни Арсеньева»:

«Я весь дрожал при одном взгляде на ящик с красками, пачкал бумагу с утра до вечера, часами простаивал, глядя на ту дивную, переходящую в лиловое синеву неба, которая сквозит в жаркий день против солнца в верхушках деревьев, как бы купающихся в этой синеве, — и навсегда проникся глубочайшим чувством истинно божественного смысла и значения земных и небесных красок. Подводя итоги тому, что дала мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших итогов. Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умирая вспомню...»

Слегка приглушенные краски, характерные для Средней России, сразу же приобретают зной и густоту, когда Бунин говорит о юге, тропиках, Малой Азии, Египте, о Палестине.

«Светлая пустота тропического неба глядела в дверь рубки. Стекловидные волны все медленнее перекатывались за бортом, озаряя каюту».

Осенью 1912 года Бунин жил на Капри и подолгу в то время беседовал со своим племянником Николаем Алексеевичем Пушешниковым.

Сохранились записки Пушешникова об этих беседах. Они очень простые, эти записки. Они показывают нам Бунина — человека очень сдержанного — в часы редкой его откровенности.

Все эти записи говорят о неистовой любви Бунина к

жизни. Глядя из окна вагона на тень от паровозного дыма, таявшую в воздухе, Бунин сказал:

— Какая радость — существовать! Только видеть, хотя бы видеть лишь один этот дым и этот свет. Если бы у меня не было рук и ног и я бы только мог сидеть на лавочке и смотреть на заходящее солнце, то я был бы счастлив этим. Одно нужно — только видеть и дышать. Ничто не дает такого наслаждения, как краски. Я привык смотреть. Художники научили меня этому искусству... Поэты не умеют описывать осень, потому что они не описывают красок и неба. Французы — Эредиа, Леконт де Лиль — достигли необычайного совершенства в описаниях.

В записках Пушешникова есть место, удивительно раскрывающее «тайну» бунинского мастерства.

Бунин говорил, что, начиная писать о чем бы то ни было, прежде всего он должен «найти звук». «Как скоро я его нашел, все остальное дается само собой».

Что это значит «найти звук»? Очевидно, в эти слова Бунин вкладывал гораздо большее значение, чем кажется на первый взгляд.

«Найти звук» — это найти ритм прозы и найти основное ее звучание. Ибо проза обладает такой же внутренней мелодией, как стихи и музыка.

Это чувство ритма прозы и ее музыкального звучания, очевидно, органично и коренится также в прекрасном знании и тонком чувстве родного языка.

Даже в детстве Бунин остро чувствовал этот ритм. Еще мальчиком он заметил в прологе к пушкинскому «Руслану» кругообразное легкое движение стихов («ворожбу из кругообразных непрестанных движений»):

«И днем — и ночью — кот — ученый — все ходит — по цепи — кругом».

В области русского языка Бунин был мастером непревзойденным.

Из необъятного числа слов он безошибочно выбирал для каждого рассказа слова наиболее живописные, наиболее сильные, связанные какой-то незримой и почти таинственной связью с повествованием и единственно для этого повествования необходимые.

Каждый рассказ и каждое стихотворение Бунина подобны магниту, который притягивает из самых разных мест все частицы, нужные для этого рассказа.

Если бы сейчас существовал сказочник, подобный Христиану Андерсену, то он, может быть, написал сказку о том,

как слетаются к писателю, обладающему волшебным магнитом, всякие неожиданные вещи вплоть до солнечного луча в кустарнике, покрытом инеем, лохмотьев туч и сизых траурных риз, а писатель располагает их в своем особом, ему одному ведомом порядке, обрызгивает живой водой — и вот в мире уже живет новое произведение — поэма, стихи или повесть, — и ничто не сможет убить его. Оно бессмертно, пока жив на земле человек.

Язык Бунина прост, почти скуп, чист и живописен. Но вместе с тем он необыкновенно богат в образном и звуковом отношениях от кимвального пения до звона родниковой воды, от размеренной чеканности до интонаций удивительно нежных, от легкого напева до гремящих библейских проклятий, а от них — до меткого, разящего языка орловских крестьян.

Я только упомянул о «Жизни Арсеньева». А между тем эта повесть требует пристального чтения.

Я назвал «Жизнь Арсеньева» повестью. Это, конечно, неверно. Это не повесть, не роман, не рассказ. Это вещь нового, еще не названного жанра. Жанр этот изумительный, единственный, берущий человеческое сердце в мучительный и вместе с тем светлый плен.

Принято думать, что «Жизнь Арсеньева» — автобиография. Бунин отрицал это. Для автобиографии «Жизнь Арсеньева» была написана слишком свободно.

Это не автобиография. Это слиток из всех земных горестей, очарований, размышлений и радостей. Это удивительный свод событий одной человеческой жизни, скитаний, стран, городов, морей; но среди этого многообразия земли на первом месте всегда наша Средняя Россия. «Зимой безграничное снежное море, летом — море хлебов, трав и цветов... И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание...»

Бунину удалось в «Жизни Арсеньева» собрать свою жизнь в некоем магическом кристалле; но в отличие от пушкинского кристалла даль этой повести, даль жизни писателя очень резко очерчена, просвечена до самого дна.

Я продолжаю называть «Жизнь Арсеньева» повестью, хотя с таким же правом мог бы назвать ее поэмой или сказанием.

«Жизнь Арсеньева» — это одно из замечательнейших явлений мировой литературы. К великому счастью, оно в первую очередь принадлежит литературе русской.

В этой удивительной книге поэзия и проза слились воедино, слились органически, создав новый замечательный жанр.

В этом слиянии поэтического восприятия мира с внешне прозаическим его выражением есть нечто строгое, подчас суровое. Есть в самом стиле этой вещи нечто библейское.

В этой книге нельзя уже отличить поэзию от прозы, и многие ее слова ложатся на сердце, как раскаленная печать.

Достаточно прочесть несколько строк о матери, чтобы понять, что Бунин нашел для всего, о чем он хотел сказать, единственно нужное и единственно возможное выражение.

Эти строки нельзя читать без душевного потрясения:

«В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире, и да будет вовеки благословенно ее бесценное имя. Ужели та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захудалого русского города, на дне уже безымянной могилы, ужели это она, которая некогда качала меня на руках?»

Сила языка, сила точного образа в «Жизни Арсеньева» таковы, что рождают грусть, волнение и даже слезы. Те редкие слезы, которые вызывает прекрасное.

Новизна «Жизни Арсеньева» еще и в том, что ни в одной из бунинских вещей не раскрыто с такой простотой то явление, которое мы, по скудности своего языка, называем «внутренним миром» человека. Как будто есть ясная граница между внутренним и внешним миром? Как будто внешний мир не являет собой одно целое с миром внутренним?

Все, о чем говорит Бунин в этой книге, очень видно, слышно, осязаемо, вещно и надолго радует или печалит нас. Я приведу из этой книги несколько отрывков. Вот, например, первая встреча маленького мальчика с городом:

«Всего поразительнее оказалась в городе вакса. За всю мою жизнь я не испытал от вещей, виденных мною на земле, — а я видел много! — такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы. Круглая коробочка эта была из простого лыка, но что это было за лыко, и с какой несравненной художественностью была сделана из него коробочка! А самая вакса! Черная, тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом».

В книге есть одно место об «одиночестве» луны. Написано это место с какой-то пронзительной печалью, хотя Бунин пишет от лица того же маленького мальчика:

«Помню, однажды осенней ночью я почему-то проснулся и увидел легкий и таинственный полусвет в комнате, а в большое незавешенное окно — бледную и грустную осеннюю луну, стоявшую высоко-высоко над пустым двором усадьбы,

такую грустную и исполненную такой неземной прелести от своей грусти и своего одиночества, что и мое сердце сжали какие-то несказанно сладкие и горестные чувства, те самые как будто, что испытывала и она, эта осенняя бледная луна».

Описание родного нищего края сделано Буниным со скупой выразительностью:

«Где я родился, рос, что видел? Ни гор, ни рек, ни озер, ни лесов, только кустарники в лощинах, кое-где перелески и лишь изредка подобие леса, какой-нибудь Заказ, Дубовка, а то все поля, поля, беспредельный океан хлебов... Это Подстепье, где поля волнисты, где все буераки да косогоры, неглубокие луга, чаще всего каменистые, где деревушки и лапотные обитатели их кажутся забытыми богом, — так они неприхотливы, первобытно просты, родственны своим лозинам и соломе».

У писателей есть термин, заимствованный у скульпторов,— «лепка людей». У немногих писателей есть такая безошибочно верная и порой то безжалостная, то трогательная «лепка людей», как у Бунина. Вот, к примеру, подпасок:

«Мальчишка-подпасок был необыкновенно интересен: посконная рубашонка и коротенькие порточки были у него дыра на дыре, ноги, руки, лицо высушены, сожжены солнцем и лупились, губы болели, потому что вечно жевал он то кислую ржаную корку, то лопухи, то эти самые «козельчики», разъедавшие губы до настоящих язв, а острые глаза воровски бегали: ведь он хорошо понимал всю преступность нашей дружбы с ним и то, что он подбивает и нас есть бог знает что. Но до чего сладка была эта преступная дружба! Как заманчиво было все то, что он нам тайком, отрывисто, поминутно оглядываясь, рассказывал. Кроме того, он удивительно хлопал, стрелял своим длинным кнутом и бесовски хохотал, когда пробовали и мы хлопать, пребольно обжигая себя по ушам концом кнута».

Русский пейзаж с его мягкостью, застенчивыми веснами, с его невзрачностью, которая через короткое время оказывается тихой красотой, вызывающей даже жалость, нашел, наконец, своего выразителя, никогда не пытавшегося его приукрасить. Не было в русском пейзаже даже самой малой малости, которую бы не заметил и не описал Бунин.

«Миновали глинистый пруд, жарко и скучно блестевший своей удлиненной поверхностью в лощине среди выбитых скотиной косогоров. На них кое-где как-то беспризорно на юру в раздумье сидели грачи».

В «Жизни Арсеньева» есть небольшая глава. Она начинается словами:

«Очень русское было все то, среди чего жил я в мои отроческие годы». Дальше Бунин говорит о большой дороге вблизи села Становего, о разбойниках, страхе, ночах, но какая удивительная картина недавней России набросана здесь:

«Большая дорога возле Станового спускалась в глубокий овраг, по-нашему «верх», и это место всегда внушало почти суеверный страх. Не раз испытал в молодости этот чисто русский страх и я сам, проезжая под Становой... Все представлялось: глядь, а они — и вот они! Не спеша идут наперерез тебе с топориками в руках, туго и низко по самым крестцам подтянутые, с надвинутыми на зоркие глаза шапками. И вдруг останавливаются, негромко и преувеличенно спокойно приказывают: «Постой-ка на минутку, купец...»

Великолепных мест в этой книге великое множество. Я не помню в нашей прозе такого описания зимы, какое я привожу ниже:

«А еще помню я много серых и жестких зимних дней, много темных и грязных оттепелей, когда становится особенно тягостна русская уездная жизнь, когда лица у всех делаются скучны, недоброжелательны — первобытно подвержен русский человек природным влияниям! и все на свете, равно как и собственное существование, томит своей ненужностью. Помню, как иногда по целым неделям несло непроглядными азиатскими метелями, в которых чуть маячили городские колокольни. Помню крещенские морозы, наводившие мысль на глубокую древнюю Русь, на те стужи, от которых «земля на сажень трескалась». Тогда над белоснежным городом, совершенно потонувшим в сугробах, по ночам грозно горело на черно-вороненом небе белое созвездие Ориона, а утром зеркально, зловеще блистало два тусклых солнца и в тугой и звонкой неподвижности жгучего воздуха весь город медленно и дико дымился алыми дымами их труб и весь скрипел и визжал от шагов прохожих и санных полозьев».

Говоря о Бунине, невольно делаешься человеком навязчивым. Все время хочется показать собеседнику-читателю прекрасные места, одно за другим. Все кажется, вот это — последнее. Но оказывается, что дальше — еще лучшее место, и нет сил промолчать о нем. Вот, например, слова о юности и почти детской любви. Каждый думает о минувшей юности с грустью. Тогда мы любили любовь и все, что она приносила нам: и «семицветную звезду, тихо мерцавшую на востоке, далеко за садом, за деревней, за летними полями, откуда

иногда чуть слышно и потому особенно очаровательно доносился далекий бой перепелов», и дыхание спящей любимой девушки, — «как же передать те чувства, с которыми смотрел я, мысленно видя там, в этой комнате, Лизу, спящую под лепет листьев, тихим дождем струящихся за открытыми окнами, в которые то и дело входит и веет этот теплый ветер с полей, лелея ее полудетский сон, чище, прекраснее которого не было, казалось, на свете».

* * *

В 1917 году я случайно попал в усадьбу Кропотово к югу от Ефремова. Усадьба принадлежала отцу Лермонтова. Однажды Лермонтов, по дороге на Кавказ, заезжал к отцу.

Старый и скучный дом был закрыт и заколочен. Я посидел около него на бревне.

Из-за глинистых бугров низко и бесконечно плелись рыхлые темные тучи. Перепадал дождь, стучал по рваным листьям лопухов.

И вот только недавно, читая «Жизнь Арсеньева», я узнал, что Бунин бывал в Кропотовке и эта деревня всегда вызывала у него мысли о великой бедности наших мест.

«Все было бедно, убого и глухо кругом. Я ехал большой дорогой и дивился ее заброшенности, пустынности. Ехал проселками, проезжал деревушки, усадьбы: хоть шаром покати не только в полях, на грязных дорогах, но и на таких же грязных деревенских улицах и на пустых усадебных дворах... Вот Кропотовка, этот забитый дом, на который я никогда не могу смотреть без каких-то бесконечно грустных и неизъяснимых чувств. Вот бедная колыбель его (Лермонтова)... Какая жизнь, какая судьба! Всего двадцать семь лет, но каких бесконечно богатых и прекрасных, вплоть до самого последнего дня, до того темного вечера на глухой дороге у подошвы Машука, когда, как из пушки; грянул из огромного старинного пистолета выстрел какого-то Мартынова и «Лермонтов упал, как будто подкошенный».

* * *

Чем больше я читаю Бунина, тем яснее становится, что Бунин почти неисчерпаем.

Во всяком случае, нужно много времени, чтобы узнать все им написанное и узнать бунинскую бурную, несмотря на элегичность автора, неспокойную и стремительную в своем движении жизнь.

Часть своей жизни Бунин рассказал сам (в «Жизни Арсеньева» и во многих рассказах, которые почти все в той или иной мере связаны с его биографией), часть рассказала его жена Вера Николаевна Муромцева-Бунина, выпустившая в 1958 году в Париже свою книгу «Жизнь Бунина» — очень ценный свод воспоминаний и материалов о Бунине.

Жизнь Бунина вся до последних дней была отдана скитаниям и творчеству. Недаром Бунин написал рассказ о матросе Бернаре с мопассановской яхты «Милый друг».

Бернар, великолепный моряк, умирая, сказал: «Кажется, я был неплохим моряком». Бунин писал о себе, что он был бы счастлив, если бы в свой смертный час мог повторить по праву слова Бернара и сказать: «Кажется, я был неплохим писателем».

Бунин был смел, честен в своих убеждениях. Он одним из первых в своей «Деревне» развенчал сладенький миф о русском крестьянине-богоносце, созданный кабинетными народниками.

У Бунина, кроме блестящих, совершенно классических рассказов, есть необычайные по чистоте рисунка, по великолепной наблюдательности и по ощущению далеких стран путевые очерки об Иудее, Малой Азии, Турции, Греции и Египте.

Бунин — первоклассный поэт чистой, если можно так выразиться, «кастальской» школы. Его стихи до сих пор не оценены. Среди них есть подлинные шедевры по выразительности и передаче трудноуловимых вещей.

Всю жизнь Бунин ждал счастья, писал о человеческом счастье, искал путей к нему. Он нашел его в своей поэзии, прозе, в любви к жизни и своей родине и сказал великие слова о том, что счастье дано только знающим.

Бунин прожил сложную, иногда противоречивую жизнь. Он много видел, знал, много любил и ненавидел, много трудился, иногда ошибался, но всю жизнь величайшей, нежнейшей, неизменной его любовью была родная страна, Россия.

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет — господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав.
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленам припав.

АЛЕКСАНДР БЛОК

Нет более трудной задачи, чем рассказать о запахе речной воды или о полевой тишине. И притом рассказать так, чтобы собеседник явственно услышал этот запах и почувствовал тишину.

Как передать «хрустальный звон», как говорил Блок, пушкинских стихов, возникающих в нашей памяти совершенно внезапно при самых разных обстоятельствах.

Есть в мире сотни замечательных явлений. Для них у нас еще нет слов, нет выражения. Чем удивительнее явление, чем оно великолепней, тем труднее рассказать о нем нашими помертвелыми словами.

Одним из таких прекрасных и во многом необъяснимых явлений нашей русской действительности является поэзия и жизнь Александра Блока.

Чем больше времени проходит со дня трагической смерти Блока, тем неправдоподобнее кажется нам самый факт существования среди нас этого гениального человека.

Он слился для многих из нас с необыкновенными людьми, с поэтами Возрождения, с героями общечеловеческих легенд. В частности, для меня Блок стоит в ряду любимейших полупризрачных, а то и вовсе призрачных людей, таких, как Орланд, Петрарка, Абеляр, Тристан, Леопарди, Шелли или до сих пор непонятный Лермонтов, — мальчик, успевший сказать во время своей мгновенной жизни о жаре души, растраченном в пустыне.

Блок сменил Лермонтова. О нем он сказал печальные и точные слова: «В томленьях его исступленных — тоска небывалой весны».

Одной из больших потерь своей жизни я считаю то обстоятельство, что не видел и не слышал Блока.

Я не слышал Блока, не знаю, как он читал стихи, но я верю поэту Пясту, написавшему маленькое исследование об этом.

Тембр голоса у Блока был глухой, отдаленный, равномерно спокойный. Его голос доходил даже до его современ-

ников, как голос из близкой дали. Было в нем нечто магическое, настойчивое, как гул долго затихающей струны.

Тот Блок, о котором я говорю, крепко существует в моем сознании, в моей жизни, и я никогда не смогу думать о нем иначе. Я провел с ним в молчании много ночей, у меня так часто падало сердце от каждой наугад сказанной и поющей его строки. «Этот голос — он твой, и его непонятному звуку жизнь и горе отдам».

Таким он вошел в мою жизнь еще в далекой трудной юности, таким он остался для меня и сейчас, когда, по словам Есенина, «пора уже в дорогу бренные пожитки собирать».

Среди «бренных пожитков» никогда не будет стихов Блока. Потому что они не подчиняются законам бренности, законам тления и будут существовать, пока жив человек на нашей земле и пока не исчезнет «чудо из божьих чудес» — свободное русское слово.

Быть может, наше несколько обостренное и пронзительно-прощальное отношение к Блоку объясняется тем, что рядом с нами притаилась водородная смерть. Стоит любому негодяю или безумцу нажать кнопку, чтобы погибло все, что составляет ценность человеческой жизни, и погиб сам человек. А так как негодяев много и они развязны, наглы и злы, то их соседство наполняет все мирное человечество огромной тревогой. И в смятении этой тревоги мы с особенной болью чувствуем величие и ясность поэзии Блока.

Но это особая наша беда и особая тема.

Да, я жалею о том, что не знал Блока. Он сам сказал: «Сознание того, что чудесное было рядом с нами, приходит слишком поздно».

Оборванная жизнь необратима. Блока мы не воскресим и никогда уже не увидим в нашей повседневной жизни. Но в мире есть одно явление, равное чуду, попирающее все законы природы и потому утешительное. Это явление — искусство.

Оно может создать в нашем сознании все и воскресить все! Перечитайте «Войну и мир», и я ручаюсь, что вы ясно услышите за своей спиной смех спрятавшейся Наташи Ростовой и полюбите ее, как живого, реального человека.

Я уверен, что любовь к Блоку и тоска по Блоку так велики, что рано или поздно он возникнет в какой-нибудь поэме или повести, совершенно живой, сложный, пленительный, испытавший чудо своего второго рождения. Я верю в это потому, что страна не оскудела талантами и сложность человеческого духа еще не свелась к одному знаменателю.

Простите, но здесь мне придется сказать несколько слов о себе.

Я начал писать автобиографическую повесть и дошел в ней до середины своей жизни. Это не мемуары, но именно повесть, где автор волен в построении рассказа. Но в главном я более или менее придерживаюсь подлинных событий.

В автобиографической повести я пишу о своей жизни, какой она была в действительности. Но есть, должно быть, у каждого, в том числе и у меня, вторая жизнь, вторая биография. Она, как говорится, «не вышла» в реальной жизни, не случилась. Она существует только в моих желаниях и в моем воображении.

И вот эту вторую жизнь я и хочу написать. Написать свою жизнь такой, какой она бы непременно была, если бы я создавал ее по своей воле, вне зависимости от всяких случайностей.

Вот в этой второй «автобиографии» я хочу и могу вплотную встретиться с Блоком, даже подружиться с ним и написать о нем все, что я думаю, с тем великим признанием и нежностью, какую я к нему испытываю. Этим я хочу как бы продлить жизнь Блока в себе.

Вы вправе спросить у меня, зачем это нужно.

Нужно для того, чтобы моя жизнь была гармонически закончена, и для того, чтобы показать на примере своей жизни силу поэзии Блока. Я не видел Блока. В последние годы его жизни я был далеко от Петербурга. Но сейчас я стараюсь хотя бы косвенно наверстать эту потерю. Быть может, это выглядит несколько наивно, но я ищу встречи со всем, что было связано с Блоком, — с людьми, обстановкой, петербургским пейзажем. Он почти не изменился после смерти поэта.

Уже давно меня начало мучить непонятное мне самому желание найти в Ленинграде дом, где жил и умер Блок, но найти непременно одному, без чьей бы то ни было помощи, без расспросов и изучения карты Ленинграда. И вот я, смутно зная, где находится река Пряжка (на набережной этой реки на углу теперешней улицы Декабристов жил Блок), пошел на Пряжку пешком и при этом не спрашивал никого о дороге. Почему я так поступил, я сам не совсем понимаю. Я был уверен, что найду дорогу интуитивно, что сила моей привязанности к Блоку, подобно поводырю, приведет меня за руку к порогу его дома.

Первый раз я не дошел до Пряжки. Начиналось наводнение, и были закрыты мосты.

Я только, продрогнув, смотрел в глухую аспидную муть

на западе. Там была Пряжка. Оттуда бил в лицо сырой ветер, нес мглу, и в этой мгле, как каменные корабли в шторме, вздымались неясные громады домов.

Я знал, что дом Блока стоял у взморья и, очевидно, первым принимал на себя удары балтийской бури.

И только во второй раз я дошел до дома на Пряжке. Я шел не один. Со мной была моя девятнадцатилетняя дочь, юное существо, сиявшее грустью просто оттого, что мы ищем дом Блока.

Мы шли по набережной Невы, и почему-то весь путь я запомнил с необыкновенной ясностью.

Был октябрьский день, мглистый, с кружащейся палой листвой. В такие дни кажется, что редкий туман над землей лег надолго. Он слегка моросит, наполняя свежестью грудь, покрывая мельчайшей водяной пылью чугунные решетки.

У Блока есть выражение: «Тень осенних дней». Так вот, это был день, наполненный этой тенью — темноватой и холодной. Слепо блестели стекла особняков, избитых во время блокады осколками снарядов. Пахло каменноугольным дымом — его, должно быть, приносило из порта.

Мы шли очень медленно, часто останавливались, долго смотрели на все, что открывалось вокруг. Почему-то я был уверен, что Блок чаще возвращался домой этим путем, а не по скучной Офицерской улице.

Сильно пахло тинистой водой и опилками. Тут же у берега пустынной в этом месте Невы какие-то девушки в ватниках пилили циркулярной пилой березовые дрова. Опилки летели длинными фейерверками, но всегда раздражающий визг пилы звучал здесь почему-то мягко, приглушенно. Пила как бы пела под сурдинку.

За темным каналом — это и была Пряжка — подымались стапеля судостроительных заводов, трубы, дымы, закопченные фабричные корпуса.

Я знал, что окна квартиры Блока выходили на запад, на этот заводской пейзаж, на взморье.

Мы вышли на Пряжку, и я тотчас увидел за низкими каменными строениями единственный большой дом — кирпичный и очень обыкновенный. Это был дом Блока.

— Ну вот, мы и пришли, — сказал я своей спутнице.

Она остановилась. Глаза ее вспыхнули радостью, но тотчас же к этому радостному сиянию прибавился блеск слез. Она старалась держаться, но слезы не слушались ее, все набегали маленькими каплями и скатывались с ресниц. Потом

она схватилась за мое плечо и прижалась лицом к моему рукаву, чтобы скрыть слезы.

В окнах дома блестел ленинградский слепой свет, но для нас обоих и это место и этот свет казались священными.

Я подумал о том, как счастлив поэт, которому юность отдает свою первую любовь — застенчивую и благодарную. Юность отдает свое признание юному поэту. Потому что Блок в нашем представлении всегда был и всегда остается юным. Таков удел почти всех трагически живших и трагически погибших поэтов.

Даже в свои последние годы, незадолго до смерти, Блок, измученный никому не высказанной внутренней тревогой, так и оставшейся неразгаданной, сохранял внешние черты молодости.

Здесь следует сделать одно маленькое отступление.

Широко известно, что есть писатели и поэты, обладающие большой заражающей силой творчества.

Их проза и стихи, попавшие в ваше сознание даже в самых маленьких дозах, взбудораживают вас, вызывают поток мыслей, роение образов, заражают непреодолимым желанием закрепить все это на бумаге.

В этом смысле Блок безошибочно действовал на многих поэтов и писателей. Действовал не только стихами, но и событиями из своей жизни. Я приведу здесь, может быть, не очень характерный пример, но другого сейчас не припомню.

У писателя Александра Грина есть посмертный и еще не опубликованный роман «Недотрога». Обстановка этого романа совпадает с рассказами Блока о его жизни в Бретани, в маленьком порту Аберврак.

Там Блок впервые приобщился к морской жизни. Она вызвала у него почти детское восхищение. Все было смертельно интересным.

Он пишет матери: «Мы живем, окруженные морскими сигналами. Главный маяк освещает наши стены, вспыхивая через каждые пять секунд. В порту стоит разоруженный фрегат 20-х годов (прошлого века), который был в Мексиканской войне, а теперь отдыхает на якорях. Его зовут «Мельпомена». На носу — белая статуя, стремящаяся в море».

Еще одно характерное место из письма. Его следует привести.

«Недавно на одном из вертящихся маяков умер старый сторож, не успев приготовить машину к вечеру. Тогда его жена заставила двух маленьких детей вертеть машину руками всю ночь. За это ей дали орден Почетного легиона».

«Я думаю, — замечает Блок, — русские сделали бы то же».

Так вот, вблизи Аберврака на острове был расположен старый форт Саизон. Французское правительство очень дешево продавало этот форт за полной его старостью и ненадобностью.

Блоку, видимо, очень хотелось купить этот форт. Он даже подсчитал, что покупка его вместе с обработкой земли, разбивкой сада и ремонтом обойдется в 25 000 франков.

В этом форте все было романтично: и полуразрушенные подъемные мосты, и казематы, и пороховые погреба, и старинные пушки.

Семейные отговорили Блока от этой покупки. Но он много рассказывал друзьям и знакомым об этом форте, — мечта не так легко уступала трезвым соображениям.

Грин услышал этот рассказ Блока и написал роман, где некий старый человек с молодой красавицей дочерью, прозванной «Недотрогой», покупает у правительства старый форт, поселяется в нем и превращает валы в душистые заросли и цветники.

В романе происходят всякие события, но, пожалуй, лучше всего написан форт — добрый (давно разоруженный), мирный, романтически старый. Прекрасно также большое описание сада с живописными определениями деревьев, кустов и цветов.

Должен признаться, что стихи Блока натолкнули и меня на странную на первый взгляд идею — написать несколько рассказов, связанных общностью настроения со стихами Блока.

Эта мысль не оставляет меня и сейчас. Пока же я написал рассказ «Дождливый рассвет», целиком вышедший из стихотворения Блока «Россия».

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка...

Я не хочу и не могу давать свое толкование жизни и поэзии Блока. Я не очень верю в пророческий и мистический ужас Блока перед грядущими испытаниями России и человечества, в роковую пустыню, окружавшую поэта, в некое слишком усложненное восприятие им революции, в безвыходные сомнения и катастрофические падения.

Так называемых «концепций» и загадок Блока у нас мно-

жество. Мне думается, что у Блока все было яснее и проще, чем об этом пишут его исследователи.

Меня в Блоке привлекает и захватывает совершенно конкретная поэзия его стихов и его жизни. Туманы символизма, нарочитые, лишенные живых образов, живой крови, бесплотные, — это только затянувшееся гимназическое увлечение.

Иногда я думаю, что многое в Блоке непонятно для людей последнего поколения, для новой молодежи.

Непонятна его любовь к нищей России. Как можно было любить ту страну с точки зрения нынешней молодежи, где «низких нищих деревень не счесть, не смерить оком, и светит в потемневший день костер в лугу далеком».

Это трудно понять молодежи потому, что этой России уже нет. Нет именно в том ее качестве, в каком ее знал и любил Блок. Если еще и остались глухие деревни, гати, дебри, то человек в этих деревнях и дебрях уже другой. Сменилось поколение, и внуки уже не понимают дедов, а порой и сыновья отцов.

Внуки не понимают и не хотят понять нищету, оплаканную песнями, украшенную поверьями и сказками, глазами робких, бессловесных детей, опущенными ресницами испуганных девушек, встревоженную рассказами странников и калек, постоянным чувством живущей рядом — в лесах, в озерах, в гнилых колодах, в плаче старух, в заколоченных избах — томительной тайны и столь же постоянным ощущением чуда. «Дремлю и за дремотой — тайна, и в тайне ты почиешь, Русь».

Нужно было широкое и выносливое сердце и великая любовь к своему народу, чтобы полюбить эти серые избы, запах золы, бурьяна, причитанья и увидеть за всей этой скудностью бледную красоту России, опоясанной лесами и окруженной дебрями. Эта Русь умерла. Блок оплакал ее и отпел:

Не в богатом покоишься гробе
Ты, убогая финская Русь.

Новая Россия, «Новая Америка» встает для Блока в южных степях.

Нет, не вьются там по ветру чубы,
Не пестреют в степях бунчуки...
Там чернеют фабричные трубы,
Там заводские стонут гудки.

Для людей старшего поколения почти в равной степени знакома старая и новая Русь. В таком обширном знании России — богатство этого поколения.

Нельзя знать новую Россию, не зная старой, не зная всего, что «чудь начудила и меря намерила», не зная старой деревни, не зная очарованных странников, бродивших по всей стране, не увидев заката в крови над полем Куликовым.

Стихи Блока о любви — это колдовство. Как всякое колдовство, они необъяснимы и мучительны. О них почти невозможно говорить. Их нужно перечитывать, повторять, испытывая каждый раз сердцебиение, угорать от их томительных напевов и без конца удивляться тому, что они входят в память внезапно и навсегда.

В этих стихах, особенно в «Незнакомке» и «В ресторане», мастерство доходит до предела. Оно даже пугает, кажется недостижимым. Вероятно, думая об этих стихах, Блок сказал, обращаясь к своей музе:

И коварнее северной ночи,
И хмельней золотого Аи,
И любови цыганской короче
Были страшные ласки твои...

Стихи Блока о любви очень крепнут от времени, томят людей своими образами. «И веют древними поверьями ее упругие шелка», «Я вижу берег очарованный и очарованную даль», «И очи синие, бездонные цветут на дальнем берегу».

Это не столько стихи о вечно женственном, сколько порыв огромной поэтической силы, берущей в плен и искушенные и неискушенные сердца.

Какая-то «неведомая сила» превращает стихи Блока в нечто высшее, чем одна только поэзия, в органическое слияние поэзии, музыки и мысли, в согласованность с биением каждого человеческого сердца, в то явление искусства, которое не нашло еще своего определения.

Достаточно прочесть одну всероссийско известную строфу, чтобы убедиться в этом:

Ты рванулась движеньем испуганной птицы,
Ты прошла, словно сон мой, легка...
И вздохнули духи, задремали ресницы,
Зашептались тревожно шелка...

Блок прошел в своих стихах и прозе огромный путь российской истории от безвременья 90-х годов до первой мировой войны, до сложнейшего переплетения философских, поэтических, политических и религиозных школ, наконец, до Октябрьской революции «в белом венчике из роз». Он был хранителем поэзии, ее менестрелем, ее чернорабочим и ее гением.

Блок говорил, что гений излучает свет на неизмеримые

временные расстояния. Эти слова целиком относятся и к нему. Его влияние на судьбу каждого из нас, писателя и поэта, может быть, не сразу заметно, но значительно.

Еще в юности я понял смысл его величайших слов и поверил им:

Сотри случайные черты.
И ты увидишь — жизнь прекрасна...

Я стремился следовать этому совету Блока. И я ему глубоко благодарен. Мы живем в светоносном излучении его гения, и оно дойдет, может быть, только более ясным до будущих поколений нашей страны.

ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА ГРИНА

Писатель Грин — Александр Степанович Гриневский — умер в июле 1932 года в Старом Крыму — маленьком городе, заросшем вековыми ореховыми деревьями.

Грин прожил тяжелую жизнь. Все в ней, как нарочно, сложилось так, чтобы сделать из Грина преступника или злого обывателя. Было непонятно, как этот угрюмый человек, не запятнав, пронес через мучительное существование дар могучего воображения, чистоту чувств и застенчивую улыбку.

Биография Грина — беспощадный приговор дореволюционному строю человеческих отношений. Старая Россия наградила Грина жестоко — она отняла у него еще с детских лет любовь к действительности. Окружающее было страшным, жизнь — невыносимой. Она была похожа на дикий самосуд. Грин выжил, но недоверие к действительности осталось у него на всю жизнь. Он всегда пытался уйти от нее, считая, что лучше жить неуловимыми снами, чем «дрянью и мусором» каждого дня.

Грин начал писать и создал в своих книгах мир веселых и смелых людей, прекрасную землю, полную душистых зарослей и солнца, — землю, не нанесенную на карту, и удивительные события, кружащие голову, как глоток вина.

«Я всегда замечал, — пишет Максим Горький в книге «Мои университеты», — что людям нравятся интересные рассказы только потому, что позволяют им забыть на час времени тяжелую, но привычную жизнь».

Эти слова целиком относятся к Грину.

Русская жизнь была ограничена для него обывательской Вяткой, грязной ремесленной школой, ночлежными домами, непосильным трудом, тюрьмой и хроническим голодом. Но где-то за чертой серого горизонта сверкали страны, созданные из света, морских ветров и цветущих трав. Там жили люди, коричневые от солнца, — золотоискатели, охотники, художники, неунывающие бродяги, самоотверженные женщины, веселые и нежные, как дети, но прежде всего — моряки.

Жить без веры в то, что такие страны цветут и шумят где-то на океанских островах, было для Грина слишком тяжело, порою невыносимо.

Пришла революция. Ею было поколеблено многое, что угнетало Грина: звериный строй прошлых человеческих отношений, эксплуатация, отщепенство — все, что заставляло Грина бежать от жизни в область сновидений и книг.

Грин искренне радовался ее приходу, но прекрасные дали нового будущего, вызванного к жизни революцией, были еще неясно видны, а Грин принадлежал к людям, страдающим вечным нетерпением.

Революция пришла не в праздничном уборе, а пришла как запыленный боец, как хирург. Она вспахала тысячелетние пласты затхлого быта.

Светлое будущее казалось Грину очень далеким, а он хотел осязать его сейчас, немедленно. Он хотел дышать чистым воздухом будущих городов, шумных от листвы и детского смеха, входить в дома людей будущего, участвовать вместе с ними в заманчивых экспедициях, жить рядом с ними осмысленной и веселой жизнью.

Действительность не могла дать этого Грину тотчас же. Только воображение могло перенести его в желанную обстановку, в круг самых необыкновенных событий и людей.

Это вечное, почти детское нетерпение, желание сейчас же увидеть конечный результат великих событий, сознание, что до этого еще далеко, что перестройка жизни — дело длительное, все это вызывало у Грина досаду.

Раньше он был нетерпим в своем отрицании действительности, сейчас он был нетерпим в своей требовательности к людям, создавшим новое общество. Он не замечал стремительного хода событий и думал, что они идут невыносимо медленно.

Если бы социалистический строй расцвел, как в сказке, за одну ночь, то Грин пришел бы в восторг. Но ждать он не умел и не хотел. Ожидание нагоняло на него скуку и разрушало поэтический строй его ощущений.

Может быть, в этом и заключалась причина малопонятной для нас отчужденности Грина от времени.

Грин умер на пороге социалистического общества, не зная, в какое время умирает. Он умер слишком рано.

Смерть застала его в самом начале душевного перелома. Грин начал прислушиваться и пристально присматриваться к действительности. Если бы не смерть, то, может быть, он вошел

бы в ряды нашей литературы как один из наиболее своеобразных писателей, органически сливших реализм со свободным и смелым воображением.

Отец Грина — участник польского восстания 1863 года — был сослан в Вятку, работал там счетоводом в больнице, спился и умер в нищете.

Сын Александр — будущий писатель — рос мечтательным, нетерпеливым и рассеянным мальчиком. Он увлекался множеством вещей, но ничего не доводил до конца. Учился он плохо, но запоем читал Майн-Рида, Жюля Верна, Густава Эмара и Жаколио.

«Слова «Ориноко», «Миссисипи», «Суматра» звучали для меня, как музыка», — говорил потом об этом времени Грин.

Теперешней молодежи трудно понять, как неотразимо действовали эти писатели на ребят, выросших в прежней русской глуши. «Чтобы понять это, — говорит Грин в своей автобиографии, — надо знать провинциальный быт того времени, быт глухого города. Лучше всего передает эту обстановку напряженной мнительности, ложного самолюбия и стыда рассказ Чехова «Моя жизнь». Когда я читал этот рассказ, я как бы полностью читал о Вятке».

С восьми лет Грин начал думать о путешествиях. Жажду путешествия он сохранил до самой смерти. Каждое путешествие, даже самое незначительное, вызывало у него глубокое волнение.

Грин с малых лет обладал очень точным воображением. Когда он стал писателем, то представлял себе те несуществующие страны, где происходило действие его рассказов, не как туманные пейзажи, а как хорошо изученные, сотни раз исхоженные места.

Он мог бы нарисовать подробную карту этих мест, мог отметить каждый поворот дороги и характер растительности, каждый изгиб реки и расположение домов, мог, наконец, перечислить все корабли, стоящие в несуществующих гаванях, со всеми их морскими особенностями и свойствами беспечной и жизнерадостной корабельной команды.

Вот пример такого точного несуществующего пейзажа. В рассказе «Колония Ланфиер» Грин пишет:

«На севере неподвижным зеленым стадом темнел лес, огибая до горизонта цепь меловых скал, испещренных расселинами и пятнами худосочных кустарников.

На востоке, за озером, вилась белая нитка дороги, ведущей

за город. По краям ее кое-где торчали деревья, казавшиеся крошечными, как побеги салата.

На западе, облегая изрытую оврагами и холмами равнину, простиралась синяя, сверкающая белыми искрами гладь океана.

А к югу, из центра отлогой воронки, где пестрели дома и фермы, окруженные неряшливо рассаженной зеленью, тянулись косые четырехугольники плантаций и вспаханных полей колонии Ланфиер».

С ранних лет Грин устал от безрадостного существования.

Дома мальчика постоянно били, даже больная, измученная домашней работой мать с каким-то странным удовольствием дразнила сына песенкой:

А в неволе
Поневоле,
Как собака, прозябай.

«Я мучился, слыша это, — говорил Грин, — потому что песня относилась ко мне, предрекая мое будущее».

С большим трудом отец отдал Грина в реальное училище.

Из училища Грина исключили за невинные стихи о своем классном наставнике.

Отец жестоко избил его, а потом несколько дней обивал пороги у директора училища, унижался, ходил к губернатору, просил, чтобы сына не исключали, но ничего не помогло.

Отец пытался устроить Грина в гимназию, но его туда не приняли. Город уже выдал маленькому мальчику неписаный «волчий билет». Пришлось отдать Грина в городское училище.

Мать умерла. Отец Грина вскоре женился на вдове псаломщика. У мачехи родился ребенок.

Жизнь шла по-прежнему без всяких событий, в тесноте убогой квартиры, среди грязных пеленок и диких ссор. В училище процветали зверские драки, и кислый запах чернил крепко въедался в кожу, в волосы, в поношенные ученические блузы.

Мальчику приходилось перебелять за несколько копеек сметы городской больницы, переплетать книги, клеить бумажные фонари для иллюминации в день «восшествия на престол» Николая Второго и переписывать роли для актеров провинциального театра.

Грин принадлежал к числу людей, не умеющих устраиваться в жизни. В несчастьях он терялся, прятался от людей, стыдился своей бедности. Богатая фантазия мгновенно изменяла ему при первом же столкновении с тяжелой действительностью.

Уже в зрелом возрасте, чтобы уйти от нужды, Грин приду-

мал клеить из фанеры шкатулки и продавать их на рынке. Было это в Старом Крыму, где с великим трудом удалось бы продать одну-две шкатулки. Так же беспомощна была попытка Грина избавиться от голода. Грин сделал лук, уходил с ним на окраины Старого Крыма и стрелял в птиц, надеясь убить хоть одну и поесть свежего мяса. Но из этого ничего, конечно, не вышло.

Как все неудачники, Грин всегда надеялся на случай, на неожиданное счастье.

Мечтами об «ослепительном случае» и радости полны все рассказы Грина, но больше всего — его повесть «Алые паруса». Характерно, что эту пленительную и сказочную книгу Грин обдумывал и начал писать в Петрограде 1920 года, когда после сыпняка он бродил по обледенелому городу и искал каждую ночь нового ночлега у случайных, полузнакомых людей.

«Алые паруса» — поэма, утверждающая силу человеческого духа, просвеченная насквозь, как утренним солнцем, любовью к жизни, к душевной юности и верой в то, что человек в порыве к счастью способен своими же руками совершать чудеса.

Уныло и однообразно тянулась вятская жизнь, пока весной 1895 года Грин не увидел на пристани извозчика и на нем двух штурманских учеников в белой матросской форме.

«Я остановился, — пишет об этом случае Грин, — и смотрел, как зачарованый, на гостей из таинственного для меня, прекрасного мира. Я не завидовал. Я испытывал восторг и тоску».

С тех пор мечты о морской службе, о «живописном труде мореплавания» овладели Грином с особенной силой. Он начал собираться в Одессу.

Семье Грин был в тягость. Отец раздобыл ему на дорогу двадцать пять рублей и торопливо попрощался со своим угрюмым сыном, ни разу не испытавшим ни отцовской ласки, ни любви.

Грин взял с собой акварельные краски, — он был уверен, что будет рисовать ими где-нибудь в Индии, на берегах Ганга, — взял нищенский скарб и в состоянии полного смятения и ликования уехал из Вятки.

«Я долго видел на пристани в толпе, — рассказывает об этом отъезде Грин, — растерянное седобородое лицо отца. А мне грезилось море, покрытое парусами».

В Одессе произошла первая встреча Грина с морем — тем морем, что залило потом ослепительным светом страницы его рассказов.

О море написано множество книг. Целая плеяда писателей

и исследователей пыталась передать необыкновенное, шестое ощущение, которое можно назвать «чувством моря». Все они воспринимали море по-разному, но ни у одного из этих писателей не шумят и не переливают на страницах такие праздничные моря, как у Грина.

Грин любил не столько море, сколько выдуманные им морские побережья, где соединялось все, что он считал самым привлекательным в мире: архипелаги легендарных островов, песчаные дюны, заросшие цветами, пенистая морская даль, теплые лагуны, сверкающие бронзой от обилия рыбы, вековые леса, смешавшие с запахом соленых бризов запах пышных зарослей, и, наконец, уютные приморские города.

Почти в каждом рассказе Грина встречаются описания этих несуществующих городов — Лисса, Зурбагана, Гель-Гью и Гертона.

В облик этих вымышленных городов Грин вложил черты всех виденных им портов Черного моря.

Мечта была достигнута. Море лежало перед Грином как дорога чудес, но старое вятское прошлое тотчас же дало себя знать. Грин с особой остротой почувствовал у моря свою беспомощность, ненужность и одиночество.

«Этот новый мир не нуждался во мне, — пишет он. — Я чувствовал себя стесненным, чужим здесь, как везде. Мне было немного грустно».

Морская жизнь сразу же обернулась к Грину изнанкой.

Грин неделями слонялся по порту и робко просил капитанов взять его матросом на пароходы, но ему или грубо отказывали, или высмеивали в глаза, — какой мог получиться матрос из хилого юноши с мечтательными глазами!

Наконец Грину «повезло». Его взяли без жалованья учеником на пароход, ходивший из Одессы в Батум. На нем Грин сделал два осенних рейса.

От этих рейсов у Грина осталась память только о Ялте и хребте Кавказских гор.

«Огни Ялты запомнились больше всего. Огни порта сливались с огнями невиданного города. Пароход приближался к молу при ясных звуках оркестра в саду. Пролетал запах цветов, теплые порывы ветра. Далеко слышались голоса и смех.

Остальная часть рейса мною забыта, кроме не исчезающего с горизонта шествия снежных гор. Их растянутые на высоте неба вершины даже издали являли вид громадных миров. Это

была цепь высоко вознесенных стран сверкающего льдами молчания».

Вскоре капитан ссадил Грина с парохода — Грин не мог платить за продовольствие.

Кулак, хозяин херсонского «дубка», взял Грина подручным к себе на шхуну и помыкал им, как собакой. Грин почти не спал — вместо подушки хозяин дал ему разбитую черепицу. В Херсоне его вышвырнули на берег, не заплатив денег.

Из Херсона Грин вернулся в Одессу, работал в портовых пакгаузах маркировщиком и сделал единственный заграничный рейс в Александрию, но его уволили с парохода за столкновение с капитаном.

Из всей одесской жизни у Грина осталось хорошее воспоминание только о работе в портовых складах.

«Я любил пряный запах пакгауза, ощущение вокруг себя изобилия товаров, особенно лимонов и апельсинов. Все пахло: ваниль, финики, кофе, чай. В соединении с морозным запахом морской воды, угля и нефти неописуемо хорошо было дышать здесь, — особенно если грело солнце».

Грин устал от одесской жизни и решил вернуться в Вятку. Домой он ехал «зайцем». Последние двести километров пришлось идти пешком по жидкой грязи — стояло ненастье.

В Вятке отец спросил Грина, где его вещи.

— Вещи остались на почтовой станции, — солгал Грин. — Не было извозчика.

«Отец, — пишет Грин, — жалко улыбаясь, недоверчиво промолчал, а через день, когда выяснилось, что никаких вещей нет, спросил (от него сильно пахло водкой):

— Зачем ты врешь? Ты шел пешком. Где твои вещи? Ты изолгался!»

Опять начиналась проклятая вятская жизнь.

Потом были годы бесплодных поисков какого-нибудь места в жизни, или, как было принято выражаться в обывательских семьях, поиски «занятия».

Грин был банщиком на станции Мураши, около Вятки, служил писцом в канцелярии, писал в трактире для крестьян прошения в суд.

Он долго не выдержал в Вятке и уехал в Баку. Жизнь в Баку была так отчаянно тяжела, что у Грина осталось о ней воспоминание, как о непрерывном холоде и мраке. Подробностей он не запомнил.

Он жил случайным, копеечным трудом: забивал сваи в порту, счищал краску со старых пароходов, грузил лес, вместе с босяками нанимался гасить пожары на нефтяных вышках. Он умирал от малярии в рыбачьей артели и едва не погиб от жажды на песчаных смертоносных пляжах Каспийского моря между Баку и Дербентом.

Ночевал Грин в пустых котлах на пристани, под опрокинутыми лодками или просто под заборами.

Жизнь в Баку наложила жестокий отпечаток на Грина. Он стал печален, неразговорчив, а внешние следы бакинской жизни — преждевременная старость — остались у Грина навсегда. Уже с тех пор, по словам Грина, его лицо стало похоже на измятую рублевую бумажку.

Внешность Грина говорила лучше слов о характере его жизни: это был необычайно худой, высокий и сутулый человек, с лицом, иссеченным тысячами морщин и шрамов, с усталыми глазами, загоравшимися прекрасным блеском только в минуты чтения или выдумывания необычайных рассказов.

Грин был некрасив, но полон скрытого обаяния. Ходил он тяжело, как ходят грузчики, надорванные работой.

Был он очень доверчив, и эта доверчивость внешне выражалась в дружеском, открытом рукопожатии. Грин говорил, что лучше всего узнает людей по тому, как они пожимают руку.

Жизнь Грина, особенно бакинская, многими своими чертами напоминает юность Максима Горького. И Горький и Грин прошли через босячество, но Горький вышел из него человеком высокого гражданского мужества и величайшим писателем-реалистом, Грин же — фантастом.

В Баку Грин дошел до последней степени нищеты, но не изменил своему чистому и детскому воображению. Он останавливался перед витринами фотографов и подолгу рассматривал карточки, стремясь найти среди сотен тупых измятых болезнями лиц хотя бы одно лицо, говорившее о жизни радостной, высокой и беззаботной. Наконец он нашел такое лицо — лицо девушки — и описал его в своем дневнике. Дневник попал в руки хозяина ночлежки, мерзкого и хитрого человека, который начал издеваться над Грином и незнакомой девушкой. Дело чуть не окончилось кровавой дракой.

Из Баку Грин снова вернулся в Вятку, где пьяный отец требовал от него денег. Но денег, конечно, не было.

Надо было снова придумывать какие-нибудь способы, чтобы тянуть существование. Грин был не способен на это. Опять им овладела жажда счастливого случая, и зимой, в жестокие морозы, он ушел пешком на Урал — искать золото. Отец дал ему на дорогу три рубля.

Грин увидел Урал — дикую страну золота, и в нем вспыхнули наивные надежды. По пути на прииск он поднимал множество камней, валявшихся под ногами, и тщательно осматривал их, надеясь найти самородок.

Грин работал на Шуваловских приисках, скитался по Уралу с благодушным старичком странником (оказавшимся впоследствии убийцей и вором), был дровосеком и сплавщиком.

После Урала Грин плавал матросом на барже судовладельца Булычова — знаменитого Булычова, взятого Горьким в качестве прототипа для своей известной пьесы.

Но окончилась и эта работа.

Казалось, жизнь сомкнула круг, и Грину больше не было в ней ни радости, ни разумного занятия. Тогда он решил идти в солдаты. Было тяжело и стыдно вступать добровольцем в замуштрованную до идиотизма царскую армию, но еще тяжелее было сидеть на шее у старика отца. Отец мечтал сделать из Александра, своего первенца, «настоящего человека» — доктора или инженера.

Грин служил в пехотном полку в Пензе.

В полку Грин впервые столкнулся с эсерами и начал читать революционные книги.

«С тех пор, — говорит Грин, — жизнь повернулась ко мне разоблаченной, казавшейся раньше таинственной, стороной. Мой революционный энтузиазм был беспределен. По первому предложению одного эсера-вольноопределяющегося, я взял тысячу прокламаций и разбросал их во дворе казармы».

Прослужив около года, Грин дезертировал из полка и ушел в революционную работу. Эта полоса его жизни малоизвестна.

Грин работал в Киеве и Севастополе, где прославился среди матросов и солдат крепостной артиллерии как горячий, увлекательный подпольный оратор.

Но в опасностях и напряжении революционной работы Грин оставался таким же созерцателем, как и раньше. Недаром он сам говорил о себе, что жизненные явления его интересовали преимущественно зрительно, — он любил смотреть и запоминать.

В Севастополе Грин жил осенью — той ясной крымской осенью, когда воздух кажется прозрачной теплой влагой, нали-

той в границы улиц, бухт и гор, и малейший звук проходит по ней легкой и долго не смолкающей дрожью.

«Некоторые оттенки Севастополя вошли в мои рассказы»,— признавался Грин. Но каждому, кто знает книги Грина и знает Севастополь, ясно, что легендарный Зурбаган — это почти точное описание Севастополя, города прозрачных бухт, дряхлых лодочников, солнечных отсветов, военных кораблей, запахов свежей рыбы, акации и кремнистой земли и торжественных закатов, вздымающих к небу весь блеск и свет отраженной черноморской воды.

Если бы не было Севастополя, не было бы гриновского Зурбагана с его сетями, громом подкованных матросских сапог по песчанику, ночными ветрами, высокими мачтами и сотнями огней, танцующих на рейде.

Ни в одном из городов Советского Союза не чувствуется так явственно, как в Севастополе, поэзия морской жизни, высказанная Грином в следующих строках:

«Опасность, риск, власть природы, свет далекой страны, чудесная неизвестность, мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой; увлекательное кипение встреч, лиц, событий; безмерное разнообразие жизни, а высоко в небе — то Южный Крест, то Медведица, и все материки — в зорких глазах, хотя твоя каюта полна непокидающей родины с ее книгами, картинами, письмами и сухими цветами...»

Осенью 1903 года Грин был арестован в Севастополе на Графской пристани и просидел в севастопольской и феодосийской тюрьмах до конца октября 1905 года.

В севастопольской тюрьме Грин впервые начал писать. Он очень застенчиво относился к своим первым литературным опытам и никому их не показывал.

Грин мало рассказывал о себе, он не успел окончить свою автобиографию, и потому многие годы его жизни почти никому не известны.

После Севастополя в биографии Грина наступает провал. Известно только, что он был вторично арестован и сослан в Тобольск, но с дороги бежал, пробрался в Вятку и ночью пришел к старому, больному отцу. Отец выкрал для него из городской больницы паспорт умершего сына дьячка Мальгинова. Под этой фамилией Грин долго жил и даже подписал ею свой первый рассказ.

С чужим паспортом Грин уехал в Петербург, и здесь, в газете «Биржевые ведомости», этот рассказ был напечатан.

Это была первая настоящая радость в жизни Грина. Он едва не расцеловал ворчливого газетчика, у которого купил номер газеты со своим рассказом. Он уверял газетчика, что рассказ написан им, но старик не верил и подозрительно смотрел на голенастого веснушчатого молодого человека. От волнения Грин не мог идти, у него дрожали и подгибались ноги.

Работа в эсеровской организации уже явно тяготила Грина. Он вскоре вышел из нее, отказавшись от порученного ему покушения. Он был захвачен мыслями о писательстве. Десятки замыслов отягощали его, он торопливо искал форму для них, но первое время не находил.

Он писал еще робко, с оглядкой на редактора и читателя, писал с тем хорошо знакомым начинающим писателям чувством, будто за его спиной стоит толпа насмешливых людей и с осуждением вчитывается в каждое слово. Грин еще боялся бури сюжетов, которая бушевала в нем и требовала освобождения.

Первый рассказ, написанный Грином без оглядки, лишь в силу свободного внутреннего побуждения, был «Остров Рено». В нем уже были заключены все черты будущего Грина. Это простой рассказ о силе и красоте девственной тропической природы и жажде свободы у матроса, дезертировавшего с военного корабля и убитого за это по приказу командира.

Грин начал печататься. Годы унижений и голода, правда, очень медленно, но все же уходили в прошлое. Первые месяцы свободного и любимого труда казались Грину чудом.

Вскоре Грин опять был арестован по старому делу о принадлежности к партии эсеров, просидел год в тюрьме и был выслан в Архангельскую губернию — в Пинегу, а потом в Кегостров.

В ссылке он много писал, читал, охотился и, по его словам, даже отдохнул от прошлой каторжной жизни.

В 1912 году Грин вернулся в Петербург. Здесь начался лучший период его жизни, своего рода «болдинская осень». В то время Грин писал почти непрерывно. С ненасытной жаждой он перечитывал множество книг, хотел все узнать, испытать, перенести в свои рассказы.

Вскоре он повез отцу в Вятку свою первую книгу. Грину хотелось порадовать старика, уже примирившегося с мыслью, что из сына Александра вышел никчемный бродяга. Отец Грину не поверил. Понадобилось показать старику договоры с издательствами и другие документы, чтобы убедить его, что Грин действительно стал «человеком». Эта встреча отца с сыном была последней: старик вскоре умер.

Февральская революция застала Грина в Финляндии, в по-

селке Лунатиокки; он встретил ее с восторгом. Узнав о революции, Грин тотчас же пешком отправился в Петроград — поезда уже не ходили. Он бросил в Лунатиокках все свои вещи и книги, даже портрет Эдгара По, с которым никогда не расставался.

Почти все, кто писал о Грине, говорят о близости Грина к Эдгару По, к Хаггарду, Джозефу Конраду, Стивенсону и Киплингу.

Грин любил «безумного Эдгара», но мнение, что он подражал ему и всем перечисленным писателям, неверно: Грин многих из них узнал, будучи уже сам вполне сложившимся писателем.

Он очень ценил Мериме и считал его «Кармен» одной из лучших книг в мировой литературе. Грин много читал Мопассана, Флобера, Бальзака, Стендаля, Чехова (рассказами Чехова Грин был потрясен), Горького, Свифта и Джека Лондона. Он часто перечитывал биографию Пушкина, а в зрелом возрасте увлекался чтением энциклопедий.

Грин не был избалован вниманием и потому очень ценил его.

Даже самая обычная в человеческих отношениях ласка или дружеский поступок вызывали у него глубокое волнение.

Так случилось, например, когда жизнь впервые столкнула Грина с Максимом Горьким. Шел 1920 год. Грин был призван в Красную Армию и служил в караульном полку в городе Острове, под Псковом. Там он заболел сыпняком. Его привезли в Петроград и вместе с сотнями сыпнотифозных положили в Боткинские бараки. Грин болел тяжело. Он вышел из больницы почти инвалидом.

Без крова, полубольной и голодный, с тяжелыми головокружениями, он бродил целые дни по гранитному городу в поисках пищи и тепла. Было время очередей, пайков, коптилок, черствых корок хлеба и обледенелых квартир. Мысль о смерти становилась все назойливее и крепче.

«В это время, — пишет в своих неопубликованных воспоминаниях жена писателя, — спасителем Грина явился Максим Горький. Он узнал о тяжелом положении Грина и сделал для него все. По просьбе Горького Грину дали редкий в те времена академический паек и комнату на Мойке, в «Доме искусств» — теплую, светлую, с постелью и со столом. Замученному Грину особенно драгоценным казался этот стол — за ним можно было писать. Кроме того, Горький дал Грину работу.

Из самого глубокого отчаяния и ожидания смерти Грин был возвращен к жизни рукою Горького. Часто по ночам, вспоминая свою тяжелую жизнь и помощь Горького, еще не оправившийся от болезни Грин плакал от благодарности».

В 1924 году Грин переехал в Феодосию. Ему хотелось жить в тишине, ближе к любимому морю. В этом поступке Грина отразился верный инстинкт писателя — приморская жизнь была той реальной питательной средой, которая давала ему возможность выдумывать свои рассказы.

В Феодосии Грин прожил до 1930 года. Там он много писал. Писал он преимущественно зимой, по утрам. Иногда часами он сидел в кресле, курил и думал, и в это время его нельзя было трогать. В такие часы размышлений и свободной игры воображения сосредоточенность была нужна Грину гораздо больше, чем в часы работы. Грин погружался в свои раздумья так глубоко, что почти глох и слеп, и вывести его из этого состояния было трудно.

Летом Грин отдыхал: делал луки, бродил у моря, возился с беспризорными собаками, приручал раненого ястреба, читал и играл на бильярде с веселыми феодосийскими жителями — потомками генуэзцев и греков. Грин любил Феодосию — знойный город у зеленого мутноватого моря, построенный на белой каменистой земле.

Осенью 1930 года Грин переехал из Феодосии в Старый Крым — город цветов, тишины и развалин. Здесь он умер в одиночестве от мучительной болезни — рака желудка и легких.

Грин умирал так же тяжело, как и жил. Он попросил поставить его кровать к окну. За окном синели далекие крымские горы и небо сверкало, как отблеск любимого и навсегда потерянного моря.

В одном из рассказов Грина — «Возвращение» — есть строки, как бы написанные им о своей смерти, — так точно они передают обстановку умирания Грина: «Конец наступил в свете раскрытых окон, перед лицом полевых цветов. Уже задыхаясь, он попросил посадить его у окна. Он смотрел на холмы, вбирая кровоточащим обрывком легкого последние глотки воздуха».

Перед смертью Грин сильно тосковал о людях — этого раньше с ним никогда не случалось.

За несколько дней перед смертью из Ленинграда прислали авторские экземпляры последней книги Грина — «Автобиографическая повесть».

Грин слабо улыбнулся, пытался прочесть надпись на облож-

ке, но не смог. Книга выпала у него из рук. Глаза у него уже приобрели выражение тяжелой, глухой пустоты. Глаза Грина, умевшие так необыкновенно видеть мир, уже умирали.

Последним словом Грина был не то стон, не то шепот: «Помираю...»

Через два года после смерти Грина мне случилось побывать в Старом Крыму, в доме, где умер Грин, и на его могиле.

Вокруг маленького белого дома в густой и свежей траве цвели полевые цветы. Листья ореха, вялые от зноя, пахли лекарственно и терпко. В комнатах с суровой, простой обстановкой стояла глубокая тишина и лежал на меловой стене резкий луч солнца. Он падал на единственную гравюру на стене — портрет Эдгара По.

Могила Грина на кладбище за старой мечетью заросла колючими травами.

Дул ветер с юга. Очень далеко, за Феодосией, сизой стеною стояло море. И над всем — над домом Грина, над его могилой и над Старым Крымом — стояло безмолвие безоблачного летнего дня.

Грин умер, оставив нам решать вопрос, нужны ли нашему времени такие неистовые мечтатели, каким был он.

Да, нам нужны мечтатели. Пора избавиться от насмешливого отношения к этому слову. Многие еще не умеют мечтать, и, может быть, поэтому они никак не могут стать в уровень со временем.

Если отнять у человека способность мечтать, то отпадет одна из самых мощных побудительных причин, рождающих культуру, искусство, науку и желание борьбы во имя прекрасного будущего. Но мечты не должны быть оторваны от действительности. Они должны предугадывать будущее и создавать у нас ощущение, что мы уже живем в этом будущем и сами становимся иными.

Принято думать, что мечты Грина были оторваны от жизни, являлись причудливой и ничего не значащей игрой ума. Принято думать, что Грин был авантюрным писателем — правда, мастером сюжета, но человеком, чьи книги лишены социального значения.

Значение каждого писателя определяется тем, как он действует на нас, какие чувства, мысли и поступки вызывают его книги, обогащают ли они нас знаниями, или прочитываются как забавный набор слов.

Грин населил свои книги племенем смелых, простодушных, как дети, гордых, самоотверженных и добрых людей.

Эти цельные, привлекательные люди окружены свежим, благоухающим воздухом гриновской природы — совершенно реальной, берущей за сердце своим очарованием. Мир, в котором живут герои Грина, может показаться нереальным только человеку нищему духом. Тот, кто испытал легкое головокружение от первого же глотка соленого и теплого воздуха морских побережий, сразу почувствует подлинность гриновского пейзажа, широкое дыхание гриновских стран.

Рассказы Грина вызывают в людях желание разнообразной жизни, полной риска, смелости и «чувства высокого», свойственного исследователям, мореплавателям и путешественникам. После рассказов Грина хочется увидеть весь земной шар — не выдуманные Грином страны, а настоящие, подлинные, полные света, лесов, разноязычного шума гаваней, человеческих страстей и любви.

«Меня дразнит земля, — писал Грин. — Океаны ее огромны, острова бесчисленны, и масса таинственных, смертельно любопытных уголков».

Сказка нужна не только детям, но и взрослым. Она вызывает волнение — источник высоких и человечных страстей. Она не дает нам успокоиться и показывает всегда новые, сверкающие дали, иную жизнь, она тревожит и заставляет страстно желать этой жизни. В этом ее ценность, и в этом ценность невыразимого подчас словами, но ясного и могучего обаяния рассказов Грина.

Наше время объявило беспощадную борьбу ханжам, тупицам и лицемерам. Только лицемер может сказать, что надо успокоиться на достигнутом и остановиться. Великое достигнуто, но впереди ждет еще более великое. Новые высокие и трудные задачи встают в близкой дали будущего, задачи создания нового человека, воспитания новых чувств и новых человеческих отношений, достойных социалистического века. Но чтобы бороться за это будущее, нужно уметь мечтать страстно, глубоко и действенно, нужно воспитать в себе непрерывное желание осмысленного и прекрасного. Этим желанием был богат Грин, и он передает его нам в своих книгах.

Говорят об авантюрности сюжетов Грина. Это верно, но авантюрный сюжет у него — только скорлупа для более глубокого содержания. Нужно быть слепым, чтобы не видеть в книгах Грина любви к человеку.

Грин был не только великолепным пейзажистом и мастером сюжета, но был еще и очень тонким психологом. Он писал о са-

мопожертвовании, мужестве — героических чертах, заложенных в самых обыкновенных людях. Он писал о любви к труду, к своей профессии, о неизученности и могуществе природы. Наконец, очень немногие писатели так чисто, бережно и взволнованно писали о любви к женщине, как это делал Грин.

Я мог бы привести здесь сотни отрывков из книг Грина, взволнующих каждого, не потерявшего способности волноваться перед зрелищем прекрасного, но читатель найдет их сам.

Грин говорил, что «вся земля, со всем, что на ней есть, дана нам для жизни, для признания этой жизни всюду, где она есть».

Грин — писатель, нужный нашему времени, ибо он вложил свой вклад в дело воспитания высоких чувств, без чего невозможно осуществление социалистического общества.

ДЯДЯ ГИЛЯЙ

(В. А. Гиляровский)

Мы часто говорим «времена Чехова», но вкладываем в эти слова преимущественно наше книжное умозрительное представление. Самый воздух этого недавнего времени, его окраска, его характер, слагавшийся из неисчислимых черт, все же потерян для нас. Наше поколение уже не может ощутить чеховское время, как нечто совершенно понятное и органически цельное.

В качестве свидетельства о нем для нас остались история, искусство, газеты и воспоминания. И немногие его современники.

Ничто не может дать такого живого представления о прошлом, как встреча с его современником, особенно с таким своеобразным и талантливым, каким был Владимир Александрович Гиляровский — человек неукротимой энергии и неудержимой доброты.

Прежде всего в Гиляровском поражала цельность и выразительность его характера. Если может существовать выражение «живописный характер», то оно целиком относится к Гиляровскому.

Он был живописен во всем — в своей биографии, в манере говорить, в ребячливости, во всей своей внешности, в разносторонней бурной талантливости.

Это был веселый труженик. Всю жизнь он работал (он переменил много профессий — от волжского бурлака до актера и писателя), но в любую работу он всегда вносил настоящую русскую сноровку, живость ума и даже некоторую удаль.

Не было, кажется, в окружающей жизни ни одного явления, которое не казалось бы ему заслуживающим пристального внимания.

Он никогда не был сторонним наблюдателем. Он вмешивался в жизнь без оглядки. Он должен был испробовать все возможное, научиться делать все своими руками. Это свойство присуще только большим жизнелюбцам и безусловно талантливым людям.

Современник Чехова, Гиляровский по характеру своему

был, конечно, человеком не тогдашнего чеховского времени. Его жизнь только по времени совпала с эпохой Чехова.

Несмотря на закадычную дружбу с Антоном Павловичем, Гиляровский, как мне кажется, внутренне не одобрял и не мог принять чеховских героев, склонных к сугубому самоанализу, к резинъяции и разумиям. Все это было Гиляровскому органически чуждо.

Гиляровскому бы жить во времена Запорожской Сечи, вольницы, отчаянно смелых набегов, бесшабашной отваги.

По строю своей души Гиляровский был запорожцем. Недаром Репин написал с него одного из своих казаков, пишущих письмо турецкому султану, а скульптор Андреев лепил с него Тараса Бульбу для барельефа на своем превосходном памятнике Гоголю.

Гиляровский был воплощением того, что мы называем «широкой натурой». Это выражалось у него не только в необыкновенной щедрости, доброте, но и в том, что от жизни Гиляровский тоже требовал многого.

Если красоты земли, то уж такие, чтобы захватывало дух, если работа, то такая, чтобы гудели руки, если бить — так уж бить сплеча.

И внешность у Гиляровского (я впервые увидел его уже стариком) была заметная и занятная — сивоусый, с немного насмешливым взглядом, в смушковой серой шапке и жупане, — он сразу же поражал собеседника блеском своего разговора, силой темперамента и ясно ощутимой значительностью своего внутреннего облика.

Среди многих свойств таланта есть одно, которое совершенно покоряет нас, когда проявляется у людей пожилых, проживших большую и очень трудную жизнь. Эта черта — ребячливость.

У каждого были свои ребяческие страсти и выдумки. Горький любил разводить костры, даже в пепельницах, Пушкин любил «розыгрыши» (вспомните его замечательный «розыгрыш» своего простодушного дядюшки Василия Львовича), Грин — делать луки и стрелять из них в цель, Чехов — ловить карасей, Гайдар — пускать воздушных змеев, Багрицкий — ловить силками птиц.

Гиляровский был неистощим на мальчишеские выдумки. Однажды он придумал послать письмо в Австралию к какому-то вымышленному адресату, чтобы, получив это письмо обратно, судить по множеству почтовых штемпелей, какой удивительный и заманчивый путь прошло это письмо.

Гиляровский происходил из исконной русской семьи, от-

личавшейся строгими правилами и установленным из поколения в поколение неторопливым бытом.

Естественно, что в такой семье рождались люди цельные, крепкие, физически сильные. Гиляровский легко ломал пальцами серебряные рубли и разгибал подковы.

Однажды он приехал погостить к отцу и, желая показать свою силу, завязал узлом кочергу. Глубокий старик отец не на шутку рассердился на сына за то, что тот портит домашние вещи, и тут же в сердцах развязал и выпрямил кочергу.

У Гиляровского в жизни было много случаев, сделавших его в нашем представлении человеком просто легендарным.

Естественно, что человек такого размаха и своеобразия, как Гиляровский, не мог оказаться вне передовых людей и писателей своего времени. С Гиляровским дружили не только Чехов, но и Куприн, Бунин и многие писатели, актеры и художники.

Но, пожалуй, Гиляровский мог гордиться больше, чем дружбой со знаменитостями, тем, что был широко известным и любимым среди московской бедноты. Он был знатоком московского «дна», знаменитой Хитровки — приюта нищих, босяков, отщепенцев — множества талантливых и простых людей, не нашедших себе ни места, ни занятия в тогдашней жизни.

Хитровцы (или хитрованцы) любили его, как своего защитника, как человека, который один понимал всю глубину хитрованского героя, несчастий и опущенности.

Сколько нужно было бесстрашия, доброжелательства к людям и простосердечия, чтобы заслужить любовь и доверие сирых и озлобленных людей.

Один только Гиляровский мог безнаказанно приходить в любое время дня и ночи в самые опасные хитровские трущобы. Его никто не посмел бы тронуть пальцем. Лучшей охранной грамотой было его великодушие. Оно смиряло даже самые жестокие сердца.

Никто из писателей не знал так всесторонне Москву, как Гиляровский. Было удивительно, как может память одного человека сохранять столько историй о людях, улицах, рынках, церквах, площадях, театрах, садах, почти о каждом трактире старой Москвы.

У каждого трактира было свое лицо, свои завсегдатаи — от купеческого и аристократического Палкина до студенческой «Комаровки» у Петровских ворот и от трактира для «холодных» сапожников у Савеловского вокзала до знаменитого Гусева у Калужской заставы, где лучшая в Москве трактирная маши-

на-оркестрион гремела, бряцая литаврами, свою неизменную песню: «Шумел-горел пожар московский».

Каждому времени нужен свой летописец, не только в области исторических событий, но и летописец быта и уклада.

Летопись быта с особой резкостью и зримостью приближает к нам прошлое. Чтобы до конца понять хотя бы Льва Толстого или Чехова, мы должны знать быт того времени. Даже поэзия Пушкина приобретает свой полный блеск лишь для того, кто знает быт пушкинского времени. Поэтому так ценны для нас рассказы таких писателей, как Гиляровский. Его можно назвать «комментатором своего времени».

К сожалению, у нас таких писателей почти не было. Да и сейчас их нет. А они делали и делают огромное культурное дело.

О Москве Гиляровский мог с полным правом сказать: «Моя Москва». Невозможно представить себе Москву конца девятнадцатого и начала двадцатого века без Гиляровского, как невозможно ее представить без Художественного театра, Шаляпина и Третьяковской галереи.

Хлебосольный, открытый и шумный дом Гиляровского был своего род средоточием Москвы. По существу это был (как и сейчас остался) редкий музей культуры, живописи и быта чеховских времен. Необходимо бережно сохранить его, как образчик московского житейского обихода девятнадцатого века.

Есть люди, без которых трудно представить себе существование общества и литературы. Это — своего рода бродильные дрожжи, искристый винный ток.

Не важно — много ли они, или мало написали. Важно, что они жили, что вокруг них кипела литературная и общественная жизнь, что вся современная им история страны преломлялась в их деятельности. Важно то, что они определяли собой свое время.

Таким был Владимир Александрович Гиляровский — поэт, писатель, знаток Москвы и России, человек большого сердца, чистейший образец талантливости нашего народа.

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

Многие книги существуют для нас только как явления литературы. Но есть и другие, правда очень редкие, книги, — они живут в сознании, как события нашей жизни. Они неотделимы от нашего существования. Они становятся частью нас самих — частью наших дней, размышлений, радостей и печалей. Мы ощущаем их не как книги, а как большие, невыдуманные проявления жизни, — так же, как ощущаем любовь, разлуку, ежедневный труд. Таковы книги Алексея Толстого.

Первое впечатление от этих книг — чувство соприкосновения с зорким талантом — неистребимо. Раз появившись, оно занимает прочное место в нашем сознании.

Алексей Толстой не только крупнейший мастер нового, социалистического времени, но и носитель высоких традиций, идущих от Пушкина, Гоголя, Чехова, Горького.

У Алексея Толстого — острый глаз, точный слух, живой и пленительный язык, редкое знание людей. Все это непрерывно обогащало и обогащает нас, его современников, и будет обогащать поколения людей, идущих нам на смену.

Алексей Толстой открыл мир людей многих эпох, начиная от «Смутного времени» и дней Петра Первого и кончая нашим социалистическим временем. Он открыл нам обширное богатство человеческих образов — всегда живых, всегда задевающих сердце, всегда вызывающих у нас беспокойство, смех и радость, печаль и негодование.

Писательский путь Толстого сложен, характерен для облика подлинного мастера. Это — путь живого и пытливого писателя с его удачами, бесстрашием, упорными поисками наилучших изобразительных средств, с неизбежными подчас ошибками, но ошибками талантливыми, бесследно тонущими в блеске неоспоримых побед. Это — прекрасный и трудный путь большой литературы, необходимой народу.

Юность Ал. Толстого совпала с периодом разорения и вырождения мелкопоместного дворянства. Первые книги Толстого «Заволжье», «Чудаки» и очень многие небольшие рассказы

написаны об этих доживающих последние дни, растерянных чудаках-дворянах. Образ такого «чудака» Мишуки Налымова стал классическим.

Воспоминания детства наложили резкий отпечаток на творчество Толстого.

«Детство Никиты» написано Толстым с особым, неповторимым блеском и простотой.

Писательский размах Толстого так велик, Толстой так щедр, что, кажется, для него почти нет ничего невозможного в области литературы. Редкие писатели могут с таким совершенством касаться совершенно разных тем, как это делает Толстой. Здесь и история («Петр Первый», «День Петра», «Любовь— книга золотая»), и фантастические романы («Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина»), и гражданская война («Хождение по мукам», «Гадюка», «Похождения Невзорова»), и детские сказки («Буратино»), и печальная судьба простых и самоотверженных русских женщин («Маша», «Под старыми липами»), и Запад («Древний путь», «Черное золото»), и еще множество интересных рассказов, окруженных воздухом ржаных полей, заглохших садов, многоводных рек.

Крупные ученые всегда были в известной мере поэтами. Они остро чувствовали поэзию познания. Может быть, этому чувству они и были отчасти обязаны смелостью своих обобщений, дерзостью мысли, своими открытиями. Научный закон почти всегда извлекается из множества отдельных и подчас как будто очень далеких друг от друга фактов при помощи мощного творческого воображения. Оно создало и науку и литературу. И — на большой глубине — во многом совпадают между собой творческое воображение хотя бы Гершеля, открывшего величественные законы звездного неба, и творческое воображение Гете, создавшего «Фауста».

Истоки творчества — и научного и литературного — во многом одинаковы. Объект изучения — жизнь во всем ее многообразии — один и тот же и у науки и у литературы.

Настоящие ученые и писатели — кровные братья. Они одинаково знают, что прекрасное содержание жизни равно проявляется как в науке, так и в искусстве.

Язык Толстого блестящ, народен, полон лаконичной выразительности. Пожалуй, ни у одного из наших современных писателей нет такого органического чувства русского языка, как у Толстого. Он владеет этим великолепным языком так же легко, как люди владеют своими пальцами, своим голосом.

Толстой изучал этот язык там, где его только и можно изучить, — у самого народа, у самых богатых истоков этого языка.

Отсюда и любовь Толстого к народному творчеству, к фольклору, и его громадная, недавно начатая работа по собиранию воедино всего фольклора народа Советского Союза — работа, имеющая, помимо всего, и большое чисто научное значение.

IV

ЖИВИТЕ ТАК, КАК НАЧАЛИ

Несмотря на запрет врачей, я написал в Малеевке повесть «Колхиду». Писалась она легко и быстро, без напряжения, и это меня даже пугало. Я наслушался писательских разговоров (в общем, справедливых) о том, что чем труднее пишется книга, тем она обдуманнее и крепче.

Мне некому было показать свою новую повесть. Но на мое счастье в Малеевку приехал на несколько дней детский писатель Розанов, автор очень славной книги «Приключения Травки».

Я прочел ему несколько глав из «Колхиды», и он так ласково и просто похвалил ее, что я успокоился и даже решился отдать ее в горьковский альманах «Год шестнадцатый».

Горький прочел «Колхиду», как он сам сказал мне потом, «собственноручно» и сделал всего одно замечание. Относилось оно к цветку герани. Я написал, что герань — цветок мещанского обихода, главное украшение обывательских окошек.

Горький написал на полях, что никакие растения и цветы не могут быть мещанскими или пошлыми и что герань — любимый цветок городской бедноты, душных подвалов, где ютятся ремесленники. В народе издавна сложилось убеждение, что герань очищает тяжелый воздух слесарных, сапожных и других мастерских. Поэтому ее и любят.

Вскоре после Малеевки я встретился с Горьким, и он попрекнул меня тем, что я не замечаю красоты этого цветка.

— Может быть, попадете когда-нибудь в Италию, — сказал он. — Там вы повсюду увидите такую пышную герань, что от нее не оторвешь взгляда. А у нас лучшую герань выращивают, по-моему, в Новгороде Великом. Все пригородные

слободки этого чудесного города просто горят шарлаховой геранью. Вы были в Новгороде Великом?

— Нет, не был.

— Обязательно поезжайте. Обязательно! Попьете у слободских старушек липового чая. Удивительный вкус, но, правда, — на любителя.

Он побарабанил пальцами по столу и добавил:

— Местная особенность! Люблю местные особенности. Из них, как бы из густых красок, на полотне рисуется Россия. Вы любите художника Кустодиева?

— Очень.

— Все это явления одного порядка, — сказал Горький, следя за витиеватым дымком от своей длинной тонкой папиросы. — Кустодиев, ярмарочные балаганы, выгоны в мураве, щепной духовитый товар, шали на плечах волжских красавиц, мезонины, герань на подоконниках, румяные закаты — именно те, что так славно отражаются в самоварах, мальчишки с расписными пряниками... Чудесный художник! Чудесный! Стихи любите? — спросил он неожиданно.

— Да. Но по-своему.

— Как это «по-своему»?

— Я не могу прочесть больше двух-трех стихотворений в день. Но эти два-три стихотворения я запоминаю надолго, иной раз на всю жизнь.

— Завидное качество, — сказал Горький, снова постучал пальцами по столу и добавил, глядя в сторону: — А я вот уже не могу. Склероз, что ли? А кем вы, милостивый государь, сейчас увлекаетесь? Из современных поэтов.

— Блоком. И Пастернаком.

— Богато живете! — заметил Горький. — Это похвально. Каких только чудес не наслушаешься у поэтов. А я все-таки больше всего люблю Пушкина. «Буря мглою небо кроет». Помните? «Выпьем, добрая подружка бедной юности моей».

Он пропел эти слова своим басом и задумался.

— Вот поезжайте в Новгород Великий. Там этих добрых подружек, как Арина Родионовна, полно. От них вроде и началась русская поэзия.

В ту осень в Малеевке я много читал поэтов — Васильева, Светлова, Заболоцкого, Пастернака. Я не удержался и прочел Горькому по нескольку любимых строк из этих поэтов. Он неожиданно растрогался.

— Как, как? — спросил он. — Прочтите еще раз.

Я прочел из Васильева:

Поверивший в слова простые,
В косых ветрах от птичьих крыл
Поводырем по всей России
Ты сказку за руку водил...

А вот это — Пастернак:

Скорей со сна, чем с крыш, скорей
Забывчивый, чем робкий,
Топтался дождик у дверей,
И пахло винной пробкой...

— Точно сказано, — заметил Горький. — Да вы кто — прозаик или поэт? Пожалуй, поэт.

Он положил свою большую руку мне на плечо и слегка нажал на него.

— Валяйте! Живите так, как начали. Черт не выдаст, свинья не съест.

МЕДНЫЕ ПОДКОВКИ

Маяковский лежал на низком помосте в зале Дома писателей. Дом этот стоял в глубине двора, в зарослях сирени. Говорили, что этот старый особняк Толстой описал в «Войне и мире» как дом Ростовых.

Окна в зале были открыты. Манерную статую Венеры Медицейской в вестибюле закрыли черным покрывалом. Из-под него виднелось ее мраморное холодное колено.

Маяковский лежал на помосте в гробу, будто в каменном саркофаге, — тяжелый, большой, не переставший думать. Лежал ногами к входу и к людям, толпившимся около гроба. Поэтому прежде всего были видны его прочные ботинки с медными подковками на каблуках. Подковки блестели в луче солнца и были сильно стерты.

Поэт ходил по земле широко и немного небрежно. Медь быстро стиралась от такой ходьбы.

Должно быть, у многих появилась тогда мысль, что эти грошовые подковки не истлеют никогда, тогда как прах поэта исчезнет. А ведь людям были нужны не только его стихи, но и он сам — живой и гремящий.

Небывало теплый апрель стоял в Москве в год его смерти. От сырой земли в палисаднике за окнами подымался пар. Он шевелил прошлогодние палые листья.

Листья были черные, пахли кисловатым вином. Из них нельзя было сплести венок поэту.

Кто-то положил вместо венка несколько таких листьев в гроб к его ногам. Они не потерялись среди оранжерейных хризантем и гвоздик, среди атласных траурных лент, веток туи и скипидарной елочной хвои.

Листья лежали там по праву. Один из них прилип к подошве Маяковского и вместе с ним сгорел потом в невыносимом пламени погребения.

Самое трудное в смерти для тех, кто остался жить дальше, заключается в том, что они не успели сказать умершему то главное, что чувствовали и думали о нем. Любящие, как всегда, опоздали. Непонятная застенчивость сжимала им губы.

И теперь он, конечно, никогда не узнает, как бескорыстна была их любовь. Может быть, она могла спасти его?

А он молчал перед смертью и ни перед кем не выговорил свое последнее горе. Он лежал, чуть нахмурясь, никому не сказав о тех обидах и болях, какие жизнь нанесла ему — сильному духом и уверенному в себе поэту.

Да, он наступил на горло собственной песне. Он совершил подвиг поэтического самопожертвования ради блага своей страны и народа.

Он был чернорабочим, агитатором, бойцом. На его плечи легла задача привить революцию каждодневной человеческой жизни. Мягкость была не к месту.

Вокруг было слишком много слюнтяйства. Надо было бичевать бездарность, глупость, тугие мозги и затылки. Надо было кричать на людей, чтобы они опомнились и вылезли из своих тепловатых гнезд.

Надо было просто выгонять людей из этих гнезд на резкий и холодный ветер революции, особенно поэтов.

Недаром в 1921 году он написал:

Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина...

Он писал свои стихи, как молотобоец, — засучив рукава.

Есенин сказал, что «в этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей».

Безнадежность этих слов казалась Маяковскому возмутительной. Но прошло всего пять лет со смерти Есенина — и он сам позвал к себе смерть и полностью рассчитался с жизнью.

Зачем? Кто знает?

Его несли по улице Воровского, по улице иностранных посольств. Флаги над посольствами были приспущены. Даже недруги отдавали должное его поэтической мощи, его прямолинейности трибуна, его политическому темпераменту.

Раз он умер, то они, очевидно, успокоились и перестали придавать значение разящей силе его слов. Они просто не знали, что сплошь и рядом слово чем дальше, тем становится грозней. Его не обезвредишь, даже утопив на дне океана, как пытаются обезвреживать отходы атомного производства. Оно все время будет прорывать благополучную пленку жизни и взрываться то тут, то там.

Я почти не знал Маяковского.

После возвращения из скитаний по югу в Москву я целый год прожил в Пушкине по Северной дороге. Об этом я уже писал. За моей дачей глухо стоял сосновый лес, а за ним тянулась болотистая низина и разливалась речка Серебрянка, всегда затянутая туманом.

Всю зиму я прожил на этой даче один, а летом в ней поселился Асеев с женой и ее веселыми сестрами-украинками. Потом добрейший Семен Гехт (сестры произносили его фамилию «Хехт») снял пустой чердак, где по ночам спали хозяйские козы, и началась шумная и вольная дачная жизнь.

Маяковский жил в то время на Акуловой горе и часто приходил к Асееву играть в шахматы.

Он шел через лес, широко шагая, вертя в руке палку, вырезанную из орешника.

Он показался мне угрюмым. Я старался не попадаться ему на глаза. Я был излишне застенчив. Мне казалось, что Маяковскому просто неинтересно разговаривать со мной.

Что я мог сказать ему нового и значительного? Все уже сказано, вся мировая культура изучена им и перемыта в острых и остроумных спорах. Я это знал потому, что из комнаты Асеева до меня долетали все разговоры.

Однажды, когда Асеев уехал в Москву, Маяковский постучал ко мне и предложил сыграть в шахматы. Я играл плохо. У меня не было способности предвидеть игру за несколько ходов вперед. Но я согласился, и мы пошли к Асееву.

Там сидела на тахте, подобрав ноги, жена Асеева Оксана с золотыми распущенными волосами. Мне очень нравились стихи Асеева, посвященные ей:

Оксана, жемчужина мира,
Со дна Малороссии вырыл
И в песни оправил тебя...

Стихи эти по первой сокращенной строке назывались «Окжемир». Так же звали и Оксану.

Окжемир сказала, что ее тошнит от вида мужчин, нахохленных над шахматной доской. Маяковский только хмыкнул, а я промолчал.

Надо было о чем-нибудь говорить. С каждой минутой молчание становилось все тягостнее. У меня в голове носились обрывки всяких преимущественно глупых мыслей. Я не мог ничего придумать, чтобы начать разговор.

Маяковский молчал, зажав папиросу в углу рта, и смот-

рел на доску. Почему-то молчала и Окжемир. Тогда в полном отчаянии я заговорил о ловле раков в реке Серебрянке. Там действительно водились огромные раки — настоящие речные крокодилы.

— Нудное дело, — сказал Маяковский. — Не понимаю, как можно заниматься такой ерундистикой!

Я покраснел и до конца партии не мог вымолвить ни слова. На мое счастье, пришел Асеев, и я сбежал к себе.

С тех пор я начал бояться знаменитых людей и боюсь их до сих пор. Я всегда чувствую себя свободно и спокойно только в обществе людей самых простых.

Среди писателей таких людей не так уж много. Правда, очень прост и доброжелателен был Ильф, прост и печален был Андрей Платонов.

Когда мне впервые попал в руки один из рассказов Платонова и я прочел фразу: «Тихо было в уездной России» — у меня сжалось горло, — так это было хорошо.

Платонова почти не печатали. Если в редких случаях где-нибудь появлялся его рассказ, на него обрушивали горы вздорных обвинений.

У Платонова есть маленький рассказ «Июльская гроза». Ничего более ясного, классического и побеждающего своей прелестью я, пожалуй, не знаю в современной нашей литературе. Только человек, для которого Россия была его вторым существом, как изученный до последнего гвоздя отчий дом, мог написать о ней с такой горечью и сердечностью.

Он тяжело болел, плевал кровью, месяцами лежал без движения, но ни разу не погрешил против своей писательской совести.

В первые годы революции умами и сердцами молодежи владели Маяковский и Сергей Есенин.

Мне так и не удалось узнать Есенина в жизни, — я вернулся в Москву незадолго до его смерти.

Впервые я увидел Есенина в гробу, в Доме журналистов на Никитском бульваре. Поперек бульвара протянули черное траурное полотнище. На нем белыми буквами было написано: «Тело великого национального поэта покоится здесь».

День был темный, с низкими неподвижными тучами, с хмурой тишиной. В такие дни в домах раньше времени зажигают лампы. Свет их похож на желток.

В зале, где лежал Есенин, горели люстры. В их неярком

свете лицо Есенина казалось прекрасным. Красоту его выделяли густые тени от ресниц.

Он лежал, как уснувший мальчик. Звуки женских рыданий казались слишком громкими и неуместными — они могли разбудить. А будить его было нельзя, — так безмятежно и крепко он спал, намаявшись в житейской бестолочи, в беспорядке своей быстрой славы, в тоске по своей рязанской земле.

Много позже, в 1960 году я увидел фотографию Есенина, только что вынутого из петли. Он лежал на боку, на диване, подобрав колени, и все лицо его было в слезах. Они еще не успели высохнуть.

Такая детская обида была на этом лице, что никто не мог смотреть на эту фотографию. Все отворачивались и отходили, пряча глаза.

Есенину я обязан многим. Он научил меня видеть небогатую и просторную рязанскую землю — ее синеющие речные дали, обнаженные ракиты, в которых посвистывал октябрьский ветерок, пожухлую крапиву, перепадающие дожди, молочный дым над селами, мокрых телят с удивленными глазами, пустынные, неведомо куда ведущие дороги.

Несколько лет я прожил в есенинских местах вблизи Оки. То был огромный мир грусти и тишины, слабого сияния солнца и разбойничьих лесов.

По ним раз в несколько дней прогремит по гнилым гатям телега да порой в окошке низкой избы лесника мелькнет девичье лицо.

Надо бы остановиться, войти в избу, увидеть сумрак смущенных глаз — и снова ехать дальше в шуме сосен, в дрожании осенних осин, в шорохе крупного песка, сыплющегося в колею.

И смотреть на птичьи стаи, что тянут в небесной мгле над полесьем к теплому югу. И сладко тосковать от ощущения своей полной родственности, своей близости этому дремучему краю. Там текут из болот прозрачные ключи, и невольно кажется, что каждый такой ключ — родник поэзии. И это действительно так.

Зачерпните в жестяную кружку воды из такого родника, сдуйте к краю красноватые листочки брусники и напейтесь воды, дающей молодость, свежесть, вечное очарование родной стороны. И вы уверитесь, что только небольшая доля этой поэзии выражена в стихах таких поэтов, как Есенин, все же ее несметные богатства еще скрыты и ждут своего часа.

Недавно я читал стихи совершенно забытой поэтессы Растопчиной, современницы Пушкина и Лермонтова, и нашел у нее две пророческих строки.

Поэты русские свершают жребий свой...
Не кончив песни лебединой...

В этих словах было только признание того, что случилось.

Оскорбления, дуэли, клевета, ревность, тяжелый характер — все это было внешней картиной этих трагедий.

Понятно, когда человек уходит из жизни от отчаяния и усталости. Но, пожалуй, нет ничего странного в том, что человек может уйти из жизни и от сознания душевной полноты, когда она доходит до такой завершенности, что каждый следующий день — упадок и ущерб. Таких случаев мы не помним, но я допускаю, что они могут быть.

...Глухие зимние дни, поля в ночных снегах, в оловянной мути, скрежет смерзшихся дубовых листьев за окном — и он один, один в этих ночах без сна, без вдохновенья. Живут только воспоминания — бесплодные, томительные. Все необратимо, невозвратно.

И вдруг — отдаленный топот копыт. Кто-то скачет издалека. К нему. С какою вестью?

Всадник соскакивает у крыльца, и через мгновение в руках у Пушкина записка. Она приехала! Она ждет его у Осиповых в Тригорском! Анна!

Как будто все эти буреломы и мертвые леса, все эти косые избы и волчьи ночи озарил мгновенный метеор.

И вот он уже скачет через ночь, он видит только ее глаза во тьме — ее сияющие слезами и любовью зеленоватые глубокие глаза.

Он мог бы упасть с седла и умереть от одного удара в сердце. Где-нибудь здесь, у трех сосен на берегу озера Маленец или около песчаного косогора. И в тысячную долю мгновения этой смерти он был бы истинно счастлив.

Этот сон о Пушкине или, как говорили в старину, — «видение», так крепко вошел в меня, что я часто видел его наяву и мог бы описать во всех простых чертах — от зимнего ветра, бьющего Пушкину в глаза, до огней в доме Осиповых, играющих в обледенелых стеклах.

И. БАБЕЛЬ

„МОПАССАНОВ Я ВАМ ГАРАНТИРУЮ"

В одном из номеров «Моряка» был напечатан рассказ под названием «Король». Под рассказом стояла подпись: «И. Бабель».

Рассказ был о том, как главарь одесских бандитов Бенцион (он же Беня) Крик насильно выдал замуж свою увядшую сестру Двойру за хилого и плаксивого вора. Вор женился на Двойре только из невыносимого страха перед Беней.

То был один из первых так называемых «молдаванских» рассказов Бабеля.

Молдаванкой в Одессе называлась часть города около товарной железнодорожной станции, где жили две тысячи одесских налетчиков и воров.

Чтобы лучше узнать жизнь Молдаванки, Бабель решил поселиться там на некоторое время у старого еврея Циреса, доживавшего свой век под крикливым гнетом жены, тети Хавы.

Вскоре после того как Бабель снял комнату у этого кроткого старика, похожего на лилипута, произошли стремительные события. Из-за них Бабель был вынужден бежать очертя голову из квартиры Циреса, пропахшей жареным луком и нафталином.

Но об этом я расскажу несколько позже, когда читатель свыкнется с характером тогдашней жизни на Молдаванке.

Рассказ «Король» был написан сжато и точно. Он бил в лицо свежестью, подобно углекислой воде.

С юношеских лет я воспринимал произведения некоторых писателей как колдовство. После рассказа «Король» я понял, что еще один колдун пришел в нашу литературу и что все написанное этим человеком никогда не будет бесцветным и вялым.

В рассказе «Король» все было непривычно для нас. Не только люди и мотивы их поступков, но и неожиданные положения, неведомый быт, энергичный и живописный диалог. В этом рассказе существовала жизнь, ничем не отличавшаяся от гротеска. В каждой мелочи был заметен пронзительный глаз

писателя. И вдруг, как неожиданный удар солнца в окно, в текст вторгался какой-нибудь изысканный отрывок или напев фразы, похожей на перевод с французского, — напев размеренный и пышный.

Это было ново, необыкновенно. В этой прозе звучал голос человека, пропыленного в походах Конной армии и вместе с тем владевшего всеми богатствами прошлой культуры — от Боккаччо до Леконта де Лиля и от Веермера Дельфтского до Александра Блока.

В редакцию «Моряка» Бабеля привел Изя Лившиц. Я не встречал человека, внешне столь мало похожего на писателя, как Бабель. Сутулый, почти без шеи из-за наследственной одесской астмы, с утиным носом и морщинистым лбом, с маслянистым блеском маленьких глаз, он с первого взгляда не вызывал интереса. Его можно было принять за коммивояжера или маклера. Но, конечно, только до той минуты, пока он не начинал говорить.

С первыми же словами все менялось. В тонком звучании его голоса слышалась настойчивая ирония.

Многие люди не могли смотреть в прожигающие глаза Бабеля. По натуре Бабель был разоблачителем. Он любил ставить людей в тупик и потому слыл в Одессе человеком трудным и опасным.

Бабель пришел в редакцию «Моряка» с книгой рассказов Киплинга в руках. Разговаривая с редактором Женей Ивановым, он положил книгу на стол, но все время нетерпеливо и даже как-то плотоядно посматривал на нее. Он вертелся на стуле, вставал, снова садился. Он явно нервничал. Ему хотелось читать, а не вести вынужденную вежливую беседу.

Бабель быстро перевел разговор на Киплинга, сказал, что надо писать такой же железной прозой, как Киплинг, и с полнейшей ясностью представлять себе все, что должно появиться из-под пера. Рассказу надлежит быть точным, как военное донесение или банковский чек. Его следует писать тем же твердым и прямым почерком, каким пишутся приказы и чеки. Такой почерк был, между прочим, у Киплинга.

Разговор о Киплинге Бабель закончил неожиданными словами. Он произнес их, сняв очки, и от этого лицо его сразу сделалось беспомощным и добродушным.

— У нас в Одессе, — сказал он, насмешливо поблескивая глазами, — не будет своих Киплингов. Мы мирные жизнелюбы. Но зато у нас будут свои Мопассаны. Потому что у нас много моря, солнца, красивых женщин и много пищи для размышлений. Мопассанов я вам гарантирую.

Тут же он рассказал, как был в последней парижской квартире Мопассана. Рассказывал о нагретых солнцем розовых кружевных абажурах, похожих на панталоны дорогих куртизанок, о запахе бриллиантина и кофе, о комнатах, где мучился испуганный их обширностью больной писатель, годами приучавший себя к строгим границам замыслов и наикратчайшему их изложению.

Во время этого рассказа Бабель со вкусом упоминал о топографии Парижа. У Бабеля было хорошее французское произношение.

Из нескольких замечаний и вопросов Бабеля я понял, что это человек неслыханно настойчивый, цепкий, желающий все видеть, не брезгующий никакими познаниями, внешне склонный к скепсису, даже к цинизму, а на деле верящий в наивную и добрую человеческую душу. Недаром Бабель любил повторять библейское изречение: «Сила жаждет, и только печаль утоляет сердца».

Я видел из своего окна, как Бабель вышел из редакции и, сутулясь, пошел по теневой стороне Приморского бульвара. Шел он медленно, потому что, как только вышел из редакции, тотчас раскрыл книгу Киплинга и начал читать ее на ходу. По временам он останавливался, чтобы дать встречным обойти себя, но ни разу не поднял головы, чтобы взглянуть на них.

И встречные обходили его, с недоумением оглядываясь, но никто не сказал ему ни слова.

Вскоре он исчез в тени платанов, что трепетали в текучем черноморском воздухе своей бархатистой листвой.

Потом я часто встречал Бабеля в городе. Он никогда не ходил один. Вокруг него висели, как мошкара, так называемые «одесские литературные мальчики». Они ловили на лету его острые слова, тут же разносили их по Одессе и безропотно выполняли его многочисленные поручения.

За нерадивость Бабель взыскивал с этих восторженных юношей очень строго, а наскучив ими, безжалостно их изгонял. Чем более жестоким бывал разгром какого-нибудь юноши, тем сильнее гордился этим разгромленный. «Литературные юноши» просто расцветали от бабелевских разгромов.

Но не только «литературные мальчики» боготворили Бабеля. Старые литераторы — их в то время собралось в Одессе несколько человек, — равно как и молодые одесские писатели и поэты, относились к Бабелю очень почтительно.

Объяснялось это не только тем, что это был исключительно талантливый человек, но еще и тем, что он был признан и любим как писатель Алексеем Максимовичем Горьким, что

он только что вернулся из легендарной Конармии Буденного и, наконец, он был в то время для нас первым подлинно советским писателем.

Нельзя забывать, что в то время советская литература только зарождалась и до Одессы еще не дошла ни одна новая книга, кроме «Двенадцати» Блока и переводной книги Анри Барбюса «Огонь».

И Блок и Барбюс произвели на нас потрясающее впечатление: в этих вещах уже явственно сверкали зарницы новой поэзии и прозы, и мы заучивали наизусть и стихи Блока, и суровую прозу Барбюса.

Вплотную я столкнулся с Бабелем в конце лета. Он жил тогда на 9-й станции Фонтана. Я был в отпуску и снял вместе с Изей Лившицем полуразрушенную дачу невдалеке от Бабеля.

Одна стена нашей дачи висела над отвесным обрывом. От нее часто откалывались куски яркой розовой штукатурки и весело неслись вприпрыжку к морю. Поэтому мы предпочитали спать в террасе, выходившей в степь. Там было безопаснее.

Сад около дачи зарос по пояс сероватой полынью. Сквозь нее пробивались, как свежие брызги киновари, маленькие, величиной с ноготь, маки.

С Бабелем мы виделись часто. Иногда мы вместе просиживали на берегу почти весь день, таская с Изей на самоловы зеленух и бычков и слушая неторопливые рассказы Бабеля.

Рассказчик он был гениальный. Устные его рассказы были сильнее и совершеннее, чем написанные.

Как описать то веселое и вместе с тем печальное лето 1921 года на Фонтане, когда мы жили вместе? Веселым его делала наша молодость, а печальным оно казалось от постоянной легкой тревоги на сердце. А может быть, отчасти и от непроницаемых южных ночей. Они опускали свой полог совсем рядом с нами, за первой же каменной ступенью нашей террасы.

Стоя на террасе, можно было протянуть в эту ночь руку, но тотчас отдернуть ее, почувствовав на кончиках пальцев близкий холод мирового пространства.

Веселье было собрано в пестрый клубок наших разговоров, шуток и мистификаций. Тогда в Одессе мистификации называли «розыгрышами». Потом это слово быстро распространилось по всей стране.

А печаль воплощалась для меня почему-то в ясном огне, неизменно блиставшем по ночам на морском горизонте. То была какая-то низкая звезда. Имени ее никто не знал, несмотря на

то, что она все ночи напролет дружелюбно и настойчиво следила за нами.

Непонятно почему, но печаль была заключена и в запахе остывающего по ночам кремнистого шоссе, и в голубых зрачках маленькой дикой вербены, поселившейся у нашего порога, и в том, что тогда мы очень ясно чувствовали слишком быстрое движение времени.

Горести пока еще властвовали над миром. Но для нас, молодых, они уже соседствовали со счастьем, потому что время было полно надежд на разумный удел, на избавление от назойливых бед, на непременное цветение после бесконечной зимы.

Я в то лето, пожалуй, хорошо понял, что значит казавшееся мне до тех пор пустым выражение «власть таланта».

Присутствие Бабеля делало это лето захватывающе интересным. Мы все жили в легком отблеске его таланта.

До этого почти все люди, встречавшиеся мне, не оставляли в памяти особенно заметного следа. Я быстро забывал их лица, голоса, слова, их походку. А сейчас было не так. Я жадно зарисовывал людей в своей памяти, и этому меня научил Бабель.

Бабель часто возвращался к вечеру из Одессы на конке. Она сменила начисто забытый трамвай. Конка ходила только до 8-й станции и издалека уже дребезжала всеми своими развинченными болтами.

С 8-й станции Бабель приходил пешком, пыльный, усталый, но с хитрым блеском в глазах, и говорил:

— Ну и разговорчик же заварился в вагоне у старух! За «куриные яички». Слушайте! Вы будете просто рыдать от удовольствия.

Он начинал передавать этот разговор. И мы не только рыдали от хохота. Мы просто падали, сраженные этим рассказом. Тогда Бабель дергал то одного, то другого из нас за рукав и крикливо спрашивал голосом знакомой торговки с 10-й станции Фонтана:

— Вы окончательно сказились, молодой человек? Или что?

Стоило, слушая Бабеля, закрыть глаза, чтобы сразу же очутиться в душном вагоне одесской конки и увидеть всех попутчиков с такой наглядностью, будто вы прожили с ними много лет и съели вместе добрый пудовик соли. Может быть, их вовсе и не существовало в природе, этих людей, и Бабель их начисто выдумал. Но что за дело нам было до этого, если они жили во всей своей конкретности, хрипящие, кашляющие, вздыхающие и выразительно подмигивающие друг другу на

«месье» Бабеля, о котором уже говорили по Одессе, что он такой же умный, как Горький.

Гораздо раньше, чем из его напечатанных рассказов, мы узнали из устных его рассказов о старике Гедали, вздыхавшем «об интернационале добрых людей», о происшествии с солью на «закоренелой» станции Фастов, о бешеных кавалерийских атаках, об ослепительной усмешке Буденного и услышали удивительные казачьи песни. Особенно одна песня поразила Бабеля, и потом в Одессе мы ее часто напевали, каждый раз все больше удивляясь ее поэтичности. Сейчас я забыл слова этой песни. В памяти остались только первые две строки:

Звезда полей над отчим домом,
И матери моей печальная рука...

Особенно томительной и щемящей была эта «звезда полей». Часто по ночам я даже видел ее во сне — единственную тихую звезду в громадной высоте над сумраком родных и нищих полей.

Вообще Бабель рассказывал охотно и много об Алексее Максимовиче Горьком, о революции и о том, как он, Бабель, поселился явочным порядком в Аничковом дворце, в Петербурге, спал на диване в кабинете Александра III и однажды осторожно заглянул в ящик царского письменного стола, нашел коробку великолепных папирос — подарок царю Александру от турецкого султана Абдул Гамида.

Толстые эти папиросы были сделаны из розовой бумаги с золотой арабской вязью. Бабель очень таинственно подарил мне и Изе по одной папиросе. Мы выкурили их вечером. Тончайшее благоухание распростерлось над 9-й станцией Фонтана. Но тотчас у нас смертельно разболелась голова, и мы целый час передвигались как пьяные, хватаясь за каменные ограды.

Тогда же я узнал от Бабеля необыкновенную историю о безответном старом еврее Циресе.

Бабель поселился у Циреса и его мрачной медлительной жены, тети Хавы, в центре Молдаванки. Он решил написать несколько рассказов из жизни этой одесской окраины с ее пряным бытом. Бабеля привлекали своеобразные и безусловно талантливые натуры таких бандитов, как ставшие уже легендарными Мишка Япончик (Беня Крик). Бабель хотел получше изучить Молдаванку, и, конечно, удобным местом для этого была скучная квартира Циреса.

Она стояла как надежная скала среди бушующих и громогласных притонов и обманчиво благополучных квартир с вяза-

ными салфеточками и серебряными семисвечниками на комодах, где под родительским кровом скрывались налетчики.

Квартира Циреса была забронирована со всех сторон соседством дерзких и хорошо вооруженных молодых людей.

Бабель посвятил Циреса в цель своего изучения Молдаванки. Это не произвело на старика приятного впечатления. Наоборот, Цирес встревожился.

— Ой, месье Бабель! — сказал он, качая головой. — Вы же сын такого известного папаши! Ваша мама была же красавица! Поговаривают, что к ней сватался племянник самого Бродского. Так чтобы вы знали, что Молдаванка вам совсем не к лицу, какой бы вы ни были писатель. Забудьте думать за Молдаванку. Я вам скажу, что вы не найдете здесь ни на копейку успеха, но зато сможете заработать полный карман неприятностей.

— Каких? — спросил Бабель.

— Я знаю каких! — уклончиво ответил Цирес. — Разве догадаешься, какой кошмар может вбить себе в голову один только Пятирубель. Я не говорю за таких нахалов, как Люська Кур и все остальные. Лучше вам, месье Бабель, не рисковать, а вернуться тихонько в папашин дом на Екатерининской улице. Скажу вам по совести, я сам уже сожалею, что сдал вам комнату. Но как я мог отказать такому приятному молодому человеку!

Бабель иногда ночевал в своей комнате у Циреса и несколько раз слышал, как тетя Хава шепотом ругала старика за то, что он сдал комнату Бабелю и пустил в дом незнакомого человека.

— Что ты с этого будешь иметь, скупец! — говорила она Циресу. — Какие-нибудь сто тысяч в месяц? Так зато ты растеряешь своих лучших клиентов. Лазарь Бройде со Степовой улицы обдурит тебя и будет смеяться над тобой. Они все перекинутся к Бройде, клянусь покойной Идочкой.

— Легаши только ждут твоего Бройде, чтобы его захапать, — неуверенно отбивался Цирес.

— Как бы тебя не захапали раньше. Ты будешь пустой через того жильца. Никто не даст тебе и одного процента. С чего мы тогда будем доживать свою старость?

Цирес сокрушался, ворочался, долго не мог заснуть.

Бабелю не нравились эти непонятные ночные разговоры старухи.

Он чувствовал в них какую-то опасную тайну. Он тоже долго не засыпал, стараясь догадаться, о чем шепчет тетя Хава.

Ночи на Молдаванке тянулись долго. Мутный свет даль-

него фонаря падал на облезлые обои. Они пахли уксусной эссенцией. Изредка с улицы слышались быстрые деловые шаги, тонкий свист, а иной раз даже близкий выстрел и женский истерический хохот. Он долетал из-за кирпичных стен. Казалось, что этот рыдающий хохот был глубоко замурован в стенах.

Особенно неприятно было в дождливые ночи. В железном желобе жидко дребезжала вода. Кровать скрипела от малейшего движения, и какой-то зверь всю ночь спокойно жевал за обоями гнилое, трухлявое дерево.

Хотелось встать и уйти к себе на Екатерининскую улицу. Там за толстыми стенами на четвертом этаже было тихо, темно, безопасно, а на столе лежала десятки раз исправленная и переписанная рукопись последнего рассказа.

Подходя к столу, Бабель осторожно поглаживал эту рукопись, как плохо укрощенного зверя. Часто он вставал ночью и при коптилке, заставленной толстым, поставленным на ребро фолиантом энциклопедии, перечитывал три-четыре страницы. Каждый раз он находил несколько лишних слов и со злорадством выбрасывал их. «Ясность и сила языка, — говорил он, — совсем не в том, что к фразе уже нельзя ничего прибавить, а в том, что из нее уже нельзя больше ничего выбросить».

Все, кто видел Бабеля за работой, особенно ночью (а увидеть его в этом состоянии было трудно; он всегда писал, прячась от людей), были поражены печальным его лицом и его особенным выражением доброты и горя.

Бабель много бы дал в эти скудные молдаванские ночи за то, чтобы сейчас же вернуться к своим рукописям. Но в литературе он чувствовал себя как разведчик и солдат и считал, что во имя ее он должен вытерпеть все: и одиночество, и керосиновую вонь погасшей коптилки, вызывавшую тяжелые припадки астмы, и крики изрыдавшихся женщин за стенами домов. Нет, возвращаться было нельзя.

В одну из таких ночей Бабеля вдруг осенило: очевидно, Цирес был обыкновенным наводчиком! Цирес жил этим. Он получал за это свой процент — «карбач», и Бабель был для старика действительно неудобным жильцом.

Он мог отпугнуть от старого наводчика его отчаянных, но вместе с тем и осторожных клиентов. Кому была охота глупо нарезаться на провал из-за скаредности Циреса, польстившегося на лишние сто тысяч рублей и пустившего в самое сердце Молдаванки какого-то фраера.

Да к тому же этот фраер оказался писателем и потому

был вдвое опаснее, чем если бы он был простым сутенером или шулером из пивной.

Наконец-то Бабель понял намеки Циреса насчет кармана, полного неприятностей, и решил через несколько дней съехать от Циреса. Но несколько дней ему еще были нужны, чтобы выведать от старого наводчика все, что тот мог рассказать интересного. А Бабель знал за собой это сильное свойство — выпытывать людей до конца, потрошить их жестоко и настойчиво, или, как говорили в Одессе, «с божьей помощью вынимать из них начисто душу».

Но на этот раз Бабелю не удалось вынуть из старого Циреса душу. Бабеля опередил один из налетчиков, кажется Сенька Вислоухий, и сделал он это не в переносном, а в самом настоящем смысле этого слова.

Как-то днем, после того как Бабель ушел в город, Цирес был убит у себя на квартире ударом финки.

Когда Бабель вернулся на Молдаванку, он застал в квартире милицию, а у себя в комнате — начальника угрозыска. Он сидел за столом и писал протокол. Это был вежливый молодой человек в синих галифе из диагонали. Он мечтал тоже стать писателем и потому почтительно обошелся с Бабелем.

— Прошу вас, — сказал он Бабелю, — взять ваши вещи и немедленно покинуть этот дом. Иначе я не могу гарантировать вам личную безопасность даже на ближайшие сутки. Сами понимаете: Молдаванка!

И Бабель бежал, содрогаясь от хриплых воплей тети Хавы. Она призывала проклятия на голову Сеньки и всех, кто, по ее соображениям, был замешан в убийстве Циреса.

Эти проклятия были ужасны. Вежливый начальник угрозыска даже посоветовал Бабелю:

— Не слушайте эти психические крики. Утром она была еще в уме и дала показания. А теперь она бесноватая. Сейчас за ней приедет фургон из сумасшедшего дома на Слободке-Романовке.

А за перегородкой тетя Хава равномерно вырывала седые космы волос из головы, отшвыривала их от себя и кричала, раскачиваясь и рыдая:

— Чтоб ты опился, Симеон (она называла Сеньку его полным именем), водкой с крысиной отравой и сдох бы на блевотине! И чтобы ты пинал ногами собственную мать, старую гадюку Мириам, что породила такое исчадие и такого сатану! Чтобы все мальчики с Молдаванки наточили свои перочинные ножички и резали тебя на части двенадцать дней и двенадцать

ночей! Чтоб ты, Сенька, горел огнем и лопнул от своего кипящего сала!

Вскоре Бабель узнал все о смерти Циреса.

Оказалось, что Цирес сам был виноват в своей гибели. Поэтому ни единая живая душа на Молдаванке не пожалела его, кроме тети Хавы. Ни единая живая душа! Потому что Цирес оказался бесчестным стариком, и его уже ничто не могло спасти от смерти.

А дело было так. Накануне дня своей гибели Цирес пошел к Сеньке Вислоухому.

Сенька брился в передней перед роскошным трюмо в черной витиеватой раме. Скосив глаза на Циреса, он сказал:

— Спутались с фраером, месье Цирес? Поздравляю! Знаете новый советский закон: если ты пришел к бреющемуся человеку, то скорее кончай свое дело и выматывайся. Даю вам для объяснения десять слов. Как на центральном телеграфе. За каждое излишнее слово я срежу вам ваш процент, так сказать, карбач, на двести тысяч рублей.

— Или вы с детства родились таким неудачным шутником, Сеня? — спросил, сладко улыбаясь, Цирес. — Или сделались им постепенно, по мере течения лет? Как вы думаете?

Цирес был трусоват в жизни и даже в делах, но в разговоре он мог позволить себе нахальство. Недаром он считался старейшим наводчиком в Одессе.

— А ну, рассказывайте, старый паяц, — сказал Сенька и начал водить в воздухе бритвой, как смычком по скрипке. — Рассказывайте, пока у меня не выкипело терпение.

— Завтра, — очень тихо произнес Цирес, — в час дня в артель «Конкордия» привезут четыре миллиарда.

— Хорошо! — так же тихо ответил Сенька. — Вы получите свой карбач. Без вычета.

Цирес поплелся домой. Поведение Сеньки ему не понравилось. Раньше Сенька в серьезных делах не позволял себе шуток.

Цирес поделился своими мыслями с тетей Хавой, и она, конечно, закричала:

— Сколько лет ты топчешься по земле, как последний дурак! Что ты отворачиваешься и смотришь на портрет Идочки? Я тебя спрашиваю, а не ее! Понятно, что Сеня не пойдет на такое дело. Будет он тебе мараться из-за четырех паскудных миллиардов. Ты на этом заработаешь дулю с маком — и все!

— А что же делать? — застонал Цирес. — Они сведут меня с ума, эти налетчики!

— Пойди до Пятирубеля. Может, он польстится на твои

липовые миллиарды. Так по крайности не останешься в идиотах.

Старый Цирес надел люстриновый картузик и поплелся к Пятирубелю. Тот спал в садочке около дома, в холодке от куста белой акации.

Пятирубель выслушал Циреса и сонно ответил:

— Иди! Можешь рассчитывать на карбач.

Цирес ушел довольный. Он чувствовал себя как человек, застраховавший жизнь на чистое золото.

«Старуха права. Разве можно положиться на Сеню! Он капризный, как мотылек, как женщина в интересном положении. Что ему стоит согласиться, а потом, поигрывая бритвой, отказаться от дела, если оно представляется ему чересчур хлопотливым?»

Но старый, тертый наводчик Цирес ошибся в первый и в последний раз в жизни.

Назавтра в час дня у кассы артели «Конкордия» сошлись Сеня и Пятирубель. Они открыто посмотрели друг другу в глаза, и Сеня спросил:

— Не будешь ли ты так любезен сказать, кто тебя навел на это дело?

— Старый Цирес. А тебя, Сеня?

— И меня старый Цирес.

— Итак? — спросил Пятирубель.

— Итак, старый Цирес больше не будет жить! — ответил Сеня.

— Аминь! — сказал Пятирубель.

Налетчики мирно разошлись. По правилам, если два налетчика сходятся на одном деле, то дело отменяется.

Через сорок минут старый Цирес был убит у себя на квартире, когда тетя Хава вышла во двор вешать белье. Она не видела убийцы, но знала, что никто, кроме Сени или его людей, не смог бы этого сделать. Сеня никогда не прощал обмана.

„ТОТ“ МАЛЬЧИК

На даче у Бабеля жило много народу: сам Бабель, его тихая и строгая мать, рыжеволосая красавица жена Евгения Борисовна, сестра Бабеля Мери и, наконец, теща со своим маленьким внуком. Все это общество Бабель шутливо и непочтительно называл «кодлом».

И вот в один из июльских дней в семье Бабеля произошло удивительное событие.

Для того чтобы понять всю, как говорят, «соль» этого про-

исшествия, нужно сказать несколько слов о женитьбе Бабеля.

Отец Бабеля, суетливый старик, держал в Одессе небольшой склад сельскохозяйственных машин. Старик иногда посылал сына Исаака в Киев для закупки этих машин на заводе у киевского промышленника Гронфайна.

В доме Гронфайна Бабель познакомился с дочерью Гронфайна, гимназисткой последнего класса Женей, и вскоре началась их взаимная любовь.

О женитьбе не могло быть и речи. Бабель, студент, голодранец, сын среднего одесского купца, явно не годился в мужья богатой наследнице Гронфайна.

При первом же упоминании о замужестве Жени старик Гронфайн расстегнул сюртук, засунул руки за вырезы жилета и, покачиваясь на каблуках, испустил пренебрежительный и всем понятный звук: «П-с-с-с!» Он даже не дал себе труда выразить свое презрение словами: слишком много чести для этого невзрачного студента!

Влюбленным оставался только один выход — бежать в Одессу.

Так они и сделали.

А дальше все разыгралось по ветхозаветному шаблону: старик Гронфайн проклял весь род Бабеля до десятого колена и лишил дочь наследства. Случилось, как в знаменитых стихах Саши Черного «Любовь — не картошка». Там при одинаковых обстоятельствах папаша Фарфурник с досады раскокал семейный сервиз, рыдающая мадам Фарфурник иссморкала десятый платок, а студент-соблазнитель был изгнан из дома и витиевато назван «провокатором невиннейшей девушки, чистой, как мак».

Но время шло. Свершилась революция. Большевики отобрали у Гронфайна завод. Старый промышленник дошел до того, что позволял себе выходить на улицу небритым и без воротничка, с одной только золотой запонкой на рубахе.

Но вот однажды до дома Гронфайна дошел ошеломляющий слух, что «этот мальчишка» Бабель стал большим писателем, что его высоко ценит (и дружит с ним) сам Максим Горький — «Вы только подумайте, сам Максим Горький!», — что Бабель получает большие гонорары и что все, кто читал его сочинения, почтительно произносят: «Большой талант!» А иные добавляют, что завидуют Женечке, которая сделала такую хорошую партию.

Очевидно, старики просчитались и настало время мириться. Как ни страдала их гордость, они первые протянули Бабелю, выражаясь фигурально, руки примирения. Это обстоятель-

ство выразилось в том, что в один прекрасный день у нас на 9-й станции неожиданно появилась приехавшая для примирения из Киева преувеличенно любезная теща Бабеля — старуха Гронфайн.

Она была, должно быть, не очень уверена в успехе своей щекотливой задачи и потому захватила с собой из Киева для разрядки внука — восьмилетнего мальчика Люсю. Лучше было этого не делать.

В семье Бабеля тещу встретили приветливо. Но, конечно, в глубине души у Бабеля осталась неприязнь к ней и к заносчивому старику Гронфайну. А теща, пытаясь загладить прошлую вину, даже заискивала перед Бабелем и на каждом шагу старалась подчеркнуть свое родственное расположение к нему.

Мы с Изей Лившицем часто завтракали по утрам у Бабеля, и несколько раз при этом повторялась одна и та же сцена.

На стол подавали вареные яйца. Старуха Гронфайн зорко следила за Бабелем и, если он не ел яиц, огорченно спрашивала:

— Бабель (она называла его не по имени, а по фамилии), почему вы не кушаете яички? Они вам не нравятся?

— Благодарю вас, я не хочу.

— Значит, вы не любите свою тещу? — игриво говорила старуха и закатывала глаза. — А я их варила исключительно для вас.

Бабель, давясь, быстро доедал завтрак и выскакивал из-за стола.

Мальчика Люсю Изя Лившиц прозвал «тот» мальчик. Что скрывалось под этим южным термином, объяснить было почти невозможно. Но каждый из нас в первый же день появления Люси испытал на собственной шкуре, что это действительно был «тот» мальчик.

У Люси с утра до вечера нестерпимо горели от любопытства тонкие уши, будто кто-то долго и с наслаждением их драл. Люся хотел знать все, что его не касалось. Он шпионил за Бабелем и нами с дьявольской зоркостью. Скрыться от него было немыслимо. Где бы мы ни были, через минуту мы замечали в листве тамарисков или за береговой скалой насквозь просвеченные солнцем Люсины уши.

Очевидно, от снедавшего его любопытства Люся был невероятно худ и костляв. У него с неестественной быстротой шныряли во все стороны черные, похожие на маслины глаза. При этом Люся задавал до тридцати вопросов в минуту, но никогда не дожидался ответа.

То был чудовищно утомительный мальчик с каким-то скачущим характером. Он успокаивался только во сне. Днем он все время дергался, прыгал, вертелся, гримасничал, ронял и разбивал вещи, носился с хищными воплями по саду, падал, катался на дверях, театрально хохотал, дразнил собаку, мяукал, вырывал себе от злости волосы, обидевшись на кого-нибудь, противно выл всухую, без слез, носил в кармане полудохлых ящериц с оторванными хвостами и крабов и выпускал их во время завтрака на стол, попрошайничал, грубил, таскал у меня лески и крючки и в довершение всех этих качеств говорил сиплым голосом.

— А это что? — спрашивал он. — А это для чего? А из этого одеяла можно сделать динамит? А что будет, если выпить стакан чаю с морским песком? А кто вам придумал такую фамилию Паустовский, что моя бабушка может ее правильно выговаривать только после обеда? Вы могли бы схватить конку сзади за крюк, остановить на полном ходу и потащить ее обратно? А что, если из крабов сварить варенье?

Легко представить себе, как мы любили этого мальчика. «Исчадие ада!» — говорил о нем Бабель, и в глазах его вспыхивал синий огонь.

Самое присутствие Люси приводило Бабеля в такое нервическое состояние, что он не мог писать. Он отдыхал от Люси у нас на даче и стонал от изнеможения. Он говорил Люсе «деточка» таким голосом, что у этого лопоухого мальчика, если бы он хоть что-нибудь соображал, волосы должны были бы зашевелиться на голове от страха.

Жаркие дни сменяли друг друга, но не было заметно даже отдаленных признаков отъезда тещи.

— Все погибло! — стонал Бабель и хватался за голову. — Все пропало! Череп гудит, как медный котел. Как будто это исчадие ада с утра до вечера лупит по мне палкой!

Все мы ломали голову над тем, как избавить Бабеля от Люси и его медоточивой бабушки. Но, как это часто бывает, Бабеля спас счастливый случай.

Как-то ранним утром я зашел к Бабелю, чтобы, как мы условились с вечера, вместе идти купаться.

Бабель писал за небольшим столом. У него был затравленный вид. Когда я вошел, он вздрогнул и, не оглядываясь, судорожно начал запихивать рукопись в ящик стола и чуть не порвал ее.

— Фу-у! — вздохнул он с облегчением, увидев меня. — А я думал, что это Люська. Я могу работать, только пока это чудовище не проснется.

Бабель писал химическим карандашом. Я никогда не мог понять, как можно писать этим бледным и твердым, как железный гвоздь, карандашом. По-моему, все написанное химическим карандашом получалось хуже, чем написанное чернилами.

Я сказал об этом Бабелю. Мы заспорили и прозевали те несколько секунд, безусловно спасительных для нас, когда Люся еще не подкрался по коридору. Если бы мы не спорили, то могли бы вовремя скрыться.

Мы поняли, что пропали, когда Люся победоносно ворвался в комнату. Он тут же кинулся к письменному столу Бабеля, чтобы открыть ящик (там, как он предполагал, были спрятаны самые интересные вещи), но Бабель ловко извернулся, успел закрыть ящик на ключ, выхватить ключ из замка и спрятать его в карман.

После этого Люся начал хватать по очереди все вещи со стола и спрашивать, что это такое. Наконец он начал вырывать у Бабеля химический карандаш. После недолгой борьбы это ему удалось.

— А-а! — закричал Люся. — Я знаю, что это такое! «Карандаш-барабаш, все, что хочешь, то и мажь!»

Бабель задрожал от отвращения, а я сказал Люсе:

— Это химический карандаш. Отдай его сейчас же Исааку Эммануиловичу! Слышишь!

— Химический, технический, драматический, кавыческий! — запел Люся и запрыгал на одной ноге, не обратив на меня никакого внимания.

— О боже! — простонал Бабель. — Пойдемте скорее на берег. Я больше не могу.

— И я с вами, — крикнул Люся. — Бабушка мне позволила. Даю слово зверобоя. Хотите, дядя Изя, я приведу ее сюда и она сама вам скажет?

— Нет! — прорыдал Бабель измученным голосом. — Тысячу раз нет! Идемте!

Мы пошли на пляж. Люся нырял у берега, фыркал и пускал пузыри. Бабель пристально следил за ним, потом схватил меня за руку и сказал свистящим шепотом, как заговорщик:

— Вы знаете, что я заметил еще там, у себя в комнате?

— Что вы заметили?

— Он отломил кончик от химического карандаша и засунул себе в ухо.

— Ну и что же? — спросил я. — Ничего особенного не будет.

— Не будет так не будет! — уныло согласился Бабель. — Черт с ним. Пусть ныряет.

Мы заговорили о Герцене, — Бабель в то лето перечитывал Герцена. Он начал уверять меня, что Герцен писал лучше, чем Лев Толстой.

Когда мы, выкупавшись, шли домой и продолжали вяло спорить о Герцене, Люся забежал вперед, повернулся к нам, начал приплясывать, кривляться и петь:

Герцен-Мерцен сжарен с перцем!
Сжарен с перцем Герцен-Мерцен!

— Я вас умоляю, — сказал мне Бабель измученным голосом, — дайте этому байструку по шее. Иначе я за себя не отвечаю.

Но Люся, очевидно, услышал эти слова Бабеля. Он отбежал от нас на безопасное расстояние и снова закричал, паясничая.

— У-у-у, зараза! — стиснув зубы, прошептал Бабель. Никогда до этого я не слышал такой ненависти в его голосе. — Еще один день, и я или сойду с ума, или повешусь.

Но вешаться не пришлось. Когда все сидели за завтраком и старуха Гронфайн готовилась к своему очередному номеру с «яичком» («Бабель, так вы, значит, не любите свою тещу»), Люся сполз со стула, схватился за ухо, начал кататься по полу, испускать душераздирающие вопли и бить ногами обо что попало.

Все вскочили. Из уха у Люси текла мерзкая и темная жижа.

Люся кричал без перерыва на одной ужасающей ноте, а около него метались, вскрикивая, женщины.

Паника охватила весь дом. Бабель сидел, как бы оцепенев, и испуганно смотрел на Люсю. А Люся вертелся винтом по полу и кричал:

— Больно, ой, больно, ой, больно!!

Я хотел вмешаться и сказать, что Люся врет, что никакой боли нет и быть не может, потому что Люся нырял, набрал себе в уши воды, а перед этим засунул себе в ухо...

Бабель схватил мою руку под столом и стиснул ее.

— Ни слова! — прошипел он. — Молчите про химический карандаш. Вы погубите всех.

Теща рыдала. Мери вытирала ватой фиолетовую жидкость, сочившуюся из уха. Мать Бабеля требовала, чтобы Люсю тотчас везли в Одессу к профессору по уху, горлу и носу.

Тогда Бабель вскочил, швырнул на стол салфетку, опрокинул чашку с недопитым чаем и закричал, весь красный от возмущения, на невежественных и бестолковых женщин:

— Мамаша, вы сошли с ума! Вы же зарежете без ножа этого мальчика. Разве в Одессе врачи? Шарлатаны! Все до одного! Вы же сами прекрасно знаете. Коновалы! Невежды! Они начинают лечить бронхит и делают из него крупозное воспаление легких. Они вынимают из уха какого-нибудь комара и устраивают прободение барабанной перепонки.

— Что же мне делать, о господи! — закричала мадам Гронфайн, упала на колени, подняла руки к небу и зарыдала. — О господи, открой мне глаза, что же мне делать!

Люся бил ногами по полу и выл на разные голоса. Он заметно охрип.

— И вы не знаете, что делать? — гневно спросил Бабель. — Вы? Природная киевлянка? У вас же в Киеве живет мировое светило по уху, горлу и носу. Профессор Гринблат. Только ему можно довериться. Мой совет: везите ребенка в Киев. Немедленно!

Бабель посмотрел на часы.

— Поезд через три часа. Мери, перевяжи Люсе ухо. Потуже. Одевайте его. Я вас провожу на вокзал и посажу в поезд. Не волнуйтесь.

Теща с Люсей и Бабелем уехала стремительно. Тотчас же после их отъезда Евгения Борисовна начала без всякой причины хохотать и дохохоталась до слез. Тогда меня осенило, и я понял, что история с киевским светилом была чистой импровизацией. Бабель разыграл ее, как первоклассный актер.

С тех пор тишина и мир снизошли на 9-ю станцию Фонтана. Все мы снова почувствовали себя разумными существами. И снова вернулось потерянное ощущение крепко настоянного на жаре и запахе водорослей одесского лета.

А через неделю пришло из Киева письмо от тещи.

«Как вы думаете? — писала она возмущенно. — Что установил профессор Гринблат? Профессор Гринблат установил, что этот негодяй засунул себе в ухо кусок химического карандаша. И ничего больше. Ничего больше, ни единой соринки. Как это вам нравится?»

КАТОРЖНАЯ РАБОТА

После происшествия с Люсей все ходили умиротворенные, в том настроении внутренней тишины, какое приносит выздоровление от тяжелой болезни. Изя называл это наше состояние «омовением души после трагедии».

Бабель начал много работать. Он теперь выходил из своей комнаты всегда молчаливый и немного грустный.

Я тоже писал, но мало. Мной овладело довольно странное и приятное состояние. Про себя я называл его «жаждой рассматривания». Такое состояние бывало у меня и раньше, но никогда так сильно оно не завладевало почти всем моим временем, как там, на Фонтане.

У Изи отпуск окончился. Он начал работать в «Моряке» и приезжал на дачу только к вечеру. Иногда он ночевал в Одессе. Я был, пожалуй, даже рад этому. Я бы, конечно, стеснялся заниматься при Изе постоянным и медленным разглядыванием того, что окружало меня, и тратить на какой-нибудь пустяк — колючую ветку или створку раковины — целые часы.

Никогда я еще не испытывал такого удовольствия от соприкосновения с мельчайшими частицами внешнего мира, как в то лето.

Чуть желтеющие от засухи июльские дни сливались в один протяжный успокоительный день. Я часто лежал у себя в саду в скользящей тени акации и рассматривал на земле все то, что попадалось на глаза на расстоянии вытянутой руки.

Но чаще я уходил на берег, подальше от жилья, переплывал на большую скалу метрах в сорока от пляжа и лежал на ней до сумерек. В скале была ниша. В ней можно было наполовину спрятаться от солнца, и до нее не доходила волна. С берега меня никто не мог заметить.

Я брал с собой книгу, но за весь день прочитывал только три-четыре страницы. Мне было некогда читать. Интереснее было ловить бычков или смотреть на старого краба.

Он часто выглядывал из-за выступа скалы и играл со мной в прятки. Как только мы встречались глазами, он тотчас же начинал сердито пятиться в шершавые красноватые водоросли, похожие на еловые ветки. Когда же я делал вид, что не замечаю его, он угрожающе подымал растопыренную клешню и осторожно подбирался ко мне, не спуская глаз с морковки, лежавшей рядом со мной. (Тогда мы питались преимущественно морковью и помидорами.)

Однажды, когда я зачитался, он успел схватить морковку, упал с ней в воду и исчез, как камень, на дне. Через минуту морковка вынырнула. Краб всплыл вслед за ней и снова пытался ее схватить, но я щелкнул его бамбуковым удилищем по панцирю, и он боком помчался в глубину. Мне даже показалось, что он вскрикнул от испуга. Во всяком случае, он с ужасом оглядывался на меня и вращал глазами.

Краб исчез, но волна принесла к скале сломанную ветку

цветущего дрока. Я опустил руку в воду, чтобы взять эту ветку, и удивился: ладонь моя была под водой, но солнце заметно согревало ее, хотя между ладонью и поверхностью моря был слой воды в несколько сантиметров.

Мне трудно передать удивительное ощущение солнечного жара, смягченного морской водой, прикосновения солнечной радиации к моим пальцам, между которыми переливалась зеленоватая упругая вода.

Это было ощущение, очевидно близкое к счастью. Я не ждал ничего лучшего. Вряд ли окружающий мир мог мне дать что-либо еще более прекрасное, чем это легкое и дружеское его рукопожатие.

Я вытащил ветку дрока, лег плашмя на нагретый камень и положил ветку у самых своих глаз.

На Фонтанах дрок цвел по обрывистым берегам. Но особенно богато он разрастался около дачных оград, сложенных из ноздреватого песчаника. Дрок дружил с этим камнем. Он, очевидно, любил жару. Горячие струйки воздуха вылетали из крошечных пор песчаника и создавали около оград уголки теплого, защищенного пространства.

Там дрок укреплялся и выбрасывал в вышину, как большой дикобраз, свои темно-оливковые стрелы-стволы.

Цветы дрока, рождаясь, тотчас же вбирали в себя, как кусочки нежнейшей мелкопористой губки, золотой цвет солнца.

Они хранили этот цвет, не ослабляя его яркости до поздней осени. Тогда его цветы наконец догорали над обрывами, подобно десяткам крошечных приморских маяков с золотым, далеко видным огнем.

Так постепенно я накапливал наблюдения. Все это были факты внешнего мира, но они быстро становились частицами моей собственной внутренней жизни.

Действительно, они ни на секунду не существовали вне моего сознания. Они тут же обрастали образами, густо покрывались каплями выдумки, как растение покрывается мельчайшей росой. За этой росой уже не видно самого растения, но все же ясно угадывается его форма.

Как-то мы разговорились об этом с Бабелем.

Мы сидели вечером на каменной ограде над обрывом. Цвел дрок. Бабель рассеянно бросал вниз камешки. Они неслись огромными скачками к морю и щелкали, как пули, по встречным камням.

— Вот вы и другие писатели, — сказал Бабель, хотя тогда я еще не был писателем, — умеете обволакивать жизнь, как

вы выразились, росой воображения. Кстати, какая приторная фраза! Но что делать человеку, лишенному воображения? Например, мне.

Он замолчал. Снизу пришел сонный и медленный вздох моря.

— Бог знает что вы говорите! — возмущаясь, сказал я.

Бабель как будто не расслышал моих слов. Он бросал камешки и долго молчал.

— У меня нет воображения, — упрямо повторил он. — Я говорю это совершенно серьезно. Я не умею выдумывать. Я должен знать все до последней прожилки, иначе я ничего не смогу написать. На моем щите вырезан девиз — «подлинность»! Поэтому я так медленно и мало пишу. Мне очень трудно. После каждого рассказа я старею на несколько лет. Какое там, к черту, моцартианство, веселье над рукописью и легкий бег воображения! Я где-то написал, что быстро старею от астмы, от непонятного недуга, заложенного в мое хилое тело еще в детстве. Все это — вранье! Когда я пишу самый маленький рассказ, то все равно работаю над ним, как землекоп, как грабарь, которому в одиночку нужно срыть до основания Казбек. Начиная работу, я всегда думаю, что она мне не по силам. Бывает даже, что я плачу от усталости. У меня от этой работы болят все кровеносные сосуды. Судорога дергает сердце, если не выходит какая-нибудь фраза. А как часто они не выходят, эти проклятые фразы!

— Но у вас же литая проза, — сказал я. — Как вы добиваетесь этого?

— Только стилем, — ответил Бабель и засмеялся, как старик, явно кого-то имитируя, очевидно Москвина. — Хе-хе-хе-с, молодой человек-с? Стилем-с берем, стилем-с! Я готов написать рассказ о стирке белья, и он, может быть, будет звучать как проза Юлия Цезаря. Все дело в языке и стиле. Это я как будто умею делать. Но вы понимаете, что это же не сущность искусства, а только добротный, может быть, даже драгоценный строительный материал для него. «Подкиньте мне парочку идей, — как говорил один одесский журналист, — а я уж постараюсь сделать из них шедевр». Пойдемте, я покажу вам, как это у меня делается. Я скаред, я скупец, но вам, так и быть, покажу.

На даче было уже совсем темно. За садом рокотало, стихая к ночи, море. Прохладный воздух лился снаружи, вытесняя полынную степную духоту. Бабель зажег маленькую лампочку. Глаза его покраснели за стеклами очков (он вечно мучался глазами).

Он достал из стола толстую рукопись, написанную на машинке. В рукописи было не меньше чем сто страниц.

— Знаете, что это?

Я недоумевал. Неужели Бабель написал наконец большую повесть и уберег эту тайну от всех?

Я не мог в это поверить. Все мы знали почти телеграфную краткость его рассказов, сжатых до последнего предела. Мы знали, что рассказ больше чем в десять страниц он считал раздутым и водянистым.

Неужели в этой повести заключено около ста страниц густой бабелевской прозы? Не может этого быть!

Я посмотрел на первую страницу, увидел название «Любка Казак» и удивился еще больше.

— Позвольте, — сказал я. — Я слышал, что «Любка Казак» — это маленький рассказ. Еще не напечатанный. Неужели вы сделали из этого рассказа повесть?

Бабель положил руку на рукопись и смотрел на меня смеющимися глазами. В уголках его глаз собрались тонкие морщинки.

— Да,— ответил он и покраснел от смущения.— Это «Любка Казак». Рассказ. В нем не больше пятнадцати страниц, но здесь все варианты этого рассказа, включая и последний. А в общем, в рукописи сто страниц.

— Все варианты?! — пробормотал я.

— Слушайте! — сказал Бабель уже сердясь. — Литература не липа! Вот именно! Несколько вариантов одного и того же рассказа. Какой ужас! Может быть, вы думаете, что это — излишество? А вот я еще не уверен, что последний вариант можно печатать. Кажется, его можно еще сжать. Такой отбор, дорогой мой, и вызывает самостоятельную силу языка и стиля. Языка и стиля! — повторил он. — Я беру пустяк: анекдот, базарный рассказ — и делаю из него вещь, от которой сам не могу оторваться. Она играет. Она круглая, как морской голыш. Она держится сцеплением отдельных частиц. И сила этого сцепления такова, что ее не разобьет даже молния. Его будут читать, этот рассказ. И будут помнить. Над ним будут смеяться вовсе не потому, что он веселый, а потому, что всегда хочется смеяться при человеческой удаче. Я осмеливаюсь говорить об удаче потому, что здесь, кроме нас, никого нет. Пока я жив, вы никому не разболтаете об этом нашем разговоре. Дайте мне слово. Не моя, конечно, заслуга, что неведомо как в меня, сына мелкого маклера, вселился демон или ангел искусства, называйте как хотите. И я подчиняюсь ему, как раб, как вьючный мул. Я продал ему

свою душу и должен писать наилучшим образом. В этом мое счастье или мой крест. Кажется, все-таки крест. Но отберите его у меня — и вместе с ним изо всех моих жил, из моего сердца схлынет вся кровь, и я буду стоить не больше, чем изжеванный окурок. Эта работа делает меня человеком, а не одесским уличным философом.

Он помолчал и сказал с новым приступом горечи:

— У меня нет воображения. У меня только жажда обладать им. Помните, у Блока: «Я вижу берег очарованный и очарованную даль». Блок дошел до этого берега, а мне до него не дойти. Я вижу этот берег невыносимо далеко. У меня слишком трезвый ум. Но спасибо хоть за то, что судьба вложила мне в сердце жажду этой очарованной дали. Я работаю из последних сил, делаю все, что могу, потому что хочу присутствовать на празднике богов и боюсь, чтобы меня не выгнали оттуда.

Слеза блестела за выпуклыми стеклами его очков.

Он снял очки и вытер глаза рукавом заштопанного серенького пиджачка.

— Я не выбирал себе национальности, — неожиданно сказал он прерывающимся голосом. — Я еврей, жид. Временами мне кажется, что я могу понять все. Но одного я никогда не пойму — причину той черной подлости, которую так скучно зовут антисемитизмом.

Он замолчал. Я тоже молчал и ждал, пока он успокоится и у него перестанут дрожать руки.

— Еще в детстве во время еврейского погрома я уцелел, но моему голубю оторвали голову. Зачем?.. Лишь бы не вошла Евгения Борисовна, — сказал он вполголоса. — Закройте тихонечко дверь на крючок. Она боится таких разговоров и может плакать потом до утра. Ей кажется, что я очень одинокий человек. А может быть, это и действительно так?

Что я мог ответить ему? Я молчал.

— Так вот, — сказал Бабель, близоруко наклонившись над рукописью. — Я работаю, как мул. Но я не жалуюсь. Я сам выбрал себе это каторжное дело. Я как галерник, прикованный на всю жизнь к веслу и полюбивший это весло. Со всеми его мелочами, даже с каждым тонким, как нитка, слоем древесины, отполированной его собственными ладонями. От многолетнего соприкосновения с человеческой кожей самое грубое дерево приобретает благородный цвет и делается похожим на слоновую кость. Вот так же и наши слова, так же и русский язык. К нему нужно приложить теплую ладонь, и он превращается в живую драгоценность.

Но давайте говорить по порядку. Когда я в первый раз записываю какой-нибудь рассказ, то рукопись у меня выглядит отвратительно, просто ужасно! Это — собрание нескольких более или менее удачных кусков, связанных между собой скучнейшими служебными связями, так называемыми «мостами», своего рода грязными веревками. Можете прочесть первый вариант «Любки Казак» и убедитесь в том, что это — беспомощное и беззубое вяканье, неумелое нагромождение слов.

Но тут-то и начинается работа. Здесь ее исток. Я проверяю фразу за фразой, и не однажды, а по нескольку раз. Прежде всего я выбрасываю из фразы все лишние слова. Нужен острый глаз, потому что язык ловко прячет свой мусор, повторения, синонимы, просто бессмыслицы, и все время как будто старается нас перехитрить.

Когда эта работа окончена, я переписываю рукопись на машинке (так виднее текст). Потом я даю ей два-три дня полежать — если у меня хватит на это терпения — и снова проверяю фразу за фразой, слово за словом. И обязательно нахожу еще какое-то количество пропущенной лебеды и крапивы. Так, каждый раз наново переписывая текст, я работаю до тех пор, пока при самой зверской придирчивости не могу уже увидеть в рукописи ни одной крупинки грязи.

Но это еще не все. Погодите! Когда мусор выброшен, я проверяю свежесть и точность всех образов, сравнений, метафор. Если нет точного сравнения, то лучше не брать никакого. Пусть существительное живет само в своей простоте.

Сравнение должно быть точным, как логарифмическая линейка, и естественным, как запах укропа. Да, я забыл, что, прежде чем выбрасывать словесный мусор, я разбиваю текст на легкие фразы. Побольше точек! Это правило я вписал бы в правительственный закон для писателей. Каждая фраза — одна мысль, один образ, не больше. Поэтому не бойтесь точек. Я пишу, может быть, слишком короткой фразой. Отчасти потому, что у меня застарелая астма. Я не могу говорить длинно. У меня на это не хватает дыхания. Чем больше длинных фраз, тем тяжелее одышка.

Я стараюсь изгнать из рукописи причастия и деепричастия и оставляю только самые необходимые. Причастия делают речь угловатой, громоздкой и разрушают мелодию языка. Они скрежещут, как будто танки переваливают на своих гусеницах через каменный завал. Три причастия в одной фразе — это убиение языка. Все эти «преподносящий», «добывающий», «сосредото-

чивающийся» и так далее и тому подобное. Деепричастие все же легче, чем причастие. Иногда оно сообщает языку даже некоторую крылатость. Но злоупотребление им делает язык бескостным, мяукающим. Я считаю, что существительное требует только одного прилагательного, самого отобранного. Два прилагательных к одному существительному может позволить себе только гений.

Все абзацы и вся пунктуация должны быть сделаны правильно, но с точки зрения наибольшего воздействия текста на читателя, а не по мертвому катехизису. Особенно великолепен абзац. Он позволяет спокойно менять ритмы и часто, как вспышка молнии, открывает знакомое нам зрелище в совершенно неожиданном виде. Есть хорошие писатели, но они расставляют абзацы и знаки препинания кое-как. Поэтому, несмотря на высокое качество их прозы, на ней лежит муть спешки и небрежности. Такая проза бывала у самого Куприна.

Линия в прозе должна быть проведена твердо и чисто, как на гравюре.

Вас запугали варианты «Любки Казак». Все эти варианты — прополка, вытягивание рассказа в одну нитку. И вот получается так, что между первым и последним вариантами такая же разница, как между засаленной оберточной бумагой и «Первой весной» Боттичелли.

— Действительно каторжная работа, — сказал я. — Двадцать раз подумаешь, прежде чем решишься стать писателем.

— А главное, — сказал Бабель, — заключается в том, чтобы во время этой каторжной работы не умертвить текст. Иначе вся работа пойдет насмарку, превратится черт знает во что! Тут нужно ходить как по канату. Да, так вот... — добавил он и помолчал. — Следовало бы со всех нас взять клятву. В том, что никто никогда не замарает свое дело.

Я ушел, но до утра не мог заснуть. Я лежал на террасе и смотрел, как какая-то сиреневая планета, пробив нежнейшим светом неизмеримое пространство неба, пыталась, то разгораясь, то угасая, приблизиться к земле. Но это ей не удалось.

Ночь была огромна и неизмерима своим мраком. Я знал, что в такую ночь глухо светились моря и где-то далеко за горизонтом отсвечивали вершины гор. Они остывали. Они напрасно отдали свое дневное тепло мировому пространству. Лучше бы они отдали его цветку вербены. Он закрыл в эту ночь свое лицо лепестками, как ладонями, чтобы спасти его от предрассветного холода.

Утром приехал из Одессы Изя Лившиц. Он приезжал всегда по вечерам, и этот ранний приезд меня удивил.

Не глядя мне в глаза, он сказал, что четыре дня назад, 7 августа, в Петрограде умер Александр Блок.

Изя отвернулся от меня и, поперхнувшись, попросил:

— Пойдите к Исааку Эммануиловичу и скажите ему об этом... я не могу.

Я чувствовал, как сердце колотится и рвется в груди и кровь отливает от головы. Но я все же пошел к Бабелю.

Там на террасе слышался спокойный звон чайных ложечек.

Я постоял у калитки, услышал, как Бабель чему-то засмеялся, и, прячась за оградой, чтобы меня не заметили с террасы, пошел обратно к себе на разрушенную дачу. Я тоже не мог сказать Бабелю о смерти Блока.

БЛИЗКИЙ И ДАЛЕКИЙ

> Я видел, как ты сошел в тесное жилище, где нет даже снов. И все же я не могу поверить этому.
>
> Делакруа

На побережье долго стояли молчаливые дни. Литое море тяжело лежало у порога красных сарматских глин. Берега пряно и пыльно пахли давно перезревшей и осыпавшейся лебедой. Изя Лившиц вспоминал стихи Блока:

Тишина умирающих злаков —
Это светлая в мире пора.

В те дни мы без конца говорили о Блоке. Как-то к вечеру приехал из города Багрицкий. Он остался у нас ночевать и почти всю ночь читал Блока. Мы с Изей молча лежали на темной террасе. Ночной ветер потрескивал в ссохшихся листьях винограда.

Багрицкий сидел, поджав по-турецки ноги, на старом и плоском, как лепешка, тюфяке. У него начинался приступ астмы. Он задыхался и курил астматол. От этого зеленоватого порошка пахло горелым сеном.

Багрицкий дышал с таким напряжением, будто всасывал воздух через соломинку. Воздух свистел, гремел и клокотал в его больных бронхах.

Во время астмы Багрицкому нельзя было разговаривать. Но ему хотелось читать Блока, несмотря на стиснутое болезнью горло. И мы не отговаривали его.

Багрицкий долго успокаивал самого себя и бормотал: «Сейчас пройдет. Сейчас! Только не разговаривайте со мной». Потом он все же начал читать, и случилось нечто вроде желанного чуда: от ритма стихов одышка у Багрицкого начала постепенно утихать, и сквозь нее все яснее и крепче проступал его мужественный и романтический голос.

Читал он самые известные вещи, и мы были благодарны ему за это.

Тяжкий, плотный занавес у входа,
За ночным окном — туман...
Что теперь твоя постылая свобода,
Страх познавший Дон-Жуан?

И стихи и этот голос Багрицкого почему-то казались мне непоправимо трагическими. Я с трудом сдерживал слезы.

Снова вернулась тишина, тьма, непонятное мерцание звезд, и опять из угла террасы послышался торжественный напев знакомых стихов:

Предчувствую тебя. Года проходят мимо.
Все в облике одном предчувствую тебя.
Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,
Я молча жду, тоскуя и любя...

Так прошла вся ночь напролет. Багрицкий читал, почти пел «Стихи о России», «Скифы», Равенну, что «спит у сонной вечности в руках». Только ближе к рассвету он уснул. Он спал сидя, прислонившись к стенке террасы, и тяжело стонал в невыразимо утомительном сне.

Лицо у него высохло, похудело, на беловато-лиловых губах как будто запеклась твердая корочка полынного сока, и весь он стал похож на большую всклоченную птицу.

Через несколько лет в Москве я вспомнил эту белую корочку на губах Багрицкого. Я шел за его гробом. Позади цокал копытами по булыжнику кавалерийский эскадрон.

Больной, тяжело дышащий Самуил Яковлевич Маршак медленно шел рядом, доверчиво опираясь на мое тогда еще молодое плечо, и говорил:

— Вы понимаете? «Копытом и камнем... испытаны годы... бессмертной полынью... пропитаны воды — и горечь полыни... на наших губах». Как это... великолепно!

Пыльное небо висело над скучной и душной Якиманкой. Во дворах кричали дети, играя в «палочку-выручалочку». Оркестр вполголоса заиграл траурный марш. Кавалерийские лошади, послушные звукам музыки, начали медленнее перебирать ногами.

А в то далекое утро в 1921 году Багрицкий уехал в Одессу первой же конкой, даже не напившись чаю и не заходя к Бабелю. Ему нездоровилось. Он тяжело кашлял, свистел бронхами и молчал. Очевидно, ночью он натрудил себе легкие.

Мы с Изей проводили Багрицкого до конки и зашли к Бабелю. Как всегда, во время несчастий нас тянуло на люди.

Бабель писал в своей комнате. Он тотчас отодвинул рукопись и положил на нее тяжелый серый голыш.

Изредка в комнату залетал вкрадчивый морской ветер, и тогда все вокруг, что могло легко двигаться: занавески на окнах, листки бумаги, цветы в стакане, — начинало биться, как маленькая птица, запутавшаяся в силке.

— Ну что ж, сироты, — с горечью сказал Бабель, — что же теперь мы будем делать? Второго Блока мы не дождемся, живи мы хоть двести лет.

— Вы видели его? — спросил я Бабеля.

Я ждал, что Бабель ответит «нет», и тогда мне станет легче. Я был лишен чувства зависти. Но всем, кто видел и слышал Блока, я завидовал тяжело и долго.

— Да, видел, — сказал Бабель. — И даже был у него на квартире на углу Пряжки и Офицерской улицы.

— Какой он?

— Совсем не такой, как вы себе представляете.

— Откуда вы знаете, что я о нем думаю?

— Потому, что я думал наверняка так же, как и вы. Пока его не увидел. Он вовсе не падший ангел. И не воплощение изысканных чувств и размышлений. Это седеющий, молчаливый, сильный, хотя и усталый, человек. Он очень воспитан и потому не угнетает собеседника своей угрюмостью и своими познаниями. Мы разговаривали с ним сначала в столовой и сидели друг против друга на гнутых венских стульях. Такие стулья нагоняют зевоту. Комната была унылая, совсем непохожая на жилище светлого рыцаря в снежной маске. А в кабинете его вовсе не пахло нильскими лилиями и опьяняющим черным шелком женских платьев. Пахло только книжной пылью. Обыкновенная квартира в обыкновеннейшем доме. Ну вот! У вас уже вытянулись лица. Вы уже недовольны и будете потом говорить, что я скептик, циник и у меня ничего не горит на сердце. И еще обвините меня в том, что я вижу только серую загрунтовку, которая лезет из-под великолепных красок. А самих красок я не замечаю. Все это у вас розовый гимназический бред! Красота духа, такая, как у Блока, обойдется без золоченых рам. И без рыданий органа, и без всяческих благовоний. Блок был по натуре пророком. У него в глазах была даже пророческая твердость. Он видел роковую судьбу старого мира. Семена гибели уже прорастали. Ночь затягивалась, и казалось, что ей не будет конца. Поэтому даже неуютный, резкий свет нового революционного утра он приветствовал как избавление. Он принял революцию в свой поэтический мир и написал «Двенадцать». И он был, конечно, провидец. И в своих видениях, и в той потрясающей музыке, какую он слышал в русской речи.

Он умел переносить увиденное из одной плоскости жизни совсем в другую. Там оно приобретало для нас, полуслепых людей, неожиданные качества. Мы с вами видим цветы, скажем — розы, в разгар лета в скверах, в садах, но Блоку этого мало. Он хочет зажечь на земле новые, небывалые розы. И он делает это:

И розы, осенние розы
Мне снятся на каждом шагу
Сквозь мглу, и огни, и морозы
На белом, на легком снегу...

Вот вы жалеете, что не видели Блока. Это понятно. А я, если бы у меня было даже самое ничтожное воображение, пытался бы представить себе с конкретностью, какая только возможна, все, что сказал Блок хотя бы в этих четырех строчках. Представить себе ясно, точно, и тогда мир обернулся бы одной из своих скрытых и замечательных сторон. И в этом мире жил бы и пел свои стихи удивительный человек, какие рождаются раз в столетие. Он берет нас, ничтожных и искалеченных «правильной» жизнью, за руку и выводит на песчаные дюны над северным морем, где — помните? — «закат из неба сотворил глубокий многоцветный кубок» и «руки одна заря закинула к другой». Там такая чистота воздуха, что отдаленный красный бакен — грубое и примитивное сооружение — горит в сумерках, как «драгоценный камень фероньеры».

Я подивился хорошей памяти Бабеля: он всегда читал стихи на память и почти не ошибался.

— Вот, — сказал Бабель, подумав. — Блок знал дороги в область прекрасного. Он, конечно, гигант! Он один отзовется в сердце таким великолепным звоном, как тысячи арф. А между тем большинство людей придает какое-то значение тому, что в столовой у него стояли гнутые стулья и что во время мировой войны он был «земгусаром». Люди с охотой бегут на смрадный огонек предрассудков и невежественного осуждения.

Я впервые слышал от Бабеля такое сравнение, как «звон тысячи арф». Бабель был суров, даже застенчив в выборе разговорных слов. От всего цветистого в обыденном языке и блестящего, как золотая канитель, он досадливо морщился и краснел. Может быть, поэтому каждое слово из ряда так называемых приподнятых в его устах теряло искусственность и «било» наверняка. Но произносил он такие слова чрезвычайно редко, а сказав, тотчас спохватывался и начинал высмеивать самого себя. Этим своим свойством он иногда раздражал окружающих. В частности, Изя Лившиц не выносил этих подчас цинических нападений Бабеля на самого себя. И у меня тоже все столкновения с Бабелем — правда, довольно редкие — происходили из-за его глумления над собой и наигранного цинизма.

Но свой «звон тысячи арф» Бабель не высмеял. Я дога-

дался из отрывистых его высказываний, что иногда он читал Блока наедине, по ночам, для самого себя. Тогда он сбрасывал маску.

Окончательно выдал Бабеля Багрицкий, любивший иногда с совершенно детским простодушием повторять чужие слова, если они ему нравились. Однажды, когда мы говорили о Блоке, Багрицкий откашлялся и не совсем уверенно произнес:

— Вы понимаете, мелодия только на арфах в унисон с глухим голосом поэта. Такой голос был у Блока. Я мог бы под звуки арф читать по-разному все его стихи. Честное слово! Я вытягивал бы, как тянут золотую нитку из спутанного разноцветного клубка, напев каждого стиха. Люди слушали бы и забывали, что есть время, жизнь и смерть, движение вселенной и бой собственных сердец. Какой-то чувствительный немецкий виршеплет, склонный к поэтическому насморку, написал-таки неплохие стишки. Я забыл, как его звали, этого многообещающего юношу. Стихи о том, что прекрасные звуки заключены внутри каждого человеческого слова. И звуки эти подчиняются только воле великих поэтов и музыкантов. Они одни умеют извлекать их из тугой сердцевины слова.

— Эдя, — сказал Изя Лившиц, — не повторяй и не искажай Бабеля. Я слышу дикую путаницу из его речей.

— Я так думаю сам, — скромно ответил Багрицкий.

— Да? — притворно удивился Изя. — С каких это пор ты стал такой красноречивый?

— Отстань! — сердито ответил Багрицкий. — Довольно с меня мальчиков с иронией и отроков, умных, как белые крысы. Дайте мне наконец дыхать, черт побери! Что вы все бегаете за мной и стараетесь доказать мне самому, что я не такой умный, как вам хочется!

Мне удалось потушить ссору, но Багрицкий еще долго ворчал на «интеллигентных выкрестов» и «вундеркиндов с Привоза».

Он был обижен тем, что Изя не понял всей прелести начатого разговора и влез в него, как скучный черт из сказки.

Багрицкий жестоко оскорблялся недостаточно уважительным отношением к поэзии. Из-за этого он иногда вступал даже в драки.

Вообще одесская литературная молодежь, кроме Бабеля и нескольких поэтесс, отличалась задиристостью. Иногда она пыталась решать литературные споры, даже такие отвлеченные, как спор о дольнике или александрийском стихе, тумаками, а то и хлесткими оплеухами.

ВОЕННОПЛЕННЫЙ УЛЬЯНСКИЙ

Газета «Маяк» печаталась на «бостонке». Это была маленькая печатная машина. Ее приводили в движение ногой. Надо было сильно нажимать педаль, и машина, похожая на зубоврачебное кресло, выбрасывала с легким грохотом оттиски размером с лист писчей бумаги.

Размер этот назывался альбомным. Он действительно не превышал величины страницы из дамского альбома для стихов.

Из этих коротких технических объяснений вы сами можете понять, как трудно было втискивать в эту газету телеграммы РОСТА, все морские новости, статьи, очерки и даже рассказы. Особенно много микроскопический «Маяк» писал о единении народов Малой Азии. Батум как бы принадлежал к этой Азии, во всяком случае, к Ближнему Востоку.

Эта задача была очень по душе всем нам, сотрудникам «Маяка». Моя старая литературная любовь к Востоку получила неожиданное живое завершение. Все казавшееся очень далеким, к примеру, какое-нибудь полурелигиозное, полуполитическое движение Эль-Баба становилось близким, соседним. Вчерашние мифы превращались в газетную полемику.

Из-за малого формата и тесноты в «Маяке» господствовал короткий телеграфный стиль.

Недаром единственный молодой наборщик и печатник по имени Ричард (он был курнос и происходил из города Мелитополя) говорил:

— Это же не газета, а конфетти!

Ричард носил на поясе облезлую кобуру от револьвера «наган», хотя самого револьвера у него не было и не могло быть. Эта кобура была для Ричарда атрибутом его воображаемой лихости и источником постоянных недоразумений с милицией.

В конце концов кобуру у Ричарда отобрали. С тех пор он потерял все свое нахальство, притих и начал задумываться.

Я впервые встретил человека, которого ничто не интересовало, кроме оружия. Носить пистолет — «пушку», по его терминологии, — было единственной целью и усладой его жизни. Иногда он бросал работу, приходил ко мне в редакцию в «Бордингауз», швырял в сердцах на стол кепку и говорил с отчаянием:

— Уйду в милицию, клянусь папашей! Дадут мне шпалер с прикладом. Дубовую доску в дюйм толщиной простреливает навылет с десяти шагов. Шик, дрык, иммер элегант!

Это был человек, о каких в народе говорят, что у них вместо души пар. Вскоре я с облегчением избавился от него. С малых лет я не любил оружия. Оно всегда казалось мне покрытым налетом запекшейся человеческой крови. И люди, играющие с оружием и рисующиеся им, вызывали неприязнь, тем большую, что они часто бывали трусливы и глуповаты.

После Ричарда газету набирал вялый и совершенно глухой юноша. Наборщики дали ему диковинное чеховское прозвище: «Спать хочется».

В «Маяке» быстро возникла галерея сотрудников. Каждый из них, откровенно говоря, заслуживает рассказа.

Первым в редакцию пришел тощий, как жердь, позеленевший от голода человек и назвался бывшим корректором петербургской газеты «Речь». Он просидел два года в немецком плену и, возвращаясь в Россию, попал помимо своей воли в Батум. Фамилия его была Ульянский. В рукав его потрепанной и продувной куртки была вшита, как у всех военнопленных, желтая полоса.

Трудно было понять, как человек, направлявшийся к матери в Рязань, попал вместо этого в Батум.

— Очень просто, — объяснил мне Ульянский, сидя за кухонным столом в редакции и глотая слюну. На столе лежал свежий чурек, кусок колбасы и стоял облупленный эмалированный чайник. — Очень просто, — повторил он. — Наша команда попала в самую заваруху. Сначала нас высаживали из эшелона по нескольку раз в день, вербовали в банды, грозили разменом, а потом выгнали из теплушек совсем: «Идите куда хотите, хоть к такой-то бабушке, только не путайтесь под ногами. Дотопаете до места пёхом, да еще скажете спасибо, что не заставили вас драться». — «С кем?» — спрашиваем. Отвечают каждый раз по-разному и довольно неясно: то с григорьевцами, то с Махной, то с галицийцами, а то еще с какими-то «батьками» — Пере-

плюй-Кашубой и Зинзипером. Тут-то мы окончательно поняли свое бедственное положение. Кто-то из пленных пустил лозунг: «Прибивайся к кому попало, абы давали какой ни на есть паек!» Часть прибилась, а нас, неприкаянных, осталось всего три из всего эшелона. Решили все-таки пробиваться на восток, по домам. Все время петляли, чтобы обойти опасные, взрывчатые места.

Сначала нас медленно отжимало к северу, потом начало жать обратно на юго-запад, но вдруг сдвинуло одним рывком прямо к Дону и за Дон — к станице Тихорецкой. Там нас все-таки забрали на трудовые работы и отправили в Туапсе. А из Туапсе — рукой подать до Батума. Сюда я попал один: товарищи отстали.

Сейчас я не понимаю главного — где я? В старой России или в Советской? И кто я такой? Имею ли я право жить или я уже мертвец и только по недосмотру охраны болтаюсь на этой земле? Это я говорю вам к тому, что мне необходимо понять, что происходит, и почувствовать себя не мишенью, как я себя ощущал последние три года, а человеком. А для этого мне нужна работа, хотя бы самая жалкая. Вот я и пришел к вам. Прочел на дверях «Бордингауза» вывеску и пришел.

Говорил он тихо, убежденно, но не подымал глаз, все время смотрел на свои рваные, заскорузлые бутсы. Кожа на лице и руках у него была тусклая и серая от въевшейся в поры угольной пыли.

— Вы где ночуете?

— На товарной станции. В пустых товарных вагонах.

— Погодите минуту.

Я пошел к Нирку. Надо было договорить, чтобы Ульянскому разрешили ночевать в «Бордингаузе».

Нирк тотчас согласился. Он был покладистый и добрый парень. Единственным его крупным недостатком были длинные разговоры о калориях. Нирк переводил все на калории, каждый стакан чаю. Он был просто ушиблен калориями и уверял, что заставит свой организм вырабатывать ежедневно одно и то же количество калорий, не позволит им шататься то вверх, то вниз и поэтому проживет не меньше ста лет.

Я вернулся в редакцию и с удивлением взглянул на Ульянского — капли пота обильно стекали по его небритым щекам. На столе было пусто. Я не обнаружил ни крошки хлеба и ни единого ломтика колбасы.

Я сделал вид, что ничего не случилось. Но Ульянский, конечно, понял, что внезапное и таинственное исчезновение моего

жалкого дневного пайка не может пройти незамеченным. Голова и руки у него дрожали.

Больше всего я боялся сделать какую-нибудь неловкость, чтобы не обидеть Ульянского.

Я показал ему чулан для ночлега, но он отказался ночевать в нем, сказал, что привык к свежему воздуху и потому предпочитает товарные вагоны, благо осень в Батуме очень теплая. Потом он сказал, что хотел бы написать для «Маяка» небольшой художественный очерк о батумском порте. Я согласился.

Через два дня Ульянский принес мне этот очерк. Он написал его синим карандашом на обороте железнодорожной накладной. Текст очерка путался с графами накладной, и в нем ничего нельзя было разобрать. Я дал Ульянскому бумаги и заставил его переписать очерк начисто.

Потом я читал очерк, а Ульянский пил, отдуваясь, чай с черствым хлебом и сахарином и искоса поглядывал на меня.

Очерк напомнил мне лучшую прозу Куприна. Он был так же свеж, сочен, богат живыми подробностями. Трудно было поверить, что этот очерк был первой литературной работой Ульянского, хотя он божился, что это именно так.

Я напечатал очерк, заплатил Ульянскому гонорар, и с тех пор он почти все дни просиживал в редакции и помогал мне во всем. Он даже научился набирать, а когда «Спать хочется» падал от усталости, что с ним бывало нередко, Ульянский крутил за него ногой бостонку.

Писал Ульянский легко, но хорошо. Мне, а потом и Бабелю и Фраерману (он вскоре появился в перспективе батумских улиц) нравилась манера Ульянского изображать характеры людей при помощи внешних признаков, едва заметных примет.

Так, в одном из очерков он описывал капитана английского наливного парохода «Карго». Очерк он назвал «Макинтош». По существу он подробно писал в нем о новом макинтоше, который видел на этом капитане. Но все свойства макинтоша — холодного и чуть липкого на ощупь, пахнущего дезинфекцией, трескучего и неудобного, серого, как дождевое небо, — все эти свойства передавались владельцу этого макинтоша — капитану «Карго».

Лицо его казалось, писал Ульянский, выкроенным из куска макинтоша и невольно вызывало представление о коже, тонкой, холодной и скользкой, как лягушка. Цвет глаз капитана был неотличим от цвета макинтоша, — вся британская скука, холод сердца и плоскость мысли отражались в этих пустых

и скучливых глазах. Эти глаза ничему не удивлялись и ни от чего не могли прийти в восторг.

Всюду плавала вместе с капитаном и его макинтошем многолетняя скука и отсчитывала время, как контрольные часы — коротким карканьем немногих английских слов. Их капитан скупо отщелкивал, как на арифмометре, в течение длинного корабельного дня.

Я не ручаюсь за безусловную точность передачи писательской манеры Ульянского, но в общих чертах это было так.

Ульянский вызывал невольное уважение. Он никогда не говорил зря и, видимо, весь плен перестрадал молча, накапливая запасы наблюдений и гнева.

На второй месяц своего сотрудничества в «Маяке» он пришел рано утром и, отводя глаза, сказал, что через час уходит из Батума в Баку, где у него живет тетка.

— Не могу сидеть на одном месте, — признался он убитым голосом. — Противно!

— Вы что же, — спросил я, — собираетесь идти в Баку пешком?

— А то как же! Я уже прошел пешком от Мариуполя до Батума. И меня ставили к стенке всего три раза. Только три раза. Дойду и до Баку.

И он исчез, чтобы неожиданно появиться через два года в Москве по пути из Мурома в Ленинград, — опять от какой-то тетки к другой тетке. Снова он шел пешком.

Я пошутил насчет его многочисленных теток, а он усмехнулся в ответ и сказал:

— Что ж поделать, если это так. Я иду и представляю себе, как милые ленинградские старушки — тетя Глафира и тетя Поля (они живут на Пряжке) будут радоваться мне, давно уже пропавшему без вести, как соберут простой ужин, как окна в домишке запотеют от самовара, каким удобным покажется мне кряхтящий диван под сенью фикусов, какой великолепный сон придет на смену усталости, но и сквозь сон я буду слышать свистки пароходов на Неве и дожидаться утра, когда снова и снова, но как бы впервые развернется передо мной одним взмахом самая прекрасная в мире панорама невских берегов.

— Да, — сказал я, захваченный его сдержанным волнением. — Да... «А над Невой — посольства полумира, Адмиралтейство, солнце, тишина...»

— Я помню, как вы читали эти стихи в Батуме в «Бордингаузе», — улыбнулся Ульянский. — Ну, будьте здоровы. Еще увидимся.

Но увидеться нам не пришлось. Через год я получил почтовую бандероль из города Чигирина с Украины. В бандероли была книга Ульянского. Называлась она, кажется, «Записки из плена» и была издана в Ленинграде.

Из надписи на обложке я понял, что Ульянский снова бродяжит по стране, теперь, должно быть, в поисках какой-нибудь тетки на Украине.

Книга была написана свежо, и крепко, и, я бы сказал, беспощадно.

Вскоре я купил в Москве новую книгу Ульянского «Мохнатый пиджачок» с предисловием Федина. Из этого предисловия я узнал, что Ульянский недавно умер от тифа в Ленинграде.

Ульянский начал как большой писатель. И было очень горько, что погиб этот человек, не успевший отдохнуть от плена, писавший в полном одиночестве свои превосходные книги. Было горько и оттого, что никогда уже не подует ему в лицо любимый им черноморский ветерок, или, как он ласково и насмешливо говорил, «зефир».

МАЛЫШКИН

На дощатом крыльце сельской почты мальчишка-почтарь долго клеил на стену свежую московскую газету. Я ждал. С юга дуло жаром, несло пылью, запахом раскаленных сосен. В сером небе стояли ватные сухие облака.

Я взглянул на последнюю страницу газеты, и будто чугунным кулаком кто-то стиснул сердце...

Умер Малышкин.

Вокруг было все то же, пылил все тот же любимый им бесхитростный русский день, но его, Малышкина, милого Александра Георгиевича, уже не было, и мысль эта была нелепой и горькой.

В Малышкине рядом с неспокойной, всегда оживленной, всегда взволнованной талантливостью жила большая житейская простота, жизнерадостность, любовь к людям, к писательству как к своему единственно мыслимому и прекрасному человеческому пути.

Если говорить о традициях большой литературы или, вернее, о традициях больших и простых, как сама земля, мыслей и чувств, то Малышкин был одним из немногих носителей этих традиций — носителем верным и непреклонным.

Все его писательство, вся его личная жизнь были порывом к счастью — к счастью своей страны, своего народа. Этот порыв лучше всего передан им в небольшом рассказе «Поезд на юг» — одном из шедевров советской литературы.

В этом постоянном беспокойном порыве к счастью и познанию всего существующего Малышкин был похож на ребенка, — он был так же искренен, экспансивен, так же по-детски радовался всему, что наполняло жизнь разумным и веселым содержанием.

Поздней осенью 1936 года я приехал в Ялту и застал там Малышкина. Был вечер, но на следующий день ранним утром Малышкин разбудил меня и повел в горы — такова, говорил он, была придуманная им традиция — водить всех только что приехавших в горы.

Синее влажное утро с трудом пробивалось сквозь осенний

туман. Желтые дубовые заросли стояли в росе. Малышкин шел рядом и почти не смотрел по сторонам — он не спускал с меня глаз. Он заставлял меня смотреть то на море, сизой тучей лежавшее внизу у наших ног, то на последний желтый цветок, выросший на каменистой дороге, то на далекий водопад, казавшийся издали прядью белых нитей, брошенных на отвесные скалы.

Он следил за выражением моего лица и вдруг засмеялся — он был рад, что ему удалось еще одному человеку показать этот утренний мир. В эту минуту он был проводником по прекрасному, он приобщал меня к этой приморской осени и был счастлив, что и это робкое солнце, и горы, и терпкий воздух, и гул невидимого прибоя, бившего в берега, что все это до меня «дошло», что еще одному человеку он смог передать хотя бы частицу тех чистых и ясных представлений, какими он жил в те дни.

Мы остановились на высоте скалы, туман прошел, и внезапно открылось море. Оно казалось сгущенным воздухом этой осени, оно несло к подножью мысов, к коричневой земле виноградников прозрачную влагу и начало в ней отражение солнца.

— Да, — сказал Малышкин и показал на море, — таким оно было, когда здесь еще не существовало Ялты, и таким оно будет, когда мы с вами умрем. Это очень радостно.

Эта простая мысль обычно вызывает у людей чувство собственного ничтожества, но Малышкин ощущал ее как нечто утверждающее жизнь.

Малышкин умер. Исчезло ясное и простое очарование его ума, таланта и доброты. И бесконечно жаль, что он умер так рано, — ведь для Малышкина только в последние годы началась его молодость, до этого жизнь была для него невесела и сурова.

Он умер, но Черное море шумит, как шумело при нем, и к нашим богатствам прибавилась еще одна ценность, оставленная нам Малышкиным, — его великолепные книги и его высокое волнение перед зрелищем мира и настоящей, невыдуманной человеческой жизни.

ВСТРЕЧИ С ГАЙДАРОМ

Давно, еще в 1916 году, я был проездом в Арзамасе. Вырос я на юге и до тех пор не видал еще таких уездных городков, как Арзамас, — типично русских, вплоть до причудливых резных наличников, неизменной герани на окнах и дверных звонков, дребезжащих на заржавленной проволоке.

Старый Арзамас остался в памяти, как город яблок и церквей. Базар был заставлен плетеными корзинами с желтыми, крепкими яблоками, и куда ни взглянешь — всюду было такое обилие золоченых, похожих на эти яблоки куполов, что казалось, этот город был вышит в золотошвейной мастерской руками искусных женщин.

Есть сотни маленьких городов в России. Никто даже толком не знает об их существовании. А вот Арзамасу повезло. Он вошел в народную поговорку: «Один глаз на нас, другой — на Арзамас». Его имя в начале девятнадцатого века было присвоено вольнолюбивому литературному обществу, основанному Жуковским. Пушкин был принят в это общество еще лицеистом. Поэту дали в «Арзамасе» чудесное прозвище — «Сверчок».

В Арзамасе жил в ссылке Максим Горький. А в начале двадцатого века в захолустном в ту пору Арзамасе, в простой русской семье народного учителя провел свое детство Аркадий Гайдар — замечательный советский писатель и столь же замечательный человек.

О Гайдаре-писателе я говорить не буду. Книги его широко известны. О них написано много хороших и справедливых статей. Я хочу просто рассказать о том Аркадии Гайдаре, которого я знал и с которым дружил в последние годы его жизни.

Я написал слова «просто рассказать» — и понял, что это, конечно, совсем не так просто. Это очень трудно — воссоздать образ ушедшего от нас человека без всяких прикрас, без того, чтобы не изображать его сусальным и шаблонным героем.

Иные воспоминания о Гайдаре как раз грешат этим. За мишурой, за слащавым умилением исчезает подлинный Гайдар —

человек сложный, временами трудный, во многом противоречивый, как большинство талантливых людей, но обаятельный, простой и значительный в любом своем поступке и слове.

Есть очень верное выражение: «В настоящей литературе нет мелочей». Каждое, даже на первый взгляд ничтожное слово, каждая запятая и точка нужны, характерны, определяют целое и помогают наиболее резкому выражению идеи. Хорошо известно, какое потрясающее впечатление производит точка, поставленная вовремя.

Я говорю это к тому, что как в настоящей литературе, так и в жизни настоящего человека нет мелочей. Каждый, даже как будто бы пустяковый поступок или вскользь брошенная фраза раскрывают перед нами его облик еще в одном каком-нибудь качестве.

Гайдар был настоящим и большим человеком. Поэтому каждая даже «как будто бы мелочь», связанная с ним, определяет новую черту его глубокой натуры.

В своих воспоминаниях я приведу несколько таких кажущихся мелочей, тех «малых капель вод», в которых все же отражается солнце.

Главным и самым удивительным свойством Гайдара было, по-моему, то, что его жизнь никак нельзя было отделить от его книг. Жизнь Гайдара была как бы продолжением его книг, а может быть, иногда их началом. Почти каждый день Гайдар был наполнен необыкновенными происшествиями, выдумками, шумными и интересными спорами, трудной работой и остроумными шутками.

Все, что бы ни делал или говорил Гайдар, тотчас теряло свои будничные, наскучившие черты и становилось необыкновенным. Это свойство Гайдара было совершенно органическим, непосредственным — такова была натура этого человека.

Он прошел по жизни, как удивительный рассказчик, трогавший до слез детские сердца, и вместе с тем как проницательный и суровый товарищ и воспитатель.

Детей, особенно мальчишек, он знал насквозь, с одного взгляда и умел говорить с ними так, что через две-три минуты каждый мальчишка готов был по первому слову Гайдара совершить любой героический поступок.

Дольше всего мне пришлось прожить вместе с Гайдаром в селе Солотче, под Рязанью, в Мещерских лесах. Там он задумывал и писал некоторые свои повести и рассказы.

Писал Гайдар совсем не так, как мы привыкли об этом думать. Он ходил по саду и бормотал, рассказывал вслух са-

мому себе новую главу из начатой книги, тут же на ходу исправлял ее, менял слова, фразы, смеялся или хмурился, потом уходил в свою комнату и там записывал все, что уже прочно сложилось у него в сознании, в памяти. И затем уже редко менял написанное.

Я в это время тоже работал в деревянной баньке и невольно прислушивался к бормотанью Гайдара. Я слышал, конечно, только те слова, которые он говорил, когда проходил мимо открытого окна баньки и искоса сердито поглядывал на меня — сердито потому, что Гайдар никак не мог понять, как это можно писать, сидя по нескольку часов, и к людям, работавшим именно так, относился с некоторой долей зависти и уважения.

— Если бы я мог вот так сидеть за столом, — сказал он мне однажды, — я бы уже написал целое собрание сочинений. Честное пионерское слово!

Потом те фразы, которые я слышал в заглохшем и тенистом деревенском саду, я встретил, как старых и добрых друзей, на страницах «Судьбы барабанщика», когда Гайдар принес мне в Москве только что вышедшую эту книгу.

— Вот эту фразу, — напомнил я Гайдару, — ты говорил, когда дожевывал яблоко. Штрифель.

— А эту, — ответил мне Гайдар, — я придумал, когда синица висела вниз головой на ветке клена, заглядывала к тебе в окно и хотела своровать семена настурции. Они сушились у тебя на подоконнике. Помнишь?

Так мы вспоминали строка за строкой всю историю придумывания этой чудесной книги, и Гайдар был этим очень доволен.

Иногда Гайдар приходил и без всяких обиняков спрашивал:

— Хочешь, я прочту тебе новую повесть? Вчера окончил.

— Конечно, читай.

И тут происходило непонятное. Обычно в таких случаях писатель вытаскивает рукопись, кладет ее на стол, разглаживает ладонью, торопливо закуривает, причем папироса у него тут же тухнет, говорит несколько невнятных и жалких слов о том, что он совсем не умеет читать и рукопись к тому же еще совершенно сырая, и только после этого хриплым и прерывающимся голосом начинает читать.

Гайдар никакой рукописи из кармана не вынимал. Он останавливался посреди комнаты, закладывал руки за спину и, покачиваясь, начинал спокойно и уверенно читать всю повесть наизусть страницу за страницей.

Он очень редко сбивался. Каждый раз при этом краснел от гнева на себя и щелкал пальцами. В особенно удачных местах глаза его щурились и лукаво смеялись.

Раза два мы, его друзья, на пари следили за его чтением по напечатанной книге, но он ни разу не спутался и не замялся и за это потребовал от нас такое неслыханное выполнение пари — что-то вроде покупки для него подвесного лодочного мотора, — что мы бросили это дело и никогда больше Гайдара не проверяли.

«Разве это свойство Гайдара что-нибудь доказывает, кроме того, что у Гайдара была блестящая память?» — с полным правом может спросить меня читатель, мало искушенный в деле литературного мастерства.

Дело здесь, конечно, не только в памяти (кстати, память у Гайдара после контузии во время гражданской войны была несколько нарушена), но в отношении к слову. Каждое слово гайдаровской прозы было настолько взвешено, что было как бы единственным для выражения и потому, естественно, оставалось в памяти.

Есть литературный термин «литая проза». Это проза четкая, суровая, в которой нет ничего лишнего: ее можно отливать из бронзы, даже из золота, и ни единая крупица драгоценного металла не пропадет зря, на пустое слово.

Гайдар любил идти на пари. Однажды он приехал в Солотчу ранней осенью. Стояла затяжная засуха, земля потрескалась, раньше времени ссыхались и облетали листья с деревьев, обмелели озера и реки, и черви ушли очень глубоко в землю. Ни о какой рыбной ловле не могло быть и речи. На то, чтобы накопать жалкий десяток червей, надо было потратить несколько часов.

Все были огорчены. Гайдар огорчился больше всех, но тут же пошел с нами на пари, что завтра утром он достанет сколько угодно червей — не меньше трех консервных банок.

Мы охотно согласились на это пари, хотя с нашей стороны это было неблагородно, так как мы знали, что Гайдар наверняка проиграет.

Наутро Гайдар пришел к нам в сад, в баньку, где мы жили в то лето. Мы только что собирались пить чай. Гайдар молча, сжав губы, поставил на стол рядом с сахарницей четыре банки великолепных червей, но не выдержал, рассмеялся, схватил меня за руку и потащил через всю усадьбу к воротам, на улицу. На воротах был прибит огромный плакат:

СКУПКА ЧЕРВЕЙ ОТ НАСЕЛЕНИЯ!

Этот плакат Гайдар повесил поздним вечером. А утром около калитки уже бушевала толпа мальчишек с жестянками, полными червей. Шел жестокий торг, но в конце концов мальчишки согласились отдать червей по цене в три рыболовных крючка за жестянку.

С тех пор мы были всегда с червями, но перестали держать с Гайдаром пари. Это было бессмысленно, потому что он всегда выигрывал.

Он всегда был полон веселья, Гайдар. Искорки смеха роились в его серых глазах и исчезали редко — или во время работы, или в тех случаях, когда Гайдар сталкивался с карьеристами и халтурщиками. Тогда он становился жесток, беспощаден, бледнел от гнева.

Спуску он никогда не давал. Он приходил в ярость от мышиной возни маленьких и злых от неудовлетворенного тщеславия людей. Он преследовал их едкими стихами и беспощадными эпиграммами. Его боялись.

В Солотче Гайдар изучал французский язык. Он таскал в полевой сумке старый учебник французского языка с картинками. На них были изображены полевые работы или пейзаж с поездом, пароходом и воздушным шаром. Под этими картинками была надпись по-французски: «Что мы видим на этой интересной картинке?» Ученик должен был отвечать по-французски, что он видит. В этом состояло обучение.

Гайдару очень нравилась эта надпись под картинками. Несколько дней он при всяком удобном и неудобном случае спрашивал: «Что мы видим на этой интересной картинке?» — и тотчас сам себе отвечал, подражая ответам из учебника· «Мы видим облезлого деревенского кота, который украл рыбу, называемую плотицей и пойманную Рувимом Фраерманом, и уносит ее в зубах, пробираясь по верхушке деревянного забора».

Однажды мы возвращались с Гайдаром из Солотчи в Москву в маленьком поезде узкоколейки. Поезд погромыхивал среди глухих осенних лесов, и от позднего этого грохота выли, тоскуя, волки. Среди ночи Гайдар разбудил меня.

— Что мы видим на этой интересной картинке? — спросил он меня.

Но я ничего не видел, так как свеча в фонаре догорала и по вагону шатались длинные тени.

— Мы видим, — сказал Гайдар, — одного железнодорожного вора, который пытается вытащить из кошелки у доброй задремавшей старушки пару шерстяных сапог, называемых валенками.

Гайдар соскочил с полки, схватил за шиворот юркого человечка в огромной клетчатой кепке и сказал:

— Выди вон! И если еще раз ты попадешься мне в руки, то...

Гайдар не окончил. Вор вырвался, выскочил на площадку и на ходу соскочил с поезда. Нам, признаться, было даже его немного жаль — уж очень ненастная и волчья ночь шумела ветром за окнами вагона.

Мы много бродили по луговым и лесным озерам. В походах Гайдар был незаменим. Человек огромной силы, он безропотно тащил любой груз и ко всем неизбежным злоключениям в пути относился с добродушной иронией. Разговаривал он в дороге главным образом фразами в стиле старинных авантюрных романов.

— Усталые путники, — говорил Гайдар, — покидают берега неведомого и негостеприимного озера, таща на себе тяжелую и бесполезную поклажу, как-то: палатку, топор, фонарь «летучая мышь», и так далее, и тому подобное.

Гайдар с удовольствием перечислял все наше небогатое походное имущество. У него была хорошая и немного детская любовь ко всяким походным, охотничьим и ремесленным вещам — спиннингам, удочкам, рубанкам, топорам, отверткам, флягам и фонарям.

Каждый раз он выискивал в Москве какую-нибудь новинку, вроде самоподсекающего крючка или ножа с двенадцатью лезвиями, и с гордостью привозил эти новинки в Солотчу.

Он любил делать все сам, любил все чинить, возиться с механизмами и, как мы подозревали по некоторым признакам, чувствовал бы себя совершенно счастливым, если бы ему удалось разобрать на части и снова собрать старые ходики, висевшие в баньке. Но так как это были единственные часы на весь дом, то Гайдар все же не решался взяться за эти часы и только то подливал воду в бутылку, привязанную к гире, то немного отливал, пока не заставил ходики идти совершенно точно.

Невозможно забыть эти наши скитания с Гайдаром. Каждый из этих походов (Гайдар называл их «вылазками рыбачьего патруля») заслуживает описания. Но для этого надо написать целую книгу. Книгу об осенних непроглядных ночах на берегу безыменных лесных озер, о кострах, упрямых чайниках, о спорах, о сентябрьском звездном небе, о гайдаровских песенках, о том, как мы узнавали время по восходу Сириуса, о Черном озере и озере Сегден, где мы часто ночевали в одинокой избе удивительного и прекрасного человека — Кузьмы

Зотова, о лугах, о стогах теплого сена, куда мы зарывались по ледяным ночам, о кущах ив на Прорве, под которыми при свете костра мы сидели всю ночь в черно-зеленой шумящей пещере из листвы, и Гайдар рассказывал о том, как он был во время антоновщины «командиром малой войны». Далеко на Оке все гудел в тумане буксир, а перед рассветом, как только засерело небо, потянули над нами перелетные станицы журавлей.

Гайдар долго слушал переливчатый журавлиный звон и сказал:

— Да! Чудесно так жить!

Такие вещи он говорил редко. Он был внутренне очень застенчив и часто напускал на себя излишнюю суровость.

О Гайдаре бродит по нашей стране много легенд. В основе их всегда лежит какое-нибудь подлинное происшествие с Гайдаром. Иной раз он сам создавал эти происшествия, эти легенды, чтобы поставить людей и себя в сложное и необыкновенное положение и найти из него остроумный выход.

Воображение у Гайдара не затихало ни на минуту. Часть его перелилась на страницы книг, а часть — и очень большую — своего могучего воображения он разбросал по всем дням своей жизни. Может быть, в этом и кроется причина такого обилия легенд о Гайдаре.

В начале этого очерка я писал, что жизнь Гайдара была иногда продолжением, а иногда и началом его книг. Года за два до того, как вышел «Тимур и его команда», Гайдар зашел как-то ко мне. У меня был трудно болен сын, и мы сбились с ног в поисках одного редкого лекарства. Его нигде не было.

Гайдар подошел к телефону и позвонил к себе домой.

— Пришлите сейчас же ко мне, — сказал он, — всех мальчиков из нашего двора. Я жду.

Он повесил трубку. Через десять минут раздался отчаянный звонок у двери. Гайдар вышел в переднюю. На площадке за дверью стояло человек десять мальчиков, очень взволнованных и запыхавшихся.

— Вот что, — сказал им Гайдар, — тяжело болен один мальчик. Нужно вот такое лекарство. Я вам запишу каждому его название на бумажке. Сейчас же — во все аптеки: на юг, восток, на север и запад! Из аптек звонить мне сюда. Все понятно?

— Понятно, Аркадий Петрович! — закричали мальчики и понеслись вниз по лестнице.

Вскоре начались звонки.

— Аркадий Петрович! — кричал взволнованный детский голос. — В аптеке на Маросейке нету.

— Поезжай дальше. На Разгуляй.

Гайдар сидел у телефона, как капитан на мостике корабля. Через сорок минут восторженный детский голос прокричал в трубку:

— Аркадий Петрович, есть! Я достал!

— Где?

— В Марьиной роще.

— Вези сюда. Немедленно.

Лекарство было привезено, и сыну вскоре стало легче.

— Ну что, — спросил меня Гайдар, собираясь уходить, — хорошо работает моя команда?

Благодарить его было нельзя. Он очень сердился, когда его благодарили за помощь. Он считал помощь человеку таким же естественным делом, как, скажем, приветствие. Никого же не благодарят за то, что он с вами поздоровался.

Мне случилось жить вместе с Гайдаром в Крыму, в Ялте. Это был, пожалуй, самый спокойный отрезок его жизни. Гайдар был непривычно задумчив и ласков.

Мы много ходили по горным дорогам, сидели у моря. Впервые Гайдар был не в полувоенной своей одежде, а в мягком сером костюме. В нем он был как-то особенно светловолос, высок, изящен.

Стояла крымская тихая весна с теплыми темными ночами, с голубоватым утренним туманом, плеском моря, звоном родников.

Однажды мы шли с Гайдаром по пустынной Массандровской улице над самым морем. Гайдар остановился — из соседнего сада слышались встревоженные голоса, крики. Оказалось, что в саду вырвало кран из водопроводной трубы, проведенной по земле для поливки. Сильная струя воды била прямо в кусты роз и сирени, в клумбы с цветами, вымывала из-под них землю и вот-вот могла уничтожить весь сад. Люди бросились вверх по улице, чтобы закрыть какой-то кран и спасти сад.

Гайдар подбежал к трубе, примерился и зажал трубу ладонью. Поток воды остановился. По лицу Гайдара я видел, что он сдерживает мощное давление воды из последних сил, что ему невыносимо больно. Он почернел и стиснул зубы, но трубу не отпустил, пока не нашли кран и не перекрыли воду.

Потом Гайдар долго тяжело дышал. Ладонь у него была окровавлена. Но он был радостно настроен — не потому, ко-

нечно, что проверил свою силу, а потому, что ему удалось спасти маленький чудный сад.

Несколько раз потом Гайдар ходил и смотрел издали, из-за ограды, на этот спасенный им сад. Он был действительно прекрасен и стоял как густая охапка цветов, перехваченная маленькой каменной оградой.

Всего о Гайдаре не напишешь. Поневоле я должен ограничить себя этими беглыми воспоминаниями.

Я пишу эти строки в Солотче, в мезонине того дома, где жил Гайдар. Здесь все напоминает о нем. На стене висит его брезентовый плащ. На рыбную ловлю я хожу со спиннингом Гайдара. Не хватает только его голоса, его смеха, его рассказов и шуток, его самого — большого, доброго, талантливого человека, так героически погибшего и похороненного по полному праву рядом с другим великим певцом и глашатаем народного счастья — Тарасом Шевченко.

Он умер изрешеченный фашистскими пулями, умер, защищая свою родную милую страну. Он жил замечательным писателем и необыкновенным человеком и умер героем.

МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

В тридцатых годах наши писатели вновь открывали давно, но плохо открытую Среднюю Азию. Открывали ее вновь потому, что приход советской власти в кишлаки, оазисы и пустыни представлял собой увлекательное явление.

Спекшийся от столетий быт стран Средней Азии дал глубокие трещины. На руинах мечетей появляются по весне робкие розовые цветы. Они маленькие, но цепкие и живучие. Новая жизнь так же цепко, как эти цветы, расцветала в выжженных тысячелетних странах и приобретала невиданные формы.

Писать об этом было трудно, но интересно. Самые легкие на подъем и закаленные писатели двинулись в сыпучие пески Кара-Кумов, на Памир, к пышным оазисам Ферганы и синим от изразцов твердыням Самарканда. Среди этих писателей были Николай Тихонов, Владимир Луговской, Козин, Николай Никитин, Михаил Лоскутов и многие другие. И я отдал дань Средней Азии и написал тогда «Кара-Бугаз».

В это время я познакомился с Лоскутовым.

В тридцатых годах мы особенно много ездили по стране, зимой же, возвратившись в Москву, жили очень дружным и веселым содружеством. Чуть не каждый день мы собирались у писателя Фраермана. Как я жалею сейчас, что не записывал тогда, хотя бы коротко, множество рассказов, услышанных на этих собраниях, множество интересных споров, схваток и смелых литературных планов. Каждый из нас считал своей святой обязанностью читать всем остальным все свои новые вещи.

Очевидно по примеру пушкинского «Арзамаса», Аркадий Гайдар прозвал эти встречи у Фраермана «Конотопами».

Раз в месяц устраивался «Большой Конотоп». На него собиралось человек двадцать писателей. Каждую неделю бывал «Средний Конотоп» и, наконец, каждый вечер «Малый Конотоп». Его состав был почти неизменным. На нем бывали, кроме хозяина дома Фраермана, Аркадий Гайдар, Александр Роскин, Миша Лоскутов, Семен Гехт, я, редактор журнала «Наши достижения» Василий Бобрышев, Иван Халтурин, редактор журнала «Пионер» Боб Ивантер.

На «Конотопе» я услышал множество песенок и стихов, сочиненных Гайдаром. Он их никогда не записывал. Теперь почти все эти шутливые стихи забыты. Я помню одно, где Гайдар в очень трогательных тонах предавался размышлениям о своей будущей смерти:

Конотопские женщины свяжут
На могилу душистый венок.
Конотопские девушки скажут:
«Отчего это вмер паренек?»

Стихи кончались жалобным криком:

Ах, давайте машину скорее!
Ах, везите меня в «Конотоп»!

Миша Лоскутов появился в этом шумном собрании писателей тихо и молчаливо. Это был очень спокойный, застенчивый, но чуть насмешливый человек.

Он обладал талантом немногословного юмора. Но прежде всего и больше всего он был талантливым, «чертовски талантливым» писателем.

У него было свойство видеть в обыденных вещах те черты, что всегда ускользают от поверхностного или усталого взгляда. Его писательское зрение отличалось необыкновенной зоркостью. Он умел показать в одной фразе внутреннее содержание человека и всю сложность и своеобразие его отношения к жизни.

Мысли его всегда были своими, нигде не взятыми напрокат, необычайно ясными и свежими. Они возникали из «подробностей быстротекущей жизни», они всегда были основаны на конкретности, на своем видении мира. Но вместе с тем они были полны ощущения поэтической сущности жизни даже в тех ее проявлениях, где, казалось, не было места никакой поэзии.

Жизнь Лоскутова была как бы сплошной экспедицией в самые разнообразные области жизни, но больше всего он любил Среднюю Азию. По натуре это был путешественник и тонкий наблюдатель. Если бы существовал на земле еще не открытый и не описанный континент, то Лоскутов первым бы ушел в его опасные и заманчивые дебри. Но ушел бы не с наивной восторженностью и порывом, а спокойно, с выдержкой и опытом подлинного путешественника — такого, как Пржевальский, Ливингстон или Обручев.

Он умел в самом будничном открывать черты необыкновенного, и это свойство делало его подлинным художником. Для него не было в жизни скучных вещей.

Прочтите в его книге эпизод с грузовой машиной. Она стоит на обочине дороги, мотор у нее работает вхолостую, и кажется, что машина трясется от злости.

Шофер сидит рядом на траве и подозрительно следит за машиной. Проезжие, думая, что у него неполадки с мотором, останавливаются и предлагают помочь. Но шофер мрачно отказывается и говорит:

— Ничего. Она постоит, постоит и пойдет. Это она характер показывает.

Эта простая на первый взгляд и скупо написанная сцена полна большого содержания.

Прежде всего в ней ясно виден неудачник-шофер, мучающийся с этой машиной, как с упрямым и вздорным существом, шофер-труженик, безропотно покрывающий тысячи километров среднеазиатских пространств.

Кроме того, в этом эпизоде заключена мысль об отношении человека к машине именно как к живому существу, заслуживающему то любви, то гнева, то сожаления и требующему чисто отцовской заботы. Так относятся к машине настоящие рабочие.

Описать любую машину можно, лишь полюбив ее, как своего верного помощника, — страдая и радуясь вместе с ней.

Много таких точных наблюдений разбросано в книгах Лоскутова, в частности в его «Тринадцатом караване», — наблюдений, вызывающих гораздо более глубокие мысли, чем это может показаться на первый взгляд, — наблюдений образных, острых, обогащающих нас внутренним миром писателя.

Достаточно вспомнить описанный Лоскутовым эпизод, как переполошились кочевники, когда по кара-кумским пескам прошла первая грузовая машина и оставила два параллельных узорчатых следа от колес. Набредшие на эти следы пастухи тотчас же разнесли по пустыне тревожный слух, что ночью по пескам проползли рядом две исполинские змеи, — пастухи ни разу еще не видели машины. Они привыкли только к следам животных и людей.

В книгах Лоскутова много разнообразного познавательного материала. Из них мы впервые узнаем о многом, хотя бы о том, как ведут себя во время палящего зноя в пустыне самые обыкновенные вещи — вроде зубной пасты или легких летних туфель.

Лоскутов не успел написать и сотой части того, что задумал и мог бы написать. Он погиб преждевременно и трагически.

Его книги говорят не только о том, что мы потеряли большого писателя, не только о том, как богата талантами наша страна, но и о том, как надо крепко беречь каждого талантливого человека.

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО

Люди, работающие в любых областях, заметно делятся на три категории — на тех, кто у́же своей профессии, тех, кто точно входит в ее рамки, и, наконец, на тех, кто значительно шире своей профессии. Эти последние обыкновенно бывают людьми беспокойными и кипучими. Они — настоящие созидатели.

Александр Петрович Довженко был значительно шире своей профессии режиссера кино и сценариста. Режиссура была только одним из обликов этого удивительного художника, мыслителя и спорщика.

В жизни не было ничего, что бы его не интересовало, — от глубоких психологических сдвигов в нашем обществе до наилучшего способа кладки печей и от анализа актерских приемов Чаплина до происхождения песни «Распрягайте, хлопцы, коней, та лягайте, хлопцы, спать».

На все у него были свои мысли, требовавшие в силу неукротимого темперамента Довженко немедленного воплощения в жизнь.

Если бы дети могли понимать до конца разговоры взрослых, то они, конечно, считали бы Довженко настоящим чародеем. Потому что, когда бы он ни появлялся, он всякий раз приносил с собою много не только новых мыслей, но и поразительных рассказов. Слушать его можно было часами, лишь бы хватило у людей для этого физических сил.

В последний раз я встретился с Довженко в одном из киевских садов над Днепром. Летняя зеленая пышность сада сменилась уже пышностью осени.

Довженко только что вернулся из Каховки, куда ездил работать над новым своим сценарием. Он объехал все строительство, изучил его и пришел к нескольким удивительным на первый взгляд выводам. Он тотчас же изложил эти свои мысли в виде докладной записки в правительство и привез свой доклад в Киев.

Сущность этого доклада сводилась к следующему. На дне будущего Каховского моря снесено много тысяч крестьянских

хат. Людей переселяют на днепровские кручи, где строят новые колхозные села.

Вот об этих новых селах Довженко и писал. Они были построены по типовым проектам и выглядели казарменно и уныло. Одинаковые дома стояли в степи шеренгами в три-четыре линии на математически точном расстоянии друг от друга. Дома эти не были огорожены. Архитектурный проект не предусматривал никаких оград. Получался шахматный поселок на выжженном солнцем пустыре.

В этих селах не было центра и хотя бы одного приметного высокого сооружения — никакого ориентира. В старину такими ориентирами были колокольни. Сейчас нужно было строить хотя бы башни с часами. Плоская степь невольно наводила на мысль о необходимости одного-двух таких приметных зданий в каждом селе.

Довженко справедливо писал, что у людей не может быть никакой охоты жить в этих не отличимых друг от друга домах, где, кстати, не растет за окнами ни одного деревца. В нашей гигантской работе по подъему земледелия, говорил Довженко, нужно думать не только о совершенных методах работы, но и о состоянии и настроении людей.

«Новые села, — писал Довженко, — должны быть живописными, разнообразными и уютными. Почему в новых селах нет переулков, поворотов, зарослей, садов? Почему украинская живописность уступила место деляческой сухости и какой-то мертвой скаредности мысли у архитектора, строившего эти села? Почему при постройке их не была принята во внимание живая душа человеческая? Неужели мы можем мириться с таким пренебрежением к колхозникам, которые, как очевидно думают строители таких сел, — только рабочие руки, не чувствующие красоты и нисколько в ней не нуждающиеся. Нужно в корне переменить это дело и приостановить насаждение уныния в нашей стране».

Мы стояли с Довженко над обрывом Днепра. Он поднял трость и показал на юг. Там в голубеющем тумане светились воды Днепра и вся даль поблескивала слабым свечением, должно быть от летящей по ветру паутины. Там простиралась любимая его Украина.

Довженко оставил не только превосходные свои фильмы. Он оставил рассказы, очерки, пьесы. Они написаны с жаром души, они патетичны в лучшем смысле этого слова, как патетична во многом проза Гоголя.

У Довженко была очень маленькая записная книжка. Там были записаны одним только словом сюжеты его устных и совершенно великолепных рассказов. Бесконечно жаль, что сейчас их уже нельзя записать и восстановить. Они ошеломляли слушателей неожиданными поворотами сюжета, покоряли их юмором и поэзией. Я слышал только три рассказа — о народной медицине, лейтенанте Сливе и поездке в Батурин, — но не забуду их никогда. Они всегда будут для меня вершинами словесного творчества, к сожалению навсегда утерянного, так как никто уже не сможет повторить тончайших интонаций Довженко, пленительного украинского строя его речи и его лукавого юмора.

РУВИМ ФРАЕРМАН

Батумская зима 1923 года ничем не отличалась от обычных тамошних зим. Как всегда, лил, почти не переставая, теплый ливень. Бушевало море. Над горами клубился пар.

На раскаленных мангалах шипела баранина. Едко пахло водорослями — прибой намывал их вдоль берега бурыми валами. Из духанов сочился запах кислого вина. Ветер разносил его вдоль дощатых домов, обитых жестью.

Дожди шли с запада. Поэтому стены батумских домов, выходившие на запад, обивали жестью, чтобы они не гнили.

Вода хлестала из водосточных труб без перерыва по нескольку суток. Шум этой воды был для Батума настолько привычным, что его уже перестали замечать.

В такую вот зиму я познакомился в Батуме с писателем Фраерманом. Я написал слово «писатель» и вспомнил, что тогда ни Фраерман, ни я еще не были писателями. В то время мы только мечтали о писательстве, как о чем-то заманчивом и, конечно, недостижимом.

Я работал тогда в Батуме в морской газете «Маяк» и жил в так называемом «Бордингаузе» — гостинице для моряков, отставших от своих пароходов.

Я часто встречал на улицах Батума низенького, очень быстрого человека со смеющимися глазами. Он бегал по городу в старом черном пальто. Полы пальто развевались от морского ветра, а карманы были набиты мандаринами. Человек этот всегда носил с собой зонтик, но никогда его не раскрывал. Он просто забывал это делать.

Я не знал, кто этот человек, но он нравился мне своей живостью и прищуренными веселыми глазами. В них, казалось, все время перемигивались всякие интересные и смехотворные истории.

Вскоре я узнал, что это батумский корреспондент Российского телеграфного агентства — РОСТА и зовут его Рувим Исаевич Фраерман. Узнал и удивился потому, что Фраерман был гораздо больше похож на поэта, чем на журналиста.

Знакомство произошло в духане с несколько странным на-

званием «Зеленая кефаль». (Каких только названий не было тогда у духанов, начиная от «Симпатичного друга» и кончая «Не заходи, пожалуйста».)

Был вечер. Одинокая электрическая лампочка то наливалась скучным огнем, то умирала, распространяя желтоватый сумрак.

За одним из столиков сидел Фраерман с известным всему городу вздорным и желчным репортером Соловейчиком.

Тогда в духанах полагалось сначала бесплатно пробовать все сорта вина, а потом уже, выбрав вино, заказать одну-две бутылки «за наличный расчет» и выпить их с поджаренным сыром сулугуни.

Хозяин духана поставил на столик перед Соловейчиком и Фраерманом закуску и два крошечных персидских стаканчика, похожих на медицинские банки. Из таких стаканчиков в духанах всегда давали пробовать вино.

Желчный Соловейчик взял стаканчик и долго, с презрением рассматривал его на вытянутой руке.

— Хозяин, — сказал он, наконец, угрюмым басом, — дайте мне микроскоп, чтобы я мог рассмотреть, стакан это или наперсток.

После этих слов события в духане начали разворачиваться, как писали в старину, с головокружительной быстротой.

Хозяин вышел из-за стойки. Лицо его налилось кровью. В глазах сверкал зловещий огонь. Он медленно подошел к Соловейчику и спросил вкрадчивым, но мрачным голосом:

— Как сказал? Микроскопи?

Соловейчик не успел ответить.

— Нет для тебя вина! — закричал страшным голосом хозяин, схватил за угол скатерть и сдернул ее широким жестом на пол. — Нет! И не будет! Уходи, пожалуйста!

Бутылки, тарелки, жареный сулугуни — все полетело на пол. Осколки со звоном разлетелись по всему духану. За перегородкой вскрикнула испуганная женщина, а на улице зарыдал, икая, осел.

Посетители вскочили, зашумели, и только один Фраерман начал заразительно хохотать.

Он смеялся так искренне и простодушно, что постепенно развеселил и всех посетителей духана. А потом и сам хозяин, махнув рукой, заулыбался, поставил перед Фраерманом бутылку лучшего вина — изабеллы — и сказал примирительно Соловейчику:

— Зачем ругаешься? Скажи по-человечески. Разве русского языка не знаешь?

Я познакомился после этого случая с Фраерманом, и мы быстро сдружились. Да и трудно было не подружиться с ним — человеком открытой души, готовым пожертвовать всем ради дружбы.

Нас объединила любовь к поэзии и литературе. Мы просиживали ночи напролет в моей тесной каморке и читали стихи. За разбитым окном шумело во мраке море, крысы упорно прогрызали пол, порой вся наша еда за день состояла из жидкого чая и куска чурека, но жизнь была прекрасна. Чудесная действительность дополнялась строфами Пушкина и Лермонтова, Блока и Багрицкого (его стихи тогда впервые попали в Батум из Одессы), Тютчева и Маяковского.

Мир для нас существовал, как поэзия, а поэзия — как мир.

Молодые дни революции шумели вокруг, и можно было петь от радости перед зрелищем счастливой дали, куда мы шли вместе со всей страной.

Фраерман недавно приехал с Дальнего Востока, из Якутии. Там он сражался в партизанском отряде против японцев. Длинные батумские ночи были заполнены его рассказами о боях за Николаевск-на-Амуре, об Охотском море, Шантарских островах, буранах, гиляках и тайге.

В Батуме Фраерман начал писать свою первую повесть о Дальнем Востоке. Называлась она «На Амуре». Потом, после многих авторских придирчивых исправлений, она появилась в печати под названием «Васька-гиляк». Тогда же в Батуме Фраерман начал писать свой «Буран» — рассказ о человеке в гражданской войне, повествование, полное свежих красок и отмеченное писательской зоркостью.

Удивительной казалась любовь Фраермана к Дальнему Востоку, его способность ощущать этот край как свою родину. Фраерман родился и вырос в Белоруссии, в городе Могилеве-на-Днепре, и его юношеские впечатления были далеки от дальневосточного своеобразия и размаха — размаха во всем, начиная от людей и кончая пространствами природы.

Подавляющее большинство повестей и рассказов Фраермана написаны о Дальнем Востоке. Их с полным основанием можно назвать своего рода энциклопедией этой богатой и во многих своих частях еще неведомой нам области Советского Союза.

Книги Фраермана совсем не краеведческие. Обычно книги по краеведению отличаются излишней описательностью. За чертами быта жителей, за перечислением природных богатств края и всех прочих его особенностей исчезает то, что является главным для познания края, — чувство края, как

целого. Исчезает то особое поэтическое содержание, которое присуще каждой области страны.

Поэзия величавого Амура совершенно иная, чем поэзия Волги, а поэзия тихоокеанских берегов очень разнится от поэзии Черноморья. Поэзия тайги, основанная на ощущении непроходимых девственных лесных пространств, безлюдия и опасности, конечно, иная, чем поэзия среднерусского леса, где блеск и шум листвы никогда не вызывает чувства затерянности среди природы и одиночества.

Книги Фраермана замечательны тем, что очень точно передают поэзию Дальнего Востока. Можно открыть наугад любую из его дальневосточных повестей — «Никичен», «Ваську-гиляка», «Шпиона» или «Собаку Динго» и почти на каждой странице найти отблески этой поэзии. Вот отрывок из «Никичен».

«Никичен вышла из тайги. Ветер пахнул ей в лицо, высушил росу на волосах, зашуршал под ногами в тонкой траве. Кончился лес. Его запах и тишина остались за спиной Никичен. Только одна широкая лиственница, словно не желая уступать морю, росла у края гальки и, корявая от бурь, качала раздвоенной вершиной. На самой верхушке сидел, нахохлившись, орел-рыболов. Никичен тихо обошла дерево, чтобы не потревожить птицу. Кучи наплавного леса, гниющих водорослей и дохлой рыбы обозначали границу высоких приливов. Пар струился над ними. Пахло влажным песком. Море было мелко и бледно. Далеко из воды торчали скалы. Над ними серыми стаями носились кулики. Между камнями ворочался прибой, качая листья морской капусты. Его шум окутал Никичен. Она слушала. Раннее солнце отражалось в ее глазах. Никичен взмахнула арканом, будто хотела накинуть его на эту тихую зыбь, и сказала: «Капсе дагор, Ламское море!» (Здравствуй, Ламское море!)»

Прекрасны и полны свежести картины леса, рек, сопок, даже отдельных цветов-саранок — в «Собаке Динго».

Весь край в рассказах Фраермана как бы появляется из утреннего тумана и торжественно расцветает под солнцем. И, закрывая книгу, мы чувствуем себя наполненными поэзией Дальнего Востока.

Но главное в книгах Фраермана — это люди. Пожалуй, никто из наших писателей еще не говорил о людях разных народностей Дальнего Востока — о тунгусах, гиляках, нанайцах, корейцах — с такой дружеской теплотой, как Фраерман. Он вместе с ними воевал в партизанских отрядах, погибал от гнуса в тайге, спал у костров на снегу, голодал и побеждал. И Васька-гиляк, и Никичен, и Олешек, и мальчик Ти-Суеви и,

наконец, Филька — все эти кровные друзья Фраермана, люди преданные, широкие, полные достоинства и справедливости.

Если до Фраермана существовал только один образ замечательного дальневосточного следопыта и человека — Дерсу Узала из книги Арсеньева об Уссурийском крае, то сейчас Фраерман утвердил этот обаятельный и сильный образ в нашей литературе.

Конечно, Дальний Восток дал Фраерману только материал, пользуясь которым он раскрывает свою писательскую сущность, высказывает свои мысли о людях, о будущем и передает читателям свою глубочайшую веру в то, что свобода и любовь к человеку — это главное, к чему мы должны всегда стремиться. Стремиться на том, как будто коротком, но значительном отрезке времени, который мы зовем «своей жизнью».

Стремление к усовершенствованию самого себя, к простоте человеческих отношений, к пониманию богатств мира, к социальной справедливости проходит через все книги Фраермана и выражено им в словах простых и искренних.

Выражение «добрый талант» имеет прямое отношение к Фраерману. Это — талант добрый и чистый. Поэтому Фраерману удалось с особой бережностью прикоснуться к таким сторонам жизни, как первая юношеская любовь.

Книга Фраермана «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви» — это полная света, прозрачная поэма о любви между девочкой и мальчиком. Такая повесть могла быть написана только хорошим психологом.

Поэтичность этой вещи такова, что описание самых реальных вещей сопровождается ощущением сказочности.

Фраерман не столько прозаик, сколько поэт. Это определяет многое как в его жизни, так и в творчестве.

Сила воздействия Фраермана и заключена главным образом в этом его поэтическом видении мира, в том, что жизнь предстает перед нами на страницах его книг в своей прекрасной сущности. Фраермана с полным основанием можно причислить к представителям социалистического романтизма.

Может быть, поэтому Фраерман иной раз предпочитает писать для юношества, а не для взрослых. Непосредственное юношеское сердце ему ближе, чем умудренное опытом сердце взрослого человека.

Как-то так случилось, что с 1923 года жизнь Фраермана довольно тесно переплеталась с моей и почти весь его писательский путь прошел у меня на глазах. В его присутствии жизнь всегда оборачивалась к вам своей привлекательной стороной. Даже если бы Фраерман не написал ни одной книги,

то одного общения с ним было бы достаточно, чтобы погрузиться в веселый и неспокойный мир его мыслей и образов, рассказов и увлечений.

Сила рассказов Фраермана усиливается его тонким юмором. Этот юмор то трогателен (как в рассказе «Писатели приехали»), то резко подчеркивает значительность содержания (как в рассказе «Путешественники вышли из города»). Но кроме юмора в своих книгах, Фраерман еще удивительный мастер юмора в самой жизни, в своих устных рассказах. Он широко владеет даром, который встречается не так уж часто, — способностью относиться с юмором к самому себе.

Самая глубокая, самая напряженная деятельность человека может и даже должна сопровождаться живым юмором. Отсутствие юмора свидетельствует не только о равнодушии ко всему окружающему, но и об известной умственной тупости.

В жизни каждого писателя бывают годы спокойной работы, но бывают иногда годы, похожие на ослепительный взрыв творчества. Одним из таких подъемов, таких «взрывов» в жизни Фраермана и ряда других, родственных ему по духу писателей, было начало тридцатых годов. То были годы шумных споров, напряженной работы, нашей писательской молодости и, пожалуй, наибольших писательских дерзаний.

Сюжеты, темы, выдумки и наблюдения бродили в нас, как молодое вино. Стоило сойтись за банкой свинобобовых консервов и кружкой чая Гайдару, Фраерману и Роскину, как тотчас же возникало поразительное соревнование эпиграмм, рассказов, неожиданных мыслей, поражавших своей щедростью и свежестью. Смех порой не затихал до утра. Литературные планы возникали внезапно, тотчас обсуждались, приобретали порой фантастические очертания, но почти всегда выполнялись.

Тогда уже все мы вошли в широкое руело литературной жизни, уже выпускали книги, но жили все так же, по-студенчески, и временами Гайдар, или Роскин, или я гораздо сильнее, чем своими напечатанными рассказами, гордились тем, что нам удалось незаметно, не разбудив бабушку Фраермана, вытащить ночью из буфета последнюю припрятанную ею банку консервов и съесть их с невероятной быстротой. Это было, конечно, своего рода игрой, так как бабушка — человек неслыханной доброты — только делала вид, что ничего не замечает.

То были шумные и веселые сборища, но никто из нас не мог бы допустить и мысли, что они возможны без бабушки, — она вносила в них ласковость, теплоту и порой рассказывала удивительные истории из своей жизни, прошедшей в степях Казахстана, на Амуре и во Владивостоке.

Гайдар всегда приходил с новыми шутливыми стихами. Однажды он написал длинную поэму обо всех юношеских писателях и редакторах Детского издательства. Поэма эта затерялась, забылась, но я помню веселые строки, посвященные Фраерману:

В небесах под всей вселенной,
Вечной жалостью томим,
Зрит небритый, вдохновенный,
Всепрощающий Рувим...

Это была дружная семья — Гайдар, Роскин, Фраерман, Лоскутов. Их связывала и литература, и жизнь, и подлинная дружба, и общее веселье.

Это было содружество людей, преданных без страха и упрека своему писательскому делу. В общении выковывалась общность взглядов, шло непрерывное формирование характеров, как будто сложившихся, но всегда юных. И в годы испытаний, в годы войны все, кто входил в эту писательскую семью своим мужеством, а иные и героической смертью доказали силу своего духа.

Вторая полоса жизни Фраермана после Дальнего Востока была накрепко связана со Средней Россией.

Фраерман — человек, склонный к скитальчеству, исходивший пешком и изъездивший почти всю Россию, нашел, наконец, свою настоящую родину — Мещерский край, лесной прекрасный край к северу от Рязани.

Этот край является, пожалуй, наилучшим выражением русской природы с ее перелесками, лесными дорогами, поемными приокскими лугами, озерами, с ее широкими закатами, дымом костров, речными зарослями и печальным блеском звезд над спящими деревушками, с ее простодушными и талантливыми людьми — лесниками, паромщиками, колхозниками, мальчишками, плотниками, бакенщиками. Глубокая и незаметная на первый взгляд прелесть этой песчаной лесной стороны совершенно покорила Фраермана.

С 1932 года каждое лето, осень, а иногда и часть зимы Фраерман проводит в Мещерском крае, в селе Солотче, в бревенчатом и живописном доме, построенном в конце девятнадцатого века гравером и художником Пожалостиным.

Постепенно Солотча стала второй родиной и для друзей Фраермана. Все мы, где бы мы ни находились, куда бы нас ни забрасывала судьба, мечтали о Солотче, и не было года, когда бы туда, особенно по осени, не приезжали на рыбную ловлю, на охоту или работать над книгами и Гайдар, и Рос-

кин, и я, и Георгий Шторм, и Василий Гроссман, и многие другие.

Старый дом и все окрестности Солотчи полны для нас особого обаяния. Здесь были написаны многие книги, здесь постоянно случались всяческие веселые истории, здесь в необыкновенной живописности и уюте сельского быта все мы жили простой и увлекательной жизнью. Нигде мы так тесно не соприкасались с самой гущей народной жизни и не были так непосредственно связаны с природой, как там.

Ночевки в палатке вплоть до ноября на глухих озерах, походы на заповедные реки, цветущие безбрежные луга, крики птиц, волчий вой, — все это погружало нас в мир народной поэзии, почти в сказку и вместе с тем в мир прекрасной реальности.

Мы с Фраерманом исходили многие сотни километров по Мещерскому краю, но ни он, ни я не можем считать, положа руку на сердце, что мы его знаем. Каждый год он открывал перед нами все новые красоты и становился все интереснее — вместе с движением нашего времени.

Невозможно припомнить и сосчитать, сколько ночей мы провели с Фраерманом то в палатках, то в избах, то на сеновалах, то просто на земле на берегах Мещерских озер и рек, в лесных чащах, сколько было всяких случаев — то опасных, то трагических, то смешных, — сколько мы наслышались рассказов и небылиц, к каким богатствам народного языка мы прикоснулись, сколько было споров и смеха, и осенних ночей, когда особенно легко писалось в бревенчатом доме, где на стенах прозрачными каплями темного золота окаменела смола.

Писатель Фраерман неотделим от человека. И человек неотделим от писателя. Литература призвана создавать прекрасного человека, и к этому высокому делу Фраерман приложил свою умелую и добрую руку. Он щедро отдает свой талант величайшей задаче для каждого из нас — созданию счастливого и разумного человеческого общества.

ВСТРЕЧА С ОЛЕШЕЙ

У меня было много встреч с Юрием Карловичем Олешей. Каждая встреча оставалась у меня в памяти надолго. Об одной из этих встреч я и расскажу сейчас. Это было в самом начале войны, в июле 1941 года. Я приехал в Одессу с фронта, из-под Тирасполя, на военном грузовике, соскочил с него около вокзала и пошел в «Лондонскую гостиницу».

Я шел по безлюдной Пушкинской улице. Начинало светать. Лил дождь.

В первые дни войны одесские жители закрасили белые южные дома густо разведенной сажей. Считалось, что черные дома не так заметны с воздуха, как белые.

Сложное предприятие с окраской домов, носившее звонкое имя «камуфляж», оказалось вполне бесполезным. Лето выдалось дождливое. После первого же дождя дома облезли и покрылись потеками грязи.

Я шел по Пушкинской улице и не узнавал давно знакомый и милый город. Это была Одесса и вместе с тем совсем не она. Будто я видел город одновременно и наяву и во сне.

Из водосточных труб хлестала зловещая вода. Ни единого звука не слышалось вокруг, кроме торопливого стука дождя по железным крышам. Пожалуй, только запах промокшей листвы акаций напоминал недавние летние дни.

В то время я был почему-то уверен, что война принесла с собой новый воздух. Она сорвала с земли старый воздушный слой — мягкий, теплый, временами туманный — и заменила его воздухом жестким, пустым, изменившим вид всех мест и предметов. Новый воздух был похож на жидкий нитроглицерин. Запах его напоминал гарь, смешанную с пронзительным лекарством.

Должно быть, от этого чужого воздуха, от помертвелых улиц и дождевой сырости я чувствовал полное одиночество, будто я приехал в совершенно обезлюдевший город.

Поэтому я с облегчением вздохнул, когда в сумрачном вестибюле «Лондонской гостиницы» увидел старого небритого человека в лиловых подтяжках и мятой рубахе.

Он сидел за конторкой и читал «Королеву Марго» Александра Дюма.

Желтый огарок неподвижно горел перед ним. Едва заметный синий угар завивался над пламенем, как кудель.

— Вы портье? — спросил я неуверенно.

— Предположим, что я.

— Можно у вас переночевать?

— Странный вопрос! — рассердился старик. — В гостинице нет ни души. Выбирайте любой номер. С альковом или без алькова. Если у вас широкая натура, то можете жить хоть в двух номерах. Или в трех. И при этом совершенно бесплатно. Гратис!

Портье сказал старомодное слово купцов и коммивояжеров — слово «гратис», обозначавшее, что товар отпускается бесплатно.

— Гратис! — повторил старик. — Платить абсолютно некому. «Интурист» — эвакуировали. Я здесь за сторожа.

— Неужели в гостинице нет ни души? — спросил я, прислушиваясь, как по коридорам позванивают битые стекла.

— Как нет?! — возмущенно воскликнул старик. — Юрия Карловича Олешу вы не считаете?

— Он здесь?

— Безусловно. Где же ему быть, скажите, как не в Одессе. Я знаю Юрия Карловича давно. Он вырос здесь и жил, когда Одесса крутилась цельные сутки, как карусель. Все скакало перед глазами: пароходы, Уточкины, шикарные женщины, фраеры, капитаны, налетчики, итальянские примадонны, знаменитые доктора и скрипачи. И я знаю, кто еще! Теперь на Одессу навалилась беда. Тогда Олеша был тут, но и теперь он тут. Он чистый одессит, вы понимаете! Сейчас он сидит в номере один. После болезни. Каждый раз, когда начинается тревога, я иду к нему, чтобы уговорить его сойти в подвал. Но он ни за что не сходит, а с места в карьер начинает шутить. «Соломон Шаевич, — говорит он, — поглядывайте, чтобы во время бомбежки фрицы не побили те фонари, которые я описал в сказке «Три толстяка». Что я могу ответить? И я тоже, знаете, шучу. Я говорю, что если бы моя воля, то я бы те фонари посеребрил, чтобы Одесса всегда помнила про эту книгу.

Я поднялся в комнату к Олеше. Он сидел, нахохлившись, за столом и что-то писал своим крупным и вольным почерком.

Мы расцеловались. Олеша был безнадежно небрит, страшно худ — он только что перенес дизентерию. Сухая желтизна покрывала его щеки. Но глаза смотрели, как всегда, проницательно, с доброй усмешкой. И, как всегда, были готовы тотчас

загореться огнем выдумки, схваченного на лету вдохновения, блеском метких и неожиданных сопоставлений. Когда он начинал говорить, жизнь сразу становилась интересной и как бы сияющей. Чем? Огнем его юмора, поэзии и мгновенного и точного понимания человеческих сердец.

Мне всегда казалось (а может быть это было и вправду так), что Юрий Карлович всю жизнь неслышно беседовал с гениями и детьми, с веселыми женщинами и добрыми чудаками.

Спорил он смело и стремительно. Свои возражения он вонзал в собеседника беспощадно и победоносно.

Вокруг Олеши существовала, то сгущаясь, то разрежаясь, особая жизнь, тщательно выбранная им из окружающей реальности и украшенная его крылатым воображением. Эта жизнь шумела вокруг него, как описанная им в «Зависти» ветка дерева, полная цветов и листьев.

В Олеше было что-то бетховенское, грозовое, мощное. Даже в его голосе. Его зоркие глаза видели вокруг много великолепных и утешительных вещей. Он писал о них коротко, точно, хорошо зная закон, что два слова могут быть неслыханно сильными, а четыре слова — уже вчетверо слабее.

В углу комнаты стояла самодельная палка. На ее набалдашнике висела клетчатая котомка.

— Вот, — сказал Олеша и кивнул на палку и котомку, — когда придет последний час, последняя минута, я уйду пешком на Николаев, а потом на Херсон. Чтобы дойти, нужно ни о чем не думать, а только идти, идти, идти, пока держат ноги... Кстати, достаньте мне какую-нибудь карту, хотя бы из школьного атласа. Без карты мне будет трудно идти.

Я слушал его и засыпал сидя. Надо было лечь хоть на час, отдохнуть. Олеша пошел вместе со мной по пустым коридорам гостиницы выбрать самую лучшую комнату.

Почти все окна были выбиты взрывной волной. По гостинице, вздувая пыльные бордовые портьеры, носились сквозняки. Вслед им трещали засохшими листьями пальмы.

Сон у меня прошел. Мы ходили по комнатам и привередничали, разоблачая одну комнату за другой. Одну за то, что в ней пахнет земляничным мылом, другую за разбитое трюмо, третью — за картину «Боярский пир», запыленную известкой от недавнего взрыва.

Наконец мы выбрали самую маленькую и темную комнату. Окна ее выходили на внутренний дворик. Там росли вековые платаны.

— Блиндаж! — сказал Олеша. — Самая безопасная комната в гостинице.

Я тотчас уснул не раздеваясь. Проснулся я от далекого гула уходящих бомбардировщиков. Закатный свет золотился в чешуйчатом от старости стекле открытого окна.

Я вскочил и пошел к Олеше. В номере его не было. Я нашел его в узком и темном зале ресторана при гостинице.

То был исторический ресторан. Как принято говорить в газетных отчетах, «его стены видели» многих знаменитых людей. Недавно еще этот зал сверкал хрусталями, серебром, фаянсом и мельхиором. Твердые синеватые скатерти на столиках трещали, как пергамент. Люстры в виде виноградных кистей горели под вычурным лепным потолком. В серебряных ведерках хрустел лед, и меню было таинственным и роскошным.

Сейчас зал был пуст, темен, под потолком болезненно светилась единственная лампочка военного времени. Ее никогда не гасили. Два старых, как Одесса, официанта в помятых белых куртках — приятели Олеши — бродили по залу и подавали редким посетителям пустой чай и черную скользкую вермишель.

Олеша сидел за столиком с печальным молчаливым негромактером Одесской киностудии.

— Только что был налет, — сказал Олеша. — Вы его проспали. Ну, что вы скажете «за Одессу»?

Я сказал, что город изменился с начала войны, замер и одесситы как будто потеряли свою традиционную живость.

— Че-пу-ха! — сказал Олеша раздельно и внятно. — Одесситы не сдаются и не умирают. Их остроумие замешано на бесстрашии. Их храбрость расцветает от острых слов. У вас предвзятое представление об одесситах. Такое же, как, скажем, о Диогене.

Я, конечно, понимал, что я здесь ни при чем, что свое мнение о Диогене я никогда при Олеше не высказывал хотя бы просто потому, что у меня его не было. Диоген был поводом для какой-нибудь острой выдумки.

— Вот, — сказал Олеша, — все, в том числе и вы, считаете Диогена главой циников. А какой он циник! Он робкий, бестолковый старик. Жил, между прочим, в бочке. От бестолковости. А бочка все-таки, какая-никакая, а жилплощадь. За нее надо платить. У Диогена, понятно, никогда не было ни копейки, ни драхмы. Хозяин бочки постоянно грозился выбросить старика на улицу за долги. Тогда Диоген шел к друзьям и начинал, краснея, бормотать: «Дайте денег на бочку». Боже мой, какой тогда подымался визг и крик: «Деньги на бочку», «Нахал!», «Рвач!», «Циник!»

Молчаливый негр неожиданно захохотал. Олеша метнул на него быстрый взгляд и сказал:

— Одесситы и сейчас, во время войны, такие же мужественные, веселые и смешливые, как и всегда. Пойдемте походим по городу, и я могу поручиться, что где-нибудь мы увидим старых, ни перед чем не сдающихся одесситов. А это тоже своего рода героизм.

Мы вышли из гостиницы. Прозрачный воздух розовел от заката. Бульвар шумел.

Над морем шли в сторону Очакова фашистские эскадрильи. Их веско и гулко обстреливали морские зенитки.

Мы пошли на Греческий базар. Там, по словам Олеши, еще доживала последние часы чайная, где подавали настоящую молдавскую брынзу.

Но мы не дошли до Греческого базара. Нас настигла воздушная тревога. Милиционеры открыли ожесточенную пистолетную пальбу в воздух (очевидно, для тех, кто не слышал тревоги по радио). Кроме того, они загоняли всех прохожих во дворы.

Мы вошли в первый же двор. То был типичный греческий двор. Описать такой двор почти невозможно, его надо видеть или даже пожить в нем несколько дней, чтобы понять всю его прелесть. Сухое описание вряд ли что-нибудь даст читателю. Но все же я попытаюсь описать эти дворы.

Это прямоугольные дворы, окруженные со всех сторон старыми двухэтажными домами. Единственный выход из этих дворов — ворота на улицу. Все комнаты и квартиры изо всех этажей греческих домов выходят на старые наружные деревянные террасы и на такие же старые лестницы.

Террасы тянутся вдоль всех стен дома, шатаются и скрипят. Они служат самым оживленным и любимым придатком к комнатам и квартирам.

На террасах жарят на керосинках скумбрию или камбалу, готовят знаменитую икру из «синеньких», купают детей, стирают, ссорятся (этаж с этажом), слушают патефоны и даже танцуют.

Мы вошли в такой двор. Он был пуст.

Немецкие бомбардировщики пикировали с железным визгом и воем. Грохотали взрывы. По камням двора щелкали осколки зенитных снарядов.

Мы стали под навесом верхней террасы, чтобы укрыться от осколков. Рядом с нами сидел на ящике и спал старый дворник с рваным противогазом на плече. Он так и не проснулся, несмотря на грохот, свист и пыль. Ее вдувало во двор с улицы целыми залпами.

Против нас мы увидели крыльцо с массивной дверью. Она вела, очевидно, в отдельную квартиру. К двери была привинчена медная дощечка с выгравированной надписью: «Зубной врач И. С. Вайнтраубъ».

Твердый знак в конце фамилии свидетельствовал, что Вайнтрауб поселился здесь в незапамятные времена.

— Еще до революции! — заметил Олеша. — Это звучит как «еще до рождества Христова» или «еще до всемирного потопа».

Рядом с крыльцом было венецианское окно с задернутыми занавесками. За ними просвечивали черные листья фикусов.

Завыл самолет. Загремели железными обвалами взрывы и залпы зениток.

Тогда мы увидели простое и ничем не примечательное зрелище. Я, между прочим, до сих пор не понимаю, почему мы с Олешей долго потом хохотали, вспоминая о нем.

Кто-то гневно отдернул занавески на венецианском окне, ударил ладонью в раму, и она с треском распахнулась. Створки окна отлетели к стене.

В окно высунулся старый, плохо выбритый еврей в спущенных подтяжках и мятой рубахе. Это был, очевидно, сам доктор Вайнтрауб. В руке он держал газету. Он, должно быть, спал и прикрывался этой газетой от мух. Взрывы и вой самолетов разбудили его.

Он высунулся в окно, упираясь ладонями в подоконник. Красными от раздражения склеротическими глазами он посмотрел на промахнувший низко над двором с сатанинским воем самолет и крикнул с негодованием:

— Что? Опьять? Босяки!!

Он яростно плюнул вслед самолету, с треском захлопнул окно и задернул занавеску.

Тогда дворник, не просыпавшийся даже от взрывов, сразу очнулся, зевнул и печально сказал:

— Самый отчаянный жилец на весь наш двор. Наполеон!

Налет окончился. Мы вышли на улицу. Уже стемнело.

— Видите, — сказал Олеша, — я был прав. Вот она — старая, ни перед чем не сдающаяся Одесса.

— Вам просто повезло, — ответил я.

Мы пошли в «Лондонскую гостиницу». Около Оперного театра лежала вырванная с корнями акация. Корни ее застряли на втором этаже старинного дома, зацепившись за решетку балкона.

Около подъезда стояла карета «Скорой помощи». С подо-

конника на втором этаже медленно капала на тротуар очень яркая кровь.

Над морем полосами тянулся дым. На Пересыпи где-то горело. А может быть, там, за лиманами, всходила луна.

Фонари из «Трех толстяков» уцелели, и я обрадовался этому не меньше, чем Олеша.

Я мог бы еще многое рассказать об Олеше, но пока еще это трудно. Он умер недавно, и никак нельзя забыть прекрасное его лицо — лицо человека, спокойно задумавшегося перед нами. И нельзя забыть маленькую красную розу в петлице его старенького пиджака. Этот пиджак я видел на нем много лет.

ГОРСТЬ КРЫМСКОЙ ЗЕМЛИ

О Владимире Луговском

Зимой 1935 года мы шли с Луговским по пустынной Массандровской улице в Ялте.

Было пасмурно, тепло, дул ветер. Обгоняя нас, бежали, шурша по мостовой, высохшие листья клена. Они останавливались толпами на перекрестках, как бы раздумывая, куда бежать дальше. Но пока они перешептывались об этом, налетал ветер, завивал их в трескучий смерч и уносил.

Луговской с мальчишеским восхищением смотрел на перебежку листьев, потом поднял лист и показал мне.

— Посмотри, у всех сухих кленовых листьев кончики согнуты в одну сторону под прямым углом. Поэтому лист и бежит от малейшего движения воздуха на этих загнутых своих концах, как на пяти острых лапках. Как маленький зверь!..

Массандровская улица какой была в то время, такой осталась и сейчас — неожиданно живописной и типично приморской. Неожиданно живописна она потому, что на ней собрано, как будто нарочно, много старых выветренных лестниц, подпорных стенок, плюща, закоулков, оград из дикого камня, кривеньких жалюзи на окнах и маленьких двориков с увядшими цветами. Дворики эти круто обрываются к береговым скалам. Цветы всегда покачиваются от ветра. Когда же ветер усиливается, то в дворики залетают соленые брызги и оседают на разноцветных стеклах террас.

Я упоминаю об этом потому, что Луговской любил Массандровскую улицу и часто показывал ее друзьям, не знавшим этого уголка Ялты.

Вечером в тот день, когда рядом с нами бежали по улицам листья клена, Луговской пришел ко мне и, явно смущаясь, сказал:

— Понимаешь, какой странный случай. Я только что ходил на телефонную станцию звонить в Москву, и от самых ворот нашего парка за мной увязался лист клена. Он бежал у

самой моей ноги. Когда я останавливался, он тоже останавливался. Когда я шел быстрее, он тоже бежал быстрее. Он не отставал от меня ни на шаг, но на телефонную станцию не пошел — там слишком крутая для него гранитная лестница и к тому же это учреждение. Должно быть, осенним листьям вход туда воспрещен. Я погладил его по спинке, и он остался ждать меня у дверей. Но, когда я вышел, его уже не было. Очевидно, его кто-то прогнал или раздавил. И мне, понимаешь, стало нехорошо, будто я предал и не уберег смешного маленького друга. Правда, глупо?

— Не знаю, — ответил я, — больше грустно...

Тогда Луговской достал из кармана куртки пустую коробку от папирос «Казбек» и прочел только что написанные на коробке стихи об этом листике клена — стихи, похожие на печальную и виноватую улыбку.

Такую улыбку я иногда замечал и на лице у Луговского. Она появлялась у него, когда он возвращался из своих стихов в обыкновенную жизнь. Он приходил оттуда как бы ослепленный, и нужно было некоторое время, чтобы его глаза привыкли к свету зимнего декабрьского дня.

У Луговского было качество подлинного поэта — он не занимал поэзию на стороне. Он сам заполнял ею окружающий мир и все его явления, какими бы возвышенными или ничтожными они ни казались.

Не существовало, пожалуй, ничего, что бы не вызывало у него поэтического отзыва, будь то выжатый ломтик лимона, величавый отгул прибоя, заскорузлая от крови шинель, щебенка на горном шоссе или визг флюгера на вышке пароходного агентства. Все это в пересказе Луговского приобретало черты легенды, эпоса, сказки или лирического рассказа. И вместе с тем все это было реально до осязаемости. Луговской говорил, что, создавая стихи, он входит в сказочную и в то же время реальную «страну» своей души.

Однажды он приехал в Ялту ранней весной. Дом творчества писателей еще не был открыт — он достраивался. Луговской поселился в одной из пустых, только что выбеленных комнат, среди стружек и ведер с клейстером и красками. Ночью он оставался один в пустом гулком доме и писал при керосиновой лампочке на верстаке. Но, по его словам, он никогда так легко не работал. Он утром просыпался от высокого звона плотничьих пил, и размеренное их пение вошло, как удивительный напев, в одно из его стихотворений того времени.

У Луговского было много любимых земель, его поэтических вотчин: Средняя Азия, Север, побережье Каспия, Подмосковье и Москва, но, пожалуй, самой любимой землей для него, северянина, оставался Крым.

Он великолепно его знал и изучал очень по-своему. Однажды, глядя с балкона гостиницы на Яйлу, он спросил меня, вижу ли я на вершине Яйлы, правее водопада Учан-Су, старую сосну, похожую на пинию. Я с трудом и то только в бинокль отыскал эту сосну.

— Проведем отсюда до той сосны ровную линию, — предложил Луговской, — и пойдем к ней напрямик по этой линии. Препятствия будем обходить только в исключительных случаях. Идет?

— Идет, — согласился я.

Так он один или с кем-нибудь из друзей бродил иной раз по Крыму, выбирая «видимую цель». Эти вольные походы сулили много неожиданного, как всякая новая дорога. Луговской любил ходить наугад. В этом занятии было нечто мальчишеское, романтическое, таинственное. Оно раздражало трезвых и серьезных людей. Смысл его был в том, что Крым, знакомый до каждого поворота на шоссе, оборачивался неизвестными своими сторонами. С него слетал налет столетних представлений. Он переставал быть только скопищем красот, предназначенных для восторгов. Он приобретал благородную суровость, которую не замечают люди, знающие только Южный берег.

Однажды в Ялте, зимним вечером, несколько писателей затеяли игру: кто не дольше как за полчаса напишет рассказ на заданное слово. Слова нарочно придумывались «гробовые». Они могли бы привести в отчаяние человека даже с самым изворотливым воображением. Мне, например, попалось слово «удой».

Слова писались на бумажках, и мы потом вытаскивали их из шляпы старого веселого и маленького, как гном, человека — Абрама Борисовича Дермана. У Дермана было прозвище «Соцстарик», то есть «социалистический старик», так как, по общему мнению, при социализме все старики должны быть такими же милыми и деятельными, как Дерман.

Луговской вытащил билетик со словом «громкоговоритель», крякнул и нахмурился. Дерман не сдержался, хихикнул и потер руки. Он предчувствовал неизбежный провал Луговского.

— Стыдитесь, Старик! — сказал Луговской своим мягким и дружелюбным басом, тщетно стараясь придать ему угро-

жающие ноты. — Вы у меня еще поплачете! Клянусь тенью поэта Ратгауза!

Почему он вспомнил поэта Ратгауза, непонятно. Это был скучный, как аптекарский ученик, водянистый поэт конца XIX века.

— Скоро надо садиться писать, — озабоченно предупредил Дерман и посмотрел на свои старомодные, очень большие карманные часы. — Время подходит.

— Черта с два! — прогремел Луговской. — Черта с два, буду я вам писать рассказ именно здесь! Я требую дополнительного времени. Не меньше часа. Я предлагаю вам выслушать мой рассказ в Ливадии. Немедленно. Сам по себе он займет всего несколько минут.

— Кошмар! — бесстрастно сказал Александр Иосифович Роскин. — Общеобразовательская писательская экскурсия в Ливадию! Ночью! В декабре! В дождь и в шторм! Бред сивого мерина!

За окнами действительно бушевал сырой шторм. Он туго гудел в старых кипарисах. Тяжелые капли дождя били в окна не чаще, чем раз в минуту. Было слышно, как внизу на набережной шипел, перелетал через парапет и раскатывался по асфальту прибой.

— Как вам будет угодно, — сухо ответил Луговской. — Если это вас не устраивает, я выхожу из игры.

Все зашикали на Роскина. Предложение Луговского было неудобно, но заманчиво, сложно, но увлекательно. В нем скрывалась тайна. Уже одно это обстоятельство в наш век разоблаченных тайн раззадорило всех.

В конце концов мы все пошли в Ливадию.

Ялта стремительно мигала огнями, как это всегда бывает в такие ветреные, бурные, шумливые, сырые, ненастные штормовые ночи. Море ревело, и первобытный хаос ударял, как прибой, рядом с ним в берега и уходил обратно в клубящийся мрак.

Мы почти ощупью шли по Царской тропе. Все молчали. Накрапывал дождь. Сырая земля пахла дрожжами. Очевидно, в палой листве началось брожение.

Луговской остановился, зажег спичку и осветил мокрый ствол вяза. В него была воткнута заржавленная английская булавка.

— Здесь! — сказал Луговской. — Идите за мной. Только осторожно. Тут осыпи.

Тогда Роскин снова возмутился.

— Клянусь тенью академика Веселовского, — сказал он,

подражая Луговскому, — что это розыгрыш! Блеф! Штучки-мучки! Фокусы! Я не хочу оставаться в дураках.

— Тогда можете оставаться здесь, — сердито ответил Дерман. — Я старик и то не хорохорюсь.

— Не хватало, чтобы я тут стоял среди ночи один как истукан, — пробормотал Роскин и начал осторожно спускаться следом за всеми.

В зарослях было темно, как в сыром подземелье. Еще не опавшие листья проводили по лицу холодными мокрыми пальцами. Слышнее стало море. Луговской остановился.

— Теперь слушайте! — сказал он. — Стойте тихо и слушайте.

Мы замолчали.

И вот среди шуршанья листьев, слабого треска ветвей и шороха дождевой воды, стекавшей по каменистой земле, мы услышали хриплый и унылый голос. Он был слаб и по временам издавал странный скрежет.

«В проектном здании, — скрипел голос, — институт предусмотрел малоэкономичный способ транспортировки вскрышных пород...»

— Кошмар! — прошипел Роскин.

Ржавый треск заглушал эти нудные слова. Потом в глубине зарослей кто-то развязно ударил по клавишам расстроенного рояля, и Лемешев запел, слегка повизгивая:

Когда я на почте служил ямщиком,
Был молод, имел я силенку.

— Что это? — испуганно спросил Дерман.

Лемешев осекся и, помедлив, сказал голосом чревовещателя:

Хочет
он
марксистский базис
под жакетку
подвести...

— Вы очень ловкий чревовещатель, — спокойно сказал Луговскому Роскин, — но все же прекратите, прошу вас, это безобразие. И объясните, в чем дело. Потому что это уже похоже на глумление, на издевательство, на барское пренебрежение, на формалистический выверт и на шулерское передергиванье цитат.

— Я не циркач и не чревовещатель! — ответил Луговской. — Просто у меня хороший слух, и мне повезло.

И он рассказал нам, что на днях проходил утром по

Царской тропе и услышал из зарослей хриплый шепот. Человек шептал долго. Луговского поразило то обстоятельство, что шептал он даже с некоторым пафосом, по-актерски, как говорил Луговской, «дрожементом, со слезой и подвывом». Луговской начал продираться на этот шепот через заросли, пока не увидел прибитый к стволу высокого бука облезлый и погнутый громкоговоритель. Он гнусавым голосом бормотал что-то о творчестве композитора Алябьева.

Вскоре Луговскому удалось выяснить, что к Октябрьским праздникам в ливадийском парке поставили несколько громкоговорителей. После праздников все громкоговорители сняли, а один, очевидно, забыли.

Он честно трудился и дни и ночи, промокал от дождей, высыхал и трескался на солнце, ржавчина разъедала его металлические части, ветер нашвырял в него горсти мелких летучих семян, запорошил ему горло трухой. В конце концов он устал, охрип от необходимости перекрикивать шум моря и ветра, простудился, начал кашлять и даже по временам совершенно терял голос и издавал только писк и скрежет.

Он страдал от холода и одиночества, особенно в дикие ночи, когда на небе не было даже самой застенчивой маленькой звезды, которая могла бы его пожалеть.

Но ни на минуту он не переставал делать свое дело. Он не мог замолкнуть. Он не имел права сделать это точно так же, как не может маячный смотритель не зажечь каждый вечер маячный огонь.

— Вот вам мой рассказ, — сказал Луговской. — Не на бумаге, а в натуре. Рассказ о громкоговорителе. И незаметном герое. Примете вы его или нет?

Мы все приняли этот рассказ Луговского, как сказал Дерман, «по первому классу», хотя Луговской и нарушил правила соревнования.

Луговской получил первую премию — бутылку «пино-гри» из массандровских так называемых «коллекционных» вин.

В Ялте мы встречали с Луговским 1936 год.

Первого января с утра далекие горы позади города как бы погрузились в летаргию и окутались темным дымом. Было тепло и сонно. Глубокая тишина стояла в доме, и только на столе в гостиной тихонько потрескивал своими глянцевыми листочками маленький куст остролистника, только что сорванный в парке. Среди черной его листвы висели круглые твердые ягоды цвета яркой крови.

В доме устроили маленькую елку, и все мы два-три дня с увлечением занимались тем, что ее украшали.

Взрослые люди превратились в детей. Кое-кто поехал в Никитский сад за огромными шишками канадской сосны, кому-то поручили достать «золотой дождь». Писатель Никандров выпросил у рыбаков барабульку, закопченную по-черноморски (по его словам, это была «пища богов»). Этих серебристо-коричневых рыбок Никандров связал за хвосты широкими веерами и в таком виде развесил на елке.

Луговской заведовал елочными свечами. Он ездил за ними в Севастополь, долго не возвращался, и мы уже впали в уныние, думая, что Луговской нас подведет. Но за два часа до того, как надо было зажигать елку, по всему дому пронесся крик: «Володя приехал!» Все ринулись в его комнату, и он, румяный от дорожного ветра, бережно вытащил из кармана маленькую картонную коробку с разноцветными витыми свечами.

— Можно, — сказал он, — написать чудный рассказ о том, как я нашел эти свечи на Корабельной стороне. Клянусь тенью Христиана Андерсена!

И это, должно быть, было действительно так.

Сильнее всех из-за елки волновался Георгий Иванович Чулков — один из столпов символизма, изящнейший старик, похожий на композитора Листа.

Он даже принес для елки из города игрушечную балерину в бумажной пачке.

Я раскрашивал гуашью флаги всех государств, в том числе и несуществующих, и делал из них гирлянды для елки. Если бы не Луговской, то ничего путного у меня бы не вышло. Он великолепно знал рисунки и цвета флагов всех государств, даже таких, как «карманная» республика Коста-Рика.

Я раскрашивал флаги и размышлял о непонятной закономерности: чем меньше было государство, тем вычурнее и ярче был у него флаг.

Деда-мороза мы сделали из ваты, а в последнюю минуту жена одного драматурга привезла из Москвы плюшевого медвежонка. Почему-то больше всех обрадовался этому медвежонку Луговской. Он почистил его — медвежонок был еще чуть пыльный — и посадил на паркет около елки.

Новогодняя ночь прошла очень шумно. А наутро тусклый, как будто дремлющий солнечный свет стоял во всех комнатах, подчеркивая тишину. Луговской встал раньше всех и, свежий, чисто выбритый, озабоченно растапливал камин.

— После завтрака мы поедем с тобой, — сказал он мне,— в горы, за Долоссы, в заповедник. Я сговорился с одним от-

чаянным парнем — шофером. День короткий. Дорога туда головоломная, и нам придется заночевать в машине.

Так оно и случилось. Мы ночевали в машине в лесу над пропастью. В нескольких шагах от нас смутным белеющим морем качалось облачное небо. Оно поднялось из пропасти и почему-то остановилось рядом с нами. Иногда облачный туман подходил к самой машине, ударялся о нее и взмывал к вершинам деревьев, как бесшумный прибой.

А до этого мы видели так много замечательных вещей, что я запомнил эту поездку надолго, а судя по тому, что я хорошо ее помню и сейчас, должно быть, на всю жизнь...

Мы видели бездонные пропасти. Каждый раз они вызывали у нас сердцебиение. Из страшной их глубины карабкались ввысь буковые и сосновые леса, и если вековые деревья не срывались поминутно с отвесных круч, то, должно быть, потому, что густой и мудрый плющ, вцепившись одной рукой в скалы, другой держал их за ветки и стволы.

Временами узкая дорога шла среди колоннад старых буков. Но несмотря на триумфальную величавость этих деревьев и всех этих лесов, те частности, которые улавливал взгляд, были так живописны и так трогательны, что поминутно хотелось остановить машину, чтобы рассмотреть их и заодно вдохнуть острый и вместе с тем нежный воздух зарослей и камней.

К полночи облака сползли на дно ущелий, и показалась низкая кровавая луна. С каждой минутой она бледнела перед зрелищем великолепной и дикой ночной земли.

В свете луны изредка проступал Чатыр-даг. По временам его затягивало какой-то магической мглой. Он слабо курился. Присутствие Чатыр-дага придавало ночи суровый оттенок.

Нам попался молчаливый и застенчивый шофер. Почти все, что он говорил, стоило запомнить.

— Я за машину доволен, — сказал он. — Она тоже вроде не спит, слушает, озирается. Не каждый день ей пофартит пережить такую ночь. Будет что вспомнить.

Мы вышли из машины, сели на камни, долго слушали звуки ночи. Неожиданно Луговской спросил:

— Помнишь медвежонка плюшевого?

— Помню. А что?

— Да так... Пустяки...

Он надолго замолчал. А через несколько дней он прочел мне замечательное свое стихотворение:

Девочке медведя подарили.
Он уселся, плюшевый, большой,
Чуть покрытый магазинной пылью,

Важный зверь
С полночною душой.

Я слушал лаконические строфы из этих стихов, и в них дышала туманом, ветрами, сырой корой, кремнистым запахом осыпей и чуть железистых кустарников вся та ночь, о которой я только что писал.

В этих стихах плюшевый медвежонок все же уходит в новогоднюю ночь от людей, от их тепла, от своей хозяйки — маленькой девочки. Уходит, «очень тихий, очень благодарный, лапами тупыми топоча».

Сосны зверю поклонились сами,
Все ущелье начало гудеть:
Поводя стеклянными глазами,
В горы шел коричневый медведь,
И тогда ему промолвил слово
Облетевший многодумный бук:
«Доброй полночи, медведь! Здорово!
Ты куда идешь-шагаешь, друг?» —
И медвежонок отвечает:
«Я шагаю ночью на веселье,
Что идет у медведей в горах,
Новый год справляет новоселье.
Чатыр-даг в снегу и облаках».

Я не буду приводить здесь целиком эти печальные стихи. Но еще тогда, при первом чтении, мне бросилось в глаза сходство этих стихов с рассказом Луговского о сухом листике клена. И тут и там Луговской, как некий мудрый и добрый Гулливер, согревал своей душевной теплотой, как своим дыханием, все живое.

Он был добр. Он был расположен к простым людям и простодушным зверям.

Из этой доброты и желания счастливых дней, счастливых месяцев и целых счастливых столетий, из желания, чтобы истинное счастье навсегда поселилось на нашей земле, и родилась его поэзия.

Ранней весной 1936 года мы ехали с Луговским из Ялты в Севастополь. Сумерки застали нас около Байдарских ворот.

Впервые я видел Крым не пожелтевшим от зноя, а влажным, прохладным, в сумасшедшей буйной зелени. Цвели мириады венчиков. Каждый из них был полон слабого терпкого запаха, а все вместе они пахли так сильно, что до Севастополя мы доехали совершенно угоревшие, как сквозь сон.

Когда мы спускались с гор по северному склону, Луговской показал мне на небо, и я увидел в самом зените на немыслимой высоте, должно быть, далеко за пределами земной

атмосферы какую-то серебристую рябь и тончайшие белые перья. Они играли пульсирующим нежнейшим светом.

— Это загадочные светящиеся облака, — сказал Луговской. — Они сложены из кристаллов азота и похожи на оперенье исполинской птицы. Говорят, что они приносят счастье.

И действительно, эти облака принесли нам счастье. Оно было в ночных огнях Севастополя, в его тонком воздухе, в слабом гуле морских пространств, обнимавших этот город со всех сторон, в толпах молодых моряков, в уютных кофейнях, где цвели на окнах красные цикламены, в полынном воздухе Северной стороны, куда мы ездили поздним вечером на переполненном матросами старом катере.

Матросы вполголоса пели «Варяга». Луговской слушал, потом встал, взялся за поручни, и в голоса матросов неожиданно вошел его бас.

Через минуту Луговской уже покорил себе и вел за собой весь хор:

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает.

Пели много. На Северной стороне мы вышли. Луговской сел на старый адмиралтейский якорь, валявшийся на берегу около одинокого пристанского фонаря. В соседнем маленьком доме с настежь распахнутыми окнами за целым навалом сирени смеялась девочка.

Луговской тихо запел. Он пел для себя. Это была немудрая песенка-жалоба девушки на своего любимого Джонни.

Одним пороком он страдал —
Он сердца женского не знал,
Любимой чар не понимал,
Не понимал, мой Джонни...

Матросы, высадившиеся вместе с нами с катера, отошли уже довольно далеко. Они услышали голос Луговского и остановились. Потом медленно и осторожно вернулись, сели подальше от нас, чтобы не помешать, прямо на землю, обхватив руками колени. Смех девочки в маленьком доме затих.

Все слушали. Печальный голос Луговского, казалось, один остался в неоглядной приморской темноте и томился, не в силах рассказать о горечи любви, обреченной на вечную муку...

Когда Луговской замолк, матросы встали, поблагодарили его, и один из них довольно громко сказал своим товарищам:

— Какой человек удивительный! Кто же это может быть?

— Похоже, певец, — отвечал из темноты неуверенный голос.

— Никакой не певец, а поэт, — возразил ему спокойный хрипловатый голос.

— Я на них, на поэтов, всю жизнь удивляюсь. Так иной раз берут за сердце, что всю ночь не уснешь.

— Спасибо, товарищ, — сказал вслед этому голосу Луговской. — Во всяком случае, я всю жизнь стремился быть поэтом.

— Это вам спасибо, — отвечал хрипловатый голос. — Я ведь не ошибся. Я чувствую.

Мы возвратились в город на пустом катере. Шипела под винтом вода. На рейде заунывно гудел бакен, — с моря подходила волна. Потом мы долго бродили по Севастополю, зашли на вокзал и пили вино в полутемном вокзальном ресторане. На перроне шумел молодой листвой старый-престарый, давно нам всем знакомый и любимый тополь. Луговской рассказывал о белых радугах над снежными лавинами. Он видел их, когда жил совершенно один в маленькой гостинице у подножья Монблана.

Весь мир со всеми его чудесами, с его величием, красотой, событиями, его борьбой, скорбью, с его замечательными стихами и цветением всегда небывалых весен, с его любовью и благоуханием девичества — весь мир носил в себе этот неисчерпаемый, милый, душевный человек — простой, свободный, украшавший собою жизнь людей и ненавидевший ложную мудрость и злобу.

Недаром свою речь на Первом съезде писателей он закончил пушкинским призывом:

Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

ПРИМЕЧАНИЯ

Зал с фонтаном. — Глава из третьей книги («Начало неведомого века») автобиографического цикла К. Паустовского «Повесть о жизни». Книга впервые была напечатана в 1957 году, в третьем томе Собрания сочинений писателя. О смерти В. И. Ленина автор рассказал в шестой книге «Повести о жизни» (глава «Стужа»).

Маячный смотритель. — Глава из повести «Бросок на Юг» (пятая книга «Повести о жизни»), напечатанной впервые в десятом номере журнала «Октябрь» за 1960 год. К образу лейтенанта Шмидта К. Паустовский обращался на протяжении всего своего творчества. Лейтенант Шмидт и его антипод — Ставраки выведены впервые в рассказе «Три страницы» («Минетоза», Морские рассказы. Изд. «Огонек», М., 1927). Над книгой о лейтенанте Шмидте работает герой повести К. Паустовского «Черное море» — писатель Гарт (глава «Мужество»).

Маршал Блюхер. — Очерк о знаменитом советском полководце впервые напечатан во втором номере журнала «Новый мир» за 1938 года.

Орест Кипренский. — Биографическая повесть о художнике Кипренском впервые опубликована в шестом номере журнала «Красная новь» за 1937 год.

Исаак Левитан. — Повесть впервые напечатана в шестом номере журнала «Красная новь» за 1937 год. В 1938 году обе повести — о Кипренском и Левитане — вышли в Детиздате в серии «Жизнь замечательных людей».

Тарас Шевченко. — Повесть вышла впервые отдельной книгой в 1939 году в Гослитиздате.

Разливы рек. — Повесть о М. Ю. Лермонтове впервые опубликована в сборнике рассказов К. Паустовского «Бег времени» (1954 г.). В 1941 году Паустовский написал пьесу «Поручик Лермонтов (Сцены из жизни Лермонтова)», которая в том же году была издана издательством «Искусство».

Корзина с еловыми шишками. — Рассказ о норвежском композиторе Эдварде Григе был впервые напечатан в первом номере журнала «Огонек» за 1954 год.

Простая клеенка. — Глава из повести «Бросок на Юг» (пятая книга «Повести о жизни»). Впервые К. Паустовский написал о Нико Пиросманишвили в статье «Грузинский художник» («Наука и промышленность» № 2, 1924 год). Образ Пиросманишвили возникает на страницах повестей «Колхида» и «Золотая роза».

Фридрих Шиллер. — Биографический очерк впервые напечатан в 1955 году (журнал «Пионер» № 5).

Сказочник (Христиан Андерсен). — Впервые напечатана в качестве вступительной статьи к «Сказкам и историям» Христиана Андерсена. Гослитиздат, 1955.

Ночной дилижанс. — Рассказ о Христиане Андерсене является главой из повести «Золотая роза» (впервые опубликована в девятом и десятом номерах журнала «Октябрь» за 1955 год).

Эдгар По. — Впервые напечатана в качестве вступительной статьи к книге Эдгара По «Золотой жук» (рассказы). М.—Л., Детгиз, 1946 г.

Равнина под снегом. — Рассказ впервые опубликован в сборнике «Бег времени». Изд-во «Советский писатель», 1954 г.

Оскар Уайльд. — Впервые напечатана в качестве вступительной статьи к книге Оскара Уайльда «Преданный друг». Детиздат, 1937 г.

Редиард Киплинг. — Впервые напечатана в качестве вступительной статьи к книге Р. Киплинга «Мятежник Моти Гадж». Детиздат, 1937 г.

Заметки на папиросной коробке. — Написаны в связи со столетним юбилеем со дня рождения А. П. Чехова. Статья была напечатана 28 января 1960 года в «Литературной газете».

Поток жизни (Заметки о прозе Куприна). — Впервые опубликована как вступительная статья в I томе Собрания сочинений А. И. Куприна. Гослитиздат, 1957 г.

Иван Бунин. — Очерк впервые напечатан в сборнике «Тарусские страницы». Калужское книжное издательство, 1961 г.

Александр Блок. — Очерк впервые напечатан в сборнике «Тарусские страницы». Калужское книжное издательство, 1961 г.

Жизнь Александра Грина. — Впервые под названием «Александр Грин» была напечатана в альманахе «Год XXII», № 15, М., 1939 г. В переработанном виде печаталась в качестве вступительной статьи к «Избранному» А. Грина. Гослитиздат, 1956 г.

Дядя Гиляй (В. А. Гиляровский). — Впервые напечатано как предисловие к книге В. А. Гиляровского «Москва и москвичи. Очерки старомосковского быта». Изд-во «Московский рабочий», 1955 г.

Алексей Толстой. — Статья впервые напечатана 27 января 1939 года в газете «Правда».

Живите так, как начали. — Глава из «Книги скитаний» (шестая книга «Повести о жизни»). «Книга скитаний» впервые была опубликована в десятом и одиннадцатом номерах журнала «Новый мир» за 1963 год.

Медные подковки. — Глава из «Книги скитаний».

«Мопассанов я вам гарантирую», «Тот» мальчик», «Каторжная работа». — Главы из книги К. Паустовского «Время больших ожиданий» (четвертая книга «Повести о жизни»).

Близкий и далекий. — Глава из книги «Время больших ожиданий».

Военнопленный Ульянский. — Глава из книги «Бросок на Юг».

Малышкин. — Статья написана в связи со смертью А. Г. Малышкина. Впервые напечатана 10 августа 1938 года в «Литературной газете».

Встречи с Гайдаром. — Воспоминания впервые напечатаны в книге «Жизнь и творчество Гайдара». М., 1954 г.

Михаил Лоскутов. — Впервые напечатана в качестве вступительной статьи к книге Михаила Лоскутова «Тринадцатый караван». Детгиз, 1958 г.

Александр Довженко. — Впервые опубликована в пятом томе Собрания сочинений К. Паустовского. Гослитиздат, М., 1958 г.

Рувим Фраерман. — Впервые напечатана в пятом томе Собрания сочинений К. Паустовского. Гослитиздат, М., 1958 г.

Встречи с Олешей. — Воспоминания об Олеше опубликованы впервые 25 марта 1961 года в «Литературной газете».

Горсть крымской земли (о Владимире Луговском). — Впервые напечатана в восьмом номере журнала «Москва» за 1958 год.

СОДЕРЖАНИЕ

I.

Зал с фонтаном 5
Маячный смотритель 14
Маршал Блюхер 25

II.

Орест Кипренский 43
Исаак Левитан 73
Тарас Шевченко 92
Разливы рек 139
Корзина с еловыми шишками 162
Простая клеенка 170

III.

Фридрих Шиллер 181
Сказочник (Христиан Андерсен) 185
Ночной дилижанс 199
Эдгар По 210
Равнина под снегом 215
Оскар Уайльд 226
Редиард Киплинг 230
Заметки на папиросной коробке 233
Поток жизни (Заметки о прозе Куприна) 240
Иван Бунин 262
Александр Блок 277
Жизнь Александра Грина 286
Дядя Гиляй (В. А. Гиляровский) 302
Алексей Толстой 306

IV.

Живите так, как начали 309
Медные подковки 312
И. Бабель («Мопассанов я вам гарантирую», «Тот» мальчик», «Каторжная работа») 318

Близкий и далекий 343
Военнопленный Ульянский 348
Малышкин 354
Встречи с Гайдаром 356
Михаил Лоскутов 365
Александр Довженко 368
Рувим Фраерман 371
Встреча с Олешей 379
Горсть крымской земли (о Владимире Луговском) 386
Примечания 397

Паустовский Константин Георгиевич.
БЛИЗКИЕ И ДАЛЕКИЕ. М., «Молодая гвардия», 1967. 400 с. с илл. («Жизнь замечательных людей». Серия биографий. Вып. 13(439).)

8Р—7

Редактор **С. Резник**
Серийная обложка художника **Ю. Арндта**
Рисунок на обложке **В. Медведева**
Художественный редактор **А. Касаргин**
Технический редактор **Е. Брауде**

Сдано в набор 24/VII 1967 г. Подписано к печати 11/XII 1967 г. А14933. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 2. Печ. л. 12,5 (усл. 21)+9 вкл. Уч.-изд. л. 24,5. Цена 91 коп. Тираж 100 000 экз. Б. З. № 62. 1967 г., п. 6. Заказ 1592.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва, А-30, Сущевская, 21.

91 коп.

БЛИЗКИЕ И ДАЛЕКИЕ



Константин Паустовский

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ